

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

5

1997

НОВЫЙ МИР

1997

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5(865)

Май, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

НИКОЛАЙ КОНОНОВ — Левее и дальше, стихи	3
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Роман с простатитом. Окончание	9
ИГОРЬ МЕЛАМЕД — В черном раю, стихи	94
ЮРИЙ БУЙДА — Слишком, чтоб было правдой, рассказы	97
ВЛАДИМИР ЩАДРИН — Господи, я замерз в этом мире, стихи	113

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ — Два рассказа. Предисловие Виталия Шен- талинского. Публикация В. Г. Демидовой	116
Священник ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ — В санитарном поезде Черни- говского дворянства. Заметки и впечатления. Предисловие игуме- на Андроника (Трубачева)	146

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ — Итоги «тринадцатой пятилетки»	162
---	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ЮРИЙ ОЛЕЩУК — Книгоохота	172
--------------------------	-----

ОПЫТЫ

ГЛУПОСТЬ. Из «Лексикона истории культуры». Беседу вела Т. В. Чередниченко	179
--	-----

МИР ИСКУССТВА

СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ — Актуальные проблемы актуального искус- ства	185
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ГАЛИНА АСЛАНОВА — «Навстречу сердцем к Вам лечу». История женитьбы А. А. Фета по архивным документам	197
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

В. Березин. Конспекты романов	211
Марина Новикова. Белый свет	213
Татьяна Кравченко. По кругу	217
Андрей Василевский. «Хорошо быть беглой гласной...»	220
Андрей Арьев. Петушок-Психея	223
Елена Ознобкина. «Начало совершилось, человек сотворен был...»	226

Александр Незаметный. — Ханс Бьёркегрэн. «...За короля!»	231
Николай Кириллов. — Черстин Экман. Происшествия у воды	233
Юрий Кублановский. — Р. И. Пименов. Происхождение современной власти	235

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — «Да»	237
------------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	241
Периодика (составитель Андрей Василевский)	244
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО АВТОРА, ЧЛЕНА РЕДКОЛЛЕГИИ
АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА БИТОВА
С 60-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО АВТОРА, ЧЛЕНА РЕДКОЛЛЕГИИ
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ,
УЧРЕЖДЕННОЙ ФОНДОМ АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА!**

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 2189 экземпляров журнала «Новый мир».

НИКОЛАЙ КОНОНОВ



ЛЕВЕЕ И ДАЛЬШЕ

* *
*

Смотри — стада купальщиц,
Спугнешь их, тсс...
Нет, нет, левой и дальше,
Отвесно вниз,

Под негою обрыва.
— Заволновался? — Звук
Понуро-сиротливо
Несет испуг.

И на сердце истома.
— Ну, отчего? Не так...
Повешен невесомо
Воды гамак.

Косая рябь плетенья
Волокон волн
Раскачивает тени.
— Ты хрящ узнал? Нет, ствол

С закрытой мальвой смутной.
— А знаешь, здесь
Намек на смерть как будто...
...Умрешь не весь...

* *
*

Не бубнит сердечко гулко —
Повернувшись к нам бочком,
Спит Олейников в шкатулке
Заспиртованным сверчком.

Только дудочка живая...
Отчего ж она гудит?
Он ее не прижимает
К зеленеющей груди.

Не готова, не готова, —
Тихо поет, боже мой, —
Желтой лентой, нет, багровой
Кануть в урне гробовой.

* *
*

Смотри, как нежит пыл рампетки
Ламарка сверк,
Чтоб крылоробкой плоти редкой
Рай не померк,

Поймай рампеткой лён эфира
За волокно
Волны, лизнувшей мочку мира
Чрез губ окно.

Чтоб тела тусклая лакуна
Луну глубин
В себе голубила, как шхуна
Имбирь и тмин.

Шмелю

Влети валторной,
Мой шум, мой шмель,
В цветущу порно
Цветка постель, —

Там вдоль причала
Влачит буксир
Зигзаг сначала,
Потом пунктир.

Мохнатый катер,
Буруны брей,
Чтоб твой характер
Не бачил Фрейд,

Чтоб по Гафизу
Ты тлел шмелем,
Тебе мы визу
На вылет шлем.

Из устья, право,
Утешным *соль*
Родной октавы
Слететь изволь.

* *
*

Грезы Гризодубовой о падали
С высоты одиннадцати тысяч
Селезенкой вспомнить, сердцем надо ли,
Моя ссадина певучая, мой прыщик.

Оттого, что гуттаперча резвая,
Жовтінь жил и Божье слово
Для тебя не кисточка и лезвие,
А лагуна тесного улова.

Ходит в море недалеко барочка,
Все волной волну блюют любовно,
Ты в меня вдвигаешь дышло сварочного
Аппарата, козерога, овна...

Так труди, достигши Гераклитовых
Пропилеев, бицепс, жги пропеллер,
Жизнью жизнь поправ, не позавидовав
Ничему, когда б не тела трели...

В + Л

В сенник порногра-
Фии вставя градусник,
Сникшее с утра
Сердце тупо радуется.

Лилинька, возьми
В зёв, что уготовано
Без возни к восьми
Самокруткой олова!

Вова, Вава, Во-
Лодя, ваши лядвеи
Липнут к огневой
Пашне, свалке клятвами.

Жизнь-жизнь-жизнь прошла,
И мандраж охватывает
Охнувший ландшафт
Розовыми шахтами.

Военная элегия

І. В карауле

Жницы страшной
Глубоководной
Сходит с полей
Синь.
Девой бесплотной,
Тенью дождей.

Ну же: пинь-пинь,
Зябь без размера
Пашут и сеют
Два зинзивера.
Сердцем немея,
Остынь!

В небо влюбленный
Брат узкоплечий
В смертно-зеленом
Шлеме кузничик,
Школьник совсем
С колких колен
Встать не пытается,
Нудит и мается.
И не помочь.
Преет жнивья
Желтая дочь,
Струи лия.

Птица я?
Что ж...
Может быть.
Пробую взмыть,
Чувствуя дрожь.
Тихо-ночная,
Лунолюбивая,
Но нелюдим
Тающий дым.

Тиу-ти-айя
Длится сонливое...
Вот
И сплелись
Поле и высь.

Нежит ли близь
Тихопугающая?
Флейта мертвящая...
Скажешь товарищу:
Вот настоящая
Музыка зыби —
Мимолетающие
Рыбы.

II. Внеустановка

Хлеборез
Борис
И старшина Глеб
Свидетелей без
В коптерке сплелись.
Только мигала
Лампочка пылкая в такт:
Вандал галлу
Выю намыливает,
Мать его так!

Это любви сторона оборотная —
Рвотная, взводная.
Дышит в кулак
Бабочка потная,
Так сказать, площадная, народная
Афродита
Сплюнет: иди ты...
К Урании томной,
Льни гематомой.

Новобранец
Давид
И прапорщик Голиаф
Сошлись на танец
Среди трав.
Сквозь пальцы
Глядит
На них замполит.
Пращой и палицей
Туча висит.

Парной рифмой
Сошлись на лугу
Неразличимы
Два побратима.
И ни гугу...

Нимфой военнообязанной
Кто был рожден?
О, бред!
С ивами, вязами
Впущен паслен
В мой военный билет.
Да-да! Нет-нет!

В противогазах
Бредят дубы
В роще одышливой.
Кто кому вмазал?
Значит, лады,
И вышли вон
Однополчане —
Нивхи, зыряне.

Мир мой поблекший
В омуте дня
Вовсе затихший,
Лей на меня
Тихо и пышно
Пыльные стекла
Через поля.

Тра-ля-ля-ля...

Чтобы промокла
в нише душа.

* *
*

Летчик, лечи эпидерму
Летного поля —
Мокрую колкую нерпу
В сердце неволя.

О, подрезай, недоверчив,
Жилисты рощи
Каучука с гуттаперчей,
Ангел мой тощий.

Выжить, не жить, на живот лечь
Или на спину,
Чтоб затлевал утром Углич
В горле ангины.

Видишь ли, око Хичхока
Темное дело
В люлечке glands под сирокко
Зрит онемело.

Бейся, ликуй, мой мышонок,
Тихой добычей
Лунолюбивых пеленок
Плача, курлыча.

* *
*

Никогда уж не приснится —
С подмороженной губой
Звездочка-отроковица
В ледяной гудит гобой.

В смертной извести долина,
Не горит желток костра,
Ведь кошмарна и сладима
Старшая ее сестра.

Неродная, неродная
В корке наста голубой.
Глубины холодной, дна я
Не достал еще рукой.

Звезд промерзшая пехота...
Но шмелем вползает смерть
В зимний улей небосвода,
И нельзя туда смотреть.



АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

*

РОМАН С ПРОСТАТИТОМ

Миниатюрный посланник вокзального табло, электронный будильник зелеными квадратными цифрами промерцал отбытие. В горелом дупле наконец-то восстановили лампочку, упрятав ее за стальную пластину, иссверленную густым горошком: мы оказались осыпанными новогодним конфетти из света, чудовищно растягивающимся к полу. На перроне пахло угарным титаном, вагонным сортиром — манящим запахом дальних странствий. Я обнял ее так удачно, что она сдавленно охнула: «Б-больно!.. У меня здесь язвочка двенадцатиперстной кишки — только один врач, кроме тебя, сумел прощупать». Кишки... врач какой-то ее щупал...

— Теперь буду везде об тебя спотыкаться... Об пустоту.

— Главное, чтобы в мыслях... Чтоб было о чем думать.

— А с кем жить? У меня был друг, с которым я хоть изредка чувствовала себя женщиной, а теперь больше не смогу.

Самое скверное — я растерял ровную безнадежность, с которой почти уже некуда падать.

— Я опять что-то ляпнула?.. Но мы же взрослые люди...

— В этом-то и ужас. — Я надрывался, как раб в египетских копиях, чтобы выкатить на-гора каждый новый слог. — И уже ничего нельзя поправить...

— Как же ты поедешь в таком состоянии?!

— А как останусь?

— Я бы тебя как-нибудь разговорила, разласкала...

— К несчастью, я взрослый человек. Я не могу не знать того, что знаю.

— Я не взрослый человек, у меня только мясо червивое! — раздавленно сипел я, и в трубке снова шелкнуло: междугородный телефон, оказывается, сам собой вырубается каждые полчаса. Новое жужжание. Нищенской дудочкой она тянет все-таки свое — ихнее: нужно же как-то мириться с естественным, с неизбежным...

— Я ненавижу естественное, я ненавижу неизбежное, я башку готов расколотить об стенку, что уже ничего нельзя поправить, что ты никогда не будешь той девочкой из одного света, какой я тебя ощущаю!..

— Но ведь, если любишь человека, нужно все в нем...

— Я не могу принимать в тебе чужие волосы, чужие слюни, чужую сперму — лучше я буду твоих тараканов обсасывать!!! — в предутренней тиши раздавленным сипом, сипом, сипом...

— Но я же мирюсь, что у тебя есть жена?..

— Нас воспитывали по-разному! Меня учили, что девушка должна быть целомудренной, а парень чем кобелистей, тем почетней!

— Тебе просто удобно так считать.

— Мне удобно было бы хлебать вместе со всеми из общего корыта, но я не могу — понимаешь? — НЕ МОГУ, ты меня просто убьешь, если будешь приучать к помоям, к простоте! Я никогда не примирюсь — слышишь? — НИКОГДА не примирюсь, что ты *взрослый человек*, что можешь с кем-то там трахаться для укрепления здоровья — это когда я к тебе на цыпочках приближаюсь, в инвалида превращаюсь от возвышенности, а кто-то спокойно на тебе пытит, елозит, спускает... и ведь опять, опять не сдохну, тварь живучая, таракан!.. — наружная кладка у нас на кухне очень прочная: можно череп расколоть, и никто не услышит.

— Что ты там делаешь?! Ты все не так понял, он просто ко мне приходит, как верный Санчо Панса, — посидим, поболтаем, он починит что-нибудь... Я его на прощанье даже не всегда целую. Я про многих мужчин пыталась представить, что бы я с ними могла — погладить, поцеловать... а кожей прижаться получалось только с тобой. Летом в автобусе без рукавов, бывает, прямо передернет...

Убить всегда легко, но чтобы так легко воскресить...

— А Рина нас слушала-слушала и навалила вот такую кучу...

— Идеальный комментарий. Поставила точку.

— Ты зря смеешься — старость не радость.

— Мне ли не знать... Но раньше я думал, что тело — просто источник вечных унижений, а ведь это прямо смерть нашу носим на себе.

— Тебе слишком повезло с телом. А у меня всегда что-нибудь болело. Ну ладно, надо убирать — ты ведь вроде уже ничего?

— Ничего, можешь заняться другим дерьмом. Ведь если любишь...

— Да, мне в тебе ничего не противно! Я тебя люблю со всеми потрохами. Я не умею разделять душу и тело.

— Но ведь лучше же было бы, если бы у меня в животе не бурчало?

— Не знаю, я все принимаю как есть.

— Но вот у моего же образа не бурчит?

— Н-ну... пожалуй.

— Вот видишь! Где ты свободно творишь свой мир — в своем скафандре — оттуда ты потроха изгоняешь.

— Ой, да ну тебя, я за тряпкой побегу, а то тут такое амбре!

Чтоб окончательно изгнать материю, я заранее выключал свет и закрывал глаза. И после тринадцатого удара обретала человеческий голос девичья душа, заключенная в далекую кукушку, — сквозь откашливания все никак не прокашливающегося Хаоса я различал исполненное бесконечной нежности — «При-вет». «Еще, еще, еще...» — в блаженных корчах я начал слегка извиваться на своем пальтишке, словно пытаюсь незаметно почесать спину. Но мне хотелось лишь как-то втиснуть, вобрать ее в себя: Его Суверенное Высочество не желал служить стандартным дорожным указателем, он, казалось, беспрерывно прислушивался к раскошегарившейся вулканической деятельности у его невидимого истока.

Зато щепетилен я сделался, как обнищавший идалго: зачем она тратит столько денег на разговоры со мной? Сначала она обижалась («как с чужой», «единственная ее радость»), а потом начала подшучивать: иди ко мне в верблюды — будешь сумки таскать. А то у всех челночниц неприятности с гинекологом, да и рэкета ради полезно иметь рядом мужчину... «Я только чучело мужчины, мне каждый встречный внушает ужас — вдруг он ко мне притронется...» — «Ничего, и чучело может отпугивать воробьев. Одну мою знакомую в Стамбуле заставили войти в квартиру и изнасиловали». — «Ты умеешь делать рекламу... Теперь я к Стамбулу за тыщу верст не подойду. И тебе бы, будь моя воля... Этот вечный кошмар — вечно бодаться со скотами на их территории...»

Плоть неотлучно сосредоточилась в припекающем очажке. Чтобы не подвергать потускневший жидкий янтарь опасным автобусным штормам, я захватил в поликлинику пустую майонезную баночку. Придерживая ее под полою — ожившую, горяченькую, — я вновь завидовал тем самодостаточным личностям (и женщины, и женщины...), которые гордились всем в себе (из себя), — будто дар жрецов богам, несли на алтарь медицины то кефирную бутылку с прогорклым подсолнечным маслом, а то и могучий пастозный мазок под стеклом, принадлежащий как бы бурому медведю, прыгучие овечьи орешки или нежную охру легких жидких фракций. Бумажки направлений под донышками были в мокрых пятнах — уж и в банку не попасть... Но и мой билет на исследование (меня? ведь это тоже я?) немедленно пропитался сочно, как промокашка: столик был весь в лужицах. Я оказался на редкость густокишащим аквариумом микроскопической нечисти.

— Спустите штанишки, трусики, обопритесь локотками о кушетку, — с твердой лаской попросил юный доктор Ершиков.

Я видел из-под мышки, как он ответственно смазал гондончик на пальце и — он энергично массировал какую-то упругую рыбку, которой во мне и водиться не могло, и она отзывалась такой болью... Я отчаянно мотал головой — нет-нет, не может такого быть! — и вдруг стремительно выпрямился: свело судорогой мышцы окаменевшего живота. Доильное движение — и из меня излилась белесая жидкость.

Простатит... Меньше ходить... Колоться-прогреваться... Снимем острое... Займемся восстановлением потенции... Но я был травленный зверь и добрел до дома уже в броне непроницаемой безнадежности. Верно — от ходьбы ныло там. Монотонно набрал номер.

— Тебе было мало гостинной, хотелось в санузел? Ну так хлебай: у меня простатит. Поздравляю.

— Это лечится, а что это такое, почему меня?

— Простатит поражает именно то, что у вас зовется любовью. Зато я наконец-то получил единственное уважаемое — медицинское освобождение от всеобщей сексуальной повинности.

— Мы это потом обсудим, у нас или у вас. Ты-то сам как?

— Какой «сам»? Простата и есть я. Сердце мужчины.

— Может, мне приехать?

— Я не смею... Меня сегодня опустил почти однофамилец твоего супруга — доктор Ершиков.

— Все, я выбегаю.

Она летела по перрону, как солистка ансамбля песни и пляски народов Севера, раскидывая полы своего защитного пальтишка с рукавами белки-летяги низенькими сапожками, носившими прежде опасно-элегантное, а ныне обмилевшее имя «Симод». Но метро уже закрывалось, мы проскочили под самой гильотиной.

Оказывается, уже много лет, даже «развлекаясь», я ни на миг не ослаблял узды, чтобы не увидеть, не осознать. И какое это оказалось ни с чем не сравнимое счастье — просто сидеть за столом и смотреть друг на друга, без долгов и задних мыслей! Я расслабился до того, что начал прижимать чашку с чаем к тому месту, которое мне постоянно хотелось чем-нибудь пригреть.

Приют нам предоставил самый утонченный из моих друзей — под галереей портретов Блока я целовал ее испуганное тельце, не испытывая ничего, кроме жаркой благодарности и нежности, неотличимой от боли. Вдруг я заметил, что Он, истерзанный и бесчувственный, как Хаджи-Мурат, поднялся достойно встретить смерть. Не воспользоваться было бы глупо. Боль — пустяк, но если она пронзает именно тот узел, где аккумулируется сладострастие... Я скорчился на постели, ухватившись за самый корень зла. Но дух мой остался тверд. Сделай теплую ванну, сумел я выго-

ворить без лишней театральщины. (Как все ужасно просто... Упрости простоту — «прастата», — и не отличишь ее от простаты...)

Ниже ее пионерской спинки все подрагивало на зависть любой буфетчице. Как она оказалась со мной в ванне, мнения наши впоследствии разошлись: она утверждала, что я сам ее туда втащил, я же настаивал, что, напротив, я отбивался: «Я же больной!..», а она непреклонно отметала: «Здесь не санаторий!» Но в ванне, в тесноте, да не в обиде, оказалось еще непринужденнее, чем за чайным столом. Возвращаясь к норме боль была только забавной, зато спазм нежности в груди никак не желал ослабляться: если бы я дал себе волю, я раздавил бы ее, как котенка.

— Не тушуйся, — залихватски ободрял я, — сейчас вся печать в ин-струкциях по альтернативному сексу.

Я подкатил глаза во мглу сладострастия, мой указательный палец, обретя гибкость щупальца, начал ввинчиваться в упругие глубины альтернативного секса. В духе Ершикова...

— Как будто в кресле на осмотре. — Она тоже прислушивалась к своим откликам альтернативного сладострастия. — И по животу так же погло-живают.

Кажется, именно стеснение в груди, а не где-нибудь еще требовало разрешения, когда я, зарывав от помрачающей боли, ближе к бредовому электрическому свету все-таки втиснулся в нее — беспомощно распластанную, оцепеневшую... Но дальше я вспарывал беспощадно распластанное ее тельце своим бесчувственным протезом с каким-то бешеным торжеством: ага, я все-таки победил тебя, мерзкий червивый субпродукт, победил, победил, победил!.. Мне было не до нее, но, видно, что-то человеческое я все же всколыхнул — внезапно я почувствовал приближение прежнего «ТУКК!..». Я поспешно вырвался на волю.

— Не бойся!.. — Она была полна жертвенной бодрости.

— Ты что, хочешь залететь?

— Я никогда не залетаю, — дар любви и преданности.

— Когда это было? — с мрачной ненавистью спросил я.

— Очень давно, — рапорт новобранца.

Меня спас огненный ожог — охнув, я даже не посмел схватиться за палящую рану. Она кинулась, спасая, спастись в ванную — нагота казалась уже будничной, банно-полинезийской. Загудели краны.

В полусвете торшера возникли обе — встревоженная пионерка и ядреная бабенка.

— Я тебе так верил, — горько укорил я пионерку. — Я уже собрался вывесить окровавленный белый флаг капитулировавшей невинности, а ты, оказывается, изменяла мне... надеюсь, только с мужем?

— Только, только, клянусь, хочешь, я во искупление буду тебе пятки лизать? Женщинам бы такие пяточки!..

Александры Блоки укоризненно смотрели со стен.

— Хватит, хватит, щекотно, унизься как-нибудь иначе!..

— Ха, унизься... Собаки же лижут, а они лучше людей.

— Проще.

— Что тебе еще полизать, руководи. Дай я его погрею — бедненький, я не понимаю, как в тебе что-то может быть противно!

— А если бы... на нем была бородавка?

— Ну и что, наши соски — те же самые бородавки.

— Спасибо за подсказку... Кстати, у тебя слюнка очень вкусная — кисловатенькая такая!..

— Ф-фу! — пристыженно и счастливо.

— А если бы здесь была водянка — фиолетовая, на пол-литра?

— Я бы только боялась что-нибудь повредить. Меня скорее могут раздражать запахи, звуки... Когда Ершов брался за яблоко, я уходила из комнаты.

— Но почему же все-таки принято этой штучкой брезговать?

— Ну, это как рабочий в спецовке — сам красивый, но заляпанный. В ребенке же ничего не противно. И в себе. А ты сразу и я, и ребенок. И Он ребенок — смотри, какой неугомонный! Спать сейчас же!

— Тебя собственная собака не слушается, а ты вздумала Его Высочеству... А за упоминание Ершова я тебя, пожалуй, изнасилую.

— Тебе же нельзя, что доктор Ершиков скажет?..

— Не вертись!

— Ишь как по-хозяйски... б-больно!..

— Отлично, имитация дефлорации... Терпи, коза, думаешь, мне не больно? — Пушистый волдырь был мне как родной.

Я рычал от раскаленной ломоты и торжества, но заключительный ожог заставил меня целую минуту грызть собственное предплечье. Оплодотворять кипятком — это еще более страстно, чем...

— Ванна! — вдруг охнула она.

Когда я доковылял следом, придерживая ошпаренные части, она, перевесившись, вытаскивала пробку, — кошмар, чуть не залили чужую... — я поспешил отвести глаза: я был еще не готов созерцать эти тайны, мудро сокрытые от смертных.

Ну разве не обидно, что и у богинь все такое же?

Она выпрямилась, увидела меня.

— Никак не могу привыкнуть, что ты такой красивый — и мне принадлежишь!

— Обладеть — и меня можно назначить в красавцы...

— Красавец и красивый — это разные вещи. Я так бы хотела от тебя ребенка!

— Дети к любви не имеют... Ты еще не наелась детьми?

— А что — много было и радостного.

— Для меня все удовольствия в сравнении со страданиями — полные нули. Пена против чугуна.

— Зачем же ты мне тогда написал?

— Спасался от пытки. Вокруг удовольствий такие водить хороводы, как сейчас, — в голодный год играть хлебом в футбол.

Утром, в полдень, я долго и растроганно любовался через полуоткрытую дверь, как в одной коротенькой безрукавке, подрагивая, подобно умывающейся кошке, моя богиня чистила зубы, вглядываясь в невидимое зеркало. Взялась за расческу — волосы плескались тяжелой волной, прибором. Я балдел от ее кошачьих повадок: когда она осторожно осматривала незнакомую сахарницу или телефон, явно ощущалось желание еще и обнюхать. И над подгорающими гренками она наклоняла голову, как любопытствующая кошка. Но меня покорило, что снизу она теперь была в одних колготках — прелести ее просвечивали очень уж стандартно, как бандитская физиономия сквозь натянутый чулок.

— Ты при всех ходишь в колготках? — не удержался я.

— Обычно без. — И жалобно: — Но мне же хочется, чтобы ты мною тоже полюбовался, а из-за этих чертовых вен... Так я лучше чувствую, что я твоя. Если бы ты меня оставил на стеночке, такой бы близости не было.

С тех пор, когда она норовила как бы ненароком проскользнуть мимо меня голышом, я чувствовал одно: бедное дитя... Но и я что-то стал не склонен прятаться в одежду: нагота стала знаком, паролем, а не голой плотью.

Я назначил простатит в забавные обстоятельства — еще забавнее хромоты, слякоти, поглощенных Хаосом автобусов: нам ведь было все равно где — лишь бы вместе. В Эрмитаже я не повел ее к любимым — мы бродили без разбора среди случайно докатившихся до нас паданцев тысяче-

тиями разраставшегося древа дури. И так было уморительно, что каждые полчаса я чувствовал серьезную нужду посидеть. Или сходить по несерьезной нужде. Причем два раза подряд.

Я целомудренно отводил глаза, когда на ее багровеющей шейке вздувались грубые жилы от неотесанного кашля: вчера нам было все равно, какая погода.

— Я к такому не привыкла — одна, в чужой квартире...

— Но не могу же я вторую ночь подряд...

— Чтоб было «в чужой квартире, с чужим мужем»? Я ужасно боюсь нарушить твою семейную жизнь. Но только, пожалуйста, не говори, что все равно, женаты мы или нет.

— Ты хочешь радугу запереть в чулан.

— Это естественно и нормально, — скороговорка отличницы.

Но ведь только неестественное может быть прекрасно?..

И все же, когда в декретную полночь вновь пропела расколдованная кукушка, ни пола, ни потолка, ни билетов, ни поездов, ни наших тел в мире снова не было — остались только голос и слух. Зато на амбулаторном конвейере, в темном, провонявшем больницей коридорчике, где предусмотрительные бабы уже перед дверью начинали задирать подол, чтобы в стоячку получить свою иглу в самодостаточный зад, одно лишь тело у меня, благодарение богу, и оставалось. И на кушетке за занавеской, когда я заваливал выкроенные из цинкового ведра электроды на промежности длинными клеенчатыми мешочками с песком, — тоже оказалось, что мертвым припарки иногда все-таки помогают: я уже вставал не по пять, а по три раза за ночь.

Навешанной мною лапши достало на еще одну командировку в Химград. Венецианские колья тщетно пытались пригвоздить черную текучую жидкость среди неясного китайского траура ночных снегов. «Мануальная терапия», «мануальная терапия», — читал я едва различимую рекламу над суставчатой автобусной дверью. Иней, окутанный парами зарешеченной бездны, был и впрямь на диво жирным и барашковым, но в горелом дупле, осыпанном электрическим конфетти, я прижался к ней, словно к источнику спас... забвения. Она гладила и гладила меня по лицу — мануальная терапия. Но хрусталь, вино — это было до того *обыкновенно*...

— Алкоголь мне доктор Ершиков настрого...

— Главное, чтоб сверкало, звенело... А я и так пьяная.

Марчелло жил у своей настоящей. В ванне мы возились именно что как дети: я не приглядывался и не примеривался, а только узнавал родные места вплоть до просочившейся марганцовки. Я позабыл и о Его Высочестве с его неоплатным солдатским долгом (да и увольнительная от Ершикова вообще обращала долг в одолжение). Но к столу я все же накинул халат с махровым капюшоном благодушествующего инквизитора: мир наготы, мир свободы от долгов, оценок и безгласности не должен соприккасаться с тарелками, вилками... Я ощутил ее предметом, «бабой», лишь когда, сбросив халаты, мы обнялись в подводном мерцании взбесившихся электронных часов, показывающих два часа семьдесят четыре минуты, и я почувствовал запах вина из ее губ: это был *обыкновенный* запах, на который Его Высочество немедленно сделал стойку. Зато и в движении, которым она ко мне прильнула, я отчужденно почувствовал постороннюю примесь — «пьяной нежности».

— Заперто, — вертелась она, — видишь, как я сухо тебя встречаю...

— Вы помните, наверно, сухость в горле... — невзирая на ломоту в зоне Ершикова, я упорно — зов Механки! — ломал и ломал ей целку.

— Щекотно, щекотно!.. — И — со счастливой гордостью юной мамы: — Она мне ноги лижет.

В союз наш принять ее третьей уныло просилась проснувшаяся псина. Неплохое извращение... Моя богиня промелькнула соблазнительным силуэтом на матовом светящемся окне и, нагая, со вздымающимися распущенными волосами, летая под потолок, как ведьма, принялась расставлять на книжных полках зажженные новогодние свечи. Я сжался, страхась увидеть нас в спектакле «Любовь при свечах». Я ведь и не представляю, что для нее означают свечи, умирал я приподнявшую свои головки гидру моей поганой придиричивости, — может, воспоминания детства...

О своем немом протезе я и думать забыл — только бы с головой в нее втиснуться, раз уж невозможно вобрать ее в себя.

— Б-больно!..

— Поверхностный ты человек... неглубокий... — Мне уже хотелось простоты: насладиться контрастом между маской и сутью.

Ступни ее теперь были недоступны собаке, и та безнадежно скулила. Если их в это время напугать, они не могут расцепиться... «Склезились» — привет с Механки...

Снизу я уже отдал ей все, что мог, — уже терпимо ошпарило извержением гейзера, уже начал затихать ноющий отзвук в зоне Ершикова, — но затянувшийся в груди узел невыносимой нежности и не думал расслабляться.

— Не поверила бы, что может быть так хорошо...

— Ты же ничего не чувствовала. Вижу. Слишком уж канонические позы принимала. Настоящий диалог никогда не может идти по заданному плану. Видиков насмотрелась? — Я был бесконечно снисходительным умудренным папашей.

— Как-то досмотрела до середины...

— Ну вот, теперь и у тебя все как у больших... можешь наконец успокоиться, отдаться человеческому.

— Не понимаю, почему *это* не человеческое.

— Потому что этим занимаются и собаки. А человека делает человеком только дар дури — свою выдумку ставить выше реальности. Не «человек разумный», а «человек фантазирующий», за это только он, царь природы, наделен аристократическим даром душевных болезней...

— Вот это все, значит, выдумка? — В ответах лампадок оседлав мои голени, она упоенно вникала ладонями в мои изгибы: — Потягушеньки, потягушеньки... а у собак *это* мне больше нравится, чем у людей. Если она не хочет — он ни за что не станет настаивать. — Мечтательная пауза. — А когда надо, она поднимет хвост... Как это женщины знакомятся с мужчинами и сразу же... Неужели я бы тоже так могла?

— Человеческое не даст. Плоть должна очень много ему предъявить, чтобы получить пропуск из сортира в гостиную.

— А может, могла бы?... — не желала она входить в мой образ.

— Физически-то, разумеется, могла бы... — начал заводиться я.

— Это-то ясно, надо просто лечь и раздвинуть ножки.

— Госсподи... Прополощи рот! У меня же это теперь месяц будет отзывать! «Надо просто лечь и раздвинуть ножки»...

— Я так сказала?

— Ты хоть себя-то слушай, что ты ляпаешь!

— Ну, успокойся, успокойся. — Мануальная терапия и впрямь была чудодейственным средством.

— Черт с тобой, иди вымойся на всякий пожарный. — Язык все же не выговорил «подмойся», как ни хотелось упиться сладостной простотой, паролем для двоих посвященных. — «Я никогда не залетаю»... Умеешь же вовремя сказануть!..

Но она прекрасно различала, где мука, а где благодушное хозяйское ворчание.

Ошалевшие часы показывали шестьдесят семь часов двенадцать минут. За матовым окном внизу сиял озаренный праздничной лампионией при-

зрачно пустой опал дворового катка. И меня охватило совершенно неправдоподобное блаженство.

Я осторожно приоткрыл дверь в ванную. Прекрасная ведьма сидела верхом на гибких прутьях водного помела, бьющего из черной головки витой сверкающей змеи. И я впервые в жизни не испытал порыва отвернуться. Когда-то дочурка любила кидаться ко мне с радостной новостью: «Я покакала!» — и женское «ла» отзывалось во мне особой горечью: даже это чудесное, безгрешное создание тоже обречено мерзостному рабству... Но сейчас я смотрел и смотрел, и умильное примирение царило в моей душе. «Люблю, люблю, люблю», — само собой, как пульс, стучало во мне.

Она бережно опустила извернувшуюся змею и принялась меланхолически намывать зеленую губку — ломтик сочного болотного мха. Внезапно — раз, раз, раз — кошачьей лапкой по кафелю, но тонконогий юнец оказался проворней, он уже устраивался поудобнее в бритвенной щелочке при холодном кране — только подкрученный вильгельмовский ус шевелился озадаченной антенной. Она сделала лягушачье движение оседлать вспенившуюся губку — и вдруг стремительно оглянулась, выпрямилась, залилась краской: «Ты давно тут стоишь?» — «Не бойся, ведь я тебя люблю», — впервые выговорил я. «При чем тут «люблю»!.. Ну пожалуйста!..» — она сжималась, сдобности обращались в камень, но я с губкой в руке проник во все скользкие, до доньшка любимые закоулки. Было девяносто восемь часов семьдесят девять минут.

Я заметил: люди ни рыба ни мясо никогда в меня не влюбляются, а мои антиподы — энергичные, оптимистичные — бывает. Славный усятый большой начальник Газиев чуть не плакал, что грабительское государство наложило лапу на валютную выручку. И каким же настоящим ученым и ленинградцем я себя показал, когда согласился консультировать без денег — пусть только оплачивают дорогу.

Главное не то, чем наслаждаешься, главное — чего ждешь. Но сколько радости ей доставил мой простатит! Взбить к моему возвращению пенно-душистую ванну (и с бедовой вороватостью забраться туда же), развернуть снейдеровский стол (но чтобы ничего острого: она еще и выдумывала для меня новые запреты, чтобы поизощреннее их обойти). Кажется, даже новое изгнание Марчелло из института (московский филиал) преобразалось в нечто восхитительное: необузданность юности!

Не зная, какой еще бок подставить горячему току любви, исходящему от меня, она разложила свои детские фотографии. Уже с тайландскими скулками, хмуренькая — только что напугали, будто идут немецкие танки, она так улепетывала, что потеряла сандалик, его потом даже и не нашли; а вот ее дом — сразу видно, Управление, вот ее папа дразнит собаку телеграфным столбом: удачно шелкнули, дальний столб в руку. Странно, что в ее нездешнем мире столько знакомых лиц.

— Тебя послушать, ты людей ненавидишь. А сам обо всех отзываешься лучше меня.

— Мне каждого жалко, что он обречен всю жизнь добывать себе еду. А потом еще и от нее же избавляться... Иметь детей, болеть, умирать... Я ненавижу только их наклонность все грести под себя, этот маленький человек все под себя приспособил — христианство, гуманизм, рынок, демократию... Сначала его только пожалей, верни ему шинель, а потом уже и Пушкин должен быть у него на посылках... Как же — все для блага человека!

— Ну, не заводись, не бледней!..

— А если они потихоньку-полегоньку растаскивают на дрова тысячелетний сад! Только отвернись — уже на место таланта, гения подсунули порядочность, равноправие... Может, и правда гениев больше не будет — будет только приятное и полезное!..

— Все, кончили, начинается сеанс мануальной терапии.

Всем рекомендую: сердечный прибор стих в три минуты.

— Дай я тебя обслужу. — Хотелось разлечься в простоте, как в теплой ванне.

— Чтоб я больше этого не слышала!.. — пионерская торжественность. — Второй Ершов... Его словцо. Тоже сначала за грудь, а потом начинается заваливать...

И чудо из чудес: я не почувствовал ничего, кроме пристыженной жалости.

Его Высочество были как будто отморожены, но я ощущал упоение несравненно более оглушительное, оно заполняло меня целиком, а не я стягивался в чувственную точку. Не аппетитный предмет был у меня в руках, а наоборот — я был ею: счастье перехватывало дух от каждого ее движения, вздрагивания, стоны... Апробированная передовой наукой клавиатура бездействовала, пока я не начал горячечно нашептывать ей постыднейшие любовные затасканности, — и тут зазвучало все, совершенно, казалось бы, для экстазов не предназначенное: она поверила, что здесь нет свидетеля — только восторженный слушатель, — во время этого дела мне стало не стыдно смотреть ей в глаза. А когда, преступник вожатый, я пробежался пальцами по ее пионерской спинке, она вдруг обезумленно задыхнулась (ведро ледяной воды у летнего колодца) и окаменела — с ногтями в моих лопатках. О, сладкая мука мазохизма!

Она смущалась при виде моих гордых рубцов, но теряла сознание снова и снова. Мой скромный протез обратился в дирижерский жезл, управляющий оркест... нет — океанским прибором, лесным пожаром, перед которым можно простоять полчаса, в изумлении разинув рот. Она щедро отзывалась самым неуловимым импульсам: когда после завершающего ожога устьице гейзера подтягивалось, освобождаясь от последних капель лавы, она отвечала Его предсмертным вздрагиваниям долгим рукопожатием, которое — каскад чудес — я ощущал *человеческим*, волей, а не рефлексом. Во мне словно лопнула стальная переборка и человеческое хлынуло в нежилые пещеры: от чувств самых наилических — нежность, умиление, восхищение — этот живой труп, напоенный чужой кровью, вновь и вновь поднимался из могилы.

Слегка взбудораженный газиевскими восторгами, я попытался запечатлеть радость встречи в не до конца раздетом виде. И вдруг она вырвалась очень уж всерьез: «Как-то это грязно!..» — «Глупая, неужели между нами может быть что-то грязное?..» — «Ты правда так думаешь?!..» — и бросилась на шею словно бог знает от какой радости. Невероятно трогательна была эта ее манера — обнимать за голову. Она вообще не спускалась ниже пояса. Но когда я с улыбкой это отметил, немедленно спустилась и больше уже не знала никаких границ.

— Опять целый день придумывала, чем бы еще тебя убаюкать. Мне все кажется, что я с тобой не расплачиваюсь.

— Тебе же нравится смотреть, как я ем? Умножь на миллиард — вот что ты мне даешь.

— Так легко стало, просто — зачем только придумали всякие стеснения?

— Только стесненная струя бьет фонтаном. А свободная течет, как суп изо рта.

— Ты сумасшедший. Ершов, наоборот, только для здоровья...

— Здоровьем надо расплачиваться, а не служить ему... Во дожил — позволяю себя с кем-то сравнивать!.. Эх, не попался я тебе раньше... — Натруженную зону Ершикова я ощущал разодранной раной объемом в кулак. Но меня это не касалось.

— Я разве возражала? Ты и сейчас фантастический любовник — только я боюсь, что это плохо кончится.

— Как всё. Но ты такой фантастический инструмент... Жаль, что не даешь мне развернуть весь арсенал.

— Я не люблю физзарядку.

— Я всего лишь хочу, чтобы ты наконец не чувствовала себя обойденной. Сами-то по себе удовольствия душу не затрагивают.

— А если начинаешь засыпать — и вдруг как током?.. До утра потом не можешь уснуть — это душу затрагивает?

— Да... тогда конечно... А ты... не пробовала сама себя?.. — научная гадость и в простоте не выговаривалась.

— Пробовала, — отрубила не глядя. — Никакого толку.

— Ну, тогда не знаю...

— Вот и не говори.

Ослабевшее саднение я уже воспринимал как здоровье. Выбираясь из ванны, она оказалась на коленях пионерской спинкой ко мне. Я припал к ней, мокрой, губами, упиваясь, как вампир, победившими по ее телу вздрагиваниями. Их Одеревеневшее Высочество, вновь переполнившись деятельной человечностью, снова рвались в бой. Я начал наклонять ее к последней вседозволенности, бормоча что-то вроде «дядя не обидит, хорошая, хорошая собака» (та, махнувши рукой на все эти странности, укрылась у себя под мышкой). Мне хотелось показать небесам, что я не убоюсь никаких откровений, даже венозных вишенки: бисеринки, нанизанные на фиолетовые волоски капилляров, уже вызывали только укол нежности. И я не отшатнулся, только она порывалась выпрямиться. Борясь, я одной рукой удерживал ее, другой Его, но символически жертвоприношение, можно сказать, все-таки состоялось.

Девственной алости ее щек позавидовал бы пионерский галстук.

— Еще и больно... Направление неправильное.

— Но если ты предпочитаешь умереть стоя, чем жить на коленях...

— Ты думаешь, только у тебя есть гордость, самолюбие?.. — мгновенные слезы, поразительной чуткости инструмент...

— Глупая девчонка — я же смеюсь от счастья! Оказывается, можно выйти замуж, родить ребенка, торговать на барахолке — и остаться той же самой «хорошей девочкой».

— Ну конечно, я такой и осталась.

— Да и я вроде бы знал, что душа и тело — совершенно разные вещи. И все равно ты мне казалась как-то непоправимо опоганенной.

— О, Мирей Матье! Теперь ты и выглядишь на свои пятнадцать.

— Мне вообще идет короткая стрижка. Пышненькая. А вот Ершов сказал, что это комплимент для Мирей Матье, а не для меня.

— Ершов говорит комплименты, подает руку, придерживает дверь, он, судя по всему, вообще отличный парень...

— Мне это все в один голос говорят. Он и мне внушил, что это я плохая. У него все всегда очень разумно: давай пока не заводите детей — еще неизвестно, будем жить или...

— Разумность — тоже простота. Если разрешить человеку пробовать, он никогда не остановится. Меня страшно волнует формула «Покуда смерть не разлучит вас».

— Почему же вокруг тебя всегда какие-то женщины?

— Я сам жертва этой заразы — «сердцу не прикажешь», «право на поиск»... Священное право на распущенность: если чешется спина, бросай поднос с посудой и чеши спину. Но я больше не хочу считать себя рабом стихий — ни внешних, ни внутренних. Если я не исполнил долг, значит, плох я, а не он.

— Почему мы словами все время друг друга царапаем, а руками...

- Слова — это правда мира, а руки — правда мига. Мануальная терапия — чудодейственное средство...
- Точно, точно, руки добрее языка.
- Не говори, иногда и язык... где они там у тебя?.. Давно что-то не целовал тебя в губки...
- Нет, нет, нет, сегодня нельзя!..
- Пустяки, тампоны «Тампакс» — идеальное средство для современной женщины! Свобода: вчера стыдно, сегодня элегантно!
- Перестань, а то я снова начну стесняться...

Блаженствовать с открытыми глазами — в мире, а не в скафандре — она не умела. Ниточка свисала из нее, как из новогодней хлопушки.

Повелитель стихий, я упивался своим могуществом и ее неисчерпаемостью, в которой и штиль был не менее восхитителен, чем шквал. Вдруг я заметил, что из ее прикрытых веками морских ледышек к ювелирным ушам тихонько струятся слезы. Я же не зверь, я почувствовал все, что положено, — жалость, неловкость, но и — скуку.

Подобно русалке, я сумел зацеловать, заласкать, загнать внутрь прожегшие нашу атмосферочку прозрачные метеориты правды. Подтаявшие льдинки снова зажглись радостным интересом.

- А ты знаешь, что у тебя нос кривой?
- У Каренина объявились уши, у меня — нос...
- Наоборот, мне теперь кажется, что у всех носы неправильные, а у тебя правильный.
- У меня был очень крепкий нос — никак не могли разбить. Только головой наконец разбили.

Чувствуя себя серьезно уязвленным, я вгляделся в ее носик, но неведомый мастер вырезал его без малейшего изъянца. Короткая стрижка ее распалась на прямой семинарский пробор, и...

— Ты ужасно похожа на молодого Горького. Антикариатура — такой хорошенький Алексей Пешков.

- Приехали. Поздравляю.
- Почему меня?
- Тебе смотреть.

Она поспешно удалилась и, грянув унитазной ксилофонной клавишей, которую сам я всегда обеззвучивал рукой, вернулась уже египтянкой: полосатое полотенце прикрывало ньютоновские бигуди. Пышненькая... Но непоправимое уже случилось. В победном кураже я вообразил, что мне море по колено, — не зажал уши, когда она, запираясь, клацнула сортирным затвором, — и услышал, как бодрое журчание завершилось беззаботным залпом. Не смейтесь — залп «Авроры» сокрушил великую империю.

Было минус семь часов двадцать три минуты. Время двинулось вспять.

Но телефон понемногу освобождал нас от мяса и слизи, от пульсирующих мешков и трубок. «Ужасно скучаю», — убито повторяла флейта, и меня охватывало счастье под маской сострадания. «Тараканов уничтожаешь?» — «Уничтожаю. Я им спать не даю». И я слегка уступал сладостным корчам умиления. Но при виде долгожданных бастионов и трубных сплетений Химграда в самое сладостное из блаженств — в блаженство предвкушения — вливалась ледяная струйка тревоги. Чтобы опередить где-то зреющую лавину («ТУККК!..»), я начинал раздевать мою тачку; свеженькую, будто только из холодильника, уже в прихожей. «Ну подожди, — словно капризного любимчика, урезонивала она, — я совсем ничего не чувствую, я должна снова к тебе привыкнуть», — но я усаживал ее на стол и, обращаясь в муравьеда, пытался оживить атрофировавшуюся клавиатуру. Щекотно, щекотно, смеясь, елозила она, успокойся, ты все экзамены уже

сдал, отдайся человеческому, — но я все равно вторгался в нее — на столе, на полу, на стиральной машине в ванной, лишь бы не где *положено*.

В подзатынувшемся море Ершикова обжигало как следует только в первый раз, дар наслаждения возвращался ко мне, а потом мы погружались отогреться в ванну и в человеческое, готовя себя к настоящим бурям — тоже, впрочем, человеческим, ибо физиология обратилась в знак. «Соседи подумают, что я тебя пытаю», — самодовольно жаловалась она, но я каждый раз все же успевал вытереть щекой то место, которое облюновил в предсмертном усилии не отгрызть. Но ледяные капли правды из дурно затянутого крана все чаще заставляли втягивать шею. «Два дня с радикулитом пролежала, некому было за хлебом сходить...» «Иду тебя встречать, а сама думаю: может, в последний раз...» Но ведь все в мире кончается кошмаром, спасение одно — знать, но не верить! Понемногу капли правды продолбили защитный слой... а может, просто наша дурацкая ненасытная душа привыкает к каждому наркотику: заполнив любое отведенное пространство, начинает искать щелочек от новых стеснений... Меня опять начали повергать в беспредельный ужас соприкосновения с материей — со смертоносным Порядком и смертоносным Беспорядком, с низшими их агентами — чиновником и хамом. Без промаха тюкал в глаз, в пах и острый локоток Благородства.

Но теперь я сделался еще слабее, ибо мне было куда прятаться. Кое-как дотянув до полуночи, я набирал ее номер (рука уже сама повторяла набор, куда бы я ни звонил), дожидался гудка и клал трубку: за мамины деньги звонить любовн... меня передергивало от прикосновения рамок общего пользования к нам, неповторимым. Вины перед мамой я не чувствовал — лучше ей было, что ли, когда я подышал у нее на глазах? Но вот перед ее вещами... Беспомощность какой-нибудь ленты для волос... Непотопляемый квадратик аккуратнейше сложенной туалетной бумажки... Промокашка, бывшая отличница — ммм... Но и понурая фигурка в защитной курточке «белка-летяга», бредущая против ветра по химградскому перрону — или торопящаяся прочь, чтобы не отправить меня в путь с какой-нибудь злой занозой... Свертки мне в дорогу она принималась готовить чуть не за сутки — с такой ответственностью и многосложностью, словно хотела про запас набиться хозяйкой.

Через минуту-другую-тридцатую моя спасительница пробивалась ко мне, и я глотал, глотал, глотал этот единственный голос, как астматик, присосавшийся к кислородной подушке. «Это такая попытка, — печально говорила она, — знать, что я могла бы тебя вылечить в одну минуту, и... А ты говоришь, все равно, женаты мы или...»

Газиеву перекрыли последние копейки. Я вышустрил у приятеля заброшенную комнатенку на улице Косыгина.

Она вышла из вагона уже нахмуренная:

— Почему ты сразу ко мне не подошел?

— Тут вышли две вьетнамки — я заметался, которая из них ты.

— Понятно. — А ведь и мне шутилось через силу.

Разгульные трамваи, часы пересадок — но нам же только что было все равно где — лишь бы вместе?..

Сначала должен был разведать соседей я — «Что ж, воровка и должна чувствовать себя воровкой». Она вдруг отказалась ложиться в желоб не вполне раскладывающегося дивана, хотя простыни при ней были свои, — пришлось изнасиловать ее сидя: «Я же стою на коленях перед тобой, чего тебе еще!» В знак примирения я попытался поцеловать ее в губки с ранищими нежностью венозными припухлостями, — зажалась. Тогда я преувеличенно пожаловался на жжение — это ее слегка разнежило, но — «Однозначно не хочу. Я хочу в туалет». В куртке и юбке проскользнула в коридор, посвечивая грешными икрами, вернулась овеянная едва уловимой аурой сортира. Посреди драного паркета ее сапог в одиночку шагал к раз-

долбанной бензопиле — боевой подруге нашей коми-пермяцкой шабашки. В кухне у нас над ухом гремела неприкосновенная радиоточка. Мы прослушали «Марш Черномора», хор девушек из «Аскольдовой могилы», вихрем пронеслись «Половецкие пляски».

— Больше не приеду. Раньше, я любила Ленинград, а теперь это город твоей семьи, мне в нем нет места.

— Прошу тебя об одном: убей сразу.

— Все, поедешь со мной в Варшаву. И зарабатывать наконец начнешь. Зачем я, дура, столько времени тебя слушалась!

— Боже — милиция, таможня, гибрид чиновника и хама!..

— Ну да, ну да, по-твоему, вообще ничего делать нельзя.

— Соступать с тропы.

— Ты уже соступил.

Получив заграничный паспорт в качестве рабочего Химградского домостроительного комбината, я понял, что Империя действительно рухнула. Красные, потные в зимнем, мы прочесывали магазин за магазином: грех было не грабануть таких толстосумов, которые укладывали простыни — кипами, ночные рубашки — охапками, электробудильники — грудками, батарейки — батареями, шариковые ручки — колчанами, блокноты — кубами. Я сам высмотрел жутко рококошные золотые рамки из невестомой пластмассы.

Влачились домой мы словно пара необычайно оптимистичных рыболовов — с двумя удочками, складными, как подозрные трубы, и целой пагодой вложенных друг в друга пластмассовых ведер. А там разверзлись ее домашние закрома: шампуни, клопоморы, вешалки, мундиры, подштанники, полотенца, настольные лампы, ножницы, рубашки, шальвары, перчатки на все четыре конечности, кастрюли, запонки, ботинки, транзисторы, кирпичная кладка сигаретных блоков, ракетная батарея водок, карликовая гвардия стограммовых коньячков со скатками лесок, велосипедные камеры, консервы, ведро ручных часов, два новеньких паровоза «Иосиф Сталин» и севастопольские бастионы белковой икры.

Укладка — это искусство: каждая единица веса и объема должна стоять как можно больше и раздражать таможеню как можно меньше. Мой идеал перебегают от клопомора к кастрюле, на миг оцепенев, с безуминкой во взоре кидается к кладке «Кэмела», моего одногорбого коллеги, перевешивается через спинку стула — отодвигать некогда, — оставив на обозрение немалую омегу малую вверх ногами. Кастрюлища вбивается в вертикальную сумищу, в которой запросто можно утонуть, как в бочке. Дюралевое днище должно прикрыть самое сомнительное — авось таможенник поленился туда пробиваться.

Шлепнувшись на пол перед раззявленным баулом («Капучино»), моя богиня в пифийской отрешенности двумя руками подтягивает ногу к самой булочке, открывая мефистофелевскую бородку трусов, врезавшуюся в забытую и совершенно бесполезную для реальной жизни ложбинку, — испытание простотой достигло рекордной отметки.

«Капучино» в руке, «Капучино» на плече, в другой руке перекладинка вертикальной двуколочки с третьим мешком... В снегу двуколочка норовит завалиться набок — от усилий удержать начинает сводить судорогой кисть. Зато в московском метро пол ровнее некуда. Надо впервые явиться в столицу восторженным мальчишкой с Механки, потом наезжать подающим надежды физиком в дурмане мерещившихся прозрений, чтобы ощутить, каково вернуться в эпохальные излишества сталинского метро хромым, червивым, облезлым, багровым мешочником. Только вспышки ее потных улыбок превращали меня из ходячего мешка в немолодого безработного, обреченно решившегося снести все.

Боже, а сколько освобожденных нищих сползло из каких-то нор в электрифицированную столичную нору, обросло болячками грановитый сталинский кафель!.. А вот он, завтрашний я, — в пыльной бороде, свесивший свалившуюся голову над свалившейся шапкой, наконец-то усмиранный, готовый по первому тычку кое-как подняться и брести до следующего закутка, унося все свое с собою — простатит, геморрой, бурсит, педикулез, гирлянду артрозов...

Прямоезжие туннели были перекрыты Хаосом. На окольном эскалаторишке «Неохотный ряд» — «Квасногвардейская» в головке колонны звонко, как ахиллесово сухожилие, лопнула подпруга, и наш отрядик начал по очереди — раз, два, три — нырять носом в кучу-малу послушно, как кегли. Мелькнул ее ободряющий взглядик — все, мол, в порядке — через ныряющее плечико, брыкнули детские подошвочки «Симод», взмахнул защитный рукавчик родной белки-летяги, через закипающий прибор баулов выстрелила лелеемая моей любимой полуметровая стопка вбитых друг в друга голубых пластмассовых ведер. Я успел шагнуть влево, мгновенно оставив безнадежную попытку шелохнуть каменную недвижность волнореза — квадратного абалаковского рюкзака (крепежно-мотально-долбежный станок, вынесенный с Горьковского автомобильного завода). Перемахивая, я успел шестым чувством выловить в толще боготворимый шиворот и проволочка мой идеал до безопасной зоны, а потом, будто на сорвавшуюся с крючка рыбу, упал животом на выключатель. Сумки и хозяева начали освобождаться друг от друга.

О, гомеопатическая доза успеха! Меж черных заплаканных голов почти неотличимых друг от друга Маркса-Ленина я суетился больше всех, помогая нашим боевым подругам (их мужчины где-то держались за трудовую честь) оттащить черно-полосатые тюки к вагону с брезжившей сквозь перронный полусвет надписью «Варшава».

Непроницаемый привратник в маршальской форме, долларовая подмазка, обратившая перегруз в недогруз, на тюках среди тюков при блиндажном огоньке зажигалки разливаем из фляжек спиртягу — скудеющую кровь Химграда. Доктор Ершиков укоризненно качает головой — но как не дербалызнуть парню-ухарю, трое девок — один я! Одна моя невеста, Зина, работает на передачи сыну-герою, другая, Юля, кормит мужа-кандидата — и все млеют от моих прибауток гармониста и похабника. Мимо — как хорошо, что во тьме, — скользят дивные имена: Дорохово, Гжатск, Вязьма...

Разбуженный припекающим гейзером, я слегка захлебнулся горящим словом «СМОЛЕНСК». Она с едва слышным приставыванием невыносимой нежности горячей со сна щекой на миг прильнула ко мне в темноте со второй полки. Туалет был заперт, шталмейстер отсутствовал. «Мне так спокойно спится, когда ты рядом, — высунулась младенчески-заспанная богиня. — Что, этот идиот закрыл?!» Напористо повлекла меня на гремющую ледяную площадку. Потом и она захлопнула ту же дверь и за стеклом нырнула вниз (я караулил). Потом появилась Зина и тоже нырнула. Святая прастата!..

— Я раньше ужасно мучилась — здесь же все на виду...

Я каждый час сползал на невидимые тюки, и каждый раз она припадала ко мне с еле слышным стоном неуголимой нежности.

Владельцы тайных складов водки и сигарет (бешеная рентабельность запретных плодов!) с утра усиленно сеяли панику: надо всем заранее скинуться по десять баксов (моя зарплата за ...), — но здесь именно бедные оказались против социализма.

Когда пограничник от паспорта прицельно вскинул глаза, все так и оборвалось! Долго было не привыкнуть, что так случают фото.

— А, химградская мафия, боксеры!

Когда-то какой-то легендарный химградец подрался вовсе не с этим таможенником, но — закон кровной мести. Однако в партийно-красивом лице, в начальственных раскатах слышится благодущие. Я никогда не видел мундиров такой красоты — аквамарин со сталью.

— Раскрыть сумки! — гремит генералиссимус, и в потолок ударяет гейзер подштанников, шампуней, мясорубок, бритвенных лезвий, ночных сорочек, клопоморов (ах, как мы с ними фраернулись — эти дикари не держат клопов!). Вот-вот, сейчас из простыней просыплется град наручных часов, которыми, как квашеную капусту укропом, мы проложили все наше шмотье.

— Эт-то что?! — В Зинином рюкзаке открылась кладка желтых верблюдов «Кэмел». — В камеру! Хранения.

В мертвой Зининой руке декларация трепещет, будто под вентилятором. Вместе с рюкзаком Зина выставлена в коридор. Когда командующий скрывается в следующем купе, сорокалетняя мать распавшегося семейства падает на четвереньки и начинает метать нам сигаретные блоки; мы лихо радочно распикиваем их под матрацы.

— Отойти от двери! — Команда гремит все дальше и дальше, и Зина с голубыми трясушимися губами каждый раз вспрыгивает навывтяжку. Вагонный гофмаршал наблюдает из проводничьего купе с брезгливой отрешенностью аристократа. Из развинченного люка над его дверью вывалилась желто-алая лакированная груда сигаретных кирпичей, к которым он не имеет ну ровно никакого отношения.

— Какой хороший мужик! — вскипел благодарный гомон: никого не ссадил, ни бакса не взял...

Тогда считать мы стали раны: все кругом завалено утаенными сигаретами и бутылками, всюду на радостях чокаются. «Видишь, — шепчет мне моя маленькая покровительница, — у нас же не было никакого криминала!» Да, но если бы Хаос соблюдал хотя бы собственные законы...

Стоим. Сортир заперт. Мне уже давно пора, но если я покину обжитой кокон, я уже не смогу его разыскать. В отчаянии вижу из тамбура, что вагон вознесен ввысь, внизу копошатся чумазные черти.

В мире больше не было значений — границ, заграниц, — только убогость предметов: колючая проволока, не ахти что за речка (Буг — аукаю я, но откликается только буженина), сухая трава под небогатым снежком, — и вдруг квадратная фуражка у часового, развернутая диагональю к фронту. Помнят псы атаманы, помнят польские паны...

Поля, поля под тем же неброским снежком, деревья как деревья, не такие уж и черепичные крыши, лишь изредка мелькнет пика костела да черный латинский шрифт на указателе — для пользы, а не для понта, — значит, все же заграница.

Что-то вроде Варшавы (сердце все же пристукнуло), но весь муравейник повторяет: «Сходня, Сходня»... Ах, наверно, Восточная — Восточная!.. За полминуты выгрузить гору тюков, чтоб ничего не сперли, — эта штучка посильнее задачи про волка, козу и капусту. Полутемный туннель, жмемся друг к другу, как во времена Жилина и Костылина: рэкет охотится за отставшими. Вспыхнул чистотой и лакированной пестротой витрин вокзал, осовеченный нашими сумчатыми стадами. Тянемся полуплощадью-полуулицей, своевольная тележка на стыках бетонных квадратов норовит сковырнуться набок, а товарищеская спайка здесь та еще — ждать не станут.

Закопченные, в боевых выщерблинах стены, отдающие Ремарком, иностранные вывески, где скорее ухо, чем глаз, ухватывает русские отголоски: «увага», «адвокацка»... Магазин по-польски — «склеп»: что поляку здорово, то русскому склеп.

Из-под сыпучих ворот открывается утоптаный снежный проулок среди полипняка синих дощатых ларьков, обвешанных густым флажьем джинсов обоего пола, ларьки напичканы, глаз теряется, какой хурдой-мурдой, в которой, будто в цветастых водорослях, запуталась черная скорлупа разнокалиберной электроники. Проулком в обнимку бредут, шатаясь, два иностранца, запуская в небеса ананасом, вернее, сосулькой и лаская слух родным русским матом. Жеваным знаком капитуляции моя маленькая командирша расстелила прямо на утопанном крем-брюле алую клеенку и начала теснить на ней наши будничные сокровища под сенью перевернутой голубой пагоды, покуда я нанизывал часы на леску — с кукана их труднее стырить.

Вот она, русификация: эта юная польская парочка, желающая запастись пододеяльниками до самой золотой свадьбы, чешет совсем по-имперски. «Перекупщики, — дарит улыбкой моя повелительница, — лучше сами эти деньги заработаем — все равно стоять». Остролицый небритый персонаж из «Пепла и алмаза» обращается ко мне: «...» — цензурны одни предлоги да суффиксы. В общем, торговля идет неважно.

К хлопотливому соседке, на карачках погруженному в нежный перезвон сверлышек, фрезочек, плашечек (рентабельность бесконечна, ибо прибыль делится на ноль), которые он рассыпает кучками вокруг гордо разъявленных на небеса электрических мясорубок, подходят двое в непроглядно черных кожаных куртках, исполосованных вспышками молний. Их русский с блатным привкусом подлиннее моего, дистиллированного. «За снег, что ли?.. Вам, что ли?.. А удостоверения есть?..» — пытается петушиться побледневший укротитель металла.

Маленькая хозяйка ласково поглаживает меня по одnogорбой спине: нас не тронут (так я и поверил в законы скотов!), они на мясорубки позарились — триста тысячёнц, шутка ли! Но даже диковинные «тысчёнцы» (боже, тржи тысчёнцы, потусторонние «Братя Карамазовы!»..) меня не оживляют. Я свирепо горблюсь, утрюмо играю желваками — чуело тоже способно отпугивать воробьев, — но моя душонка, стиснутая до простоты снежка, все равно не соглашается, чтобы меня на глазах моей богини купали в помоях. Но где же, наконец, *иностранцы*?!

Они посыпались с неба — фашистский десант. Свирепый лай команд сам собой — послевоенное детство — складывается в сакральные: «Хальт!», «Цурюк!», «Хенде хох!». Владелец мясорубок, обратившийся в карлика, полуприсевшего в лыжном шагу (ботинки вытянулись, словно детские лыжи), бледно лепечет: почему я?.. мы же тут все... «Торбу!!!» — оглушает весь в невиданных эмблемах (иностранец!) страшный усач — второе пришествие маршала Пилсудского; клацают затворы, ощериваются наручники. «Может, там и есть что, я ж не продавал, я для себя... — и в предсмертной заячьей отчаянности: — Я же знаю, кто вас навел!..» Из сумки зловеще, как фиксы бандита, поблескивают латунные колпачки запретной водки. «За товаром приглядите!..» — и сельва сомкнулась.

«Вот видишь, нас же не тронули», — с бесконечной нежностью и состраданием повторяет моя защитница, и я действительно вижу под лицом, рожей, ряшкой мира смертный оскал его скелета — Простоты.

Упоенный отрешенностью старичок свишет над нами исполинской розгой удилища, накидывая по злотому за каждую золотую рыбку. Моя сошедшая с небес покровительница с необыкновенным изяществом припадает на колено, подавая панам то рамку («От графа Потоцкого», — рекомендую я мертвыми губами), то шампунь, то ночную «кошулю», которую пани без церемоний прикладывают прямо к пальто. («Цикаво», «лешше», — галантно вворачивает небожительница.) Я бы все разом спихнул за любую соломинку, протянутую из прежнего мира, где власть силы и ясность мозгов запудрены церемониями законов и приличий, но моя бесстрашная повелительница не сдается.

Ее ювелирные ручки гусино-красны от холода, она, не замечая, беспрерывно шмыгает безупречным носиком. И все равно — свету провалиться, а Ему чтоб каждый час хоть по чайной ложке... Моя маленькая няня сует мне трепанные тысячёвцы: «Не экономь. И не пересчитывай в рубли. А то кусок в горло не полезет. И наоборот». Меня уже не коробит подобный юмор, столь несвойственный прежней Соне. И первые иностранные деньги в их родной стихии — зачем только на них лепят вполуха слышанных композиторов и утонченных, судя по облику, поэтов — уж лучше бы простого Ленина... Что, за этот цементный желобок в крольчатнике моя зарплата за... Стоп! Не пересчитывать.

Сиротливые костерчики сверлышек под зевлами мясорубок' обходим взглядом, будто несжатую полосу. Я понял: собственность — золотое ядро, прикованное к ноге утопающего. Безнадежнее всего я ненавидел неотвязную стопку голубых ведер. Внезапно какая-то добрая волшебница возжелала сразу «тиш». Но подлые ведра склеились. Обхватив их всеми четырьмя лапами, я рычал, как медведь, пытающийся свернуть шею растревоженному улью, но полированная пластмасса скользила в джинсовых объятиях. Со сдавленным стоном я вонзил нож в слипшуюся щель. Волшебница попятилась и растаяла в наползающих из-под прилавков сумерках.

— Что ж вы забздели за соседа заступиться? — дружески укорил нас бодро притрусивший владелец режущих средств для железа и мяса.

— Лишний шум тут ни к чему, — сдержанно ответила богиня.

«Все хоккей»: его заставили только выпить семь бутылок водки, пять коньячков и взыскали пару-другую триллионов — разве не «хоккей»?

Надсаживающиеся светом фонари бессильны перед океаном тьмы. По железному тротуарному ледку скольжу, как некованая лошадь, но подкованная бурситом промерзлая пятка отдается звоном в ушах.

Щепотка света, четкое расписание под неразбитым стеклом, сияющий трамвай, секунда в секунду вынырнувший из небытия, — шаткие досочки человеческого порядка над бездонным Хаосом. Моя фиолетовая, пошмыгивающая носиком богиня умело перетасовывает и прикручивает сумки к тележке — так придется платить только за одно место.

Предначертанные свыше трамвайные зигзаги, черные квадраты зданий, вперивших мимо нас квадраты горящие, квадраты потухшие, квадраты затянутые разноцветными бельмами, — миры, мирки, мирочки, чем тесней, тем уютней, то есть подвластней. Внезапно под нами и над нами загремел двуслойный мост над струистой черной бездной. Ой ты, Висла голубая, простукало во мне хрустальным пальцем — и что-то откликнулось: детство, мать за пианино, недостижимая чужестранная речка... «Старе Место!» — не забыла и о моей душе окоченевшая маленькая няня, и я увидел плавающие в Висле... «Сказка! Сон!» — вырывается из души само собой, ибо уж ей-то известно, что любая явь — это просто «здесь».

Праздничные тротуары (иллюминация Елисейских полей), промытые океанариумы, в которых прохаживаются, присаживаются, закусывают, болтают нарядные и — вечная иллюзия отверженца — счастливые люди. Но ничтожный прокол — и весь этот убаюкивающий морок свистнет наружу, в безбрежную пустоту ледяной правды.

Контролер был потертенький и отмороженный, вроде нас, только с бисерно засморканными седеющими усиками безработного клерка из конторы доктора Калигари. Наша сумка средней хозяйственности трижды укладывалась в законные габариты, но он требовал штраф. Чудовищный. Вся сегодняшняя выручка, она же моя зарплата до конца моих, надеюсь, недолгих дней. Швырять в лицо можно лишь собственные деньги. «Покажите ваши инструкции», — монотонно повторял я. Полиция — еще монотонней скрипел ответ ответов. Когда наши страхи и унижения, раскатанные в трепанные тысячёвцы, были презрительно отсчитаны ювелирными гусиными лапками моей маленькой нестигаемой

командирши, она ободряюще заглянула мне в лицо и расстроено про-бормотала: ну вот, ты же вроде нормально разговаривал, не дергался... А я никогда не дергаюсь, когда все уже погребло: снявши штаны, по воротничкам не плачут, теперь мой мраморный образ в ее скафандре навсегда — о, тупая неотменимость факта! — останется изрытым известковыми потеками чиновничьих слюней.

Мы влачимся вдоль неведомой сетчатой ограды, так жирно облепленной мокрыми белыми клоками, словно за нею толпа ополоумевших садистов драла пух с бесчисленных лебединых стай. Рваная метель нахлобучивает на нас клобуки, лепит развалистые белые эполеты, но призрачные согбенные фигуры охлопывают только сумы с товаром. Под ногами какой-то взбитый вазелин — отдача сильнее выстрела. Черные, опустошенные конверсией трубы чудятся каждый раз на новом месте: наш отрядик пробивается к общежитию при какой-то железной Гуте. Манят ложными огнями изотропные на все четыре стороны силикатные хрущобы, из которых лупит снег, но мне, лишь погрузившись в перехватывающую дыхание вьюгу, удастся перевести дух: здесь что-то делаю я сам, а не делают со мной. Моя верная подружка прячется за портативным столбиком (в ее рост) пластмассовых ведер, другие бурлачки карабкаются почти на карачках, оскользаясь задними ногами, словно собаки, пытающиеся забросать свои экскременты на асфальте, — да, кони все скачут и скачут, а избы горят и горят... Если бы еще не перелавались, кто да когда не туда повернул: ткань товарищества — самый плотный и высокий из рукотворных небосводиков, заслоняющих от нас пустоту.

Первой пала Зина под черными шашками белковой икры — я вскинул пудовую сумку на плечо; затем под швейной машинкой подломились колени у Милы — одну я усадил на двуколку, другую — себе на шею. Под холодильником рухнула Женя... Не шлепнуться бы, не шлепнуться, скользя по вазелину, балансировал я с мокрой горой женщин, облепивших мои плечи. В груди пекло, словно я дышал не снегом, а костром, — это ж, наверно, первая вьюга с времен «Возмездия»!.. Блок — камень, брошенный в навеки заглохший пруд, — внезапный всплеск отсебятины. Молчат магнатские дворцы — лишь Пан Мороз во все концы...

Облупленная рабочая общага, издыхающие проклятья — лифт, как положено, не работает. Но для меня ведь физических тягот не существует: как бы ни ломило, ни подламывалось, сводило, душило, еще один шаг ты все равно можешь сделать — стоит добавить в мир горчичную пылинку игры. А пятка — ну что пятка: хромай познергичней — и всех делов. Моя еле живая любовь ухитрилась дотягиваться до меня угасающим взглядом восхищения и гордости.

Комната на десять коек — девять девок, один я (всем за сорок). Нам не до себя: первым делом рассортировать, разложить, развесить подмоченный товар. Я чуть не задохнулся в прилипшей майке — пар повалил, как от взломанной реки в мороз. Когда-то я любил поиграть мускулами перед женским полом, но сейчас хоть бы уж не вызвать брезгливости... Однако в тот же вечер моя валившаяся с ног пятнисто-красная малышка, щекоча слипшимися волосами, со скромным торжеством ламы успела шепнуть мне, что, по общему мнению, я мужик что надо. Я же своих бабонек ощущал младшими сестренками, да и они не слишком церемонились, сверкая рябью ляжек и понурыми складками поясов. Принесли нам в поучение фальшивую купюру страшного достоинства — кто-то не удосужился пощупать, шершавы ли лацканы на композиторе Монюшко.

Рядовая общажная кухня бывает и заплеванной. И заеды у пьяных вскипают и попенистее. Ах, какая болячка кетчупа запеклась на огненной линкольновской бороде!.. Главное — быть проще, и вот я уже волоку своим сестренкам мятый чайник с кипятком.

Ледяной цементный застенок, скользкие, как два тюленя, мы стискиваем друг друга под душем, невольно борясь за место в горячем конусе. Моя намыленная губка проскальзывает во все каменно стиснутые расселинки, а Он готов вот-вот взорваться от забытого напора. Только что не повизгивая от холода бросаемся растираться — но Его Высочеству и нужды нет. Чуть не приплюсывая усаживаю ее на распяленный стул с ржавыми трубчатыми лапами, хватаюсь за гусиную кожу ее расплюснутых увесистых бедер, и стул рывками скрежещет по цементу. Ничего, католики аж по лестницам ходят на коленках! Стул упирается в масляную краску облупленной стены — взрывом ее тоже чуть не разнесло. Жжет — ну и пусть жжет!

Проснулся я от хамского стука: пьяный мык требовал водки. «Продай», — вполголоса распорядилась моя партнерша (из законной водочной четверки). Нажравшийся простой человек — эквилибрист, уравниловивший на макушке поплескивающую через края охристой подливкой ведерную парашу, готовый кинуться на тебя с кулаками или с объятьями. Я обреченно приоткрыл дверь. Сорок тысячёнец за бутылку было неплохо днем, а пятьдесят — ночью. Я назвал сорок пять. Едва не забрезжил рассвет, пока он отмусоливал свои пятерки и десятки, но вдруг бесшабашно шлепнул мне в ладонь всю свою пачку. «Все, не засну...» — и как меня не бывало. Утром обнаружилось, что в пачке всей этой рвани было тридцать шесть тысячёнец.

Одну нашу перепившуюся ночью боевую подругу оставили мертвецки бледную на общей кухне пускать слюни над баком с объедками: комнаты почему-то надо было освободить к восьми.

Я снова таскал за девятых. С непривычки болело все, от пальцев до лопаток, — ну так и что? Почему-то моя любимая сестренка не простудилась. В предраассветной холодной тьме она шустро сторговалась с подкарауливающим у крыльца обмороченным автобусом, вечером пан Мачек обещал нас подкинуть и обратно. Диссонанс был бесчеловечен: завалы сумок — озноб — Блок — Варшава — совковая нахмуренность зданий... Как те ослепшие дома... Промелькнул бастион российской державности — знаменитая цитадель, неожиданно небольшенькая и приземистая, как пень от кирпичного баобаба. Вот Висла — снежной бури ад, предвкушающе колотилось сердце, хотя снег уже присмирел и не противился загребушим муниципальным Бриареем.

Проскользнули парящие в прожекторном золоте сновидения о Древней Греции. Серые твердыни сталинского ампира в каком-то нордическом варианте. Черный наждак бесконечных заслонивших тайну штукатурок. И до чего аппетитно — рынок Служивец! Изнанка всегда в миллиметре от нас, но не может же быть, чтобы я, благопристойный сотрудник солидного научного учреждения, на помойке добывал из-под снега давленные картонные ящики! Увидеть свою обольстительную наяду за крытым прилавком — увы, ей по карману только деревянный ящик под задницей да сплюснутый картон под ногами. Спина к спине повелитель сверлышек и мясорубок просветленно нахваливал свои бритвенные помазки — и сейчас стоит в ушах: «Барсук, пан, барсук!» Слева врос в лужу озабоченный отец семейства, обсеянный поросычей щетинкой, обложившийся всей необходимой скукой для дома, для семьи — вплоть до пудовых кроссовок, чтоб далеко не убежать. Справа пританцовывали три сельских хлопчика над грудой вороных лопат. Трясущаяся Зина безостановочно приоткрывала и тут же прятала глянцевый угол «Кэмела», ящик под нею так дрожал, что было слышно, как булькает криминальная водка.

Снег под нами таял от жара нашей алчности, я валил под ноги все новые и новые кипы картона. Наш плот проползал среди людского кишения, но каждый пан, каждая пани — это были однофункциональные неразличимые механизмы «возьмет — не возьмет». Боже, как беспощадно обрывает мир эта понурая убийца — Польза!

Когда хозяйка оставила меня покараулить, как назло косяком пошли охотники до часов — сортов пять, с разными ценами. Прошу, пане, одну минуточку почекайте, лепетал я, покуда отец семейства, выведенный из себя такой безмозглостью, разгневанно не перечислил все цены и ценочки на моем флаге, до клопомора включительно.

Меси познергичнее раскишую стельку мерзлыми пальцами — и никакие мокрые ноги... если бы только не зона Ершикова!.. Воротившаяся в едва уловимой сортирной ауре старшая сестренка во внезапном озарении воззрилась на мои ботинки, полопавшиеся аппетитно, как переспелая буханка, — морские льдинки подтаили слезами. С ненавистью подтащила к киоску напротив, топнула по прилавку высокими натовскими бутсами: «Меряй! Что, не хочешь одолжаться у чужой бабы?!» — «Почему, просто мне кажется, что бедным стыдно стоять за социализм...» — «Теоретик...» — наконец-то проглянула умиленная насмешка.

Новый хозяйский огляд — не пора ли, мол, смахнуть развесившиеся слюни у забывшейся псины? — и прямо в карман мне сунута пачечка тертых тысячёнц. «Иди погуляй, в этой компании я уже не боюсь», — и вновь распахнувшаяся зеленая безуминка: «НЕ ЭКОНОМЬ!»

Товарищей по отечеству нетрудно узнать и без переметных сум — мы не боимся запретов светофора и испуганно осаживаем перед вежливо притормозившей машиной: в нашем царстве все по-простому — сильный наезжает, слабый улепetyвает. Да, это единственное в мире, что сошло бы за прогресс, — оттеснение физической силы с главных ролей на эпизодические — покуда через века простота нового типа снова не грохнет кулаком: история есть грызня из-за лишнего куска, все, кроме силы, лицемерие! Какая глыба...

Зеркальный небоскреб дробил небо голубым панцирем. Что, вокзал без рельсов?! В приземистом здании открылась просторная автоматизированная бездна, обставленная перронами, разливованная рельсами, — но бетонированная бездна — это что, вот чтоб буфетчица — на вокзале!!! — и в белоснежном крахмальном чепчике!..

Она насаживает на кол не пациен... не клиента, а длинную булочку, в которую вводится сосиска и две струи — вишневого кетчупа и золотой горчицы. Бог мой, да ведь это и есть знаменитые хот-доги!.. Но на них-то я авось заработал?.. Увы, я не благородный человек, я всегда знаю, когда лгу: ведь ботинки-то я уже поимел... Но от чистых запахов, цветов, нездешних названий просто шалеешь, — а уж крахмальные занавесочки и рукодельные коврики вежливости — те способны на время скрыть от глаз и верхнюю, и нижнюю бездну: и бездну простоты, и бездну пустоты. На вокзале — и не надо зажимать ни носа, ни глаз! Мне с детским забвением приличий уже захотелось чего-нибудь совсем ненужного — вкусенького. Слоеный конвертик был свеж и воздушен, как у редкой хозяйки. Баста, больше не уступлю чужих денег муравьиной власти пустяков!

Варшава была напоена нездешностью, десятилетиями настаивавшейся, томившейся, как в духовке, под кованым на Механке колпаком, накрывшим шестую часть суши. Даже сталинская разлапистая высотка и жилые совковые цеха, удалявшиеся от ее подножия (поаккуратней наших, но с этим к товарищу Молчалину), торчали восхитительной неуместностью в хоре вызывающих блаженную щекотку имен: Маршалковская, Уздовские аллеи, Новы Свят, Краковское Предместье, Жолибож... Молчат магнатские дворцы — лишь Пан Мороз бряцает шпорами, которым едва слышным теньканьем отзываются сгрудившиеся во тьме забытые бокалы: Браницкие, Красиньские... Повстанцы спускаются в тротуар к Анджею Вайде, приземленный Прус на обочине, возвышенный Мицкевич под сетью нагих ветвей, коренастый хохол Монюшко у подошвы неохватного многоколонного театра — шершавы ли у него лацканы? Ложка пользы на бочку

поэзии... А вот и ясная площадь размером с хорошую театральную сцену, вокруг которой Головин или Бенуа соорудили дивную декорацию, — не может же это быть...

Но это было. Пятки под собой не чуя, легчайшей поступью, чтобы не спугнуть, не расплескать что-то в себе или в мире, я прошел сквозь мраморный портал общественной уборной, чтоб ничто уже не стояло между мною и тем Неведомо Чем, которое проглянуло сквозь...

Фронтончики, наличники, сграффито, лепка, резьба, чеканка,ковка — невозможно поверить, что все это только что было кирпичным крошевом, размолотым столкновением двух фантомов, — и вот все до мелочи восстановлено — при паскуднейшем коммунащем режиме, простыми в массе людьми, а гениальные гримеры снег, дождь, ветер только прошлись трещинами и облупленностями — печатью подлинности. Адский коктейль из горя, любви, пропаганды, корысти, насилия, энтузиазма, глупости, мудрости, ремесла, этот нектар с навозом сотворил чудо. Так, может быть, это я, я сам — *простой человек*, желающий из неисчерпаемой сложности выстричь бездействующий, зато лакированный муляж *чистой культуры*? Безмерную тяжесть мира едва может выдержать предельное напряжение *всех* жил потрескивающего исполинского каната, а я хочу его расплести, чтобы свить изящный разноцветный шнурок. Мы вечно обращаем сносное в невыносимое, выдумывая что-то прекрасное и невозможное. Может быть, вовсе и не пустота, а мечта о несбыточном высосала из жизни сок смысла?.. Хотя его можно найти только *во всем сразу*.

«Барсук, пан, барсук», — услышал я из крепнувшей мглы. Наш торговый флот дрейфовал в полном составе, только хлопцы с лопатами пошли на дно. Пожарным багром подтянул свою оборотистую подружку к берегу — было раскуплено почти все, кроме клопомора, — даже ведра забрала какая-то школа, а я уж думал, придется открыть им кингстоны — и в Вислу. Под покровом сумерек мы решили забросить наживку и на ловцов контрабандного алкоголя — принялись по очереди потягивать стограммовый коньячок; на его золотой огонек потянулась и подвыпившая публика. Этот для провокатора вроде бы чересчур бухой... зато тут же, без отрыва, начинает булькать из горла — демаскирует, гад... «Уходи, пан, уходи», — словно на гуся, машет на него моя сообщница и, как бывалая буфетчица в шалмане, за рукав оттаскивает в толпу. У кудахчущей пани она берет сумку и под моим прикрытием пихает туда бутылку. Пани, решив, что русские ее грабят, ударяется в крик: «Торбу, торбу!..»

Все хорошо расторговались. «В казармы, в казармы!» — слышится социалистический призыв рыночников: до казарм можно пешком. А как же пан Мачек с автобусом? Моя благородная возлюбленная собирает компенсацию. Трое принципиальных еще более благородно негодуют: вам надо — вы и платите... За них мой идеал добавляет мою недельную зарплату и улыбку, от которой мужики начинают неудержимо таять. На принципиальных паскуд она не сердится: устали, мол, замерзли... Так что ж, мы — вараны: охладимся — сволочи, а положить на батарею — опять приличные люди? Да, наверно, без нитей жадности, бесстыдства канат не выдержит, но... Если роза растет из дерьма, терпеть его я могу, но мазать на хлеб все равно не стану.

Но все же мосластый, до зелени ужравшийся парняга, успевший плеснуть пахучести нам в комнату: «Отец, — (это мне...), — закурить...» — куда моя бдительная стражница — точь-в-точь баба с Механки! — локтем, коленом энергично выпихивала его в коридорную мглу, — даже он не ввергнул меня в смертное отчаяние, а лишь испортил настроение. Стена еще долго колебалась — опустошенные перестройкой казармы Варшавского договора были сшиты чуть ли не из картона, электропроводка лежала на потолочных скобах. Самой надежной здесь выглядела тюремная колюч-

ка, охватывавшая недавний советский стан. Кровати были привинчены к полу.

Индустриальный пар из наших чашек, легкий парок из наших губ, куртки внакидку... «Соня, а чего мы тут сидим?» — «Наконец-то вспомнил, как меня зовут. Ты же меня никак не называешь, боишься перепутать». — «Нет, просто имена приходятся впору только чужим. А ты — это ты». — «Молодец. Умеешь с нашей сестрой». Но в пресветлом трамвае у нее начала падать на грудь засыпающая головка: «Мне с тобой так спокойно, как будто я приехала к папе с мамой». Не знаю, что было прекрасней — здания или их пустоты, заполненные золотом света или безопасным домашним мраком. Мы проникали в поперечные улочки, как в темные коридорчики, в которые когда-то в детстве осмеливались только заглянуть и отпрыгнуть, дрожа от восторженного ужаса. словно дети, мы клевком поцеловались и заторопились вон из круглой кирпичной кадки — барбакана, соединяющего достоинства барбоса и бокастого барабана. У нас не было тел, покуда реальность снова не вставила мне паяльник. Я бросился на поиски — прожекторные откосы, стремительные туннели, дворцы, полицейские будки, отдающиеся штрафным ударом тока в нагрудном кармане с долларами (деньги носят только *на себе* — из рук могут вырвать), наконец-то кустики, уголок прозрачной снежной тьмы — еле успеваю залить уголек кипятком. Но одна крупинка игры — и в мире нет ни страшного, ни скверного: почему бы инфанту не сбегать под кустик в фамильном парке, втягивая шею, будто в прятках?

Погреться мы заглянули на сверкающую кухню, где старая добрая служанка, помнившая нас еще детьми, по старой памяти вынесла нам две вазочки желе со взбитыми сливками. Тепло, чистота, доброжелательность — какого еще рая искала моя священная дурь?

Чистые стены, чистые стекла, освещенные дворы с ликом Мадонны вместо «Алазанских долин»... Единственная рябь на зеркальной глади — искусственные цветы напоминали о кладбище.

Мы навалили на себя все наши шмотки, включая, кажется, и клопомор, — но солдатская кровать выдержит и не такое. Тем более — верблюд, который и с тремя пудами на горбу ухитрялся снова и снова входить в игольное ушко: я балдел от ее детской спинки, уже почти серьезно опасаясь, что превратился в педофила.

Истерзанная зона Ершикова разбудила меня прежде писка будильника. В сортире пришлось-таки ухватиться за бурую переборку, когда расплавленный чугун хлынул в лоток. Зато она, наоборот, не могла ничего есть — бледненькая-бледненькая, глотала только теплый чай: разыгралась обещанная язва. Но мы все равно заскочили в знаменитые — оказалось, Лазэнки, а не Лазенки, — обошли Шопена, вдохновенно откинувшегося под завалившейся кроной бронзового модерна, прошлись среди вольных павлинов, скромно несущих параллельно снегу свои свернутые вееры, вздрогнули, когда мимо совершенно бесшумно прокатил белый автомобиль, — но от дворца я вынужден был, кусая губы, осторожно поторопиться к приземистому домику в отдаленном конце парка. Он был заперт, пришлось его обогнуть и с видом на Сейм, не то на президентский дворец... Это было переносимо только потому, что я утратил ненависть к себе.

Побродили по черно-снежным дворам Праги в поисках оптового Анджее, выбрели на секс-шоп. Как всякий советский человек, то есть, в сущности, дитя... Она осталась поджидать со снисходительной, умудренной улыбкой. Вот где царила Простота: не притворяйтесь, вы же этого и хотели — все отборные, с кудрями, оптимистических расцветок, которыми так любят нас радовать brave лакировщики в моргах и простодушные старички, хранящие вставные челюсти в стаканах с водой. Этак и живых потом не захочешь... Правда, продолжать осмотр, когда сразу два приказчи-

ка допытываются, цо пан воле... В следующем шопе я притворился глухим и до того вычурно жестикулировал, что продавец в конце концов развел руками — нет, мол, у нас таких размеров — и начал предлагать какие-то кандалы, шары на цепочках...

Время от времени которые-нибудь электронные часики в недрах нашей последней сумы принимались пищать, исполняя какой-то мышинный гимн. От сумы да от... Верно, еще не одна таможня впереди. Наконец и венец — Стадион: коренастый обжитой вулкан, по черной смазке слякоти выкатывающий медлительные потоки разноцветных курток, влекущих гроздь пузатых баулов.

— Черт, уже расходятся...

На внешних ярусах вулкана теснились палатки, палатки, прилавки, прилавки, кипы, груды, охапки, гроздь, баррикады всех расцветок флоры и фауны — от абрикоса до ягуара, всех рас и стран, с преобладанием дальневосточных «драконов», — безграничность хлестала из всех щелей, но я был слишком прост, чтобы ощутить ее. «Долáри, рубли, марки, доларируб-лимарки...» — пел истомившийся тенор. «Шкура медвежья, ох...ительная», — рокотал румяный губастый шутничище с медвежьей пастью на голове и волочащимся по снегу хвостом. Рядом с нашим жеваным флагом раскинулся трижды орденоносный капитанский мундир Советской Армии.

Разносчик с ящиком за плечами предлагал каву, гербату (чай-трават-гербарий...). Моя несчастная кроха ухватилась за гербату — единственное ее лекарство. С бодуна лучше пиво, закинул игривую удочку Капитанский Мундир. В ответ она поспешила к пустым скамейкам, согнулась спиной к нам, и ее деликатно, как кошку, вырвало несколько раз подряд. Капмундир бочком, бочком удалился из зоны заигрывания. Кажется, это более всего ее и ранило: ее приняли за пьяницу.

Сортирный погреб здесь был устроен справедливо: хочешь пройти за занавеску — гони лишнюю тысячёнку. Прыскающая жареная колбаса, как упитанный питон, покрыта насечкой, к тому же еще и вздутой от полноты жизни, — вкусней я и дома не едал. Может, это пережиток социализма, что для масс нужно готовить обязательно что-то вонючее? Пук невесомых турецких юбок моя таечка свернула жгутом — так сохранней рубчики. Палаточные ряды на глазах складывались и исчезали, как половецкий стан. «Доларирублима!..» — подобно умело убранному часовому, пустил петуха и смолк несгибаемый тенор. Чуть не на весь доход мы успели ухватить из спешно разбираемой крупноблочной стены два здоровенных картонных зубца в неопируемо прекрасном японском инее на небесном фоне, оттесненном надписью «ОСАКА» (я уже не различаю нерусскость латиницы): музыкальные центры сулили сто процентов прибыли. Автобус внезапно залег в вираж, и передыхавшая дыбом тележка вместе с двумя этажами «Осак» кувыркнулась к выходу — даже в волейбольной юности я не брал в падении таких мячей.

Зал ожидания был обезображен горами нашего брата. «Твои?» — одними бровями спросил крупный скот в беспросветной кожаной куртке (потный ежик подчеркивал нехватку жирного лба и избыток раскормленных салазок: древний обычай внушать ужас через омерзение). «Нет, вон тех мужиков — Григорий, Николай, Жора, вас тут товарищ спрашивает», — призывно замахал я руками самой мрачной компашке на пути к выходу. «Хваит базлать!» — одними ноздрями оборвал скот и вразвалочку растаял. Об этом диалоге я не сказал ей ни слова.

В деревянном домишке среди нами же размешенной грязи — неумело или зло стилизованный уголок России под бетонным крылом европейского вокзала — на ближайшие автобусы до родины билетов не было, может, будут на *последний*... Черная вестница заторопилась развернуть голубые и розовые декорации: если что, можно и заночевать, если что, можно по-

пробовать и на поезде, — но я был уже мертв, а потому весть о нашей гибели принял достойно.

Известие о помиловании возвратило мне жизнь, то есть страх. Заклинившись «Осакой», заслонившись единственным в мире тельцем (тоже с «Осакой» на коленях), которому я был безразличен, я старался не отрывать взгляда от дивно рассыпчатого инея — до конца дней теперь в рот не смогу взять. В стекле можно было разглядеть только чуть теплящиеся лампы страшных, гортанно клекочущих татаро-монголов и татаро-монголоков, берущих автобус на абордаж, заваливая проход четвертованными туловищами огромных каторжников в полосатых робах, — завалы матрасов — это было ничуть не менее ирреально. Даже бывалые челноки несколько оторопели: «Ох, степь дикая!..» Изборожденная веками непогод старуха-кочевница, недвижно сидевшая на корточках у потухающего костра, вынула трубку из гранитной полоски губ: «Зачем такие глупости говорить — степ!» Зародившееся было направление мыслей озадаченно угасло в смущении. Лишь через час клеившийся к моей маленькой няне через спинку и «Осаку» мужик поделился вполголоса: «Это касимовские», — и ему сразу же откликнулись еще два полуголоса: «Какие касимовские — жулебинская орда» и — «Хантымансийцы». Но я уже слышал только паяльник, наливающийся вишневого цвета накалом: через матрацы не выбраться...

Их и пограничники не одолели: «Вытряхнуть бы вас..» — и раздраженное лязганье штампа по тощающей стопке паспортов.

Городские фонари в одуванчиках измороси, от домов даже в призрачном одеянии шибает советской заурядностью. В гололедной тьме я вырুল из-под переходного моста на стеклисто блистающий перрон, по которому летел белообрый парень без пальто и без шапки, — внезапно грянулся навзничь и еще метров десять стремительно скользил на спине, неуклонно срезжая все ближе и ближе к краю — и замер с ногой, повисшей над рельсом. Разухабистая дверь на пружине, божественный запах хлорки, трижды пережеванная и выплюнутая кашка мокрых опилок на кафельном полу, — мы дома. Поскрежетал зубами на жидком вертеле.

Перед беспросветно родными стеклами касс топталось извечное российское стадо — мы. Верно: не каждый мог бы, как я, с такой ровной мертвенностью встретить смерть. Зеленый рентгеновский взгляд — и я при «Осаках» отставлен в сякоту вестибюля, а защитная белка-летяга замелькала там-сям, каждый раз посылая из-под купола ослепительную улыбку воздушной гимнастики. «Ну вот, — как маленькому, — всего за два номинала».

По подземному переходу мы двигались уже в абсолютной непроглядности — казалось, какие-то огромные черные борозы ворочаются под ногами, — и в абсолютном безмолвии — слышны были только удары тележек, переваливающихся с одной оплывающей льдом ступеньки на другую, да сдавленные мыки оскользнувшихся. Черная толпа растянулась вдоль рельсов по мокрому ледяному брустверу, одно неловкое движение — чье угодно, — и все поползем под колеса. Нет, я и в самом деле мужик что надо, если, обреченный на гибель, балансируя на ледяном гребне с «Осакой» на голове и «Осакой» в зубах, я утолкал в черную высь свою увесистую и удивительно мягонькую под холодными джинсами сестренку, а потом вскарабкался и сам, не сронив с «Осак» ни единого кристаллика инея.

Задевши левым флангом черное двуглавие марксизма-ленинизма, жулебинские хантымансийцы споро перекидали свои безобразные матрацы в поношенный автобус и, взвывая, укатили к себе в Ногайскую орду, нас же затянуло в метро человеческим потоком, не терпящим пустоты. А наши «Осаки» даже и съезживаться не умеют...

Чтобы не поднимать глаз, я следил только за ногами белки-летяги, а потому увидел ее слезы лишь на площади Трех вокзалов, где нас покинул последний вал. «Он мне сказал: спекулянты чертовы... Ну да, конечно, ты не слышал, ты ведь собой занят...» Столько раз потом меня просто увечила эта ее манера, когда плохо, не жаловаться, а обвинять!.. «Да чего там, он прав, ты ведь и сам меня презираешь...» — «Я вообще не умею презирать — я умею только брезговать. А тобой я восхищаюсь». Сколько тысяч раз мне еще предстояло твердить, что я не смогу ей помочь, когда она заставляет меня оправдываться: мои слова звучали как официальное заявление. «Тысячи лет кормить себя и близких считалось вполне достойной... Хоть чуть-чуть держать судьбу в собственных руках, а не злобствовать...» — совершенно справедливый пафос сливался с «Осаками» и нагой вокзальной толкотней в передергивающе-фальшивый аккорд.

Приоткрывшаяся столица с нелепо-волшебными шпилями и гребешками сделалась просто рабочим местом; некогда захватывавшее дух окно в большой мир, вокзал стал залом переживания для наших сумчатых стад, предпочитающих сидеть кружком вокруг своего драгоценного хлама: стулья — это был слишком изысканный атавизм. «О, коллеги коробейники!» — опознал ее кружок химградской мафии. Как, бывало, инженеры на овощебазе: шутки, шубки, куртки, шапочки — все старалось возгласить понепринужденнее, что это карнавал, а не власть обстоятельств. Ба, так теперь есть кому покараулить наши «Осаки» — можно сгонять в Пушкинский музей!.. «Куда я пойду такой лахудрой...» — «Наоборот: малые народы Севера тянутся к культуре...» — «Прекрати! Мне сейчас не до шуток». Сколько миллионов раз мне пришлось потом повторять, что не надо угрожать там, где можно попросить...

На Механке считалось: если баба тебя обрывает — значит, ты не мужик. Но я больше не имел права быть гордым. И когда мы у нее в прихожей наконец обнялись под безнадёжный — якобы радостный — лай слезящейся псины («Хорошая, хорошая девочка, соскучилась!»), не плотина растаяла, а гордость отступила.

При нас остался и новогодний световой горошек в горелом лифте, и брызги взорванной радуги на потолке, и аквариумная люминесценция спятившего циферблата, и ее шелковая спинка, и подземные толчки, и учащающиеся пожатия из глубины, и оглушающий шквал безумия, и вмятина, выбитая в подушке, и слабеющие отзывы бездны, и улыбчивое «не выпущу», и собака, старающаяся лизнуть поникшего повелителя подземных бурь прямо в измученную мордочку («Уроки французского...»), и дежурившая под парами ванная с ослепительными стенами и гремющей струей, — но возникло... Что? Трещинка в ее голосе: все знакомые Рину переувгуливали, кроме моего сына?.. Свою обиду я мог погасить только жалостью — это калечное словцо-недоносок «жалеет» вместо «любит», процарапавшееся с паперти в благородное общество...

По-настоящему меня пронзило, когда через толчение облизанных нутриевых шапок в каждой новой коммисионке нам снова светила черная глянцева нагота все новых и новых музыкальных центров нашего финансового мироздания и мурластые торгоши буркали: не надо, не надо... Ее деньги — орудие труда, а еще надвигается воинский долг в восемьсот заоблачных баксов — выкуп за беспутную голову Марчелло: при его характере в армии его обязательно прибудут. И мне как-то сделалось совершенно все равно, в каких помоях искупается мой образ.

Теперь «Осаки» предлагал я, и наконец она слегка улыбнулась: «Они не сразу понимают твою изысканную речь». — «Рази?»

Удерживать над потоком простоты поплавок не изысканности, так игры. Под звонкой от стужи бетонной оградой издыхающего комбината, среди рассыпавшегося торгового бивуака я гулко хлопал огромными рукавицами и топал еще более огромными валенками в галошах размером с

детскую ванночку, нависая тулупом над гремучей алой клеенкой с промерзшими юбками-турчанками, джинсами-корейнками, с космополитическими колготками в полупорнографических скользких конвертах и двумя угловыми бастионами «Осак», от которых я отгонял злую российскую поземку. «Налетай — подешевело! — зычно покрикивал я. — Музыкальные центры из страны Япония — один раздетый, другой в попоне! С пылу, с жару — лимон за пару!» Моя нахохлившаяся малышка в пухлой куртке с капюшоном и толстых вязаных рейтузах (детский сад, дочурка, вязаные рейтузики, туго набитые, как у плюшевого мишки...) время от времени глотала из аптечного флакона отогреваемую на груди белую лекарственную пену. Потихоньку я обзавелся козой, подвинком — парное молочко, парное мясо на угольках из ломаных ящиков; хозяйски прохаживался к прожженной до наивной зеленой травки проталине за сквозной кипой бетонных плит: уютное насиженное местечко, облака едкого пара, врубающего комбинатские сирены на утечку аммиака, — прастата, эх, эх, без креста!..

Орлиный взор кавказца — как только Газиев опознал меня в этой сто-рожевской униформе? «Такой человек, такой человек!..» — словно я его уже не мог слышать. Но когда он сокрушенно приобрел одну из «Осак», я всерьез застеснялся. А брать деньги у нее было совсем уж...

— Я тебя понимаю, деньги — такая грязь...

— А квартиры — не грязь? А ордена, а чины? Все, что можно делить?

— Почему счастья на всех не хватает?

— Потому что мы не называем счастьем, чего хватает на всех.

Но я не мог явиться к моим девушкам с пустыми руками.

Ее дом уже не был поднебесным замком феи — отсебятина иссякла. Дом как дом. Хозяйство, место, где все можно. Где можно даже не отводить глаз, когда она стаскивает свои вязаные ползунки с ляпочками через плечики.

— Почему ты все время хихикаешь? — в шутку, но жалобно.

— Я не хихикаю, я люблюсь: совсем как большая!

— Но мне же не пять лет?..

— Тем, кого мы любим, всегда пять лет.

— Мне кажется, ты меня не уважаешь.

— Слава богу, теперь и ты можешь меня не уважать.

Эта прелестная девушка уж до того бесхитростно старалась побыть взрослой женщиной... Что-нибудь для меня испечь, сварить, запретить как якобы вредоносное, развернуть лечебную процедуру или стирку — чувствовались навыки общения с собакой: не вступая в объяснения, отвернуть мне ухо, не ссадила ли там, заглянуть за воротник, достаточно ли он засалился... нет, не просто служить мне, но еще и *быть хозяйкой*.

Когда мы вместе с одеждой сбрасывали с себя мир, она принималась озорничать своим узеньким, как у кошки, младенчески свободным от брезгливости проворным язычком, забираясь им в такие закутки, которых смущался даже я. Уже законченный инцестуалист и педофил, я отечески любовался приливами и отливами перехватывающего ее дыхание безумия, пока оно с головой не накрывало нас обоих.

В антрактах, покуда я прогревал зону Ершикова в ванне, она задабривала свою язву теплым молоком, от которого в ее нежненьком животике — губы, уже коснувшись, сначала ощущали только тепло — что-то принималось тихонько бормотать, безостановочно, как шум моря в раковине, как стрекотание кузнечиков в прогретой степи, как мурлыканье кошки на уютном коврикe, и мне казалось — я слышу, как течет ее жизнь.

— Революция, — виновато улыбалась она. — Ну почему ты опять улыбаешься?..

— Я улыбаюсь? Да, верно — от растроганности.

Мне никак не хватало терпения доцеловать до конца каждый квадратик ее тела — сначала отвлекался побаловаться невидимыми струнами, которые отзывались вздрагиваниями в совсем других концах моих владений, а потом уже и сам не мог удержаться перед сладостной бездной вседозволенности, в которую мы летели вдвоем, сплетаясь в причудливые фигуры, как парашютисты в акробатическом парении, пока ей вдруг не мерещился какой-то расчет, продуманность вместо порыва: «Я не люблю физзарядку!» И тогда я спешил искупить свою извращенность комбайнерской простотой.

Но меня почти не покидало приятно-снисходительное чувство доброго дяди, который привел ребенка в зоопарк: ну что, мол, тебе небось такое и не снилось?

Меня почтительно попросил к телефону городской прокурор — Газиев отзывался обо мне в самых превосходных степенях, а потому не соглашусь ли я позаниматься с его дочерью: нынешняя перепродажа «Сникерсов» — это ненадежно, а девочка идет на золотую медаль.

Что такое энергия, я живописал в духе богоравного Пуанкаре — мы, мол, сами навязываем миру такое понятие, — так что под конец и папа-прокурор удивленно признался, что даже он что-то понял. От необходимости быть с ним на «ты» я беспрерывно острил, а претендентка на золото беспрерывно прыскала. Это был тип, обреченный Незнамо Чему во мне. Закончил я пророчески: объявил кочегарской нынешнюю манию именовать человеческие страсти энергиями, а яды — шлаками.

Маме я временами позванивал. Сначала ее беспокоило, как я переносу отрыв от дома, потом стало удивлять, отчего я так легко его переносу. Явившись домой с кое-какими деньжатами и парой джемперов, пушистых, как цветные котятки, я почувствовал себя мужчиной. Мама покатила со смеху. На работе все так же пили чай в ополовиненном составе при ополовиненном рационе и за половину ставки по полдню обличали коррупцию. А я хоть чуть-чуть да держал свою судьбу в собственных руках — тянул за одну из миллиарда уздечек на исполинском бешеном жеребце. Почти все группочки, помогающиеся каких-то грантов, звали к себе и меня, но это было всего лишь лестно: не я, а мои «знания» им требовались.

Голосок ночной кукушки я уже мог спокойно поджидать за книгой — теперь это была просто умилительная болтовня прелестного ребенка: «Мне приснилось, что мне дали квартиру с тремя ваннами — все в пол вделаны, и какие-то рычаги, манометры — как же я, думаю, буду тебя прогревать? Видела вчера бывшего мужа Изабеллы, она считает, что он красавец, а я теперь всегда думаю: и зачем мужчинам волосы? у него вдобавок волосина из носа торчала — ужасно хотелось выщипнуть...» — «Ну, хватит, береги деньги», — благодущным папашей рокотал я.

Ее тоже разнеживало такое распределение ролей, она откровенно гордилась, что поставила меня на ноги, но... уже через неделю после нашего возвращения из набега ей начинало казаться, что я — сильный мужчина — в ней больше не нуждаюсь. И тогда все вялотекущие струйки каждодневных затруднений начинали свиваться и твердить буравом: «Я никому не нужна». Ну как же, ты только свистни — и Коля свезет сумку на барахолку, Людмила выгуляет Рину, Ершов передвинет шкаф, — я уже и с Ершовым познакомился — классный мужик, башка, яхтсмен, альпинист, рыцарь, встречая нас из набега, сразу берется за самое тяжелое, в том числе за бумажник, умело блокирует толпу у автобуса (если садиться последним, шофер может нарочно защемить спекулянтов) — и чего было сходить с ума? Только имя Марчелло я старательно обходил: его дружелюбные отказы помочь постоянно нарывали в ее душе. Что ж, если нет абсолютов, мы должны уважать прихоти...

«У всех есть кто-то на первом месте, а только потом я. А я ни у кого не на первом месте, — предсезно дрожал ее голос. — И у тебя тоже». — «Ну зачем этот дележ, местá... Ты занимаешь *незаменимое*...» — «Да-да, слышали.... И к жене под бочок...» — «У нас с ней ничего...» — «А то я тебя не зна... Любишь ее больше, чем...» — «Любишь, не лю... Есть вещи, которые не зави... Буду уже не я... Плодами подлости все равно не удасться...» — «Вот уже и ты понял Ершова, — со мной невозможно...» Это правда, брезжила ужасная догадка.

— Ты наговариваешь на себя большую явную неправду, чтобы утопить в ней маленькую правду.

— Ну да, ну да, я хитрая, лживая...

— Вот опять ты... — Стоп, всякое прикосновение холодной правды женщины воспринимают как проявление нелюбви. Я душу себя задушевностью, и ее слегка отпускает:

— Но ты ведь и правда уже не такой, как раньше.

— Тогда я доходил. Тебе что, лучше пусть калека, да мой?

— Да, есть в этом что-то.

— Нельзя же быть такой собственницей, — тщетная игривость.

— Можно. Ты ведь тоже хотел с палочкой.

Но подлинной безнадежности не расправиться в столь тесном казематике, как душа сильного, то есть простого, человека. К тому же я знал: она меня не бросит наедине с ночью. Ф-фу, перехватило-таки дыхание, когда снова зажужжал придушенный телефон. Забытый печальный гобой.

— Прости. Мне очень плохо без тебя. А я еще и тебя завожу.

— Имеешь право.

«Я тебя породила, я тебя и...» — почему получается так недобро? Поспешный водопад нежностей — искренних, искренних, но... Я уже осип от бесконечного сипения.

Однажды утром мама мимоходом сообщила: «Я знаю, у тебя появилась женщина. Она тебе звонит по ночам и говорит, что не может без тебя жить». Изумление, негодование, пожимание плеч, взаимная предупредительность. И вороватая оглядка в ночном телефонном бубнеже.

Вы когда-нибудь вслушивались в ночной голос феи с вороватым состраданием вместо сладостного дурмана? Вы въезжали в волшебный город с озабоченностью вместо упоения? Тогда мануальная терапия — решение всех ваших проблем. Уже в прихожей... Детская спинка, крутые виражи от талии к бедрам... И все отсыхающее, загнивающее переполнялось животворящей очищающей кровью. Чаще мы все-таки успевали добраться до кровати. После вагонной пытки духотой и бессонницей я блаженно засыпал, наслаждаясь покоем — и ее покоем, ее блаженством, которое она доводила до завершенности, стараясь улечься так, чтобы влиться в мой рельеф безмятежно, как вода.

Она щекотала меня волосами, но и я не оставался в долгу: она давно грозила побрить мне грудь. Исчезая, я слышал детские почмокивания — она обязательно легонько целовала любую мою часть, которая окажется поблизости от губ. «А говорил, не умеешь засыпать!» — торжествовала она, когда, заливши кипятком припекающий неусыпный гейзерочек, я невероятным образом засыпал вновь и вновь. Она была убеждена: отдайся я ей в руки хотя бы на месяц — и мать родная меня не узнает в этом румянном пончике без нервов. Мне еще лечиться, лечиться и лечиться: стоит до меня дотронуться во сне — и я издаю душераздирающий стон ужаса, зато когда уезжаю — хоть пляши на мне. Еще бы — после наших-то рейдов! Собака всхрапывала и бормотала во сне, как старуха: «Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие...» — и мне казалось, это кричит моя любимая.

Пропотевши как следует, провлачившись с бредешком по товарной плотве, залегшей среди почтенных туш холодильников и музыкальных центров (благодетель Ершов помог спихнуть!), я старался попутно размес-

ти побольше житейского мусора, набивающегося по углам и в воздушных замках тоже. Клянусь, если бы можно было ради нее броситься в огонь, свершить что-то грандиозное и одноразовое... Но я *рад* был и постоять за картошкой, заплатить за квартиру, поискать в аптеках перцовый пластырь от радикулита, пока она на кухне что-то изобретала для моего ублажения, — но эти сквознячки реальности сдували и сдули мерцающую дымку тайны с ее образа, обретавшего все более точные границы, обнажавшегося конкретностями ее нужд.

Деловой мэн, я еще успевал вернуть прокурорскому семейству чего-нибудь из Нильса Бора или Макса Борна (на конвертах с деньгами синел заплаканный штамп: «Приведен в исполнение») и повращаться в элитарнейших юридических кругах Химграда. Тугая струйка в струну толщиной размывает десятиметровые ворота в земляной дамбе, близорукая влюбленность моей трогательной ученицы вызвала резонансные явления в суде, в двух следователях по не особо важным делам и в одном народном заседателе. Последняя вовлекла меня в какую-то малину, где сухопарый седой джентльмен отплясывал канкан, необыкновенно высоко вскидывая узкие ноги в тапочках с обширными войлочными подошвами. В неиссякаемом томлении «Маленького цветка» народный заседатель волнообразно терлась о меня всеми выпуклостями вплоть до коленок, покада я тоскливо придумывал, как бы поделикатнее высободиться. Но моя возлюбленная вдруг бешено отшатнулась: «От тебя разит пудрой!» И душ не помог. «Ты с ума сошла? У нас же ничего и быть не могло». — «Не знаю! — чудовище с зелеными глазами. — Может, и смешно. Но когда тебя везде приглашают, как будто меня нет...»

Словно бы в возмещение, она водила меня по знакомым, ей хотелось дружить домами такими обыкновенными. «Все они прелестные люди, но ведь я приехал к тебе...» — «Мне же хочется тобой похвастаться», — жалобная детская скороговорка. Я приоткрываю клапан у баллончика с пресованным обаянием, но мой светский успех внезапно обрывается: «Раньше меня все знали как порядочную женщину, а теперь я открыто появляюсь с любовником». — «Зачем ты лепишь стандартный штамп на неповторимое?» — «Потому что это правда».

Но, навьючиваясь простынями, кастрюлями, подштанниками и шампунями, мы накрывались раковиной собственной вселенной. Одностороннее, словно урезанное, купе «Полонеза», набитое нашими мешками, заглядывает проводник — лицо и манеры диккенсовского слуги. В прошлый раз в этом купе застрелили девушку: не надо кричать, когда грабят. У нас делаются серьезные лица, но ненадолго: это наш будничный хлеб.

В подземном переходе что-то кожаное налегает на меня сбоку. Как всегда, машинально уступаю, но оно продолжает наезжать, и только тут до меня доходит, что некий шагающий механизм пытается отделить меня от потока. Я делаю обманное регбистское движение, будто собираюсь двинуть его плечом в грудь, а когда он, не получив обещанного, на миг теряет равновесие, пружинит своей удвоенной массой: шагающих механизмов чего же стесняться, а страшиться нужно тех, кто убивает бескорыстно.

Держа в секторе обзора согбенную спутницу, бодро ковыляю по родной закопченной польской Праге. Бурсацкий бурсит как-то незаметно сменился давно вызревающим артистическим артрозом: от боли в корневой системе пальцев при каждом шаге на миг теряешь сознание, приходится ставить ступню ребром. Но тут главное — не усложнять: съезди в ортопедическую мастерскую, — очередь не страшна, если не торопиться поперед бабки в пекло, в таможне на великих шмонах и не такие выстаивали, — сапожник без ног подберет тебе вогнутые стельки с мощными желваками посредине — и можешь снова идти как человек с галькой в ботинках.

Для того, кто прост, как выгода, все не более чем больно — ему что простатит, что мозоли. За что люблю рынок, делится моя мудрая подружка, станешь — и ничего больше в голове не остается. Я оглянулся телепатически, когда мы, отмороженные, тянулись с барахолки: в новогодних отсветах витрины — собачонка и гиппопотам — Соня вырывала свой баул у какого-то забулдыги. Я изо всех сил засвиристел в предусмотрительный милицкий свисток, вор удалился в подъезд. Все просто.

В раскольниковском дворе с анилиновой мадонной Яцек или Крысы мчатся до пани Барбары — есть! — мы тащимся по черной скрипучей лестнице, крутой, как из трюма. Анфилады комнат, разделенных не дверями, а скругленными воротами с раздвинутым занавесом, и каждая сцена — немногословное лежбище пузатых сумищ вперемешку с их хозяевами.

Прозрачность наших целей делает нас неинтересными друг для друга.

Пани Барбара, с виду хлебосольная хохлушка, полупонятно тараторя, тащит нас за самые далекие кулисы: чья-то раскладушка под анилиновым Христом с червонным сердцем (злато-рококошная рамка — о, чудо! — из нашего помета) и приземистая тахта для нас «с жоном». Мы полупонимаем, что в ванную лучше не ходить (а то муж будет «жучить»), что в туалете слабое «тиснение», а потому бачок набирается медленнее, чем очередь перед дверью, но чай на кухне можно вскипятить в кастрюле.

Когда я вхожу на кухню, строгий муж-гигиенист поспешно прекращает мочиться в раковину. У него сожженное лицо с выеденными огнем или кислотой ноздрями. Приученный к роскоши, он отстоял для себя отдельную каморку — хозяйка спит на люстре. А прежде бдительно гасит верхний свет, чтобы что-то подсчитывать на бумажке при отсветах неугасимого телевизора, гонящего такую же, как теперь и у нас, рекламную одурь.

За счет сна мы с «жоном» обязательно выбираемся вдохнуть света, улыбок, красоты и чистоты в Старе Място. Все это следует истребить огнем и мечом, витийствую я, воинов ислама не должна соблазнять нега. «Я не воин ислама», — отвечает сестренка.

В картинную галерею-крепость я уже не захожу: эхо европейских толчков в третий раз не потрясает.

Среди невидимых тел пробираемся к ледяному ложу, заваливаемся полуодетые. В четыре утра у двери туалета уже высокое тиснение, у кухонной раковины — тоже. Возвращаюсь прилечь, но в постели успела устроиться хозяйка. Во мраке скрипучей лестницы-шахты она жизнерадостно напутствует, чтобы мы не ходили через бензоколонку: вчера ее постояльцев там опустили на сто долларов каждого. Но наши невыспавшиеся, сопротивляющиеся ознобу лица и без того уже достаточно серьезны.

Нефтяная ночь, чуть разбавленная издыхающими витринами и фонарями. Переулками обходим огни покинутого эсминца — зловеще пустынную бензоколонку. Чужой черный шрифт на кзигарне. Мы движемся к Стадиону нехоженными тропами — в этой жиже (потом разберемся, по щиколотку или по колено) вряд ли устроят засаду. Кишение огней в черном месиве, бесконечный рев огнедышащих автобусов — все туда! — протирающих о нас свои бока, — во что мы превратились, увидим только с рассветом. Спасительный поток согбенных теней, уминаемых турникетами в нарезанную кольцами сдержанную Ходынку. «Долариублимарки, долари...» Редкие лампочки под ледяным ветром раскачиваются на временных шнурах, как на бельевых веревках, черные людские силуэты споро сооружают силуэты палаток, меж которых протискиваются угрюмые толпы, все с тележками и сумищами; сцепляются и расцепляются безмолвно, покуда не сцепятся два благородных человека; поршнями продавливают толпу нескончаемые автомобили, ослепляя горящими фарами, вминая сторонящихся в прилавки, правда так и не расплющивая до конца; оторванные друг от друга, отыскиваемся вновь и вновь (самое трудное — не дать пото-

ку увлечь себя) — таким манером нужно обойти все девять овалов ада, чтобы при свете коптилок и ручных фонариков перешупать все цены и дамские штаны (леггинсы?) с блузками и блузонами ягуаровых и тигровых расцветок, чтобы вернуться к самым дешевым: здесь не у мамы, сочтешь три процента пустяком — потеряешь месячную зарплату.

С безрадостным рассветом все кончено, дозвоительно впиться зубами в лопающуюся от полноты жизни, свернувшуюся кольцом колбасу с насечкой, погреть давно бесчувственные руки о стакан гербаты, а уж ноги под собой мы почуем разве что в Бресте. От коченеющих ног начинает перегреваться зона Ершикова, после каждого круга пытаюсь остудить ее кипятком в подвале у занавески. Но перед границей нашей Родины — будничной колючкой — наш автобус надолго замер в очереди себе подобных. Хороший солдат — ампутированное воображение. Балансируя на ледяной тропке — пропади все пропадом! — я сорвался в овраг на обочине и со своим кипящим чайником пристроился к дубу, закованному в янтарные потеки. Пошипел сквозь зубы. Выкарабкался. Автобуса нет. Польский пограничник хватается за кобуру: «Хальт! Хенде хох!» Да вот же, вот мой автобус, в двадцати шагах, на нейтралке!.. «Цюрюк!!! Шнель!!! Арбайтен, арбайтен!!!» А, была не была! — кидаюсь в распахнутые ворота. Тиу-у... Предупредительная пуля нежно пропела в вышине, карающей я уже не услышал... «Пан, пан, то наш, наш!..» — бежала с моим паспортом хорошенькая филиппиночка — перед ее обаянием растворяются все границы.

— Попросить у тебя, конечно, язык отвалится!

Но я почему-то не верю, что механизм можно упрощать. И чувствую, как моя нынешняя глубина лишь благодушно отмахивается: «Брось ты, все люди как люди, все хотят жить». Ну и что с того, что тычутся локтями, задами, рыкают, твякают, — не все же! Да и хамам тоже жить надо. Поднырнув под боковые надкрылышки автобуса, я последним проник в непроглядное багажное подполье. Темное шоссе, темный пакгауз, темные быки переходного моста и освещенный — близок локоть — перрон: путь отрезан тремя очень простыми силуэтами.

— Они хотят сто долларов, — сухо уведомила Соня.

— Все деньги у меня, — поспешно объявил я.

— Гони ты. У вас тут, — так ногой переворачивают трупы, — на тонну зелени.

Да вы что, ребята, и полтонны не будет!.. Я всего лишь старался предостеречь хороших парней от оплошности: мы не одни, работаем на фирму, вся зелень в товаре, но товар мечен нашим фирменным знаком — влипнете на реализации, зачем вам это надо, нас мужики уже наверняка искать пошли.

Когда не дрожишь за мраморность своего образа, все не так уж страшно.

— Ничё, мы тоже можем по-бырому, — частил блатной фальцет. — Хошь, ща шмотье обкеросиним, бабе твоей табло распишем?!

— Моя баба далеко, — старался я обесценить Соню.

— Нам все отсыплют.

Благородный баритон упирал на святость традиций, а фальцет все брал и брал на горло:

— Слушай, мужик, ты меня уже достал!!!

Но я видел, что он включает свою истерику, как водитель сирену, — корысть скотов далеко не так ужасна, как их честь. Чтобы ненароком не задеть их за святое, я с воинскими почестями вручил силуэтам пухленькую пачечку российской рвани.

Спасительный перрон, изумленное «Ты просто герой!..» — но сколько тысяч раз она мне потом припоминала: «Ты же сам сказал, что твоя баба далеко». И каждый раз я чувствовал не досаду — отчаяние: брызгать этой мутью на предпоследнее оконце — речь, через которое мы еще видим друг друга!.. Правда, последнее — мануальную терапию — она еще оберегала.

Но пока... «Сметанки свежей попробуйте! Творожок свежий!» Курс рубля быстро развеивает иллюзию, будто ты не зависишь от своего государства: вон же белорусы за нами со своими «зайчиками» семят, а не мы за ними. Человеку с ампутированным воображением очень трудно испортить аппетит: в мрачноватом залище ожидания, сумчатые среди сумчатых, мы по сказочной дешевке лопаем роскошную сметану с творогом — конечно, после долгожданного чая. И тут гаснет свет. И в гудящем мраке, среди женских взвизгов и зажигалочьих вспышек, я ложусь на нашу поклажу и — засыпаю! Лицом вперед, обнявши сумки, которых мы не отдадим.

Главное, не усложнять. Тебя — ненавидящее женское «у-у!..» — с чего-то долбанули кулачком в рюкзак, ты что-то рыкнул через плечо — все нормально. Хотя, конечно, и здесь лучше держаться вот таким веселым и компанейским, как этот добрый молодец в тесном вагонном коридоре: «Кидаем все в первое купе, потом разберемся! Ах, это ваша сумка? Пожалуйста, можно и туда. Ах, это ваше купе? Сейчас разгребем». Народу потом еще долго придется разбирать сумки, которыми этот славный парень завалил наше купе. А после всего пришли еще две печальные девицы нас обыскивать: «Вы бы на нашем месте тоже, если б у вас пропало на восемьсот тысячёнц...» Мы и не противились. А веселого артельщика я в вагоне уже не обнаружил. Умеют люди работать с огоньком!

Зато — внезапный сюрприз — мы оказались вдвоем в купе. Яркий парходный свет, книга... Окно одевается в шалевый воротник из белоснежного каракуля, матовые кристаллики выкладывают на черном стекле улицы неведомого города, снятого со спутника. «У тебя такое спокойное лицо, когда ты читаешь...» Ее клонит в сон, но никак от меня не оторваться; наконец укладывает мне подушку на колени и, уютно свернувшись, засыпает.

Два нижних места, как в СВ, — но одно полночи пустует; плохо только, что ее коленка стучается в переборку. Где-то под бесприсветное утро — бесцеремонный свет, кавказские голоса, на меня роняют свернутый матрас, — черт, теперь уж точно не усну... Проверяю под булавкой деньги и тут же засыпаю вновь.

Дома мы хорошо посидели с Ершовым — он без нас выгуливал собаку и стеклил балкон. Мы галдели, как, бывало, на Таймыре между водкой и шабашкой. В молодые годы мы бы обязательно подружились, пели бы в обнимку «Лысые романтики, воздушные бродяги» — в уверенности, что лысые — это не про нас. Но сейчас между нами стояло — тьфу! — осточертевшее фрейдистское шарлатанство, лезущее изо всех... еще раз тьфу! Когда своим чередом мы добрались до порнографии и я оспаривал, будто наличие эрегированного пениса неопровержимо устанавливает порнографичность, наша хозяйшка напоявила о себе пунцовым огнем девичьих щечек: очень уж не академичен здесь был обсуждаемый предмет. «Выйду с собакой, вам и без меня хорошо». Ершов явно все еще любил ее, этот колдовской прибор, вечно устраивавший бессмысленные бунты, невзирая на самое разумное кнопочное управление.

Под сильной балдой я завалился с нею в постель как с просто «симпатичной бабой» из диады «поддали — переспали». Только утром почему-то впервые показалось не сладостно, а неловко бродить по квартире голышом: нагота уместна в раю, но довольно нелепа в хозяйстве.

И все ведь складывалось как нельзя лучше, без лишней дури: ей нужен был именно я, а не какая-нибудь нахлобучка на мне и даже не какое-нибудь Нечто, сквозь меня просвечивающее; мне тоже была дорога именно она сама, а не какой там свет, сквозь нее зажигающий мир тайной и значительностью, но...

— Но я ведь л... люблю тебя.

— Ты как повинность отбываешь. Повернул выключатель...

— Но если ты заставляешь меня оправдываться...

И только мануальная терапия... Как-то мы насмерть целовались в готическом варшавском мраке, и она еле слышно пожаловалась: «Ужасно хочется раздеться», — в Химграде же царство свободы начиналось уже в прихожей. Детская спинка под футболкой... Крутые виражи под резинку... И вдруг перед самым пуском она начинала выламываться из моих предвкушающих объятий — с силой! — а всякое насилие, эта наглость физического, забывшего свое место... «Ты хочешь меня сломать!» — лживый пафос запечатывает все слуховые окна надежнее ушной серы.

— Умоляю — без демагогии!..

— Приехал, трахнул, — алая вспышка, — и спать.

— Но ты же хотела, чтоб мне было с тобой спокойно?..

— Не как же с чуркой! Наверно, я могу светить только отраженным светом, — мне кажется, я тоже уже меньше тебя люблю.

Дуновение ужаса. И обида, что она так не бережет наш двухместный скафандр. Но это всего лишь больно.

— Влюбленность и не может долго держаться, — горько мудрствует она. — Но в нормальной жизни начинаются общие дети, общие интересы... А ты хочешь построить дом из ветра.

— А быть любимой — это для тебя ничего?

— Это не для меня, тебе просто нравится быть влюбленным.

Может, и так. Но и она очень охотно, как под разнеживающий душ, подставляет бока под токи моей влюбленности. А в коконе простоты она расположилась еще уютнее моего. Собираясь драть зуб, клялась, что не покажется мне на глаза, покуда не вставит новый, — и ничего, щеголяет улыбочкой каторжной красотицы (мне и это как-то мило и забавно).

Часа через три-четыре, измученные объяснениями, словно воду на нас возили, мы все же оказываемся в двуспальном батискафе. Но ко мне во время этого дела вдруг может привязаться, что у нее резиновый нос, или, отстраненно вслушавшись в ее захлебывающееся дыхание, я могу ощутить его как астматическое. Впрочем, пронесшийся шквал оставлял после себя все, что положено: и отгрызенный угол подушки, и братское изнеможение. Но все же серая пыль затягивала и затягивала последнее окошко. На объятие она могла вдруг поинтересоваться: «Ты же не любишь тело?» — «Почему — я всегда восхищался гимнастом на кольцах. А теперь восхищаюсь и гимнастом в кольце унитаза», — такие вот микросхватки ногами под столом. Или ни с того ни с сего невероятная обидчивость: «Ты идешь впереди и не видишь, что я чуть в люк не провалилась». — «Извини, я полагал, каждый сам способен... Впрочем, Ершов, конечно...» — чуя подтекст, не удерживаюсь от склочности. «Да, он не витает в облаках, он о близких...» — «Что же ты развелась с этим святым человеком?» — «Мне все и говорят, что я дура». — «Осторожно, дом!..» — «Тебе смешно... Ты как бегал когда-то с девчонками на Механке, так для тебя женщина и осталась друг, товарищ и брат». — «Иконой быть не хочешь, товарищем не хочешь...» — «Я хочу быть любимой женщиной». — «То есть сразу и воздушной, и глиняной?» — «А ты из живого организма хочешь вырезать кусок повкуснее». — «Да, я считаю, самое главное в человеке — душа, все остальное только пища для нее». — «Вот-вот, живые люди для тебя пища. У тебя не душа, а вампир, одни высосанные шкурки за собой оставляет». — «Я не понимаю, тебе без меня, что ли, было лучше?» — «Спокойнее. Не бросало из ванны на мороз». — «Лучше все время на морозе?» — «То Ершов учил меня довольствоваться тем, что есть, теперь ты...»

Да, я и впрямь проповедовал смирение перед фактом... Я совсем съезжился от некарасивости, *заурядности* наших препирательств и той униженности, с которой я вымогал ее признание, что я единственное солнышко в ее тусклом мирке, — но остановиться не мог: «По-моему, ты довольно охотно бросилась с мороза в объятия вампира...» — «Ты забыл — я поддалась шантажу».

Моя голова мотнулась от пощечины. Но, выпросив жизнь, лишаешься права на гордость. Веревки на дыбе закрипели, когда я выговорил: «Я подожду, когда ты скажешь это спокойно. Если тебе действительно без меня лучше, ты меня больше не увидишь».

Ее губы тоже оскорбленно вздрогнули, но что-то все же успели удержат на лету. Морские льдинки расплавились слезами, но тут же снова оледенели, и айсберг моей обиды, унижения, отчаяния, подплывший было надеждой, тоже безнадежно очугунел. И все же это была не более чем посторонняя непереносимая боль.

Пока дошли до ее дома, я успел прочувствовать весь грядущий ужас быть снова ввергнутым в пустоту. Но уже не гордость — долг требовал выпустить на волю великодушного спасателя, которого, утопая, я нечаянно стащил к себе в полынью. Однако свинское «естество» и здесь не забывало о своем. Когда я вышел из уборной, ее в квартире не было. Уже начиная тревожиться — тревога висельника, — я еле-еле сумел разглядеть за балконным окном остренький розовый колпачок. Она сидела на полу, глядя в нагие перила, накинув на голову отстегнутый капюшон своей куртки, обычно никнувший головой с вешалки, словно мних-летописец. Когда моей дочурке было лет пять, она тоже выходила на балкон «воздухом подышать», и точно так же за стеклом торчал ее колпачок печального гнома...

Сострадание обратило ледяную глыбу в обжигающий пар.

— Скажи, как тебе лучше, и я все сделаю. — Стоя на коленях, я заглядывал в ее заплаканные зеленые глазенки. — Если нужно исчезнуть — я исчезну.

— Когда ты так говоришь, — срывающаяся скороговорка, — я слышу одно: ты хочешь от меня отделаться.

Слабый всегда прав. Теперь, когда она принималась стервозничать, я напоминал себе, что все дети капризничают, когда им плохо, что это она же, вот она же, воплощенная нежность, посылала мне, очоленевшему от безнадежности, ободряющие улыбки из-под купола душевного кассового зала, — и досада таяла в жалости. Казалось, однако, что ей нужны мои раны, чтобы лечить их — чувствовать себя нужной, и я, случалось, не брезговал нарочно ей их предоставлять: жаловался на дочь, на здоровье, сетовал, что я ей надоел, — и она с таким пылом бросалась меня лечить и утешать, что я иной раз и вправду не знал, как отделаться. Но чуть во мне прорезывалась хозяйская уверенность...

— Почему ты так громко по телефону разговариваешь? — спрашивала она, когда я клал трубку, слегка опьяненный очередным светским успехом.

— У меня другой порок, — с горечью возражал я, — уши некрасивые.

Она облегченно смеялась: фу-ты, я уже чуть не поверила. И начинала высматривать, как бы поудобнее на меня взобраться, проследить кончиками пальцев какие-то невидимые узоры на моем лице.

— У тебя удивительно красивая линия рта, — с гордостью делилась она результатами изысканий. — И глаза очень сложного рисунка. Много разных линий на тебя пошло.

В хорошем настроении она обожала меня изучать:

— А ты теперь целуешь как-то не так. Как будто меня поедает. Ты замечал, в американских фильмах целуются за одну губу?

Своим примером она и во мне расшевеливала улегшуюся дурь, и я тоже начинал ее разглядывать. Нет, не зря я когда-то балдел — резчик ею занимался непревзойденный: изящество сильной и птичьей хрупкой ключицы, изгиб скулы, четкость египетски припухших губ, линия зубов, совершенство которой лишь подчеркивалось небольшим изъятием, напоминающим разрез в модели архитектурного шедевра. Но скованные демоны продолжали напоминать о себе подземными толчками. Грустный Марчелло забегал за деньгами (он подрядился отремонтировать квартиру какому-

то ньюрашен и теперь возмещал ущерб) и долго вздыхал, что ему никак не бросить свою настоящую беременную любовь ради еще более настоящей и еще более беременной. «Тебе одним можно помочь — кастрировать. Если человек сорвался с цепи...» — разумеется, я шутил, но Марчелло сокрушенно соглашался. «А ты не сорвался?» — самым ненавистным — правдолюбским — голосом вдруг спросила она. «И я сорвался. Я тоже инвалид войны за свободу и равенство с животными. Кастрировал бы вовремя какой-нибудь добрый человек...» — «А я считаю, — патетически отброшенная головка, — что нет ничего хуже двуличия!» — «Почему — жестокость хуже, предательство, безответственность...» — рассудительно гудел я, изо всех сил щипая себя за бесчувственную ляжку, а потом в ванной долго плескал себе в лицо ледяной водой. После этого мне уже с грехом пополам удавалось восстановить в памяти, как, едва живая, она указывала мне с моста на сказочный городок: «Старе Место», — и у меня снова доставало сил изобразить спасительную беспомощность.

Зато с каждым дуплетом вагонных колес, уносивших меня от ее зримых конкретностей, образ ее начинал снова отделяться от земли. Правда, во мне самом какой-то громоотвод замкнуло с небес на землю: на ее голос в телефонной трубке первым поднимал голову Его Капризное Высочество, я же, напротив, бдительно следил, чтобы не возникло трещинки в волшебной флейте, которая рассылалась от первой же неосторожно-бодряческой ноты. «Ужасно скучаю...» — «Ничего, скоро увидимся!» — «Да, для тебя, конечно, скоро, ты и без меня прекрасно обходишься». — «Я не обхожусь, ты всегда со мной». — «Да-да, мой образ, слышали. А что со мной, тебе совершенно...» — по этой зоне следовало ступать с чрезвычайной осторожностью: захочешь оправдаться — мне, мол, тоже нелегко — и вляпаешься в: «Ну вот, теперь ты меня упрекаешь».

Но из наших странствий и приключений мы всегда возвращались друзьями; набравши там воздуха, я мог прожить и в том царстве предупредительности, в которое я превратил свой дом, представлявший ей из Химграда царством взаимной заботы и дружного труда, прерываемого лишь хождениями в гости да ответными приемами интересных, преданных и высокопрестижных друзей.

Уж друзей-то у нее у самой... Одних Людмил было четыре: Людмила Верхняя, Людмила Нижняя, Людмила, Которая Через Дорогу, а Людмила Из Тринадцатого даже согласилась приютить нашу доходящую псину. Моя египтяночка, не вполне вменяемая от встречи со мной, наставляла почти аппетитно — обожала мне покровительствовать; «Хвост ей подогни, у нее там грязно». Но что такое безостановочно сочащаяся из-под хвоста бурая жижа, если страдающая тварь доверчиво кладет тебе на плечо длинную горестную морду!..

Время тоже не теряло времени: Рина уже едва могла поднять голову. И все же я часов до трех ночи наверстываю упущенное, да и мою наложницу, горестно-покорную, довожу-таки до исступления. Но, поднявшись по первому припеканию, я вижу, что она снова сидит на полу, безнадежно поглаживая покорную судьбе длинную морду. Однако животное во мне все равно засыпает как убитое. Утром авторитетная соседка-собачница выносит окончательный приговор, и в нашей выдавшей виды «капучино» мы возьмем Рину в ветлечебницу. Соня стынет на ледяном крыльце, я укладываю Рину на цинковый стол. Здесь о ней позаботятся.

Но ши-то посоленные... Начавши с утешений, я снова довожу ее до неистовства; приходя в себя, она делится раздумчиво: «Это будет почище всякой водки...» И — снова перехваченным горлом: «Ночью я глажу ее, плачу, а она посмотрела на меня и лизнула мне руку. Она же меня и по-

жалела...» Но ведь она не знала, что умирает, мне моя предыдущая жена объясняла, что собаки просто принимают нас за особей своей стаи, приписывать собакам человеческую любовь — это антропоморф... «Зачем им нужно все портить?» — неведомо кого неведомо о ком спросила Соня.

Чем ближе гибель, тем проще жизнь: я буду туп как правда. Вернувшись домой с трикотажными трофеями (моя бедняжка всякий раз неприемлемо умирала в мою сумку какие-то подарки для неведомых полувраждебных женщин), я не застал ни мамы, ни дочери: у последней случился выкидыш с чередой осложнений, — считать мертвого ребенка осложнением или упрощением ситуации, решайте сами. Все нормально — если нет абсолютов, надо уважать прихоти: дочка хотела в ребенке обрести цель существования, Гоша помог ей сделать пузо — каждый в своем праве. Потом из нее что-то еще доскрестили и кое-что продырявили (кровотечение, кажется, не совсем остановилось и по нынешнюю пору), потом ей было больно ходить и кружилась голова, потом она не выходила из комнаты, оттого что не хотелось, и отказывалась от еды по той же причине, потом у нее начали крошиться зубы и выпадать волосы, и думать о ней было гораздо страшнее, чем смотреть, но и просто смотреть было нельзя.

Мне казалось, она навеки возненавидит маму за то, что та, не в силах добраться до души, не оставляла в покое ее тело: съешь, выпей, пройдишь, натришься... Когда, еще начинающий несчастный отец, я дышал больницей на лестничной площадке, поджидая маму (была все та же весна, и на противоположной крыше шагал по снегам мужик с лопатой и веревочной скаткой через плечо) и глухо раздражаясь, что вечно она отстаёт — уж от меня-то нынешнего! — я вдруг почувствовал такую нестерпимую жалость к ней — она же опять и виновата! — что, увидев ее, покорно задыхающуюся, немолодую, в белом пуховом картузике, придающем ей сходство с утенком, я сбежал к ней и изо всех сил прижал ее холодную уличную руку к своей щеке. Она даже растерялась: мануальная терапия, как все бесполезное, уже давно и бесследно улетучилась из нашего быта. Теперь, когда я снова начал приучать ее к немотивированным прикосновениям, она каждый раз обеспокоенно взглядывала, пытаюсь понять, чем она может быть полезна, — у меня все нутро съеживалось от стыда: умную, веселую, добрую девчонку я превратил в безропотную сиделку.

Оказывается, и в таком существовании может найтись место и объятиям, и улыбкам — душа с поразительной быстротой умеет сворачиваться в спору, становясь все покладистой, отсчитывая от все более и более микроскопического: вот наша страдальца похлебала бульона, а вот она уже два дня гуляет не меньше получаса, — и мама со значением отмечает, что в моем присутствии (за дверью) она сдвигается из мертвенности в опустошенность. Ну а уж когда впервые проглянула улыбка!.. Но вместе с надеждой расправляли плечики и всякие излишества — униженная гордость? стыд? брезгливость? поэзия? — не знаю, каким комплексом (как все человеческое в нас) обозвал бы эту дурь венский шарлатан, но и без крупного ученого скота довольно ясно, что должен чувствовать зачервивевший идальго, невеста из каких рыцарских романов усвоивший, что Женщина предназначена для свершения подвигов в ее честь — подвигов верности, таланта, мужества, — чтобы в итоге коленопреклоненно выпить шампанского из ее тубельки. Этот идеал враждебен жизни? А кто мне поручил заботиться об этой плесени? Которая уж как-нибудь и сама за себя постоит. А вот кто возьмет на содержание прекрасную бесполезную мечту! Пристраивать замуж своих дочерей тоже найдется кому — а вот кто станет вечно хранить память о крошечном тельце, изнывая душой, что оно ссадит пухленькую коленочку, что его толкнут, скажут грубое слово? О тесных нежных булочках, созданных для ласкового шлепка, о простодушных розовых губках и беспомощной тайной складочке, созданных для невыносимой

жалости и бессильного ужаса, что для кого-то они — спеющие в печи — *просто лакомства*? Представьте, мне становилось легче, когда я вспоминал, что наша дурочка пустилась в это плавание по кровавым помоям ради ребенка — ради смысла, ради дури. И вовремя не «легла на сохранение», чтобы продлить тайну еще на месячишко... Человек сам назначает себя в красавцы или уроды, и наша без пяти минут красавица, от одних глаз которой, от одного только жалобно-воркующего голоса я в юности сходил бы с ума, назначила себя в замарашки и неудачницы — а тут хотя бы донор подвернулся непьющий...

Какой был когда-то дивный исцеляющий обычай — дуэль! Клянусь, я ни мгновения не питал к отцу крошечного мертвеца ни малейшей неприязни — они дети, безнадежно говорила мама; «сама дала» — неотразимая индульгенция, понимал я. Я тоже и палач, и жертва этого повального свинства, я тоже в свое время вовлек тургеневскую девушку, потерявшую голову от любви ко мне, в оперативный кошачий блуд, так что я абсолютно не против, чтобы и меня за это пристрелил какой-нибудь добрый человек. Пусть и Гоша меня хотя бы тяжело ранил: чья бы кровь ни пролилась, ужас заслонил бы вульгарность. Простая сердечная ломота в левой ключице, вульгарная одышка и отбойная, до звона в висках тахикардия и то очень поддерживали мой дух. Именно от этой спасительной боли я теперь поздней ночью просыпался, а ранней ночью не мог заснуть. И благородно, и полезно. Ибо просветы, когда мне даже начинало казаться, что дочка слишком просто относится к своему падению, не позволяя нам проявить широту и терпимость, — эти просветы держались недолго: в целом все потихоньку ползло вниз.

А сердце — оно у меня, наоборот, здоровенное, как паровоз, только приставленный к нему раздухарившийся пьянчужка сразу пускает его на «полный вперед», когда надо подвинуться на четверть волоса: встанешь со стула — будто взбежал на пятый этаж, прошагаешь сотню метров — только приличия не дают опуститься в черноту. Лишь при телефоне я позволяю себе опускаться на пол. Она сама нежность, сама преданность, но в утешениях ее слышится чуть ли не горчинка зависти: «Зато вы все вместе...» (Прямо пунтик — «вместе» на одном вертеле... Хм, от Фрейда не уйдешь...) Она сама забота: «Кому ты поможешь, если себя доконаешь?» А кому вообще можно помочь? Можно лишь, забыв о себе, помочь и другим забыть о себе.

Питался я небывало вкусно, и если бы мой рот хоть что-то ощущал, мне бы стал известен вкус телятины и форели — когда наша затворница отказалась и от них. Мы сидели по уши в долгах, но мама по-прежнему держалась за то, что в здоровом теле непременно должен облизываться от неудержимого аппетита к еде, к учебе, к спорту, к любви здоровенный душище. Дух из аппетита, аппетит из духа... Вырвать хвост змеи из ее зубов должен был чудодейственный гербалайф — моя зарплата за три месяца.

«Я не хочу брать деньги за твои нежные чувства», — сипел я. «Ты привезешь две шубы и все окупишь». — «Но я сейчас ничего не могу таскать». — «Там этого не надо. И со мной, я уверена, все пройдет. Тебе просто нужно отдохнуть — позагораешь, поплаваешь... Можно будет съездить в Афины — ты же в Москве ходишь макетами подышать...» — «Бог с ним со всем, Акрополь не нужен человеку».

Мама взяла тысячу немецких марок в своей конторе — если что, придется стреляться. Вернее, сначала застрелить ее, потом себя — насчет дочери я еще не решил, пощадить ее или оставить в живых.

Оказывается, летнего Химграда я еще не нюхал. В высокую перестройку компания (кампания) бравых экологов сумела было пригасить комбинатскую вонь, оставив полгорода без работы, но теперь жизнь взяла свое. Обнялись как на похоронах. Проковылял кражистый бульдог, звеня мар-

шальским иконостасом... дочка когда-то спросила: «Ты завидуешь собаке, что у нее столько медалей?»

— Не могу на собак смотреть после Рины.

И вдруг в автобусе невыразимое счастье на подзагоревшем личике:

— Коляшки!.. — Женщина держала на руках двух уже длинноносеньких щеночков-колли. — Куплю собаку — хоть кто-то будет дома ждать. — Марчелло скрывался от военкомата и домой не звонил. — На детей тоже не могу смотреть после... Я тебе не хотела говорить: у меня была задержка почти месяц, я уже думала, придется идти выскребать. *Твоего ребенка...*

— Как вам вдолбили... «Твой ребенок»!.. Сначала головастик, потом сволочь, дурак или несчастный человек.

— У тебя просто неудачный опыт. И потом, ты забываешь про инстинкты. У собак есть такое понятие — ложная беременность: меняется походка, повадки — все как у беременных. А потом они начинают возиться с каким-нибудь предметом, как будто это щенок. Вот и у меня сейчас то же самое.

— Человек сам творит свои инстинкты. Уж на что инстинкт материнства считался сильнее смерти, а вот миллионы мам прекрасно его одолели простым инстинктом свободы. Удивляюсь только, что до сих пор находятся дуры... Дети — это настоящий ад, а абортарий — только чистилище.

— Только зачем на весь автобус? Впрочем, извини, я тебя сама спровоцировала.

— Извиняю, я не про тебя. Свои такие есть.

— А я не своя?

В горелом лифте коротким клевком поцелуя мы простили друг друга окончательно. Сверкание рюмочек, тщательно возделанные помидорно-колбасные цветнички тарелок, проникновенный интим абажура — тоже прячется, бедняжка, в свет, в праздник, в минутное забвение. Любимая детская спинка — но память о дочери сразу же ложится неподъемной плитой. Правда, не на все... Когда стих припадок заключительной эпилепсии, она вдруг ликующе перевернула меня на спину: «Ага! Ну, где твое сердце?!» И подлинно — алкаш машинист даже забыл развести огонь.

Шереметьево оказалось заграничнее самой границы, на черном шашечном табло выщелкивались «Amsterdam», «Istanbul»... Что? Всегда же разрешалось пятьсот без разрешения? А если тормознут — конфискуют? Два-три затравленных порыва — и мой идеал, повернувшись к Европе задом, а ко мне передом, задирает юбку и, сверкнув полоской ослепительных трусиков с надписью «вторник» (хотя был четверг), пихает сложенную вдвое зеленую пачечку прямо в заветный вертоград.

Тьма, горные зигзаги, раскаленный плац за колючей проволокой: Греция — это так обыденно. И снова наши фары шарят то по осыпям, то по кустам, то по пустоте, зажигая цепочку алых угольков вдоль обочины; в отсветах встречных фар я вижу рядом с собой даму редкостной красоты, украдкой склоняющуюся к прихваченному из самолета гигиеническому пакету, — софийская чесночная колбаса... Огненный муравейник внизу — Салоники, Фессалоники. Фессалия, Македония — не отзывается ни простота, ни пустота. Огненные витрины как витрины, дома как дома, и снова тьма как тьма и ломота в копчике. «Почему так долго?» — негодуют благородные голоса. «Пешком все равно дольше», — неутомимая руководительница. На требование невозможного — беспредельное презрение: дух и власть, борьба психопатов и скотов.

Роскошный ужин, который в Греции не запивают. Балкон-веранда, тьма, выдыхающая активное тепло, но гул кондиционера глушит субтропики. Мы измочалены, однако без эпилептического припадка я не засыпаю. Четырехспальная кровать пружинит, как батут.

Утро за утром. Отели — белые бетонные параллелепипеды в четыре балконных пояса — тянутся вдоль моря, до набережной с новенькой, но все равно византийской, прихлопнутой по куполам церковью — две минуты, прямо в плавках и даже босиком, если бы я мог ходить без стелек с желваками. Песок на асфальте, золото в лазури — солнечные валы шли мерными рядами, как на Вайкики. Мне когда-то страшно хотелось переплыть теплый Геллеспонт, а то я всегда замерзал раньше, чем уставал. У нее тоже нашлась невыдохшаяся греза — плыть рядом с любимым в ласковых волнах (в одиночку заплывать она вообще боялась). Я дивился точности и грациозности ее кроля, которому я ее только что и обучил. Берег исчезал, вырастали горы, днем затянутые жарким маревом. «Это Олимп, — говорил я себе. — Греция». — «Сухуми», — отметала глубина. Сердце, вспоминал я — и прикидывал, далеко ли до берега; вмешательство разума тут же вызывало беспорядочные перебои. Я мог бы не обращать внимания, но забвение все равно исчезало. Зато моя nereida рядом со своим Посейдоном, даже отфыркиваясь от горькой пены, оставалась благостно-серьезной, как младенец у материнской груди.

На пляже то и дело русская речь. «Бабы, что это хоть за море, Черное, что ли?» — «Эгейское, дура». Милая заманивает меня в Афины — ради меня, я знаю; но если прежде мне хотелось с ее образом лететь неведомо куда, то сейчас рядом с нею я ощущал, что уже доехал до цели. До забвения. (Это в глубине, а уму хватает и цены — полгербалайфа.) Зато, вкушая невидимый лотос, я вспомнил, что аппетит — это звериная страсть, а не просто неприятное ощущение под ложечкой. Всюду на лотках для лотофагов картины виноградно-апельсинового социалистического рая с фресок ВСХВ, освещенные гостеприимными улыбками хозяев (какая-то улучшенная Грузия), персики помельче, зато истекающие спелостью и дешевизной, взвешивае на старинном безмене крестьянин прямо с осли.. с пикапа. Я и не подозревал, что один персик способен на целый день заполнить комнату ароматом.

Здесь было все, что может подарить реальность, — то есть ничего. Но ланч в нашем холодильнике составлялся очень нарядный — хотя самыми аппетитными, как всегда, оказались имена. Арбуз — карпузо... Греческий язык богов и титанов в пенсне нам, оказывается, наполовину знаком, греки и пишут по-русски, с небольшими погрешностями: на вокзале видишь вывеску «трофим», у туалета тоже не потеряешься — здесь «андрон», там «гинекейон», в лифте мелькнет «литургия», а в книжной лавке я обнаружил книгу Мпориса Полевого — что-то вроде «Повесть о прагматичном андроне». Это было прозрение: прагматичный — конечно же, это солидный, основательный, словом, *настоящий* человек.

Стараясь зарываться припекаемыми ступнями поглубже в песчаную прохладу, после завтрака мы брели к отдаленным вигвамам: хозяин кафе на отшибе предоставлял навесы из лотоса и халявные пластиковые шезлонги в справедливом расчете, что полежишь-полежишь, а там и не удержишься от тяжелодонного стакана настоянных на болеутоляющем лотосе сока, пива, кофе глясе, шашлыка из пончиков, которыми неустанно обносит пляж златопушистый Ганимед из Ташкента, где он вкушал счастливое детство до третьего класса, а здесь вкушает изнанку всякого благоустройства: чтобы не быть принуждаемыми Хаосом, надо принуждать друг друга.

Белые шезлонги, сложенные стеной, образуют завораживающий орнамент, который можно обследовать часами, горяченький ветерок в тени вигвама кажется прохладным, можно смотреть вдаль, можно слушать шум волн или собственный никого из нас всерьез не касающийся разговор, можно прочесть полстраницы из хорошей, но, упаси боже, не гениальной книги, можно плыть, покуда не закружится голова, можно прогуляться на раскаленную спортплощадку — как я любил когда-то именно пекло... С пудовым грузом годов на подошвах я уже побаивался крутить «солныш-

ко» — ограничивался шиком Механки — «склепкой», но уже не взлетал одним лишь усилием мысли — крякал от натуги. Правда, моя наивная обожательница этого не замечала: «Ты как будто вообще не чувствуешь тяжести, ты самый красивый на всем пляже». И то — под загаром, под панамками, метров с десяти мы гляделись отменной парой, глазастое бабье уже прозвало нас молодоженами.

— Если бы из меня душу вынуть, мне бы сносу не было.

— Без души ты был бы мне не нужен.

— Эта манера загорать без лифчика... Скоро вообще на женщин смотреть не захотим.

— Только немки и шведки, гречанки вообще в закрытых купальниках.

— Молодцы, Афродита должна быть экономной. А ты хотела бы быть... — Я собирался спросить — «гречанкой», но какое-то отмершее озорство дрогнуло во мне, и я закончил: — Греком?

— Греком?! — как будто я предложил ей стать медведицей. Хотя ведь и в волшебных превращениях пол остается инвариантным: парень — в медведя, девушка — в медведицу.

— А что, разве ты не хочешь стать мужчиной?

— Да ну его, вам ведь положено что-то представлять из себя. А мы всякие сойдем.

Чтобы окончательно забыть о себе, мне хотелось убраться подальше от всех зеркал. Бездумье безлюдья манило на излом волнореза, сложенного из обломков олимпийских скал. Но, спускаясь по глыбам в колыхающуюся нирвану, я тут же наступил на какого-то морского ежа. Когда моя сердитая медсестричка сверкающей иглой извлекала из моей пятки черные иглы, воображение внезапно взорвалось: вот нарывающая нога не дает мне ходить, купаться, тянет обратно в жизнь... «Ну почему мне так не везет?..» — я буквально едва удерживал слезы. «Потому что ты все любишь делать по-своему». Но сошло, позволило забыть о себе.

Прохлаждались мы среди мехов — зеркала, эр-кондишн, метакса с шипучкой (я прямо пристрасился), гостеприимные приказчики: застенчивый химик-технолог Марина из Подмоскovie, вдумчивый экономист Гавриил из Кишинева, гусаристый Тадек из Варшавы, зауважавший меня за то, что я знал «Пана Тадеуша», но рассудительности не потерявший: «Не бывает, чтобы все люди были хорошие», — а значит, и шубы должны иметь проплешинки — тут же покрасить пульверизатором, прорешинки — тут же подштопать. Ужасно жалко, что самое отвратительное — соперничество — может быть изгнано из жизни лишь вместе с самой жизнью... В нынешнем мире дуракам вроде меня главное — не считать себя умнее других, не искать нехоженных троп. В Салониках я разнюхал торговую щель с баснословно дешевыми «хвостиками», а это оказалась «летняя норка», сыпучая, как перезрелый одуванчик. К счастью, хозяин (усы, пузо — ну, Сухуми и Сухуми) оказался так добр, что согласился взять обратно всего на каких-то восемьдесят марок дешевле.

Зазывалы зазывали нас на олимпийские меховые фабрики — черпать из самого чистого источника; мы съездили, посмотрели с моста на быструю плоскую речку среди сросшейся зелени — в прозрачной воде, как в садке, бродили крупные рыбы. Потом сформировалась другая группа; их автобус остановили автоматчики в масках, прекрасное владеющие русским разговорным, и у всех изъяли от двух до пяти тысяч баксов. Но мы, солдаты, не размышляем о пуле, уложившей соседа. Моя мартышка вертится перед зеркалом просто «для себя», примеряет даже недостижимые «целиковые» шубы и шубки, поводит плечами, как манекенщица. Загар, меха, отсветы зеркал — она вспыхивает совершенно ослепительной красотой. Хотя меня теперь не ослепишь, я, прагматичный андрон, толкую лишь о ценах на шубы из хвостиков, лобиков (панцирь из полумесяцев) и

даже «из сердца» — гистерезистые петли, нарезанные из грудок бедных зверьков. Но что вы хотите — это жизнь!

Прохладный душ, она, якобы забыв халатик (шедевр тускнеет без ценителя), забегает из ванной в одном лишь купальнике из двух светящихся полосок. Отретушированная загаром — со сдвигом к углю, а не к шоколаду, — фигурка у нее вообще закачаешься. Чем мы тут же и... Но пора безумной акробатики миновала, временами мы замираем друг в друге, словно погружаясь в глубочайшую задумчивость.

Снова расслабленный душ, затем прохладный ланч и сиеста, до предвечернего заплыва погружающая в блаженную очумелость. Затем сверкающая тьма, недра ресторанов озаряются магниевым светом, слепит глаза от пестроты и беззаботности, нарядная толпа заполняет улицы, где даже в толчее никто никогда ни на кого не повышает голоса; завершающая прогулка по меховым уголкам, ужин, явление ночного моря (серебристый бурьян напоминает нам самый дешевый мех — «опоссум»), безопасная замкнутость номера, хорошая, но, помилуй бог, не гениальная книга, упражнения на батуте, сладостное безразличие засыпания, когда ничего не надо в себе глушить изнеможением — все и так приглушено.

Вчерашний сержант ВДВ под дико стильный фокс «Э, Стамбул, в Константинополе...» бледнеет у стеночки: шербатый шпаненок стряхивает пепел на его сияющие корочки, а зрелые блатари сквозь семянные пробежки танцующих пар внимательно наблюдают, хватит ли у него дурасти щелкнуть шибздика по носу — на Механке это звалось «подпустить мандавошку». Греция тоже подпустила нам мандавошку: на мертвенно сияющем прожекторном пятачке среди жаркой тьмы мы тянемся почетным караулом вслед усатой шмакодявке в форме. Шмакодявка пробегает в таможенную витрину, бешено расшвыривая коротенькими ножками наши любовно охваченные портупелями скотча черные пластиковые посылки с хвостиками и лобиками, скрученными с улиточным совершенством: распаковать — до утра не уложиться, а утром — из Софии самолет... «Нас это не...» — мы понимаем и по-гречески. Классическое образование и борода клинышком позволили бы нам разве что часом раньше уяснить, что у нас нет доказательств, платили мы драхмами или долларами. За пару суток мы, пожалуй, и объехали бы меховые лавки, которые удалось бы припомнить, и хозяева, радушно улыбавшиеся нашей зелени (в смысле неосведомленности), пожалуй, выписали бы нам нужные справки (самолет — тютю), но наша греческая виза истекла три часа назад. Что нас ждет — штраф, конфискация, тюрьма, — никто не знает, но для души, сорвавшейся с цепи, вновь обретшей крылья, никакая определенность осуществившегося даже близко не бывает столь ужасной, как безбрежность возможного.

— Как по-гречески «геморрой»? — идет скандалить Гренадер-баба.

— Это греческое слово, — поражаю я коллег. — Кровотечение.

Усатик гаркнул, как Геракл: вот что творило богоравных героев из удалцов районного масштаба — необузданность человека фантазирующего, когда он напуган или восхищен. Притихшая Гренадер-баба — это жутко, как зрелище замершей Ниагары. Постепенно безнадежность поглощает всех: кто впадает в каталепсию, кто цедит в крышку от термоса сердечные капли, кто бредет в туалет — это пока еще разрешено. «Я бы сейчас спокойно спала, если бы ты не дергался», — пытается ввести в берега мою безмерность мудрая сиделка, алебастровая от прожекторов и бессонницы, и у меня хватает героизма отдаться безграничности одиночества, я отправляюсь скитаться по нейтральному асфальту. Вычерчиваю хаотические петли Лиссажу, по двадцать, тридцать, сорок раз заглядываю в туалет и фришоп — здесь больше некуда укрыться хоть в какую-то ограниченность. Унитазы гудят внушительно, как трансформаторы, никелем и кафелем

сортир напоминает пекаренку из страны забвения, оттуда же выглядывает головка метаксы, на миг раздвинув безжалостное полнокровие фалернского и фессалийского, удвоенные зеркалами, сверкают три тысячи сортов виски и шоколада, ряды электробритв скалят черные зубы с нержавеющейми пломбами... Какая страшная сверкающая элегантность, сколько в мире вещей, ненужных человеку!..

На залитую прожекторами сцену всплывают и с ревом уносятся во тьму огромные трейлеры с надписью «Amsterdam», «Istanbul» — декорации прохудились, бесконечность свистала из всех прорех. А среди бездн мне выгородили загончик колючей проволокой. Вдоль шлагбаума прохаживается солдат в незнакомой форме, держа скорострельную винтовку поперек пояса. Броситься на проволоку, короткая очередь — но нельзя. Нет такого варианта. Под агавами, как чумаки, сидят негромкие украинцы. Сидят вже місяць — неправильно оформилы паспорта, а назад вернуться не на что. Оказывается, и так жить можно.

Черная тьма превращается в предрассветную мглу, проступают, потом начинают розоветь горы. Выходят солдаты причесывать грабелями и без того отлично взбороненную черную землю меж двух колючих оград. А померкшие звезды складываются во что-то снисходительное: мы тянемся подписывать, что не имеем претензий, — подумаешь, самолет — пешком доберемся, — тогда нас отпустят. На греческом ничего подписывать нельзя: может, ты признаешься, что наркотики вез, предупреждают все друг друга, и все подписывают. Вот видишь, с нежностью не матери, но бабушки поглаживает мою руку неумытая, подзапущая няня, и мы с воплями бросаемся за автобусом — нравы у нас товарищеские, если бы не шлагбаум, мы остались бы под агавами.

Гонка по быстро накаляющимся Балканам, дымок растаявшего самолета в плавящемся небе, на поезд нет ни билетов, ни денег, продаем (своим же) одного опоссума (какие-то бабки за пропавшие авиабилеты обещает выцарапать болгарская сторона). Общага, совместный душ, безразличный, как в блокадной вошебойке, но у нас с Их Высочеством разные интересы, а Они главнее. Два часа мертвецкого слипшегося сна, очумелая София, что-то византийское, что-то псевдовизантийское, скромные дворцы, скромный мавзолей Димитрова в мазутных объявлениях: «Желев предатель!», «Луканов предатель!» — вожди простот всегда становятся предателями за то, что не умеют одновременно поворачивать налево и направо.

Поезд, лужа подтекает к нашим шубам — заваливаем ими полки, держим на коленях, как младенцев, — нам, прагматичным андронам, не до дивных горных пейзажей за струящимся стеклом. А после выгонять воду, переводить дух, перебирать шубы — не подмокло ли чего... В Горном Ореховце уже затемно нас берет на бордаж «турецкий десант» с кожей и текстилем — согбенные силуэты, обвешанные силуэтами сумиш, влекут силуэты багажных тележек, на которых колеблется макушкой в незримой вышине гора таких же черных сумочных силуэтов. Держа поезд на стоп-кране, в тамбур мечут и мечут суму за сумой, потом заваливают купе по грудь и сами ложатся поперек. Какое счастье все эти так называемые тяготы, когда ты что-то делаешь, а не с тобой делают! Впереди Румыния, Молдавия, Украина, и всюду таможни — прорехи в безграничность или, как теперь выражаются, в беспредел. Какое счастье, надрываясь, переть во тьме что-нибудь *чужое*... (Этой мечте суждено было сбыться.)

Румынские таможенники, раззолоченные и свирепые, как латиноамериканские диктаторы. Духовка, нехватка пресной воды, бесконечная кукурузная пустыня — лишь изредка высокая, словно сырная пасха, барашковая папаха...

Предусмотрительных людей, покупающих шубы в июле, не сыскалось. Я обещал себе ближе к зиме помочь Соне с реализацией, а покуда, потупясь,

взял у нее тысячу марок плюс надбавку на гербалайф, который дочка отвергла на третий день. Мне казалось, мама возненавидит ее за бесконечные безжалостные капризы, но и мама готова была утираться до бесконечности. «Иначе она погибнет», — это было нам сказано чрезвычайно убедительно.

От станции к психушке изредка ходил своенравный «Икарус». Посетители дома скорби ждали терпеливо до пришибленности: все давно убедились, что нужно не восставать против жизни, а переживать ее, хоть бы и под дождем — солнечное пиршество золотой осени было в тысячу раз глумливей. А тут готовое развлечение — ежиться, дрожать, шевелить коченеющими пальцами в мокрых ботинках... Я уже дважды отлучался в набрякший дождем сортир, мало чем отличающийся от такого же набрякшего вокзала, — хотелось их отжать, как губку. Во втором заходе я принял за мокрый цемент подступившую к горлу сортирную жижу и только чудом не ухнул туда по колено. Долго ополаскивал ботинок, меняя пузырящиеся лужи, но запашок до конца так и не отступил: гадости продолжали исправно исполнять роль шекспировских шутов в обесцвеченной выжеванной трагедии.

Наши попутчики по несчастью безмолвствовали — что тут скажешь. Только одна тетка все еще старалась заговорить правду: «...Забери да забери, а как заберешь, опять начинает бегать...» Нельзя сослупать с протоптанной тропы, нельзя шевелиться, дышать — все в мире висит на волоске, дикари правильно боятся начертить лишнюю полосу на миске: любое новшество может растревожить злых духов.

— Тебе очень хотелось выйти за меня замуж? — с состраданием спросил я моего намокшего утенка.

— Ужасно хотелось. Как что хорошего — все девушки этого хотят. А кто не хочет, лучше от них подальше. Ты мне казался таким гениальным... Почему, и сейчас кажешься.

— Зачем тебе было назначать меня именно в гении? Это же для дома, для семьи только обуза?

— Не знаю, зачем-то нужно. Возвышает.

— Но ведь гении что-то создают. А я только и умею брюзжать: и то неинтересно, и этого мало... Гений романтизма. Обновления. Обнуления.

— Мальчишки все такие. Им ботинки не нужны, им подавай пистолет.

Наконец-то!.. Романтизм — просто-напросто инфантилизм, мечта вернуться в мир, где тебе не писаны никакие законы; где не только люди, но и свойства, истины не теснят друг друга; где можно быть одновременно лилипутом и великаном; где дважды два равно кому чего хочется; где все, кого любишь, могут просторно разместиться в одной комнатенке; где можно пятью хлебами накормить пять миллиардов алчущих...

— Ты знаешь, что ты умнее меня? Когда же ты наконец расквешься, что вышла замуж за одного сумасшедшего, родила вторую?..

— Мне кажется, этим я от вас как бы отказывалась. Да и нормальные мужики такие скучные...

— Сколько же тебя еще нужно терзать, чтобы ты наконец расквешься?

— Не знаю. Много. Мне кажется, я не зря мучилась, что-то поняла.

— И на что же ты его употребишь, свое понимание?

— Богу принесу. — Она показала горсточку, куда с зонтика мгновенно пролились ледяные слезы.

— Давно хотел тебя спросить: зачем ты мелочишься, веришь в гербалайф — поверила бы уж сразу в Бога?

— Когда кто-то говорит: я верю в Бога, для меня он как будто объявляет: я лжец. Хорошим людям Бог не нужен, им не нужен, как ты говоришь, союзник, чтобы над всеми возвышаться.

— А другой раз, — бедная тетка безостановочной болтовней отгоняла обступившую со всех сторон правду, как пламенем отгоняют волков, —

другой раз собрал всю посуду и отнес на помойку... — Соседка сзади глушила правду иностранным языком: плеер еле слышно щебетал, а она тихонько постанывала — отрабатывала произношение.

«Икарус», беспросветно мокрые домишки, мокрющие деревья вдоль раскисших обочин, — какие деревья? — пучки кривых черных удилиц, — переулки Труда вдоль проспекта Тоски...

Заплаканные бараки, сквернейший — прессованный шлак — серый мрамор мемориальной доски: немецко-фашистские захватчики расстреляли всех больных заодно с персоналом. Фашизм — взрыв душевного здоровья, расправа Жажды Поступка с лазутчиками Хаоса — Унынием и Со-мнением.

Ждать положено в нейтральном тамбуре, чтобы холодный безбрежный ад не смешивался с замкнутым байковым. Из обычного больничного гула за дверью без ручки вдруг взрываются задыхающиеся женские вопли: «Пусти, сволочь, гад, помогите, помогите, а-а-а-а!» Мы слушаем не поднимая глаз. Все слишком ужасно, чтобы ужасаться.

Оказалось, дочкину палату повели стирать в прачечный корпус. Я потащился туда под дождем. Беспрепятственно, как бродячая корова, я забрел в полутемный преющий коридор — оранжерея на Аптекарском, ее потенькая ручонка в моей руке, — и тут их вывели из какой-то боковой двери, в одних тапках-лаптях, не церемонясь с дурами. Впереди нее шаркала вся угловатая горбунья в седых распушенных космах, слева переваливалась страшная толстуха, плеча жирными складками, наплывающими друг на друга, словно лава на склоне вулкана. Я не видел дочку голенькой лет пятнадцать и, конечно, отвел бы глаза, но от ужаса я просто забыл о приличиях. Позвоночник — вот что от нее осталось: до той моей собаки обнажаться осталось немного. Попки на ней совсем не было, ее как будто просто недорубили ударом снизу. Оказывается, она не капризничала, что ей больно сидеть в ванне. Женщина в белом халате, вооруженная лампой в жестяном кульке, в упор осмотрела лобок у горбуни и перешла к дочери.

В тамбуре мы разговаривали с нею предельно буднично, чтобы не колыхнуть затаившуюся бездонность: чем кормят, чем колют... Личико у нее было равнодушное, одутловатое и белое, как сало. Но я мог это видеть, только думать об этом не мог — *образа* реальности мне было не выдержать.

После полуночи убитый Сонин голосок изо дня в день вел репортаж о Марчелло. Последняя любовь оказалась все-таки недостаточно подлинной, и он не стал профанировать ее простым сожителем — перебрался домой. Они открывали только по условному звонку, ибо каждое утро минут по пять в дверь им звонил некто из военкомата — в штатском, но, по донесению соседей, в ботинках со шнуровкой, уходящей под брюки, — так бывает только у военных. Тем не менее однажды в три часа ночи, обалдевшая спросонья, она открыла аварийной службе: «Утечка газа!» За дверью стояли милиционер и омоновец. Марчелло увели, но где-то с кем-то он поговорил так крупно, что какая-то добрая душа отправила его на обследование в психбольницу — так они там оба теперь и пребывали: моя красавица — оттого, что страшилась всего на свете, ее красавец — оттого, что ничего не страшился.

«Если бы хотя бы вместе...» — она как будто и впрямь помешалась. Но я был в силах лишь как сумасшедший твердить нежные заклинания. В мире все подгонялось друг к другу тысячи лет: роль любовника — к роли мужа, отца, кормильца, защитника, носителя престижа; любовницы — к матери и хозяйке, — а мы, умники, захотели выковырять из механизма шестеренки понаряднее. Ничего нельзя изобретать, все, что нужно, давно изобретено.

В постели меня каждый раз ранило безмятежное тепло маминого тела: сквозь всю ее муку какие-то технологические процессы шествовали своим

железным путем. Я начинал целовать ее из чистой мучительной нежности, но потом как-то само собой... «Может, не надо?.. Она там... а я тут...» («я тут», а не «мы тут»). «Нам не надо притворяться несчастней, чем мы есть, — шептал я. — Не бойся пересолить по части забвения — все равно не сумеешь».

Согнут жизнью тот, кто ею доволен. Мне уже хотелось одного — жить как все: чтобы дочка была дома, хоть что-нибудь ела, смотрела телевизор и прогуливала университет. Когда ее выписывали, уже почавкивал первый снег, и, столкнувшись с нею в тамбуре, я похолодел: передо мной стояла деревенская дурочка в ватнике с рукавами до колен и — на самой макушке — тряпочной серой шапчонке на пятилетнего приютского сиротку — ее вели переодевать «в свое».

Теперь она уже выходила в магазин, озабоченно выбирала, что ей можно есть, что-то готовила даже и для нас — многосложное, экспериментальное, и я чувствовал не по дням, а по часам, как мама отмякает, а я распрямляюсь. Меня, видно, только могила согнет: вместе с беспредельным облегчением я начинал ощущать что-то вроде разочарования, когда изредка заставлял дочку болтающей по телефону или, пуше того, за журналом мод, — так что же, и это все? Оказалось, главная прелесть юности — неведение, и то, что моя дочурка больше уже никогда не будет невин... не ведающей гадости... О, тупая неотменимость факта!

Но вместе с палящей обидой росло и успокоение за нее: меня уже начали раздражать ее волосы, которые она не смывала с ванны. Может, я и правда чудовище? Может, не только для отца, но и для «гуманиста» в человеке не должно быть гадкого? Не дождетесь! Буду, буду, буду! Мир скотов — это мир равноправных фактов, в нем что слеза, что сопля, а человеческий мир — иерархический мир условностей, и если мы допустим туда свободу и равенство скотного двора, вместе с гадким исчезнет и прекрасное: его создает контраст. Мы погубим не только свою, это бы черт с нами, но и за века до нас накопленную поэзию: опростившиеся в животных, мы перестанем понимать, почему есть тысячи стихотворений о муках страсти и муках совести и ни одного — о муках запора.

Да нет, чего там — это были только флуктуации. Тысячу раз в день я переводил дух при мысли, что до вечера ничего ужасного как будто не планируется. А завтра... О завтрашнем дне думают одни барчуки. Но, вновь ударившись взглядом о жирный, словно сошедший с «Осаки», иней близ ее дома, я, как инвалид, обнаруживший на месте полированной культуры вяловатую, но живую ногу, внезапно почувствовал не только облегчение, что предостоят несколько дней забытья, но и радость, что могу отлить настоя беспамятства и любимому существу. Мы долго стояли обнявшись, бессознательно стараясь опереться друг на друга.

На толчке стали брать деньги за расчерченный снег и пятнистым омом гонять с нерасчерченного. За умеренную дань пятнистым нас допустили к нейтральному промерзшему бетону. Подвешенный к ограде пиратский флаг с трофеем — черный костюм с золотой челюстью пряжки, — в злой игре с ним, легким, летним, ветер казался особенно пронизывающим. Но мы при шубах — одна в руках, другая чапаевской буркой на плечах. Красная девка брюзгливо (брезгливо) мнет мои кровные хвостики, две подружки за ее плечами страдают в чужом пиру от холода и зависти. «Что это за шуба, никакой формы!» — «Формы надо иметь хозяйке». Подружки закатываются счастливым смехом. Богачка с ненавистью отбрасывает мою шубочку — хорошо еще в руки: «Продают брак...» Подружки, удаляясь, посылают мне благодарные улыбки.

Неведомо среди каких пространств мы подпрыгиваем в пустом, словно вымерзшем «Икарусе», в три пальца оштукатуренном роскошном инеем.

Блочные пятиэтажки под звездами, переплетенные бельевыми веревками, — это и есть Птичка.

Уже на лестнице в лицо ударяет теплом кислых овчин, русской печью, сохнувшей картошкой. В отсветах лучины мы видим за струганым столом еще молодого мужика с напояженными коровьим маслом волосами, уложенными на размытый лысиной прямой пробор, принаряженного в смазные сапоги бутылками и пестрядевую рубаху, выпущенную из-под жилетки с цепочкой. Мужик разбирал на стопки воздушную грудку многоцветных денег и, помусолив вынутый из-за уха химический карандаш, выводил на листе оберточной бумаги: долларов — две триста, франков — тридцать семьсот двадцать, дойчмарок... В соседней комнате ходила ходуном огромная тень зыбки, горько плакал младенец и старушечий голос тянул извечную русскую колыбельную, до того безнадежную, что рыдания обрывали первое же двустушие: «Люли-люли-люленьки — прилетали гуленьки». Статная молодая хозяйка, венециановская пейзажка в домотканом сарафане, на корточках перебирала в десятке ушатов разнокалиберные яйца — от бильярдных до карликовых, мучительно знакомых по первобытному охотничьему детству, — и это действительно были вороньи яйца! В них недавно открыли очень важный витамин, и русская ворона оказалась самой обильной и яйценосной. Пока что воронье яйцо поставлялось лишь во Францию, Германию и страны Бенилюкса, но наш хозяин уже взял подряд на инкубатор.

Хозяйка троекратно облобызалась с Соней и хлебосольным жестом пригласила закусить чем бог послал — исключительно птицей земною. Так же хлебосольно она убеждала Соню вложить деньги в их новое дело — кладбище и коптильный цех (что они там собираются коптить?!). Особняк взялись строить трехэтажный, по-родственному посетовала она, так теперь из шкуры вылезаем. Да еще с земельной арендой заморочки — не могла бы Соня посоветовать?.. Нет, засмеялась Соня, вот он (я) — крупный землевладелец, он все знает. Да что у меня есть, заскромничал я, пляж в Антарктиде да лыжная трасса в Сахаре. Мне казалось, мы все тут перешучиваемся, но хозяйка уважительно сказала: ну а что, разве мало?..

Шубу из хвостиков хозяин, крикнув после химградской нечистой, взял за восемьсот марок: «Может, инспекторше какой сгодится».

Но дома, разбуженный своими водяными часами, я каждый раз спешил проверить, на месте ли приподнявшаяся была плита, и ощущал ее холод у самого носа. А невидимый крановщик немедленно срабатывал «майна». Я глушил глубину наукой: сейчас я все же мог на несколько шагов отдаляться от своего лежачего долгостроя, я мог, не думая ни о пользе, ни об успехах, набрасывать модели познания объектов, не имеющих фиксированного фазового пространства, — прикидывал, как ограниченный субъект воспринимает безграничный объект: объект имеет триллион триллионов проявлений, а субъект способен замечать три десятка и запоминать три сотни. Остороженько, чтобы не соскользнуть в манию величия, я даже пытался смазать великий спор, употребляет ли Бог игральные кости: мне хотелось изобразить вероятностную модель квантовой механики тоже лишь одной из масок бесконечного Хаоса.

Единственным закутком, где можно было разомкнуть обруч, чтобы при этом не осесть на пол с иссякающим выдохом, была телефонная трубка. Подмазка куда-то была введена, Марчелло получил-таки отсрочку, сама она съездила в Италию, привезла лифчики, колготки, польта, сумки, — там уже тепло, два раза по полдня она смотрела на адриатические волны: «Мне казалось, что я тебя обкрадываю. Ты тоже должен был здесь сидеть на солнышке — ты бы читал, я бы на тебя смотрела...» И я почувствовал, что заработал право на маленькую кражу. Уже сквозь перронную толкотню мы плыли в неощутимом батискафе, откуда мы всех видели и слышали, и нас все видели и толкали, но попасть к нам никто не мог.

Из снегов спускаемся по трапу на солнечный асфальт. Пузатая пальма, стриженная под ананас, у типовой стеклянной стены, но сердцевина аэропорта — черные мраморы, арки, орнаменты — отдает Альгамброй. Перешагнув границу, Респектабельная Дама сбрасывает условности. «У-тю-тю, муни-муни-му, ах ты мой усатенький, дай я тебя поцелую!» — взывает она к каждой униформе, пока один с усилием не отвечает: «Не могу, рамадан». Спасая честь сирийского гостеприимства, наш гид Омар деликатно разъясняет: после восхода солнца нельзя ни пить, ни есть, ни... эбать. Сам он поэтому не желает даже таблетки «от головы». Сокол Жириновского потешается над усаками через Англичанку: «Девочек хотите? — это про наших шопниц. — Пятьсот долларов. Ну, дорого так дорого, в другой раз дешевых привезу». В автобусе Каменная Баба считает делом чести держать леопардовую ногу поперек прохода: «Перешагнешь».

Гул отдаленного взрыва, туманная рань за окном уютного номера, заполняемого нашими сумами, — разбуженные запрещающим пушечным выстрелом, мы каждый раз преступаем завет Магомета и под гортанное радиомяуканье: «Алла, бисмилла...» — засыпаем снова. К завтраку всегда подается что-то вроде творожной кашицы, которую черпают желобком лаваша — блинчатого, вроде армянского. (Вечером можно попросить и кальян с пластмассовым одноразовым мундштуком в заклеенном целлофановом пакетике — человеку с трубкой никогда не достичь такой значительности.) Днем возле клетушечного базара под кудахтанье так и не впадающих в безнадежность кур по дешевке продают скользкие пружинистые шашлычки из легких и от пуза же лаваша с ядреной солью. Ну а захотим роскоши — в такую же лепешку нам завернут зарумянившейся строганины с вертикального вертела, медленно вращающегося у вишневой калящейся сетки, — но сначала лепешку окунут в натекший янтарный жир, на миг прижмут к раскаленной сетке — лепешку охватит мгновенное пламя, — и уже в горячую... Гадостью нигде, кроме как в России, не кормят — видимо, не догадываются, что она съедобна: даже в нищей, закопченной от пляшущего в грубой печи огня харчевне зелень свежа, а кебаб прыскает щедрее, чем в ресторане нашей юности «Кавказский». Правда, чистая экзотика — какие-нибудь клецки неведомо из чего, плавающие неведомо в чем вроде, опять же, творога с молоком, чаще оказываются аппетитны лишь в чужой тарелке: помню, совсем маленькую дочку я повел в зоопарк, и больше всего ей там понравились воробьи. Но завидно становится, когда весь Дамаск начинает опускать гремящие жалюзи в лавках, конторах, мастерских и, усевшись за общую трапезу, ждать разрешающего буханья. Увы, отмирание запретов убивает и жизненные радости... А кофе в Дамаске пережаривают до угольной черноты и пьют с кардамоном — за квартал слышно. Мы и в Химграде нет-нет да выпьем по непереносимо горькой чашечке, и каждый раз сожмется сердце.

Дамаск — как всегда, самым прекрасным оказывается имя. Арки, колонны слегка завиваются чем-то мавританским лишь в центре, куда, так и быть, допущены и пальмы, а основной тон — бетонная утилитарность. Типовые минареты — в каждом квартале, вроде жэков, — подобно отставшим в росте пожарным каланчам, теряются меж бетонных кубов. Зато в них почти всегда светятся пятки правоверных (как и в нашем гостиничном холле). И над всем, и на всем, вплоть до ветровых стекол, — портретищи, портреты и портретики президента Асада — мудрого и доброго, как все диктаторы. Наши доллары в каждой подсобке подпольно меняют на обширные сирийские фунты, трепанные, как тряпки. Зато считают их здесь одной рукой: зажимают между мизинцем и безымянным, а большим и указательным мусолят. Мы затариваемся халатами, штанами, юбками, бродя из мастерской в мастерскую — всюду потягивая отличный чай из небольших, в талию стаканчиков, — все так гостеприимны, что и торговаться совестно,

но, благодарение Аллаху, мы не одни, с нами бабы, целые годы социалистического рабочего времени проводившие в обсуждении швов и кокеток, и теперь, когда призвание наконец сделалось профессией... Меня используют в качестве толмача: «Здесь слишком мелко для нашего судна».

Злоба дня беззлобно, но неотступно слой за слоем покрывает пылью мое внутреннее зрение, отчего зрение внешнее обретает спасительную близорукость: я замечаю в рекламе беспрерывные предложения услуг какого-то неугомонного нейрохирурга. Невольно мысля уличные углы прямыми, то и дело сбиваешься с пути — все площади о пяти — десяти углах. Единственный компас — уклон: верхний край Дамаска взмывает в гору, обращаясь в панцирь бетонной черепахи. В тамошних горных зигзагах нужно петлять очень долго, чтобы выбраться на пустынный склон и начать поиски обратной дороги. Грязи не больше, чем на задворках Невского, — ну, увидишь в мусоре грудную клетку барана, да еще по части полиэтиленовых мешков: мы пока что отстаем. Ребятишки сопровождают тебя любопытствующей стайкой, чтобы передать следующей стайке. Мальчики и девочки постарше все в защитной униформе (плюс воздушный белоснежный платкошарф для девочек). Внезапно вздрагиваешь, завидев в бетонной щели черную фигуру без лица, и на миг покажется, что она идет к тебе спиной. А потом вспоминаешь средневековых прокаженных... В центре Дамаска паранджи не встретишь — но и женщины в европейском там не очень-то расхаживают. На скромных рекламках белья — только в ателье — все модели европейского типа.

В закоулках среди кавказских лиц гяур с чужими долларами в кармане чувствует себя несколько скованно, однако и в торговой толкотне, поминутно сцепляясь тюками и тележками, галдят возбужденно, но не зло. Даже сталкивающиеся в узкой улочке машины как-то ухищряются без мордобоя выяснить, кто должен задним ходом повторить все колена до ближайшей развилки — метрах в двухстах. Бетонные мастодонты — почти декорация: пройди насквозь — и очутишься в лабиринте «Тысячи и одной ночи», среди скворечников на плечах крольчатников, веками соорудившихся методом ласточкиных гнезд. Не важно, мусульманский квартал или христианский («Чурки раньше русских крестились?!» — ошалевает Сокол), — выбраться можно только случайно, не поможет ни солнце, ни лежащая, как пресс-папье, луна: над головой почти смыкаются запечатанные балконы с полом из волнистых жердей (серое море...). Ливанских кедров не хватает — даже в прославленной мечети, где снаружи видна циклопическая римская колоннада, а внутри от простора ёкает душа, на поднебесных расписных потолках видишь те же самые волны (умиротворенную моей близостью Соню при входе заставляю облачиться в черную накидку с капюшоном — я начинаю понимать, сколь обольстительной может быть прекрасная монахиня). Лабиринты попадают и бытовые, и трудовые: гуд паяльных ламп, завывания станков, грохот молотков, трескотня сварки, стрекот швейных машинок — усатые джигиты, отплевываясь, лихорадочно строчат паскудное белье для неверных сук: пенящиеся охапки ажурных «комбитрезов», застегивающихся между ног, разноцветный прибор трусиков — на ниточках, с перьями на самом интересном месте и даже с новогодними цветными лампочками — сигнальные огни, чтобы не промахнуться в темноте? Работают на батарейках и от сети, без резиновых изоляторов лучше не суйся. Моя мартышка в первый же день вышла из душа в ослепительном резном «комбитрезе» — я зову ее полумонахиней-полублудницей.

По центральным улицам, безостановочно и безнадежно вопя, как ишаки, ползет пришедшее им на смену стадо нетленных автомобилей всех эпох, а между ними просачивается стадо пешеходов. Но ругани нет как нет. Внушительные зубцы бледно-желтой крепости глядятся в речку, текущую прямо с Механки: ил затягивает шины, банки, ассортимент обновлен

рыбьими пузырями пепси. Непрístupной цитаделью овладели торговые ряды: витрины золота, тканей, ковров, юбок, штанов, полупудовых золотых сабель, захлестнутых бесстыдным бельем, ряды сластей, утопающих в сиропе, мешки сладких, соленых и просто облупленных и необлупленных орешков, пышные купы зелени, пыточные туши баранов, огромные рыбыны в ледяном крошеве, — а на пыльном пустырьке, воздевши к небу какие-то талоны, народ давится к окошку закопченной баньки, бережно унося курящиеся белым мешочки.

Теряющиеся среди бетона приземистые восточные пышности в этой провинции Стамбула, увы, многократно перекрыты петербургскими «мавританскими гостиными»: уху, воспитанному на громоподобном проигрывателе, живой Паваротти кажется жидковатым.

Лысые горы, изъеденные кариесом (карстом), как ядро ореха, монастырь, расселенный по каменным дуплам, церковка с противотанковым ежом на маковке — чтобы крест и с неба виделся крестом, — мощный электромагнит, сердечником нацеленный на колокол, — чтобы обходиться без звонаря. (Муэдзины тоже не забираются на минарет, завывают в микрофон снизу, а рационализация — первый и неостановимый шаг к скепсису...)

На семь верст до небес пылит какая-то цементная Механка, азербайджанец в обвислой майке подгребаёт щебенку. Бетонный минарет в бетонном селе, от которого, подобно верблюжьей колючке, катят по полупустыне тысячи черных пластиковых мешков, тускло поблескивающих до самого горизонта. Пастух с обмотанной головой высоким посохом правит овечьим стадом. И — наш литейный двор через день после дождя: спекшийся буро-лиловый шлак на десятки километров вдоль призрачных лунных гор. Весь автобус спит, а во мне снова ширится что-то огромное и ненужное. Я запоздало стираю с лица бессмысленную улыбку — и вдруг вспоминаю своего белокрысого пастушка, уже, должно быть, ссохшегося в мумию... Но мои слезы говорят лишь о том, что я снова набрался духу для измены: я давно не плачу от горя — только от красоты. Автобус останавливается — «мальчики налево, девочки направо». На память о моей раставшей пастушке я хочу поднять марганцовочный камешек, но он прикипел. А сшибить его носком ботинка кажется мне кощунством.

Снова бесконечная кочегарка, и вдруг взъерошивается жесткая пальмовая шкура — оазис Пальмира. Аллея колонн, приземистый каменный театр — не знаю, дотягивают ли они до имени Пальмира, но и они великолеп... да нет, это что — неправдоподобны! К моим целомудренным разъяснениям, произносимым на ювелирное ушко, стягивается народ, и я среди ирреальных руин на фоне ирреальных гор рассказываю *честным контрабандистам* об эпохе эллинизма и дерзкой царице Зенобии, бросившей вызов еще могущественному Риму, который и восстановил здесь конституционный порядок, покуда извержение арабского духа не затопило полмира, — и челночная братия слушает поистине с детской серьезностью, продавщицы и парикмахерши внимают так почтительно, что в голову мне снова приходит: а может, это не случайно, что обновление духа является не из моногенной культурной среды, а из каких-то адских коктейлей, из столкновения миров? Ибо лишь чужой мир может явиться нам в величии и обалденности.

На Пальмире лежит непроглядная тьма. Мы сидим в ресторанчике за длинным столом. Все беседуют о чем-то проникновенном. Простодушная Дама под руководством Респектабельной, как обычно, выкладывает какие-то пирамидки из разноцветных капсул гербалайфа, рассуждает благостно, словно за пасьянсом: «Ученые давно интересовались вопросом, может ли забеременеть девственница. И оказалось, что может. Только родить она должна не мальчика, а девочку, которая будет ее точной копией. Когда я это услышала, я поняла, что Дарвин не прав». Вот это и есть свобода: Дарвин думает так, а я этак... «Сходил на дискотеку, — доносится рокот Соко-

ла. — ...Родственники президента... Хоть посмотреть, как серьезные люди бухают... Шейх... Шесть девочек, и всех он трахает... Главное — общение, а то «мани, мани» — я этого не люблю...»

Я тихонько прошу у моей скромно ликующей прекрасной маркитантки таблетку от головной боли — переволновался, и ко мне протягивается целый десяток.

— А ты, оказывается, умный, — недоверчиво обращается ко мне Сокол. — Я сейчас приколюсь картины покупать. Не помнишь, кто это нарисовал — река зеленая светится?

— Куинджи.

— Молоток, точно. Как думаешь, на пятьсот баксов он потянет? Чего у тебя с головой-то — простудились, гриппер?

Начинался откат — пересерьезничали. В темных зеркальных окнах автобуса светятся наши лампочки да виляющая телесная задница отплясывающей Респектабельной Дамы. Даже через заходящееся магнитофонное «Пригласите, пригласите» слышится гуд Сокола: «Ты уже кончила? Ну так кончай, а я пойду покурю». Бесцветные усики изнемогают от хохота. «Не кончать вредно для здоровья!» — на миг суровее Респектабельная Дама. Начавшая нас замечать Англичанка, подчеркнуто игнорируя обступившую вульгарность, склоняется к нам как интеллигентный человек к интеллигентным людям. Она щеголяет контрастом между своей интеллигентной сутью и широтой стилистических средств: «с ранья это мясо в меня не полезло», «зачем мне такой геморрой?», «я обкакалась» — коктейль... «Пригласите, пригласите, пригласите», — заходится певица, и Виляющая Дама под общий смех надрыгается, давится от хохота:

— Ха-ха-ха-ха-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА...

— Если потребуют за перегруз, я буду так вонять...

— У меня веса еще до х..., — радостно делится прелестное юное существо.

Ноне не старый режим, когда коммуняки не пускали пьяных в самолет, таперича свобода — эх-эх, без креста. Отряд наших небритых красноглазых коллег, втиснув на колени растрепанных боевых подруг, клацается бутылками и банками, выдирается в проход, чтобы схватиться за грудки или сбачать чечетку, — стюардессы боятся и нос сунуть в салон.

Дочка с горем пополам вернулась в университет, мне начал капать грантик — с деньгами слегка наладилось примерно на год, а значит, и на вечность: страшная рана в возможное начала затягиваться пленкой сегодняшнего дня. Рецепт правильной жизни давно найден — он называется «жизнь как жизнь».

Нежный или печальный голос ночной кукушки (чуть у меня что-то налаживается, ее немедленно начинает тревожить, что она мне больше не нужна), два-три круга в прозрачном двуспальном батискафе по Варшаве, Стамбулу, Римини...

Но стоит Верховному Хирургу прибрать в стол орудия воспитания, романтизм — наглость духа — вновь начинает поднимать павлинье перо на шляпе: меня уже слегка мутит от жвачных женщин, — изобретатель чуингама — величайший преступник христианской эры. Но пара хамоватых барсуков, покойно оплывающих с неизменной банкой пива в руке, пока еще, к счастью, мужики как мужики. Даже высоченный, весело поглядывающий черным глазом Одинокый Волк с Ближайшего Востока — альпийская седина, барочная улыбка из чистого золота — не будоражит моего воображения: нормальный мужик.

В безбрежном электрическом море медленно текут электрические реки, и вдоль каждой, повторяя все ее извивы, движется встречное течение рубиновых стоп-сигналов. «Э, Стамбул, в Константинополе...» Ангар, оплетенный химградскими трубами, — аэропорт Кемаля Ататюрка — по-

чему-то обойден его мясистым профилем, повсюду ведущим юношей и девушек то на бой, то на труд. Нормальный отель — что с того, что мебель целая и телевизор работает. Деликатная мышка, изредка прокатывающаяся по ковру, — тоже мышь как мышь, только что в красненькой фесочке размером с наперсток. В нормальной ванной расстелено нормальное махровое полотенце с вытканными босыми ступнями — нормальные ступни, разве что спелые пальцы оттопырены картофельными отростками. Пол нормальный, мраморный. Зато дно у Мраморного моря нормальное, кирпичное. Рождаются из тумана и вновь растворяются в нем безмолвные корабли-призраки. Внезапно Хаос сдергивает пелену с металлических осенних вод, и из них выгибают крутые спины острова, острова, острова... И довольно. И снова не вообразить, что это Мраморное море — та папиросная бумага, куда спускаются все эти поперечные улочки с поднырнувшими под большие скучные дома магазинчиками и лавчонками, шеголяющими русскими надписями: «склеп», «гуртовая продажа», «обмен аюбой валюты», «золото», «увезжаем завтра». За русскую прислугу вовсю идут подделки из Болгарии, Сербии, Польши: «Саша-Юра-Володя, заходи!»

Волны так мотают суденышко — ну хорошо, фелюгу, фелюгу, — что шмат жареной рыбы, вложенной в распластannую булку, приходится ловить чуть не как чалку. Стамбульский хлеб — белоснежный пух в золотой корочке, хрупкой, как бабочкино крыло, рыба плоть истекает горячим соком, — нормальный харч. А потому на мою принцессу наваливается дурнота. Перед нами взъерошенный мачтами нормальный Золотой Рог, за спиной — нормальная мечетища, за ней поднимаются в гору издавшие виды дома старого Стамбула, выставившие в окошки слуховые трубки буржук, но так и не откликающиеся посмертному зову старого Тбилиси моей молодости: все, что ниже пояса, затоплено Пользой — мастерские, магазинчики. Уличные кулины готовы таскать для нас из огня горячие каштаны, напоминающие печеную картошку, или замкнувшиеся раковины, чей растянувшийся в пленку владелец покоится на ложе из риса, перемешанного с какой-то пахучестью: платишь, разеваешь рот — и получаешь в него содержимое нижней раковины, умело поддетое верхней. Забытое ощущение — есть с ложки. Нормальное ощущение.

Сколько обалденной дури — нормальной дури — пошло на все эти турецкие туфли, фески, халаты, шаровары, ятаганы, на волос из бороды Магомета с нацеленной на него предусмотрительной лупой в султанском дворце, мумифицированном в музей, обследуемый нами, барсуками, над Золотым Рогом, упершимся в Босфор, — и сколько сил и мук понадобилось, чтобы шагнуть из этой отсталости в нормальное европейское захолустье, где можно сыскать немало для комфорта, кое-что для представительства и ничего для воспитания: сталинская Москва (последний султанский дворец — дворец культуры им. Орджоникидзе-жиринского) или серый бетон, без любви, без выдумки излитый в прямоугольное лоно. И слава Аллаху: нормальная жизнь может быть только безопасной и более никакой.

Не отвечать на страстные призывы зазывал — для деликатного человека источник постоянного напряжения (она справляется с этим так хорошо, что даже неприятно). Тем более торговаться с людьми, которые ради тебя готовы последнее с себя снять: они швыряют дубленки нам под ноги, как полонянок, волокут из подвалов, спускают из-под крыш, — спастись можно только игрой — бокс, а не драка: «У вас задран ахтерштейвень, подайте мне трап». Моя маленькая бизнесменша в моем присутствии теряет остатки ума (мне-то и терять нечего), а потому я отхожу в сторонку, чтобы потом не обнаружилось, что оспины среди дынной трешинки «крэка» — не последний крик моды, а брак, что глянец пропитки не должен походить на подживающий ожог, что капюшон должен налезать на голову, а не просто красоваться за плечами, что элегантный шнурок не должен

оставаться в руке при попытке его затянуть, что подошва меховых тапочек при сгибании не должна идти трещинами, как подошва крепостной мужички...

Для прагматичного андрона мечеть — это прежде всего «туалет»: при входе должно очиститься во всех отношениях. Вблизи минареты могучи, как водонапорные башни (мои любимчики из Самарканда-Бухары им по колено), — лишь из-за Босфора открывается их небесная невесомая колкость. Но когда взгляд не находит опоры, уносясь под купол, душа ёкает — словно нога не встретила ступеньки. Айя-София утопает в контрфорсищах, словно чудовищный блиндаж, — охнешь только внутри. Но и менее знаменитая, не краденая византийская, а собственно мусульманская купольная высь, разбившись на каскады апсид, обрушивается на тебя, смывая все положительное, — и к миру Дела снова выходишь дурак дураком. Под этим намеком на безбрежность уютно бродят босиком по гимнастическим матам для мольбы только многочисленные кошки да собаки (неверные). Детвора в великолепном дворе носится и галдит, как на большой перемене. Виртуозный орнамент лишь мельчит грандиозные взмахи арок. Сама арабская вязь лучше любого орнамента, хорошо, что я не умею читать: смысл расплющил бы и чудо, и тайну.

Гигантская римская поилница — необозримый затопленный подвал с несмолкаемой капелью в мрачном лесу каменных колонн, и когда после величия задавленности распаивается величие простора... Нет, делом, только делом вышибается дурь! Но и в бизнесе половина времени уходит на то, чтобы убедиться, что дурней тебя на свете нет никого: соступишь с протоптанной тропы — вырастут цены.

А у моей работодательницы турфирма «Трейд-покет» отказывается принимать обещанную *каргу*, где сосредоточено все ее состояние. Карги гоняли через дырку в военном аэродроме, арендованном каким-то армянином для перегонки иномарок, которые сбрасывались с «Антеев» на парашютах под видом десантных бэтээров. Но армянин поддался соблазну легкой наживы и начал заправлять бензобаки опиумом... Теперь все карги арестованы и где-то гниют — мы лишь по случайности не гнием среди них. Три молодца предлагают доставить нас вместе с грузом на автобусе через Болгарию-Румынию аж до самого Смоленска: все расписано — таможи, рэкет, взятки, — сто, сто, сто, тридцать пять — баксы отскакивают от зубов: здесь садятся автоматчики, здесь достаточно омововца с пистолетом, — я был зачарован, но моя робкая крошка повисла на мне в лучших традициях уличных побоищ на Механке: «Мне ведь и на похороны к тебе будет нельзя!» В конце концов мы покидаем свой плетеный, как лапоть, мешок с завязанными кроличьими ушками для таски в заброшенном темном баре под затянутыми паутиной высокими табуретами. Гарантией служит ленточка, отстриженная от школьной тетради в косую линейку.

В свете этого факта мне ужасно неловко тратить деньги на самое главное — на баловство: на турецкую баню за четыре доллара (сколько лир, уж и не помню). «Он тебя тиранет полотенцем — десять баксов, ущипнет за задницу — еще десять», — но я намерен блюсти свою задницу как зеницу ока. Выложив все лишние деньги, я углубился в асфальтовую тьму. В одном мавританском дворике сидят за чаем в талию, в другом чернеют вертикальные надгробные плиты в каменных чалмах. В застекленном боличном боксике выдают дерюжки. Ими стыдливо препоясываются правверные. Двадцатиугольная лежанка под куполом расписана, как площадь Регистан. Мы лежим ромашкой — головы в куче — на деревянных скамеечках, звонких, как ксилофоны. Краны вокруг торчат из резного камня — что твои дворцовые камины. Раковины тоже точены из сплошного камня, без стока, — представляю, как бы я ошалел от них когда-то. Мыться в них запрещено, можно только обливаться из пластмассового ковшика. Палач

обходит по кругу, медленно выворачивает руки, потом начинает откручивать уши, носы... Переворачивая жертву, он каждый раз шлепает мокрую дерюжку на срамное место. Я не даюсь, обхватываюсь, как насилуемая гимназистка. Належавшись, окатываюсь, кое-как вытираюсь сохраненной дерюжкой. Но в предбаннике, воспользовавшись моим замешательством, меня окутывают сразу тремя полотенцами, накидка на голове — как у голубого фараона. Все пропало... Но полотенца — уф-ф... — входят в минимальный банный набор.

В отзывающемся Химграде ангаре, среди духоты все разом покрываются дубленками чьих попало размеров: с одной страны больше трех шкур беспощинно не дерут, но четвертую дубленку можно провезти «на себе».

Только Восточный Волк, по-прежнему с одной легкой сумочкой через плечо, отбрасывает веселые зайчики золотых зубов на неизменный черный смокинг: его товар спокойно шуршит в выдолбленных каблуках. Пьяноватенький барсук без церемоний пытается продавиться мимо него на посадку. Но Одиночка без лишних слов и выражений громко стучает его кулаком по физиономии — вразумляет для первого раза. При этом он смотрит с такой веселой выжидательностью, что барсук давится собственным матом. Все нормально. Мужики поговорили.

Из того же родного Стамбула мы возвращались с турецким десантом, когда происходило великое сидение в Белом доме. Кто помудрей, старались помнить одно: те, эти — а кормить тебя вместо тебя все равно никто не будет. И в этом, ей-богу, было свое достоинство! Но активисты и здесь сползали из-под притолоки, чтобы стращать друг друга — мол, коммуняки все ларьки позакрывают. Впрочем, и Ельцин был не хорош: развел таможни, налоги — жуть брала, с какой легкостью оба стана готовы были подогнать под себя все мироздание. Мир убьет простота: ампутация ненужного однажды оставит нас без головы или без печени.

Поезд приопаздывал, и у нас пропадали билеты на химградский ежемесячный. Один вход в метро был перекрыт, в другой мешочников не пускали. Таксист заломил несусветно, но и его остановил мрачный милиционерский пикет. Впереди размахивали флагами устрашающего красного цвета: нудный геморроидальный канцелярист, окунувшись в двухлетнее забвение, восстал саблезубым пенсионером. Обиженные хотели иметь по праву то, что им причиталось лишь по закону милосердия. Простые люди не бывают хорошими: если не убьют сами, то проголосуют за убийц. Ничего страшного, твердил я себе, но декорации уже разверзлись.

Подыхая рысить вьючным и упряжным верблюдом сразу (краем глаза сфотографировалась ее почти падающая, но удивительно изящная, будто с вазы, бегущая фигурка), я все же ощущал ледок под ёкающей ложечкой — видеть пустую Москву, где всегда безостановочно валила лавина автомобилей. Последний вагон, на последнем издыхании сую билеты вместе с десятью тысячами, последний тюк вбрасываю на бегу. Потом один за другим — волк, коза и капуста, — багровый, потный, переволакиваю их по вагонам, тормозным площадкам и только тогда опускаюсь дышать. Она тоже еле дышит. В этот день наши танки били по Белому дому.

Италия начинается с сортира. Забеги-ка кой-куда, не забыла наставить меня перед вылетом моя маленькая воспитательница с проступившими сквозь бессонную бледность веснушками: чартеры для шопников устраиваются под утро, когда неудобно чистой публике. Перед входом огляделся, не идет ли кто сзади по пустынному аэропорту, внутри тоже зыркнул вправо, влево — уединенный уголок как раз для рэкета. Зашелкнулся замок — можно расслабиться. Теперь осторожно выгля... Ловушка! Дверь не отпирается! Лихорадочно верчу, дергаю — крепко строят, сволочи! Минуты текут, посадка объявлена, но и я еще парень хоть куда: подпрыгнул, подтянулся — никого. Щель между переборкой и потолком как раз по

мне — правда, пыль там вытираю я первый. Являюсь как раз вовремя, деловито возбужденный.

Весь мир дыра — что Неаполь, что Чебоксары: в Неаполе польта, в Милане люди обувью хорошо закупились, в Болонье бельем...

И «боинг» — самолет как самолет, а Альпы — горы как горы, странно только, что эту дикость с рваными обрывами, пропастями и осыпями терпят в центре благоустроенной Европы. Будничное кланье штемпелем по паспорту, аэропорт как аэропорт, только что замок исправен да туалетная бумага на месте. Автобус, холмы, сады-огороды — обычная европейская возделанность. «Смотри, все уже цветет!» — Соня обижается, что я равнодушен к *жизни*, но как можно восхищаться *вещами*, пусть даже цветами всех цветов, если они не отклик на что-то! Артрозные оливы — дело другое, их у нас нет.

Витрины как витрины, из чужеземного шика с удивительной скоростью обернувшиеся лакированной нищетой словно бы подделок под неведомо что. Бензоколонки как бензоколонки — лишь слегка лизнет по сердцу огненным языком шестипалая собака на рекламе. Адриатические волны, на которых не написано, что они адриатические, ряды вилл, роскошных, если вообразить себя хозяином, прескучных, если вообразить их роскошными, отели как отели, куда мы попадем еще неизвестно когда, ибо наши итальянские хозяева имеют процент с наших закупок, а потому будут нас возить по складам, покуда их владельцы в силах держаться на ногах.

Рабочий может понять буржуя, русский — еврея, мужчина — женщину, но те, кто спит в самолете, никогда не смогут понять тех, кто не спит. Для жизни как она есть люди без мозгов имеют неоспоримые преимущества. Только вот без грохота им жизнь не в кайф: пока их несчастные спутники тщетно пытаются приткнуться головой к стеклу, они врубают на весь автобус электрическую молотьбу, чтоб было чего перекрикивать. Простые люди никому не желают зла, они просто подгоняют мир под себя, а разрушается он уже сам: своей музыкой они разрушают тишину, своими вкусами — музыку, но их права на дурь, завоеванные поколениями романтиков в борьбе с рутинной, так же священны, как права Баха и Шуберта. Демократия так демократия — это кто там заикнулся, будто для сочинительства нужен талант?

Уффици — это просто «канцелярия». Орсини — «мужскаяженская одежда». Орсини, труссарди... Италия — это мерные ряды двухэтажных не то ангаров, не то амбаров, все равно что, одинаковых, — бетон, железо, а внутри на плечиках стиснуты мириады курток, жилеток, пальто, костюмов, блузок, блузонов, блайзеров, батников, юбок, сарафанов, на многоэтажных полках — кипы джинсов, баррикады колготок, лифчиков-трусиков в глянцеваых коробочках с кружевным просветом и давно несоблазнительной картинкой, и на каждой слова «интим» и «донна» — пупки, пупки, попки, попки. «Ай, мамбо, мамбо Италия», — лабали у нас на танцах. Презирая усталость, челночницы — озабоченные тетki, пэтэушные дурехи — с сетчатыми тележками отбирают, бракуют, щупают, сравнивают: именно наш век поставил рекорд дури — не ошарашивать разнообразием одеяний, а узреть разнообразие в однообразном — чтоб две почти неотличимых шмотки отличались ценой чуть не вдвое. Гениально просто — заменить разнообразие предметов разнообразием цифр. Я стараюсь где-нибудь не на глазах (это неприлично) приткнуться с книгой — почему бы и не гениальной? — или блуждаю среди корпусов в поисках хоть каких-нибудь признаков жизни: взломанная экскаватором кровая глина, быстрая зеленая речка (неужели Италия?), тростник в три человеческих роста, — и назад, в анатомический театр нарядности — поддержать, посчитать, записать цены, подтащить... Нормальная работа.

Знает ли барсук, что он барсук, думает ли о себе эта чистая, серьезная девушка за компьютером — «итальянка»? Даже на чужих складах тебе как

будто рады, интересуются, откуда ты взялся, могут угостить автоматным кофе, хоть и ясно с полувзгляда, что ты ничего не покупаешь. Я, увы, не младенец, я знаю, что и у них конкуренция, и у них мафия, но все равно им доставляет удовольствие рождать улыбки, а не геморроидальные гримасы униженности. Какой-нибудь Марчелло в вокзальном буфете — так и летают руки, улыбки, шуточки: он гордится, что он такой орел, — возвращаться мрачной устрашающей башней вовсе не шик в его глазах.

Все наконец уже в автобусе, а один-два все никак чего-то недошупаются — это может тянуться и час, и два, и никто не запротестует: пьянь и разухабистость редко забирается дальше Будапешта, сюда отсортирован народ трезвый — ни сам своим правом не поступится, ни от другого не потребует. Особенно если тот выбирает «для себя», а не «на бизнес», — это вообще священнодействие. Другая святыня — еда. Хоть и при любой бензоколонке под огнедышащей собакой кормят лучше некуда, но кому-то обязательно приспичит в ресторан за тридцать верст, в городишко, так волшебным отзывающийся каким-нибудь «маре» или «веккио», что лучше бы век его не видеть. Пара гурманов будет неспешно почавкивать мясом (даже спагетти — нормальные макароны, только что томатная подливка пересолена), будто чипсами, хрустеть пересоленными кальмарами фри, а остальные маяться по переулкам, убеждаясь, что в Италии совершенно некуда пойти, и оттого-то, кроме нас, никто никуда и не ходит. Впечатление страны теней доходит до полубреда, когда встречающиеся знакомые лица смотрят сквозь тебя, — мы привыкли, что попутчики обмениваются какими-то незначительными (а оказывается — значительными!) любезностями, но прагматичные андроны обоего пола четко отделяют ненужное от нужного. Хоть какие-нибудь задворки — и вдруг кто-то улыбнется, помашет рукой — наш шофер Роберто, — будто ты выглянул в человеческий мир, где, слава богу, все пока еще переполнено ненужным. Правда, — справедливости ради, — за общепринятой любезностью уже и не разглядишь расположенности именно к тебе, а вот если среди дозволенного хамства кто-то все равно к тебе добр...

Обессиленный ужин в зале, сверкающем бокалами и скатертями, напоминает странный санаторий, где люди не замечают друг друга. На каждом столе огнетушитель аква минерале, салат с какими-то сочными луковицами, отдающими пертуссином, — я окрещиваю их в латук, вечно загадочный, как пахитоска. Нормальный харч, каждый вечер киви в количестве достаточном, чтобы к ним охладеть (шелкающие на зубах, как насекомые, косточки царапаются под языком). В номере, оскверненном нашими пластиковыми мешками, мы раздеваемся, почти не замечая друг друга. Кровати уже не сдвигаем: она после встряски не может заснуть, а мне неохота воодушевляться (ну а если не воодушевляться, так лучше уж спать).

Подъем в четыре, выезд в полпятого. Хоть это и смешно, входя в темный автобус, здороваюсь — иначе совсем муторно. До полшестого ждем во тьме разоспавшегося молодого человека с приятным незначительным лицом. Слово «извините» здесь ампутировано. Попреки тоже, ибо они бесполезны.

Темное холодное море, неласковые пальмы, будничные, как осины, унылые виллы, виллы, вдоль шоссе оси какие-то кинжальные вееры, перепоясанные, будто снопы, — заграница, мечта чувака! Заросшие склоны, геометрические поля, холмы, серый рассвет, обкорнанные виноградники, свернутая куртка на стекле вместо подушки, явь начинает мешаться с бредом, а бред и есть отдых, — к концу кампании я опрошусь до того, что выучусь спать сидя. Санитарная остановка — сортир в пятьсот лир, чашка пенного капучино (не сумка), чек в карман — переводчица-албанка (пригодился школьный русский) страшила, что налоговая полиция может проверить и штрафануть, а большая сумма — так и галера; пошатываясь, бредешь размять ноги по зауряднейшей улочке чистенькой дыры — и

вдруг обомлеешь: один такой собор на страну и то заставил бы почтительно привставать при ее появлении, а ведь их в каждом райцентре, этих клубов им. Лампочки Ильича... Можно час простоять, так и не сумевши захлопнуть рот. Не знаю даже, от чего больше ошалеваешь — от мощи каменной кладки или от изгиба каменной линии. Покуда снова не настигла жизнь — к portalу, под своды, — последняя искра высекается столкновением прихотливых форм с твердостью камня, в котором они осуществились: розы, козы, лозы, россыпи фруктов, снопов, оттесненное в уголок полустертое треченто, до того бледное и *подлинное*, что не сдержишь еле слышного стона — стона не то счастья, не то изумления, не то боли, что отрешенные фигуры окончательно притушены соседством разгулявшейся пламенной кисти Джузеппе ди Лобня, знаменитого живописца, архитектора, фортификатора, смотрителя герцогских бань и речных шлюзов, устроителя пышнейших празднеств с восхитительными декорациями и костюмами, с фейерверками и фонтанами из разноцветных вин, рачительного хозяина, гордившегося тем, что нажитый им дом стоимостью в две с половиною тысячи дукатов приносил доход в сорок золотых скудо, мастера по дивным дверным замкам с узорами на недоступных глазу секретных загогулинах, скульптора и литейщика, собственноручно изготовившего бронзовую святую троицу из Христа, Марса и Аполлона по заказу обвиненного в святотатстве Сиджизмондо Конопатти, внука кожевника, сына кондотьера, братоубийцы, кровосмесителя, храброго полководца, коварного и хитроумного дипломата, хранившего в памяти полную сеть тайных и явных взаимных претензий всех европейских держав и княжеств, тонкого, хотя и несколько тщеславного, ценителя прекрасного, недурного поэта и почитателя философии, астрологии, риторики, каббалы, музыки, геометрии, арифметики, диалектики и некромантии, собравшего при своем дворе блистательное созвездие ученых мужей, чтобы глубокомысленно внимать соблазнительным эскападам гуманистов, позволявших себе читать помыслы Господни: «Не даем Мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по своему желанию. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь по велению души переродиться и в высшие Божественные». Искусство еще не успело обнаглеть, живопись, может быть, и не очень послушно, стояла в скромном ряду ремесел следом за обработкой дерева. «Культура» была только струйкой в бешеном потоке жизни, смешивавшей сумасшедшие коктейли. Мы привыкли, что одним положено строить и вводить войска, а другим — рассуждать и осуждать первых, а вот чтобы один и тот же человек и строил, и рассуждал, и торговал, и ссужал деньгами, и чудом укрывался в ризнице от заговорщиков, пронзивших кинжалами его отца, и казнил, и писал книги, и спускался ночью по веревке, и скакал во тьме под проливным дождем, и во главе наемного войска возвращался в свой дворец, где теперь располагается префектура (от одних решеток можно упасть) на углу пьяцца Гарибальди и виа С. Джиованни, на которой каждая потемневшая стена поражает дикой кладкой и каждое дверное кольцо просится в музей. Они до крайности серьезно относились к своей жизни и между делом создавали на века. А мы, которые и к векам не можем отнестись серьезно, не способны обустроить хотя бы собственный дом, чтоб можно было даже не протянуть, а просто вытянуть ноги и не проломить при этом брешь в пустоту... Так что же, опять эта мещанская премудрость — жизнь выше искусства, сапоги выше Шекспира? Или наоборот — не только дух, но вся жизнь должна быть дурью? Или еще шибче — вся жизнь, кроме духа? Все имеют право на алчный безоглядный эгоизм — только не дух, он должен

понимать всех? Животное не обязано сочувствовать человеку, но человек обязан сочувствовать животному — так, что ли? Я уже ничего не понимал, знал только, что все, что может быть высказано, — лишь волосая струйка в бесконечноцветном коктейле истины, а главное — все это мне почти безразлично: живи, пока живется, день да ночь — сутки прочь.

Пора возвращаться в мир дела, не переходя через этот пересохший Рубикон, над которым, как забытый часовой, продолжает тянуть службу римский мост из облизанного временем белого камня, обретшего некую овечью округлость. Соня следовала за мной в почтительном отдалении, не смея вмешаться в интимное обращение равных. Она не впутывалась в мои разборки с вечностью. И вообще редко когда дослушивала до конца. Зато и сама не стремилась быть выслушанной — ей было довольно того, что я рядом. Она то дремала у меня на плече, то безмятежно разглядывала холмы и долины Умбрии, Тосканы, Эмилии-Романьи, области Абруцци, где крестьяне зовут тебя «дон», и всюду видела какие-то новые оттенки трав и цветов, буйствующих на обкорнанных деревьях, развернутых вдоль садовых шпалер плашмя, как иудейские семисвечники. Меня же редко восхищает до макушки то, что не создано человеком, я больше замечал имена на дорожных указателях: «Рома, Фиренце, Перуджия, Болонья»... Автостреды огибали дивности, направляясь напрямик в капища Пользы, оставляя в отдалении зубастые замки, выглядывающие из-за будничных зданий, или кампаниле, тоже зубастые, как крепостные башни. На вершинах — холмов? или уже гор? — там-сям виднеются горсточки старинных каменных домов, карабкающихся в гору, подставляя друг другу плечи, чтобы стесниться толпой вокруг собора, который, будь он один на страну... — вот именно: один! А так это наверняка какая-то *технология*.

Я доволен, что в деле Соня уже способна обо мне забывать, — оглянется вдруг, как бы не узнавая: «Иди погуляй минут сорок. Только не потеряйся. Если что, подходи к девятому складу „Висконти, кожаные изделия“».

Возвращаемся за полночь, в темноте первым делом спешим к багажнику: хотя все пластиковые мешки исписаны фломастером, словно торс нарциссического уголовного: «Ершова, Ершова, Ершова...» — все равно в неверных отсветах кто-нибудь частенько прихватывает чужое, да потом еще и упорствует в ошибке. Я окончательно махнул рукой на свою репутацию и подгоняю мир под себя — извлекаю конкуренткам мешки из темного автобусного трюма, помогаю втаскивать их в лифт, чуть освободятся руки, — в общем, смущаю бедных женщин, не знающих, как им и быть. И — о, чудо! — одна из них в столовой бросает мне что-то кокетливое — прямо глоток кислорода!

Когда я перебираюсь в панцирную постель к моей обессиленной подружке, она встречает меня снисходительно, словно проказливого мальчишку, но из глубины сразу же отвечает мгновенным пожатием. А в четыре снова подъем. И — второе чудо — несколько осторожных голосов отвечают моему настырному «Доброе утро» — когда все желали бы спокойной ночи. И третье чудо: молодой человек с приятным незначительным лицом, откидывая на меня свое кресло, высунулся из-за него и необъезженным голосом, дико стесняясь, спросил: «Я вам не помешаю?» Нет-нет, что вы, — от счастья я устроил бы его хоть к себе на колени.

Зато с Соней становится все проще. Она начинает пофыркивать, отвечать вопросом на вопрос: «Сам не видишь?», «А если подумать?» — эта очаровательная манера стараться, чтобы ты из своего вопроса вышел хоть чуточку более умным, деликатным, и я к концу уже готов, как в ересь, впасть в неслыханную простоту — начать огрызаться. Меня не просто корбит — меня тревожит, не будет ли она меня же и презирать за то, что я это терплю. Как бы и прежде не накатило: ведь единственная прочная сила, основанная на тупости воображения, — она у меня временная, а вот как бы эта Далила не лишила меня и хрупкой имитации, основанной на

достоинстве: не станешь ведь беречь оплеванный образ. Но, вижу, она даже не замечает своих плевочков — просто человек устал. Что ж, оно и мне проще — ступать не на цыпочки, да я и на снисходительность способен, только вот снисходительность всегда содержит горчичное зернышко презрения: снисходят вниз. После этого дела она тоже не слишком стремится замереть на моем плече, да и мне так спокойней: волосы не щеко-чут, вертись как вздумается — конвульсии конвульсиями, а табачок врозь. Как-то меня разбудил звук флейты, высвистывавшей простенькую, но удивительно красивую мелодию, однако за те мгновения, пока я обретал способность удивляться, щемящая струйка распустилась в легкое похрапывание на соседней кровати, и когда, успокоенный, я снова погружался в сон, я еще успел услышать, как оно стянулось обратно в тоненькую флейту. Вот где дух истинно свободен — во сне: здесь он может перекрасить что вздумается во что вздумается.

На укладку кладется день: это отдельное искусство — спрессовать не изуродовав, да чтоб таможеннику по возможности не попало больше пяти одинаковых экземпляров, иначе — «коммерческая партия». Четыре сумиши в сорок бесплатных килограммов, две — «ручной клади», какую сумеешь дотащить не перекосившись и картонный кубометр карги, самой высокооплачиваемой, ибо она идет с *растаможкой* — без проверки. Чтобы не возить воздух, нужно все эти скопища трусиков и лифчиков извлечь из лакированных коробочек и уложить чашечка в чашечку, оборочка к оборочке порциями по пять, а коробочки сложить в плоские картинки — попки, попки, попки... Потом глядеть не захочешь.

— Смотри, на тебя похожа.

— Отстань. Иди погуляй, ты свободен.

— А ты? — Мне кажется, не предложить неприлично.

— Ты так и не понял, что я здесь работаю, а не развлекаюсь.

Я оказываю снисхождение: не трожь...

«Ла Стампа» уже привычна, как «Союзпечать», и «профюмерия» уже не малограмотна. Бреду по солнечному песку вдоль нормальной Адриатики, и на душе лучше не надо — никак. Ржавые гофрированные ракушки, скорлупа какого-то скорпионища. Катер, рыбаки перекликаются плачущими итальянскими голосами, капроновые сети, поплавки из клетчатых спортивных мячей в оплетке, мохнатенькие, как киви, младенца с соской отгоняют от вкрадчивой волны — жизнь... И счастье, если уверовать, что иного и быть не может.

Твердый, как игральная карта, автобусный билет в баре — недорого, ибо я заслужил. Через полчаса выясняется, что Апеннины — все-таки горы, с пропастями, осыпями, туннелями, где медленно вращаются огромные бессонные вентиляторы, и даже с кое-какими снегами. Чистенькие одинаковенькие городки, и опять — бац! — собор, кампаниле, полудворец-полукрепость из полудикого камня, но — уже скребется повторяемость. Брожу турист туристом. И ни одного сортира, хоть погибай. Полудикий парапет, за ним непроглядные кусты, за ними уносящийся в бездну зеленый ковер, нога уходит по колено — если что, удержусь на впившихся в икры когтях каких-то ползучих плетей. Ковер норовит целиком сползти в далекую речку, вполне уже горную, но я, сохраняя хладнокровие, удерживаюсь на реактивной тяге.

Возвращаюсь уже к скотчевке («скачковке»): картонный куб нужно сплошь умотать клейкой лентой, как мумию, — неизвестно, в какой пирамиде ему придется киснуть и какие осквернители праха пожелают в него заглянуть. По всем коридорам и холлам бабы, подобно скарабеям, катят глянцево-скотчевые, мерно шлепающие кубы, только Соня шествует как белая госпожа, сопровождаемая нубийским рабом с поклажей на горбу. Грохнув куб на весы, иду помогать другим, хотя настоящий мужчина должен вдумчиво покуривать, когда баба корячится у его ног. Одна из тех, кому

я помогаю, снова учится благодарно улыбаться, другая ненавистно фыркает.

Свободный день, подъем в шесть. Мы вдвоем не только в купе за стеклянной стеночкой, но, кажется, и в целом поезде. Шесть сидячих мест, выдвигаясь, соединяются в два лежачих. Сразу же полубред, но — это что за полустанок? почему стоим? Хаос пожирает драгоценные миги, но возмутись — он схрупает и душу. Я опять поспал немножко — та же платформа, только народу побольше. «Локомотиво», — разъясняют дружелюбные итальянцы. «Бабах?» — я изображаю взрыв. «Бабах, бабах», — радуются они. Но отдайте Хаосу Хаосово — и дождетесь. Нас будит толстая немка с детьми — вечно им не хватает жизненного пространства. Обрывы, осыпи, языки снега, замки на отдаленных вершинах, кипарисы, осеняющие тесные кладбища, и, наконец, разворот огромного города вниз. Развалины развалин, огромные ямы с остатками сводов, римское Купчино — распятые на балконах подштанники. Знаменитый вокзал Термини — боже, и здесь разреженные очереди к кассам! — снова и снова Хаосу Хаосово.

Полиглот в справочном — на Рим отводится три минуты. Но если не жадничать, вполне можно задохнуться римским воздухом, чтобы задержать дыхание до конца дней. Коллизей, Форум — старый кирпич уж очень отдает Механкой, — Капитолий с ускокавшим Марком Аврелием, колоннада Виктора-Эммануила — роскошь ВСХВ, тесная Корсо, исполинские стропила Пантеона, пьядца Навона с могучими человекообразными реками — греми, Борромини, Бернини! — окрыленная шайба Святого ангела — откуда здесь удирал Бенвенуто Челлини? — и вот он, вдали, — собор святого Петра, невозможно громадный, не здание, а явление природы, даже колоннада Бернини при нем превращается в тесноватый палисадничек. Неужто величие и впрямь невозможно без величины — люди в самом деле смотрятся муравьями. «Пьета» в крупную клетку за пуленепробиваемыми стеклами, несусветная, немыслимая роскошь, на которую наш брат челнок поглядывает все с тем же «нас не на...шь», — а вот и рафаэлевские швейцарцы из «Чуда в Больсене», все в тех же полосато-юбочных штанах, предобморочно знакомая косая стена Ватикана, молодежная толкотня, микеланджеловский купол облаком всходит во дворе, она должна поесть — иначе упадет; ничего — Хаосу Хаосово. Вы не пробовали пробежаться рысью по Ватикану? Рекомендую. Аполлон, надменно пронзающий пустотой пустоту, мне почему-то не попался, но безрукий Марсий где-то вдали кокетливо отставил ножку перед безголовой Афиной, натянул изумительные жилы недописанный святой Иероним, незнакомые красоты водопадами обрушиваются со сводов, но вы обменивайтесь взглядами лишь со знаменитостями из знаменитостей. Бог мой, необозримые просторы «Афинской школы» зажаты, оказывается, в такую теснотищу! — но неужели я действительно добегу до... Я думал, Сикстинская капелла подавлять мощью, но, оказывается, человеческая мощь может только выпрямлять: я наконец-то лишился дара мысли. И не только: Боттичелли, Синьорелли, Перуджино, Гирландайо — тоже оркестр что надо. Но я так и не сумел в них вглядеться.

К концу пути мы снова вдвоем в купе, она держит усталые ножки в детских носочках на моем сиденье, и от них пахнет вполне по-мужски. Я плачу ей, вероятно, тем же.

В аэропорту танковый лязг перегруженных тележек, заедешь не туда — железное стадо сомкнется навеки. Ночные часы бегут, нас уже обнюхала нисколько не важняющая антинаркотическая овчарка, и я вдруг замечаю, что за всю кампанию ни разу не почувствовал сердца: не было *сложностей*. Раскоряченные сумками, выпирающими из-под кресел, в «бойнге» сочиняем декларации: лифчиков — 5 (пять), бюстгалтеров — 5 (пять), корректоров бюста — 5 (пять), топов ажурных — 5 (пять), — выигрывает тот, кто знает больше синонимов. Пальто осеннее, оно же демисезонное, оно же кашемировое, оно же женское, оно же дамское... Дешевые трусики

идут отдельным подотрядом как одноразовые, их начинают покупать, когда отключают горячую воду, — неисчерпаемость мировых взаимосвязей.

Таможенников этими хитростями не возьмешь, но к нам они снисходят. А кого-то выворачивают наизнанку. Соня считает, что действуют остатки моей небритой интеллигентности. А я вдруг чувствую, что привязался к тем теням, которые сопровождали нас всю эту неделю.

Возвращаясь, я хоть изредка мог чувствовать себя мужчиной, добытчиком.

Я давал дочери денег на фрукты, но они оказывались недостаточно *экологическими*, как теперь выражаются. Она сама проращивала что-то на подоконнике, что-то вымачивала, выпаривала — наконец-то начала всерьез заботиться о здоровье. И... Когда она отказывалась от еды — это был ужас, когда она принялась самозабвенно служить ей — пришла смертная тоска.

Я наконец-то давал маме нежность и заботу, но она все равно не могла забыть мою «измену» — поверить, что я ценю, дорожу, а главное, готов ради нее, неудержимо стареющей от всех наших дел, на неизмеримо больше жертвы, чем когда-то — когда я ее «любил», тургеневскую пампушку-хохотушку. Или она тоже презирала жалкое слово «жалеет», тоже понимала, что любовь — это упоение, и ничто другое? Но ведь я кого попало жалеть не стану: я же вижу, что ты к ней привязан, горько констатировала Соня. Сама о том не догадываясь, мама тоже исповедовала главную заповедь мира сего: что-нибудь одно. Или есть — или пить. Или дышать. Если ты потянулся к воде, значит, не любишь воздух. Мое бессилие, бесполезность для тех, кого люблю, снова наливались ломотой за грудным желобом — выхода не было, оставалось искать забвения. Чутьочку поддерживал Вавилонский долгострой, да и над грантиком работалось неплохо, если кто-нибудь не вылезал с благородной миной насчет уничтожения науки.

Я не смел ни на миг приоткрывать жестяной панцирь холодности, чувствуя, что присутствие духа выпорхнет в малейшую щель. Тем не менее все скоро возвращалось на протоптанную тропу — безысходная боль, бессонница, сердечные кувырканья и переплясы. Когда я не мог скрыть мрачности, это было оттого, что я тоскую по любовнице, если отчего-то выпадала светлая минута — значит, я надеюсь с нею скоро увидеться: ведь я мог быть во власти лишь одного чувства.

Я все отчетливее понимал, что рожден нести несчастье тем, кто меня любит. Когда у Сони наметилась замена, ее голос сразу зазвенел радостью. Новая коляшка Тави росла и умнела со сказочной быстротой. «Назвала бы ее уж Риной...» — «Нет, Рина — святое». Здесь-то можно менять одно святое за другим... Она с упоением выдергивала из-под нее лапы, опрокидывала на бок, уже дотянувшуюся до озорного подростка, погружала под хвост человеческий градусник, давая с другого конца слизывать с руки сахарную крошку, и с азартом наблюдала за перемещением ртути. Линяла Тави совсем как большая, невозможно было оценить редкостную мраморную расцветку ее шерсти, когда то и дело вынимаешь ее изо рта либо отлепляешь от штанов. Наряджаясь к знакомым, Соня с веселым смехом не слишком старалась снять со своей дивной фигурки в вечернем платье пуховый налет, какой часто видишь на сумасшедших старухах. За едой она брала Тави на колени и, не в силах удержать улыбку счастья, словно целуясь, передавала изо рта в рот разжеванную пищу. «Господи, — не до конца юмористически ужасался я, — ты же потом со мной будешь целоваться!...» — «Могу не целоваться», — счастливо отвечала она. Я снисходил. С пьедестала.

Каким же отдохновением оказывались аэропорты, ожидания, пограничные боксы, самолеты, сон урывками, погрузки, выгрузки, блуждания, автобусы, пространства, где ничто меня не касалось, то есть не ранило. А изредка прорвешься и в сновидение.

Арно не слишком возмущается покатым перекатом, а Понте Веккио — простодушно наклепанным на него крольчатником. Двухэтажные зубцы Палаццо Веккио перекликаются с турами из шахматных задач, в чьих зубцах мне с младенчества мерещилась какая-то будущая сказка. Но могущественнее всего над крышами вниз головой расцветает черепичными гранями опустившийся с неба исполинский купол Санта Мария дель Фиоре. Внезапный подвальный холод уличного ущелья — и солнечное неправдоподобие площади Синьории. Палаццо Веккио — неужто оно все-таки существует?.. Но иначе на что бы карабкались, вокруг чего толкались, гомонили и валялись на камнях, не обходя и самый приземистый в мире монумент — надраенный бронзовый круг на месте казни Савонаролы, эти раскованные, но чистотицы мальчики и девочки (спасибо большевикам за семидесятилетнюю выдержку нашего романтизма)? «Сколько весит Давид?» — спрашивает одна из моих коллег. «На вес кумир ты ценишь Бельведерский», — не отвечает экскурсовод, пожилая Десанка из Белграда, но дает все же понять, что вопрос некомпетентный, ибо перед нами копия. Лоджия деи Ланци, заколоченный Персей, мавзолейная очередь в Уффици... Если бы не Соня, я бы бросился бегом — просто чтобы глотать и глотать. Это самое лучшее — погрузиться, задохнуться и бежать: углубление, постижение неизбежно перетирают невероятное в заурадное. В тесных улочках оглушительные мотороллеры носятся среди крепостных стен уже не совсем ирреальных палаццо — дикий камень выпирает из более-менее регулярной клетки, — увы, бывает не только монотонность порядка, но и монотонность дикости...

Дель Фиоре — кажется, эти цветные узоры больше пристали бы ковру либо шкатулке, чем такой громаде, но — смирись, гордый человек, здесь тебя не спрашивают. Мой собрат челнок фотографируется, задрав по-собачьи ногу на кампаниле Джотто. Ничего, лишь бы они до конца нас не победили. А мы их. Моя глупышка становится в очередь потрогать за отполированный нос бронзового кабана — чтобы еще раз сюда вернуться.

Брунеллески, Санта Кроче, Данте, Микеланджело, Флоренция — откуда среди такой музыки могла взяться пробоина в батискафе? Но воображение вырвалось в бесконечность мыслимого. Еле слышно, чтобы не сорвался голос, прошу ускорить шаг: мне кажется, автобус уйдет без нас и мы навсегда... Мне нечем продолжить: все, что могло с нами случиться, было мелким неудобством в сравнении с тем ужасом, от которого подкашивались ноги, пресекалось дыхание, компрессором в висках колотилось сердце. Но моей усталой спутнице ясно, что в нашем распоряжении полчаса, а на месте мы будем через десять минут. Я убежден: почти любой на моем месте ударился бы в безумный бег, а я всего только... «Не торопи меня! — вдруг рявкнула она. — Если хочешь, беги один». И я во власти смертного ужаса сумел как ни в чем не бывало... Я был не вправе обижаться, я был не вправе требовать уважения к своей дури, а молить о пощаде... я еще не был достаточно раздавлен. Однако через час-другой я начал потихоньку оправдываться. Чем? Ныне заслуживают уважения только болезни: фобия убедительнее ужаса. Я рассказал, как моя мать, куда-то опаздывая, вела меня к родне, а я боялся хоть на миг выпустить ее руку. «Ну, теперь сам дойдешь?» — до калитки оставалось метров десять. Я сделал три-четыре шага и с ревом бросился обратно, — вот тогда-то меня бы и сбросить со скалы. Нет, неуверенно утешала Соня, мне нравится, что ты такой ранимый. (Но все же спокойнее было бы и робость, и ранимость, и мнительность, и брезгливость — все, что делает человека человеком, — объявить болезнями.)

Зато в Республике Сан-Марино, при въезде в которую будто в самолете закладывает уши, я, как всегда в минуты реальной опасности, показал себя молодцом. Забредши восходящими зигзагами по каменным улочкам новенького Средневековья на самую зубчатую макушку над нависшим ска-

листым обрывом, мы засмотрелись на живую карту — на дальнее море, на расчерченные доли и меркнувшие горы, погруженные в сфумато крещендо — чем дальше, тем люминисцентнее, — и, спускаясь столь же неторопливыми зигзагами, прицениваясь к кораллам и граппе, оказались ниже автобусной стоянки. Мы сначала заспешили, потом задержались, но зигзаги неизменно выводили нас то выше, то ниже, а под конец — или даже после конца, ибо опаздывать на самолет из-за нас бы не стали, — намного правее. Тогда-то я бросился под колеса первой же легковушки: «Синьора, наш корабль получил пробоину!» Выскакивая, я еще успел чмокнуть ей ручку и обменяться на бегу летучими поцелуями — чудный народ итальянцы!

— Я бы так не могла... — почтительно сказала Соня, когда от спуска снова заложило уши.

А я даже не понимаю, как это можно заранее себе разрешить чего-то не мочь. Вот я, например, научился мудро отдавать хаму хамово — то есть все, на что он претендует, ибо то, что ему не удастся захватить, он всегда сумеет загадить. Пускай за полчаса до Венеции он потребует остановки и сорок минут протолчется сначала в сортире, потом в баре, чтобы затем с банкой пива хорошенько отдохнуть на газоне, — он в своем праве. Если душа считает необходимым мириться с неизбежностью, она будет счастлива в любых пределах, если же нет — она будет несчастна и в беспредельности.

Длиннущая Дамба Предвкушения, причал, приплясывающий речной трамвайчик, краны, пакгаузы, потом что-то от венецианского захолустья в духе Гварди — и вдруг... Этого варварского великолепия так невозможно МНОГО — погрузиться, вдохнуть и задохнуться. Эта чрезмерность, эта жажда все заливать золотом, как купола и своды Сан Марко, покрывать резьбой и мозаикой, как его фасады, а подвернутся какие-нибудь краденые кони из Константинополя — так вали сюда и коней, — это показалось бы мне безвкусицей, если бы ее грандиозность не лишила меня дара привередливости. Я изнывал оттого, что невозможно разлететься на части, чтобы сразу на тысяче улочек, мостиков и канальчиков, на сотне лестниц и под десятком плафонов разом возопить: «Нет! Этого не может быть!..» — высшая дань, которую наш дух способен преподнести реальности. Теснота была как в Гостином дворе, колыхались белокрылые чепцы монахинь, а под мостиками гондольеры с «Санта Лючией» на устах разводили вздернутые клювы своих гондо...л (произносить с осторожностью), полированных, как гробы, в которых на шелковых подушках с бахромой овладевали муляжем Венеции более зажиточные туристы. Даже кривые жерди для чалки, торчащие из зеленой воды, — даже они, казалось, только на миг сбежали от Остроумовой-Лебедевой. Почему-то именно миллион раз виденное на открытках представляется особенно невозможным.

Соня была умиротворенно-счастлива моей ошалелостью. А также тем, что — сбылось: она с любимым бежит по Венеции.

А между тем каждый продолжал делать свое дело. Тави вытянулась в долгоносую линючую красавицу, шальные усатые подростки набухли и задубели в ядреных целеустремленных тараканов, которые, впрочем, не слишком-то спешили, даже когда включаешь свет на кухне, — только когда начнешь ворочать забытую посуду в раковине, они с топотом бросаются прочь, разбрызгивая воду, и тут уже не выдерживают нервы еще у десятка рысаков на прилегающем столе-тумбе. Но самые закоренелые и здесь продолжают выжидать: поднимешь сахарницу, миску — он как будто ждет, что ты сейчас поспешно извинишься и вернешь вещь на место. Но что-то, а травить в Химграде умеют: стоило прыснуть за мойку продукцией квебекско-химградского совместного предприятия «Сильфида» (сильфиды — трупоедающие насекомые, если не знаете), как началось извержение. Второй залп — хитиновые армады теряют управление, начинают беспоря-

дочно бродить, сцепляясь антеннами, а потом замирают, ткнувшись бронированным лбом в кювет, — лишь мелюзга продолжает сучить многочисленными ножками.

Содрогаясь под жестяными латами, я заглянул в тумбу — они не разбегались, но лишь отходили в тень, когда я раздвигал полиэтиленовые мешки с крупами, макаронами, орехами, печеньем, изюмом, гремучей, как галька, курагой, улегшиеся на банках с окаменелым вареньем, — оказывался, я осмотрел еще не все изнанки.

— Ты тут можешь пережить и второе пришествие коммунистов.

— Даже вместе с тобой.

Я вываливал мешки с полок и мгновенно пускал струю из огнемета. Начинаясь панику накрывал повторным залпом. Соня поспешно разбирала завалы на полу, перетаскивая их в комнату, засеивая линолеум манкой и перловкой. Тараканья рать разбегалась по столу, по полу, по тарелкам, по кастрюлям, по цветам и книгам, а я, подавляя в себе все человеческое, гвоздил и гвоздил, и агонизирующий трепет усиков и лапок заполнял последние щелочки нашего гнездышка. Каждое пятнышко на обоях начинало шевелить ножками.

Впервые за много месяцев я не смог, вернее, активно не захотел — мы поцеловались отравленными губами и отодвинулись подальше. Но в глазах продолжали брести и агонизировать, деятельно суча бесчисленными щетинками, полчища за полчищами, полчища за полчищами.

Я проснулся оттого, что щекочущие лапки пробежались по моему лбу. Содрогнувшись, я ляпнул так, что зазвенело в ушах, и почувствовал, как оно размазалось по лицу. Не вполне вменяемый, я зажег бра. Несколько могучих перезрелых особей, мрачно нахохлившись, недвижно сидели по стенам. Тут что-то пробежало у меня по животу и защекотало в паху, я откинул одеяло и только чудом не хватил себя кулаком по... Схватил и отбросил, едва не взыв от омерзения.

Это что, тело-то всегда можно отмыть — а попробуй отмыть память! Не важно, что с тобой происходит, — важно, чего ты ждешь. Хотя у нее я теперь всюду искал тараканов, даже в супе, в чае, но находил только шерсть, — все равно меня ждали два-три дня забвения, два-три круга по миру, в котором ничто меня не касалось. Да и во мне самом мало что меня теперь касалось. После еды у меня периодически стягивало живот болью — широкие клещи охватывали пупок справа и слева, — боль эта не совала свой нос в мои отношения с миром, а потому не унижала, оставалась моим внутренним делом. Но мама неосторожно прыснула знанием в одну из бесчисленных темных щелей.

— Ты просто завидуешь, — сказал я маме, когда она притащила мне талон на УЗИ. — У других мужья болеют, а у тебя какой-то несерьезный.

Но даже на собственной простыне, при собственном полотенце, когда, начиная с вешалки, ты превращаешься в предмет для не вполне понятных тебе манипуляций... Холодок в груди, холодный киселек на животе, по которому черные резиновые перчатки возят белой молчаливой электробритвой: «Вам срочно нужен хороший нефролог». Пупочные клещи вмиг забыты, и дальше уже несет конвейер. Это не страх — страшное усилие не давать волю воображению, видеть только первые планы.

Просроченный марганцевогорький барий удалось разыскать в столе одной хорошей знакомой маминой подруги. «Поработайте кулачком, вы почему такой трусишка?» — неправда, с отрезанной глубиной я ничего не боюсь, просто я стиснул кулак до дрожи. Внезапный жар, спазм пищевода, слюна через край: «Такой реакции быть не должно, мнительность». Я лежу на холодном столе под мутным проникающим оком, оплетенный шлангами, подобно Лаокоону. Хоть бы пылинку значительности, хоть бы самый косой взгляд высшего наблюдателя... Снова приступ мнительности.

ти — ничего, ничего, еле ворочая языком, успокаиваю уже я. Вливают ампулу за ампулой, каждый раз вынимая шприц и оставляя торчать иглу. Текут не то минуты, не то часы — без глубины не понять, операторша в синем, хозяйственном, а не белом халате беседует с такой же синей уборщицей настолько задушевно, будто меня здесь вовсе нет. Наконец она рисует на мне фломастером жирный зеленый кружок: «Сходите подвигайтесь минут десять». Поликлиника — отличное место для моциона, особенно лестница с передыхающими пенсионерами. Такой хороший дядечка, одеваясь, услышал я о себе, как будто меня уже не было. С ампутированной глубиной я и правда сделался очень хороший. И, вероятно, дядечка.

Серебряная седина, Мария Лазаревна Кацева восхищается моей почкой, словно лошадейю либо женщиной: этот изгиб просто прелестен, только вот тут видите, какое вздутие, движение замечается только через час, вторая почка тоже немножко затронута, но это ничего, ее *хватит*. До этого я видел почки только в рассольнике, и эти светящиеся туманности среди фотографической тьмы кажутся мне слишком большими, чуть не с ладонь. К счастью, я все еще не верю, что эти туманности и есть я. Попробуем продублировать радиационным методом, ласково приговаривала прекрасная Мария Лазаревна.

Чавкающий снег, чавкающие носки — весна, набухают почки, скоро начнут лопаться. Стоп, только первые планы, не видеть, как я, вчерашний мальчуган — мамин хвостик, такой бесконечно маленький и одинокий, поднимаюсь по ступеням гигантского трилистника, откуда не так давно по профсоюзной линии получал гроб с веселой кокетливой девчонкой лет пятидесяти из нашей лаборатории и, глупое дитя, долго потом порывался рассказать ей, как нам пытались выдать за нее какую-то ссохшуюся, седую и невероятно серьезную куклу... Вроде я не отключался, но, следуя указателю «Гардероб», так и дошел до лаборатории с курткой на руке. Боже, что тут началось!.. «Хорошо, я сейчас отнесу», — без глубины я очень рассудительный. «Не надо! Садитесь!» — Что-то она мне сейчас вдует в вину? Их и смертью не купишь. Вот они, изотопы, потекли из моей крови в мочу — один график быстро выходит на плато, другой так и влачится по абсциссе.

— Попробуем визуальное наблюдение, — не теряет надежды Мария Лазаревна.

Меня привязывают к гинекологическому креслу и вносят трубу производства завода «Красный трактор» — я был уверен, что ее собираются надевать сверху.

Но первые планы не могут явить ничего особенно ужасного, тем более что у меня уже имелся застарелый опыт: прежде чем открыть клапан киплящему чаю с вишневым вареньем, нужно взяться рукой за стену. «И все-таки я до конца не уверена, что операция так уж необходима», — все жалела предать меня ножу добросердечная Мария Лазаревна.

Я не особенно боялся страданий — меня переворачивало при мысли, что во мне будут рыться, словно в каком-то устройстве, касаясь предметов, которых, не будь мир создан ради глумления над нами, у человека и быть не могло.

Михайлов — русский витязь в хирургическом колпаке — на снимки едва взглянул: «Надо оперировать». Но Кацева сказала, что, может быть, еще... «Ну так и идите к Кацевой». Простите, я вовсе... А если не...? «В любой момент может произойти разрыв, застоявшаяся моча выльется в брюшную полость». Но может ведь и не...? «Может. Будет и дальше разъедать паренхиму. Я не уверен, что и сейчас операция спасет почку — может, она сложится вдвое...» И... и что? Но тут его срочно увлек огромный негр с ритуальными лучиками шрамов в уголках рта.

— Нет, жить на этой бомбе я не хочу, — проявила внезапную (а если разобраться, не такую уж внезапную) решимость мама. — Ты часто бываешь в разъездах — что, если?..

Меня больше всего ужасает, сипел я в трубку, что я попадаю в распоряжение чужих людей, для которых я только предмет, стук тапочек, которые я там брошу на пол в гардеробе — вот что меня ужасает, — как комья земли о крышку. «Ты неправильно понимаешь, — в ее голосе снова пело бесконечное терпение и забота, — ты должен себе говорить, что идешь к людям, которые о тебе позаботятся. Не помню, я тебе рассказывала? — врач спросил, как я себя чувствую, а у меня слезы, ты просто обьелся заботой. У нас был кот, так он сам каждое утро подходил к маме, чтобы она смазала ему болячку, — он понимал, что это для его же пользы». — «Сознательный кот. Буду брать с него пример».

Я вполне мог заниматься делами, но развлечения, удовольствия ввергли меня в такую мрачность... Удовольствия не только не возмещают страданий, а, наоборот, тычут тебя в них носом. Да еще норовят всколыхнуть твою глубину, придавленную первыми планами, и она начинает грозить тебе смутными образами, куда более могущественными и всеохватными, чем и без того невеселая явь. Чувствуя, что подобное может быть отнесено лишь подобным же, я старался поднять со дна своего воображения какие-нибудь столь же огромные, но восхитительные образы, однако запас их у меня давно выветрился, а убедительно творить мифы в одиночку я оказался не в силах — обнаружилось, что работоспособным, к стыду моему, остался лишь детский фонд: я вообразил, что отправляюсь на фронт, и последний день на воле провел с какой-то даже задиристой веселостью.

Правда, по утрам, когда водяные часы будили меня на железной койке с заводной рукояткой, чтобы регулировать изголовье, и я видел больничную тумбочку с эмалированной кружкой, слышал храп, стоны, — могучий мрак разом поднимался из глубины, и нужно было срочно гасить его первыми планами: ледяная вода по пояс, стремительная зарядка на верхней площадке среди ломаных капельниц и дерматиновых верстаков (от первых же движений начинало бесечно колотиться сердце), подтягивания на решетке, запирающей чердак. Потом «процедуры», завтрак, обход, явление Михайлова народу, прогулка по кардиологии, травматологии, нейрохирургии — страшные битые алкаши с перебинтованными головами, — интенсивная работа над башенками Вавилонской стены в тихом уголке, затем обед в аду — щи да каша, — и ни минуты свободы для пожирающих фантазий. Сибаритствовать можно, когда в главном нормально.

С «простыми людьми» в палате я поладил преотлично: когда я слагаю с себя ответственность за мировую красоту, человека приятнее меня еще искать и искать. Жилплощадь, штаны, внутренности, борщи, начальство — все это трогательно, когда человек страдает. Я снисходил даже до политических прений: разумеется, исполнить то, что они возглашают, — и миру конец, но это же не со зла. Политика — мир свободы. То есть романтизма. То есть безответственности. В микромире каждый знает, что излишек честности его погубит, — в макромире он требует от вождей какой-то астральной порядочности.

В микромире нет тайн — макромир только из них и состоит: всюду что-то происки.

«Если бы не вредители, мы бы давно жили при коммунизме. Ельцин потравил народ спиртом, все заводы продал иностранцам, за бутылку коньяка и черный ящик отдаст — ядерную кнопку», — мужик как мужик: что с того, что сипит, лжет, злобствует, — он тоже страдает, в кооперативе ему от импотенции вогнали укол «в самый хрящик» — Он расправил плечи, гренадер гренадером, только вот голову свесил набок; выправили голову — у нее выросло слоновье ухо (прямо здесь же, в коридоре, воровато оглянувшись, оттягивает резинку), теперь Михайлов будет его отстригать.

И этот седой красный весельчак, которому интересно все, кроме себя, — тоже нормальный мужик, другое дело его неугасимое радио — глу-

пость без боли. Ему, боцману с «Авроры», и без того всегда весело: на подоконник сел одноногий голубь по кличке Афганец, загорелись окурки в курилке, привезли мужика, у которого в мотор замотало штаны вместе с елдой, — ничего, в «свердловке» один еврей, главный по ...ям, пришивает лучше прежнего. Нет, обижаются патриоты, по ...ям Михайлов в городе центральной.

Простатит — не стоит, тоже в коридоре в рифму жалуется боцман и тоже оттягивает резинку (дуновение мочи) — все хозяйство почему-то увязано в полиэтиленовый мешок. «Так до каких пор ему стоять?» — «Мне ж всего шестьдесят восемь! Я это дело любил, я морское дело любил», — но тут его уносит отдаленное цоканье домино. Нормальные мужики поглощены первыми планами, а потому неустрашимы. «Они завесили простыней, а мне вверху, в зеркале видно, как Михайлов во мне копается. Не больно, только хрустит, как будто материю режут». — «Вот когда мозги режут, ничего не слышно. У меня в блокаду мать работала на кухне в институте Поленова, я тоже там подкармливался. Привозят матроса — ему осколком голову пробило, и края каски загнулись внутрь черепа. А он живой! Никто не знает, что делать, обмотали голову прямо поверх каски и привезли. Вызвали самого Поленова, он уже старичок был, я тоже бегал смотреть — интересно!» — извечный «Ночной разговор».

Спасибо вам, простые люди, — никто, кроме вас, не выдержал бы жизни как она есть. Какой, в частности, делаете ее и вы. А мы, тронутые непростотой, как-то и здесь нащупываем друг друга — кто сверх меры повернут на какой-нибудь дури. Игорь, майор саперных войск, раз в полчаса должен бабахнуть по уткам из воображаемого ружья, Леша, кузовщик, выпрямляющий то, что смяли другие, упоен футболом и воспоминаниями о флотской службе. Славик, в ожидании полного излечения охраняющий обменный пункт валюты, мечтает создать пантеон всех прелестей, где соединились бы всевозможные церкви с барами, спортзалами и аттракционами. Валютные крысы, которым он мешает работать, не раз сажались ему на хвост в метро, но он всегда уходил. Драма у него другая — нарушение эректальной составляющей копулятивного цикла. Началось с пустяка — с триппера, и девчонка-то была не виновата — она сама не знала. А в итоге он может только начинать. Врачи считают, что дело в психической травме, — не хотят отнестись серьезно! Из-за эректальной составляющей он расстался с единственной девушкой, которую любил.

— Так ты объяснил бы: будем вместе лечиться...

— Ты что — она на Достоевском воспитана! Да теперь и поздно, у нее ребенку уже год. Сначала надо вылечить, а тогда уже попробую снова, она говорит, после моих звонков неделю ничего не может делать.

— Я думал, простатит — это когда маленький... — после утреннего осмотра размышляюще делится с ним физрук. — А бывает, засадишь, а потом лень — это не простатит?

У него распухло яичко — как он считает, из-за того, что баба с насморком делала минет. Он прислушивается к нашим разговорам с каким-то недоверчивым любопытством — чувствуя, что за трепом есть еще некий второй план. К вечеру второй план ограждает нас от реальности настолько прочно, что мне начинает хотеться чего-нибудь вкусенького — у мамы с этим всегда порядок. «Повезло тебе с женой», — радуясь за нас обоих, говорит Игорь. Меня в нем больше всего восхищает то, что он, настоящий мужчина, способен восхищаться своей противоположностью: «Башка у тебя — все время с книжкой! И плечевой пояс в порядке. И ни разу ... твою мать не сказал!» — «Не хочу усиливать инфляцию». — «Инфляция — узаконенный способ ограбления, — строго напоминает лысенький со своей раскладушки. — У меня на книжке было две тысячи...» Он тоже успел испове... нет, поставить меня в известность: «Сегодня у меня вышел камень через половой член». Мы переживаем и снова начинаем о главном.

«Ты сколько хочешь жить?» — требует Леша у Игоря, и тот, серьезно подумав, сообщает: «Лет шестьдесят семь. Но только активно». У Леши тоже простатит, но — ревниво опережал он праздные домыслы — он всего лишь должен, раз пописавши, тут же повторить эту процедуру.

К вечеру приезжает мама. Мы с нею нежны как никогда: мне жаль, что она ни за что ни про что так влипла со мной — не сейчас, а тогда, когда я был убежден, что осчастливил ее на всю оставшуюся жизнь и больше уже ничего ей не должен. Иногда появлялась несколько сонная, но ласковая дочка — операция все откладывалась, все чего-то не хватало, — иногда кто-то из приятелей: я их просил приходить по одному, чтобы накрыть побольше сосущих душу пустот во времени. Как всегда, все параметры противоречили друг другу: тот, с кем у нас было «понимание», — нет, уберите кавычки — не появился ни разу, ввергая в очередной соблазн простоты: объявить более «подлинными» (кавычки оставьте) друзьями тех, кто более чуток к страданиям моего тела, чем к движениям души. Сначала я радуюсь, а потом увядаю — снова понимаю, что помочь мне никто не в силах: и мучиться и умирать все равно буду я сам. Одиночество — итог даже самой благополучной человеческой жизни. Спасти могут разве что те, кому ты помогаешь, но не те, кто тебе помогает.

В полутемном приемном покое, откуда всегда виднелись чьи-то подошвы на каталке, у лязгающей двери с пятнистым охранником таился междугородный автомат. Я запасаю одnogорбыми жетонами, чтобы перед сном позволять себе привычный десерт, и каждый раз долго не мог восстановить душевное равновесие. Когда подсохло, она приехала ко мне на денек, но даже первый миг был отравлен беспокойством, не появится ли сейчас как назло мама и что ей могут об этом визите рассказать, — этого-то она совсем не заслужила. Мы долго брели среди разнесенных блочных корпусов, тщетно стараясь отыскать направление, при котором пескоструйный автомат бил бы не в глаза, а хотя бы в уши. Хаос делал свое дело: ноги с отвычки уже выходили из повиновения. Наконец выбрали к неведомой железнодорожной ветке и там за кустиками присели у груды металлолома, одеваемого в шубу из ила (Механка, Механка...), который нес взбодренный паводком ручей. Через него (Химград, Химград...) перекидывались коленья толстых забинтованных труб с торчащими ключьями стекловаты. Пятиминутка забвения под остроугольными пучочками листвы, бессмысленно прущей из лопающихся почек. Рядом с нами красовалось чучело грача на лакированной подставке, с аккуратной табличкой, подтверждающей: «Грач». Из песка растрескавшейся черепахой выглядывала древняя сосновая шишка. А потом правда потянула проглоченный кусок обратно. Снова песок в глаза — пустыня, варан... Ее-то за что?.. Пожалуй, мне оказывалось спокойнее среди тех, от кого я ничего не ждал, а значит, и не мог обмануться, кто не страдал мне очень уж страстно, а потому не извлекал на свет бессилия любви перед скотской неотвратимостью факта.

Когда больница утихала, я решался даже приоткрыть клапан в глубину, шел с книгой к единственной яркой лампочке на опустевшем сестринском посту. Мы часто оставались там вдвоем с башковитым энергичным пареньком, готовившимся в мединститут. Я с удовольствием забывался в объяснениях того-другого из простенькой физики с математикой, и что-то еще, возможно, сквозь меня просвечивало, потому что он становился все откровеннее и однажды признался, что он не парень, а девушка — даже девственница. Я не очень удивился — во сне не удивляются. Настороженно поглядывая, он поведал, что, сколько помнит, всегда был уверен, что в девочки с платяницами и бантиками он записан временно, а когда вырастет... (Я очумело поддакивал: да, мол, конечно, человеческая фантазия не знает границ.) А когда он понял, что вырасти должен не только он сам, он бешено возненавидел свои анатомические кандалы — мечтал чем-нибудь заболеть, чтоб все из него вырезали бабское: «Спицу, что ли, туда во-

ткнуть?!» Другие девочки школьную форму отпаривают, подгоняют по фигуре, а он при малейшей возможности ее — в комок, всю рваную, на булавках, а сам — в джинсы. В десятом классе кто-то полез лапаты — он чуть не убил любезника: «Не понимаю, что он во мне нашел, я тогда был похож на Мону Лизу... Бухой, правда, был. Как и я, правда».

Только тут я в него взгляделся — напротив меня, закинув ногу за ногу, сидела синьора Джиоконда с энергичным ежиком, в очках с модной оправой. «Что, думаете — придурь?» Нет, почему, придурь в человеке самое ценное — заставляет в горы карабкаться, картины писать... «Это не то, я просто хочу стать тем, кем себя чувствую. Это же несправедливо — х... считать пропуском!» Ну да, ну да, я сам всегда был против диктата мате... До меня наконец дошло, что я разговариваю с сумасшедшим: другие считают себя Наполеонами, а его распоясавшаяся фантазия...

Но и моя внезапная слащавость от него не укрылась: «Думаете, псих? Не верите?» Передо мной снимали штаны уже в третий раз. Прежде всего, разумеется, в глаза бросился... Но это был толстый вытянутый конверт с грубыми следами склейки и загнутым на макушке уголком. Потом заставил вздрогнуть огромный стянутый струп на бедре — Михайлов щедро наделил девушку главной мужской доблестью, и лишь после всего я разглядел укрывшуюся скромницу... Наконец-то они соединились, вечно тянувшиеся друг к другу дуб и кудрявая рябина.

Только назавтра я сумел собрать в себе какие-то вопросы. Если мужчина — это решительность, он был гораздо большим мужчиной, чем я: собрался, заработал, отрезал сиськи... «Переспать — это для меня не интимное дело. Мне труднее поговорить по душам». — «Пересп... А как ты это, если, конечно, не секрет?..» — «Ну, если женщину распалить, да еще в темноте... Всегда же похожее что-нибудь можно найти, эта штука мне больше для паспорта. Ну и вообще — чтоб более нормально выглядело. Мне еще скоро шунтирование сделают. — Он показал гибкую резную палочку, напоминающую позвоночник трески. — Мне один рассказывал: я был нетрахающийся алкоголик, а теперь баба на мне сидит, а я кемарю. Но это, в общем, больше для социума: сейчас я живу с одной, так у ее матери вначале глаза на лоб лезли, старшее поколение более подвержено стереотипам. А жена нормально воспринимает. Хотя она тоже... хорошая, пока молчит, а как раскроет рот — невозможно в обществе появиться. Но после удаления молочных желез положено с мужским паспортом год прожить как нормальный мужик. У нас здесь есть еще транссы, вы с ними поговорите». Чем-то я завоевал их доверие — даже Юлий, бывшая Юля, с нежным лицом и раненым взглядом, держась за низ живота, прибрел к нам на пост.

«Для меня вся прошлая жизнь — как вот эта темнота за окнами...» Ему за сорок, а выглядит на двадцать восемь. Когда-то писал (или писала?) стихи, вынашивал какие-то мечты, вспыхивал от стыда, когда мальчики писали записки, но вся жизнь ушла сначала на попытки примириться со своим полом — он пытался и пить, и распутничать в женском обличье, хоть и воротило, — потом на конспирацию, и теперь он хочет одного: как-то дожить с любимой женой. Она была против операции, но ведь есть родня, соседи, прописка...

Михайлова они боготворили: этот потрошитель понимал, что дурь способна отравить жизнь не хуже мочевого пузыря. И я теперь по-другому смотрел на Михайлова, когда он ровно в восемь двадцать заглядывал в палату (брови неизменно сведены к переносице) или летел в операционную в голубых проdezинфицированных штанах с безобразной надписью «ОП» масляной краской.

Никто из них не помнил, когда их фантазия оторвалась от народа и в добавление к коллективным фантомам создала индивидуальный. Юный бродяжка с вышибленными зубами, хрупкий стареющий водитель трол-

лейбуса с пробивающимися усиками и старательным баском, распахнутый миру дворник из студентов, напоминающий уже микеланджеловского пророка Даниила, — во всех в них можно было высмотреть единственную аномалию — интеллигентность: они способны были задавать вопросы там, где глаза нормальных слов затянута бельмами ослепительной ясности. И с женщинами у них был полный порядок. «У меня один недостаток — долго ухаживаю», — признавался хрупкий водитель троллейбуса.

Все эти ребята прекрасно обходились не только без эректальной, но и без фаллической составляющей копулятивного цикла — приходилось признать, что женщины способны влюбиться в душу. В мужскую. Да уж не мужчины ли и навязали им свой собственный фаллический культ? Но теперь я понял, что в душе я сам транссексуал: когда я наконец отказался от притворства, я тоже перестал пить, распутничать и нецензурно выражаться. Но нет, до настоящих женщин мне все равно как до неба: я снова диву давался, до чего ладно все в них подогнано одно к другому — орган для секса и материнства к рукам и глазам для ласки, жадности, хозяйства, доброты... К Михайлову зачем-то заглянула Марина, два года назад ускользнувшая из Бориса, которого в наручниках и в женском платье доставляли в военкомат. Чуть более массивный подбородок, если приглядеться, с едва заметными следами тщательного бритья, чуть более костлявые плечи — именно таких теперь предпочитают брать в фотомодели, — очень живая, кокетливая, смышленная, нарядная... Губы им формируют из обрезков мошонки... Вот смог бы я, если бы влюбился?.. Каждый раз крем... А вот женщины могут. Транссексуализм — победа духа над плотью, мнения над фактом: свобода уже разрушила святость племенных, семейных, национальных, сословных клеток и теперь взялась за биологические — что же она оставит на земле, когда воцарится безраздельно?.. Зато с какой непреклонностью эти сексуальные дезертиры идут на труды и муки во имя своей личной иллюзии! А у меня что? Не победить, а только бы выкрутиться.

Когда анестезиолог совершенно серьезно спросила, нет ли у меня вставных зубов, я вдруг подумал: а чего это я мелочусь — фронт, цель, — уж если строить иллюзии, так лучше сразу назначить себя бессмертным. «Я бессмертен», — приказал я себе, и каждый раз, когда в глубине пыталась приподнять кудлатую голову клубящаяся чернота, я строго (брови, как у Михайлова, стянуты в точку) цыкал Хаосу: «Куда?! Я бессмертен!» — и он втягивался обратно в нору. В решительный вечер, когда я все в том же бодро-задиристом настрое — еще поглядим, кто кого! — уже складывал вдвое для сна плоскую подушку, Леша-кузовщик спросил сочувственно: «Ты живот чем будешь брить?» — «У меня же бок?..» — «Операционное поле считается до колен. Попадет волосок — загноится, будут второй раз резать... Ты, главное, не бери «Неву» на третьем посту, все яйца изрежешь». — «А разве их тоже?..» — «Ножницы можешь у них взять, а «Жиллетт» возьмишь у меня». Люди — добрейшие создания, когда дело ограничивается телом.

В ржавой ванне нет пробки, я поджимаю пальцы на холодной эмали. Жиллеттные щели мгновенно забиваются моими кудрями, ножницы тупые, как две скрещенные линейки: когда удастся отгрызть клочок, придется раздирать их двумя руками. Но я бессмертен, я своего дождусь — моя гусиная кожа в конце концов обретает давно забытую детскую атласность. Я не ленюсь трижды пройти по всем сусекам — зачем давать Хаосу лишний шанс. Заключительный аккорд — очистительную клизму — принимаю со злобно-снисходительной усмешкой: поиграйся, поиграйся...

Утром я тщательнее всего выполняю упражнения на мышцы пояса, которые мне сейчас перережут. Когда за мной заезжает каталка, я хладнокровно пошучиваю, что здесь укладывают раньше смерти, — мой зади-

ристо-разбитной настрой лишь слегка омрачается тем, что за ручки держится Алла, похожая на юную Ахматову, а на каталку положено забираться в голое (да еще обритом) виде, заворачиваясь в ее желобе в собственное байковое одеяло. Наг ты пришел в этот мир...

Мне показалось, у них в операционной идет ремонт: все сдвинуто, стены выкрашены в какой-то предварительный цвет, — и незнакомые парни переругиваются, кто из них и куда засунул клофелин. «А где Михайлов?» — «Не переживайте, Михайлов кофе пьет». Не прекращая препирательств, один из них что-то вдавливая мне в вену, в голове начинает слегка мутиться. Чувствуя, что это у них надолго, я прикрыл глаза и очнулся на своей плоской подушке. В палату входила мама с дочкой, обе с черными лицами. «Вы почему черные?» — помню, спросил я, а как четырежды переспрашивал, не сложилась ли вдвое почка, совершенно не помню. А я-то и не замечал, что так уж этим озабочен. Остального дня не помню, помню только, что к ночи высветлились лица и исчезла дочь: она не выдерживала монотонного сидения на своих таблетках. Ночью же подняла голову вся злобная нечисть, во всех уголках «моего» организма дожидавшаяся случая вонзить в меня зубки: невинный фарингит, всего-то требующий учащенного откашливания, отзывался даже в ногтях резкой и опасной болью. Моя деликатная особенность — я не умею делать пи-пи лежа, тем более когда на меня смотрят, да еще при незаживших ссадинах, нанесенных продукцией завода «Красный трактор», — эта невинная слабость обернулась нарастающей и тоже опасной пыткой.

— Давайте катетер, — обреченно прошептал я.

Настенная лампа над глазами, стискивая зубы, катаю затылок по плоской подушке, мама из тьмы держит меня за руку, но я весь там, где снова терзают мою изодранную обесчещенную глубину, куда нормальному человеку невозможно вообразить, что может вторгнуться какое-то железо, — ввинтили наконец, давят на лобок, малейшее мое вздрагивание отзывается оглушительной болью. «Осторожно!» — это мне: могут выскочить пластиковые трубки, пучком уходящие из моего бока под кровать, в бутылочку, собственноручно подвешенную Михайловым. Не знаю, сколько часов это длится, — я исчезаю, возникаю снова, одними губами прошу *обезболивающего* сам уже не знаю, от чего — от разрезанного бока или от разодранного устья. Стянутые брови и колпак Михайлова, «ничего» — пытаюсь я улыбнуться. Главное, больше не пить, лучше жажда, чем... Хорошо, одну ложечку, если уж положено.

Дневное дежурство у дочки прошло, кажется, без сложностей: после каждого слова, движения мне совсем не скучно отдыхать с закрытыми глазами, когда минуты неотличимы от часов. В детстве, помню, как это раненые не могут идти — надо собрать силы в кулак и... И вот не осталось ни сил, ни кулака. Вдобавок ночью выяснилось, что меня покинула малопоэтическая, но, увы, совершенно необходимая способность пукать, и мой располовиненный живот понемногу начало разрывать.казалось, это истерзанное устье, спасаясь от ожога, помимо меня отдало приказ перекрыть все выходы — оставалось лишь метаться головой по подушке. Из тьмы возникает сестра с резиновым клистиром, мама исчезает, суровая избавительница перекатывает меня на бок, придерживая трубчатый пучок, вонзает наконечник и вздымает резиновый сосуд над головой, подобно Статуе Свободы. Каждое движение оглушает болью, холод судна, горячие свистящие струи — и, чуть только боль становится переносимой, я проваливаюсь в небытие и пробуждаюсь от новой боли — для нового клистира: давно поджидавшие своего часа пупковые клещи наконец сомкнулись.

Безжалостный рассвет, сведенные брови, почтительный доклад: «Атония кишечника». «Неужели вы не можете найти случая пукнуть?» — сурово усовещивает Михайлов. «Да я бы за это полцарства отдал», — еле

слышно шлепаю губами. Жую черный активированный уголь, заставляя запить — вода течет по щеке. Собираю все силы, но мама опережает.

Дня не было, а ночью опять катаю голову, по-рыбы разевая рот, — клистир, небытие, клистир... Но днем, вместо того чтобы снова драть себя катетером, я бессильно, но непреклонно требую посадить меня. Со скоростью минутной стрелки Игорь подымает за подмышки, мама одновременно опускает ноги, длинная рубаша прикрывает срам, — не обращайтесь внимания на мои сдавленные стоны. Ноги вдеты в тапочки, волочусь, повиснув у Игоря на шее, мама несет шлейф из трубок. Туалет тут же, за дверью. У входа я беру трубки в собственные руки, в одной жидкость совсем кровавая, в другой — розовая с желтым, во всех — пузырьки, как бусы. Игорь опускает меня на пластмассовый хомут, еле слышно прошу его удалиться — мое устье не любит посторонних. Как известно, эта процедура требует определенной разнеженности, но во мне было бессильно все, кроме того, что требовалось. Я закрывал глаза, отключался почти до падения, но невидимый кулачок в предвидении ожога намертво стиснул пальчики. Я попытался что-то там помассировать — и обнаружил у себя геморроидальную шишку с лесной орех. Вымыть после этого руки мне и в голову не пришло. За батарею были заткнуты «Санкт-Петербургские ведомости». Придерживая трубки зубами, я начал бесцельно бродить глазами по строчкам. Профессор философского факультета моей альма-матер неспешно размышлял о русской идее. «Россия, Русь — эти слова мы слышим с дет... «Сердцем и памятью учиться понимать Россию», говоря словами В. Распутина, мы учимся уже... возможно, помогает родная приро...» — и вдруг я услышал весеннее журчание. Печь, правда, пекло, но я, шипя сквозь зубы, удерживал гаснущее внимание на измятом шрифте, не позволяя кулачку снова стиснуться. «Тоску по «сильной руке» часто называют «фашизмом», но это неверно, фашизм — продукт западной...» — медленно-медленно, щипками я выдрал драгоценную статью и, сложив, спрята- л у себя на сердце. Русская идея спасла меня. Теперь, опускаясь на пластмассовый хомут, я одной рукой держал повыше свои трубки, чтобы кровавые жижи не капали на пол, а другой разворачивал на колене текст заклинания. И каждый раз, когда я доходил до слов «сердцем и памятью», изливалось жгучее блаженство.

Я уже не позволял маме оставаться на ночь, и она, памятуя о моей стоматологической катастрофе, мобилизовала кого могла, чтобы не оставлять меня одного (в палате была спецраскладушка). Но волновалась она напрасно — чернота была бесследно поглощена простотой. Каждый час распадался на борьбу и заслуженный отдых, каждый день что-то приносил: вот уже, свернувшись калачиком, я научился скатываться с кровати, оказываясь на коленях перед нею, затем, опираясь на руки, вставал, сдвигая мыча, извлекал трубки из мутно-розовой бутылки, погружал их в мешок из-под молока с черной, как копирка, изнанкой, перевязывал его, чтобы он не соскользнул — но чтобы и не передавить пружинистые трубки, а затем, перекинув его через руку, словно некий ридикюль, плелся вдоль коридора, с надеждой прислушиваясь к далекому, но, увы, бесплодному рокоту в животе. Я почти ничего не ел, чтобы не доставлять пищи для вулканической деятельности. Но я уже мог и слегка напрягать разрезанные мышцы, предварительно туго перепоясавшись полотенцем. «Для нас, хирургов, выпускаемые газы — самая сладкая музыка». От Михайлова же я узнал, что хорошая свежевыпущенная моча имеет запах куриного бульона, — тот, кто это впервые обнаружил, несомненно был поэт. Выливая из мешка мутный коктейль со странным запахом, я и сам постиг, какая это прелестная штука — нормальная моча: не только янтарная прозрачность, но и самый дух ее оставлял, оказывается, ощущение чистоты. Теперь я всякую жидкость машинально просматривал на свет — ближе всего мне к моим нынешним излияниям оказался ананасный сок, если

подкрасить его вишней. Я забыл, что такое брезгливость: присаживаясь, я частенько наступал на свой мешок, и когда вставал, трубки из него выдерживались, — ничего, остороженько присел с тряпкой... Часто из заклеенной дырки в боку жидкость вдруг начинала обильно сочиться мимо трубок — промокали бинты, майка, рубашка, я подкладывал специальные тряпки, менял рубашку, майку, невзирая на обрушившийся холод (с наветренной стороны, где располагались одноместные платные палаты для богатеев с ближнего юго-востока, вообще чуть ли не кружила метель), — скучать было некогда.

Как ни претило мне припутывать посторонних, при первой же возможности я попросил самого деликатного из моих приятелей сообщить Соне, что все прошло нормально. Когда же я впервые почувствовал, что могу брести сам, я сразу потащился к автомату. Держась за перила и сдерживая стоны, я спускал ногу на следующую ступеньку, словно пробуя воду. Ветер завывал, как в исполинской печной трубе. «Вчера с каталки, — недобро удивилась сестра-хозяйка, — а уже идет». — «Ничего, завтра его опять повезут», — утешила ее столовская раздатчица. Чем ближе здесь было к социализму, где распределяют и контролируют, тем больше попадалось всяческого свинства.

Через продувной вестибюль, осторожнейше ступая на цыпочки, я провлачился до приемного покоя. Камуфляжный охранник фирмы «Цербер», бессильно расправившие подошвы на носилках, пыльные смерчи под ногами. Клацнувший жетон, замершее сердце: какое это счастье — дарить счастье тем, кого любишь. «Здравствуй, я жив!» — «Хорошо», — еле слышным, упавшим, равнодушным голосом. Но я в восторженной инерции продолжаю ее успокаивать, пока до меня не доходит идиотизм ситуации: она, казалось, и не думала волноваться. «Я не пойму — ты что, не рада?» — «Почему, рада». — «Я опять, что ли, в чем-то провинился?!» Я бешено лязгнул трубкой. Не надо приносить слишком крупные жертвы — не сможешь простить, если их не оценят. Охранник, приставленный наблюдать, чтобы раненых бизнесменов не добивали в больнице, с любопытством следил, как я, скособоچась, медленно-медленно, чтобы не расплескать полный таз боли, ползу обратно через вестибюль.

Каждую ступеньку я одолевал со скоростью домкрата. Уже на втором этаже я потерял уверенность, что дойду, — хоть садись на ступеньки. Уж две-то минуты радости ты заслужил!.. Огражденный правотой, я назначил себе право хотя бы неделю думать только о себе. И, право, нашлось о чем. Вскоре из главной трубки пошли одни пузыри, зато мимо хлынуло как из ведра. «Кто просил столько ходить?!» — сверкал очами Михайлов. Мы с Антоном-Антониной — он был способен на настоящую мужскую дружбу — все ледяные батареи позавесили мокрым тряпьем, это походило на бесконечное откачивание воды из трюма. А потом в унитаз шмякнулось что-то серое, и все заструилось в лучшем виде. На всякий случай взял трубку в рот и осторожно проглотил.

Есть кое-что мне все-таки приходилось, но вся эта масса словно бы сублимировалась прямо в дух, готовый, как мне когда-то и мечталось, оторвать меня от земли, словно аэростат. Казалось, угольный порошок бесчисленных таблеток спрессовался в алмаз. Но я же и хотел, чтобы задница выполняла чисто декоративные функции — как у статуи?.. Пытаясь создать внутреннее движение через внешнее, перед сном, натянув два свитера и, подтягивая ноги руками, двое штанов, я медленно, но подолгу бродил по темному коридору, задерживаясь перед запертой столовой, где явно водились привидения — звучали голоса, иногда музыка, метались тени, — и перед Доской достижений, на которой царил Михайлов с его журнальными оттисками и схемами извлечения камней через мочеиспускательный канал при помощи кусачек Михайлова. Бедновато — вот в травматологии

выставлялись отличные человеческие запчасти: ступни, полые голени, предплечья, а у нас метровая модель фаллоса, красиво оплетенная венами, была укрыта в святая святых — в ординаторской, даже *сестринской* достались только семенники в разрезе.

Лежать я мог лишь на левом боку (зажималось сердце), спрятав концы в бутылочку. Просыпался от болевого аккорда, но черная глубь продолжала спать мертвым сном, покуда меня влекли утоляемые малые и неутолимые большие нужды. Теперь за мной следили два будильника — гидравлического и пневматического действия. После третьего-четвертого медленного-медленного подъема уже можно было брести в «Гнойную перевязочную». Обычно мы ждали Михайлова, стремительно приносившегося и уносившегося прочь, вдвоем с бледным мужчиной, у которого было целых два мочевого пузыря — и оба никуда не годились. Она такая вообразулька, грустно жаловался он на перевязочную фифу — при появлении Михайлова, однако, начинающую таять и мурлыкать. Все шерстяное, несмотря на холодину, полагалось оставлять в коридоре. Михайлов возился в моем боку, отдирал, тыкал, дергал, я помыкивал, а однажды, осторожно сползши с верстака, никак не мог поймать трубку, без которой себя уже не мыслил, и Михайлов совершенно счастливо расхохотался и даже передразнил, как я ошалело ловлю пустоту. На радостях я забрался аж к инфарктникам и там взвесился. Оказалось, я потерял семь килограммов, хотя никогда не отличался упитанностью.

Я начал ходить с гигиеническим пакетом на боку. Как я теперь понимаю женщин: ведешь приличную беседу — и вдруг чувствуешь: намокает... Дырка в боку, мне сказали, может затягиваться и открываться еще черт знает сколько недель. Я был все-таки очень слаб: порногазетенка, которую я прежде проглядел бы все-таки не без оживления, не вызвала ничего, кроме скуки: дурь какая-то... Но я уже начинал выходить из себя: я испытывал все нарастающую и нарастающую жалость к Соне — а потом уже и тревогу: черт его знает, может, она, наоборот, меня хотела оградить от каких-то своих катастроф...

Голос такой безнадежности разом сдувает с тебя хитиновый покров обиды и недоверия — эти голоса стоят у меня в ушах еще со времен моего романа с самоубийцами:

— Я думала, ты больше не позвонишь.

Жетон был предпоследний, но «церберы» оказались славными ребятами, и вскоре я, потупясь, сидел у них в кордегардии, ожидая звонка. Покуда они неспешно толковали о денежно-вещевом довольствии, я старался как можно тише разрядить накопившуюся лавину сложностей. Это проныцательное дитя решило, что за время моей болезни моя жена наверняка проявила такие чудеса самоотвержения, что я теперь и знать не захочу ее, отсидевшуюся в тылу, хотя она, только пустили бы ее на передовую... Голосок ее начинал предслезно дрожать, когда она вспоминала об отнятом у нее шансе на подвиг. Я, прикрываясь рукой, повторял, что ценю прежде всего намерения, потому что лишь они в нашей власти, что дурь не покупается и подвигами, — но совестно было не только перед «Цербером»: меня почему-то скребла фальшь и даже подловатость того, что я столько лет исповедовал и отчасти даже проповедовал.

— Радуга — это одна минута. А я хочу, чтоб я всегда была тебе нужна.

Но я по голосу слышал, что она оживает.

— Как стул? — сурово бросил бежавший через вестибюль Михайлов, в партикулярном платье не столь грандиозный, но все равно прекрасный сидящий витязь.

— Со стульями покончено. — В Ночь Клизм отвечать было проще... Клизмы, освященные страданием...

Я вышел на бетонное крылечко — травка зеленеет, солнышко блестит... Но уже вспоминается, что всякое блаженство — только отсрочка. И

все-таки в каждый миг «не больно» лучше, чем «больно». И это максимум, за что в этом мире может самозабвенно сражаться человек. Успокоил Соню — хорошо, можно какое-то время хотя бы об этом не тревожиться. Как это люди могут так нахально шагать, бежать, когда внутри у них при каждом шаге жестоко встряхивается то, что у меня отзывается при малейшем движении? Главное, чтобы потроха цепко держались за свои места, а в остальном барсук не хуже прекрасного тигра или могучего слона. Перед крыльцом лежала аккуратная собачья колбаска, и я вдруг почувствовал острую зависть: такая прелестная упаковка.

В решительный час я шел в сортир, как на битву: перекрутил полотенце кулаком, скрючился что есть мочи, придавив бок локтем, а локоть коленом, и, презрев огненную боль и лопающиеся звуки в распластанном боку, двинул ва-банк. Потом долго утирал холодный пот и успокаивал дыхание. Затем созерцал плоды победы, ощупывая совершенно бесчувственный деревянный рубец со слезящимся слепым глазком. Вот эта горстка тронутых чистой алой кисточкой угольно-черных бус едва не отняла у меня жизнь — только оттого, что какая-то трубочка для перекачивания крови когда-то передавила трубочку для перекачивания мочи... Никак не свыкнуться с ничтожностью причин чудовищных следствий. И все равно — ни сказок о вас не расскажут... А вот в макром мире сонмище прагматиков, спрессовываясь в Романтика, вполне готово воспевать простейших, убивающих сложнейшее: Ленин в Смольном, Сталин в Кремле...

В конце концов и больница превращается в кокон — дает иллюзию неизменности, прочности: мне сделались родными даже разнокалиберные баночки с мочой, подобно семи слоникам, выстроившиеся под кроватью Равиля, пожаловавшегося военкому, что после ликера у него болит бочара. Вначале я скучал по своим боевым друзьям, но Хаос управляется нами просто — либо увозит прочь на пароме «С глаз долой — из сердца вон», либо запирает в одном сортире без окон.

Каждый день приносит мне что-то новое: я могу уже четыре раза дойти до дома № 209, корп. 6 и вернуться обратно. Скамейки стоят только вокруг песочницы, где песка действительно все-таки больше, чем пыли. Детишки роют вглубь, мамы судачат и контролируют, — на лицах и тех и других написано не счастье, а нечто куда более необходимое — самозабвение. Я сижу на солнышке в капюшоне — мне уже не по здоровью морозный солнечный июнь петербургской окраины. За бабочкой, от ветра жмущейся к земле, следит до боли прелестная девчушка, тревожно на меня поглядывающая: ах, кто ты и что тебе надо, чужой и больной человек?.. Нарыв, именуемый «дочь», готов отзываться и не на такое. Когда бабочка складывается и раскладывается, на беззащитное личико набегают благоговейный ужас. И тебе когда-то придет черед узнать: приедается все, и тебе предстоит примелькаться. Наконец-то я не хочу и стихов — как это я ухитрился укрыться в младенческую сказочку о бессмертии? Правда торжествует окончательную победу: жизнь — это конвейер, на котором нас не собирают, а разбирают, нам же предоставляется самозабвенная борьба за то, чтоб стало больно не сегодня, а завтра. При этом быть сегодня недовольным завтрашней пыткой означает гневить Бога. Боль на выдумки хитра...

— Другие бы оттяпали вам почку и возиться бы не стали, — гордо поделился мой боготворимый Михайлов. — А она еще, может, десять лет прослужит!

Но ведь главное — не знать сроков: — я без усилий выбросил этот образ из своего скафандра. Кто так гениально организовал этот ад, за который даже проклинать некого? Ад, в котором значительны лишь мучения любимых — только они и дают нам силу жить: ты живешь настолько, насколько не смиряешься с неизбежностью, свобода есть ненависть к необходимости.

На соседней скамейке старуха в капюшоне — вроде меня — сыплет корм воробьям. По серой воробьиной массе пульсируют сгустки, перебегающие вслед очередной крошке. Опустился голубь, показав линялую подмышку, тут же сделавшись громоздким и бестолковым среди гомонящей мелюзги. Дранные тополя, не смущаясь, снова обрастают листвой — как все это когда-то радовало: первая бабочка, первая муха, первая пыль... Смотри же, листочки, умоляет меня мама, и мне кажется, что все они сговорились: неужто кому-то может быть дело до чего-то еще, кроме боли? Лишь о Соне мне почему-то думать не больно — я не могу представить ее старой, больной, надолго несчастной. Наверно, она права — я отношусь к ней как к игрушке: все, что любишь, должно терзать.

Терзать если не жалостью, так обидой, — хорошо еще, одно позволяет отдохнуть от другого. Я готов подсовывать судно тем, кого люблю, но когда в меня запускают его содержимым... Дочка с таким усердием взялась за шарлатанские книжки о восстановлении здоровья исключительно силой духа и биоэнергии растений, что ее не допустили до экзамена по электродинамике. Я, поступаясь достоинством, позвонил их куратору — моему однокурснику, он все организовал, но, когда я предложил ей подзаняться стариком Максвеллом, она вдруг фыркнула: я сама знаю, что мне делать, тебе главное, чтобы я тебя не позорила. Эта крошечная часть правды, бесовестно выдаваемая за целое, причинила мне такую боль, что сменившая ее ненависть показалась почти блаженством: покуда жалость и тревога снова не взяли свое, самообслуживание казалось мне вполне стоящим делом, я без всякой скуки сгибал и разгибал ноги в огромных валенках, добытых у одного любителя подледного лова, по силам мне было также поднимать и опускать руки. С неподдельным интересом я разглядывал на свет майонезную баночку (250 г), приставленную к унитазу для контроля за прозрачностью, — увы, муть кружила непроглядной метелью, целыми лохмотьями.

Михайлов велел отпаривать мой деревянный рубец с глазком, превратившимся в ямку с глянцевым доннышком, как после чирья, и я часами таскал в ванну кастрюльки с кипятком (горячей воды не было — самое время продавать дешевые трусики), потом осторожно-осторожно забирался, правую ногу переноса через борт руками.

Ноги мои как-то даже окривели от исхудалости. Когда я впервые увидел себя в зеркале, я не сразу поверил, что это я: цыплячья грудка, тоненькие ручки подростка (и подростковый пушок на лобке), а хуже всего (противнее) — все плечи у меня были обсеяны звездной сыпью, уходящей аж за лопатки, и что совсем уж погано — она же проступила на лбу. Лекарств пережрал, что ли?... И на мне все как будто ссохлось, не напоминало о себе — ну, и я Его оставил в покое.

Рекомендованные Михайловым зелень, печень, фрукты, соки (прозрачности им всегда недоставало) я поглощал с неловкостью — не заслужил. Теперь и в верблюды не гожусь... Я старался быть полезным, вытирал пыль, лез мыть посуду. Защищенный заботой о себе, я начинал досадовать на Соню за то, что она и для себя чего-то желала.

— Я все время жду, что ты больше не приедешь.

— Ну с чего ты... я в тебе нуждаюсь больше, чем ты во мне.

— Рассказывай... У меня только ты, а у тебя все есть, все тебя уважают... Я только у папы с мамой чувствую себя человеком: они не знают, чем я занимаюсь.

— Ты себя кормишь. И своего охламона. А я нет. Вот что стыдно. Но к родителям ты все равно скатайся.

— А как Тави провезти?

— Есть же вроде бы специальные багажные вагоны?..

— Только ты можешь такое предложить. А если бы тебя сдали в багаж? У них тоже есть душа, нервная система... Ладно, извини, я опять на тебя накидываюсь. Я ужасно скучаю.

- Мне казалось, что я тебе надоел, ты что-то начала покрикивать...
- Наоборот. С чужими я очень корректна.
- Мне кажется, именно своих надо беречь...
- Ну а с кем же тогда расслабляться?

В канцелярии меня ждали две ценные бумаги: факс от Гагиева — срочно обсудить условия договора — и приглашение в один европейский университет, не ахти какой крутой, но для такого голодранца, как я... Только вот я и до службы-то еле дотянул — всю дорогу простоял на цыпочках, чтоб не так трясло. Перерезанные мышцы взяли еще новую моду — на малейшее неловкое напряжение отвечать судорогой, — приходилось срочно прогибаться, чтоб их натянуть, и лихорадочно массировать, а это трудно сделать незаметно. Боюсь, я производил странное впечатление.

Бывшие фонари-бабочки по случаю летнего просветления были выключены, но под мостом можно было разглядеть цвета химградского коктейля — струистой земной радуги. Кривые кольца торчали, как в Венеции. «Ахеронт!» — вдруг брякнуло у меня в голове. Меня, ко всему прочему, теперь укачивало в автобусах: если ее не будет дома, хоть ложись и отдыхай под дверью, — но уж очень хотелось устроить ей сюрприз. Жаль только, что радовать удастся лишь за чужой счет.

У ее дома появилась фанерная стрела «Шинмантаж». Когда в лифте меня снова обсыпал родной световой горошек, я наконец-то почувствовал подмигивающее предвкушение — не мертвенное, за другого, а горячее, шкурное. Я растроганно оглядел знакомую площадку — у соседской двери стояла крышка гроба, красная с черной оборочкой. Стоп — я в увольнении.

Возбужденный лай раздался прежде, чем я коснулся звонка. Тави кидалась на меня как безумная. «Она не сердится, эмоции выходят, она радуется, что ты нашелся!» — счастливо перекикивала ее Соня, пытаясь зажать длинную морду. Я попробовал ей помочь, но собаченция строптиво вывернулась. «Ты ей сделал больно, она пискнула», — и снова безнадежность навалилась на меня: обязательно я причиняю боль... Мы обнялись, Тави так гавкнула, что у меня пресеклось дыхание и протяжно, как попавшая в резонанс струна, заныл шов. «Меня защищает — непорядок!» — торопливо переводила Соня, спеша соорудить себе все тридцать три удовольствия: включила духовку — экстренно сварганить мне что-нибудь пареное, без соли и перца, запустила горячую воду, натрусила туда какого-то заживляющего шарлатанского ароматизатора и, ожидая награды, выставила на стол древнекитайский флакон, который врачевал мозг, сердце, печень, почки, селезенку, желудок, а также укреплял «хи» и «хует». Первую ложку я должен был проглотить немедленно.

— Ну ладно, укреплю хует.

— Дурак! — Ее сияние снова начало что-то отогревать и во мне.

В ванной я оглядел в зеркале свой обсиженный мухами лоб и попытался закрыть дверь, но она меня раскусила: «Балда!» Легко упавши на колени, она принялась обцеловывать меня, как младенца, и, отрываясь, сообщать, запрокидывая лицо прекрасной беззубой ведьмы: «Колючий! А почему грудь не побрился?» В зеркале я увидел свою кривую улыбку. «Ты прямо святая — они могли целовать язвы прокаженных». — «Балда».

ГАВ!!! — отшатнувшись, я схватился сначала за сердце, а потом за бок — резкое движение отозвалось судорогой. В ванне я немного отмяк, но не до конца: душевные ушибы ныли очень долго. Соня встретила меня скромной гордостью ламы: все было тертое, пареное и совершенно безвкусное. Чай на свет смотрелся мне на зависть. Висмотреть тараканов так и не удалось. Как я ни бодрился, мрачность понемногу начала и ее увлекать в свою воронку:

— Ну вот, тебе уже скучно со мной...

— Не с тобой, просто снова вспомнил, что всякая радость — только отсрочка.

— Если про это думать, лучше совсем не жить.

— Для этого верховный устроитель придумал страх смерти — чтобы держать нас между двух ужасов.

— Ты просто устал.

— Да это во все времена говорили все, кто только...

— У них не было меня.

— Кто у вас на лестнице умер?

— Как ты узнал? У соседки мать умерла. Давно было пора: девяносто два года, никого не узнавала... Алла совсем замучилась.

— Всегда жалею жизнеспособного... Вот тебе счастливый вариант: девяносто два года, в своей постели...

— Кто про что, а вшивый про баню. Я знаю, как с тобой надо, словами тебя не переспоришь.

Тави внимательно следила за нами, но не вмешивалась — вероятно, не считая спальные места своей территорией. До какой же все-таки глубины мрачности способна донырнуть и взять за живое мануальная и лабиальная терапия? Когда Он начал оживать, я с горечью подумал, что Он ведет самостоятельную жизнь: у нас с ним у каждого своя голова. Но вдруг я с удивлением не обнаружил в груди привычной ломоты: Он оказался более точным индикатором моей души, чем я. Она так выгибалась, что я едва дотягивался губами лишь до ее подбородка. Я мог только лежать на боку, но это делу не помеха, если наконец-то удалось вызвать животное на помощь человеку.

Назавтра я по еловым веткам осторожненько, словно солистка ансамбля «Березка», проплыл к Газиеву. После возгласов ужаса и бережных объяснений выяснилось, что из каких-то высших соображений договор заключается с Москвой, но для меня, он ручается, будет предусмотрена роль консультанта — раз в квартал просмотреть чужие отчеты.

Перед отъездом она почтительно посоветовалась, стоит ли ей вкладывать деньги в некое страшно выгодное транспортное предприятие — одна из Людмил, жутко практичная, вложила три тысячи и вот уже имеет шесть. «Я бы не стал. Я-то знаю, что я идиот... Что выпустил из рук, то уже не твое. А Хаоса». — «Но ведь за границей...» — «Я там не жил».

На работе мама устроилась на вечернюю работу, чтобы подкопить денег на тибетский бальзам из корня це-минь-ше-ю для нашей дочери. А мне предстояло сидеть с шапкой в подземном переходе. Я понимал, что это у меня болезненное — выделить лишь одну из обступивших нас бездн, вместо того чтобы мудро ужасаться им всем сразу, но тем не менее валютное приглашение с каждым днем казалось мне все более и более издевательской выходкой Хаоса. Как с Каштанкой. И мама с неожиданной (а если вдуматься, не такой уж неожиданной) решительностью приказала мне ехать — она понимала, что самая страшная опасность таится в моей собственной душе. Она даже приободрилась, укомплектовывая мою медицинскую коробку пилюлями, звучащими похоже на «пять ног». Но неосторожным взглядом я замечаю, что у нее капая слезы. Я метнулся прочь — не колыхать! — но она уже увидела, что я заметил. «Горести делишь со мной, а радости с кем-то еще...» А «кто-то еще» рвется делить горести, хватило у меня ума промолчать. Зато, к изумлению моему, я почувствовал, что на ее слезы Он из глубокого обморока приподнял голову, словно гриф на запах крови: вот как, оказывается, становятся садистами — требуется хоть какой-нибудь перчик.

Однако на Морском вокзале лицо ее выражало горделивое удовлетворение матери, отдающей своего красивого, талантливого сына в мужья бо-

гатов и родовитой, но более ничем не примечательной невесте. Ее грело и то, что я отправляюсь учить Европу возводить Вавилонские башни небывалого типа, — что они лежащие, в этом ее не убедить. Мне же не очень хотелось пускаться в воспоминания, как мы с нею пробирались на лодке из дегтарной Галерной гавани, охваченной тесными зубьями гниющих свай, приходившим в античный упадок каналом из величественно распадающихся гранитных блоков вот к этим вот кроншпицам. В Маркизовой Луже свежак гнал волну, и я в целях безопасности приказывал робеющей пассажирке держать нос по ветру. «Балтийское море — море мира», — читала она на том берегу. Мне все не хватало норд-веста, я выгребал играючи, не упуская случая покрасоваться торсом многоразрядника, потом, засучив самопальные джинсы с алыми молниями, азартно волок лодку с восхищенной мамой аж до самого бурьяна на вон том плоском островке, где сейчас высятся бастионы очистных сооружений... На взморье виден остров малый... Я отталкивал от себя все миги, часы, дни и годы счастья, потому что они, оказывается, ничего не значили и ничего не обещали.

Я еще не мог нести свою сумку — что-то колкое вонзалось на пару пальцев ниже рубца (мне всерьез казалось, что Михайлов забыл там ножницы), но уже мог тащить ее волоком, то и дело сворачивающуюся со своих рояльных колесиков. И когда с высокого борта я увидел озаренное любовью и гордостью мамино лицо, а вдали наш Большой проспект (каждый дом, пирожковая, мороженица навеки отпечатались в доверчивой юной памяти), во мне тоже колыхнулось какое-то «а может, и правда не зря?...».

И стало почти забавно управляться с норовистой сумкой на этом пластиковом мху, напоминающем махровое полотенце морского исполина. Кабинка у меня была два на два на двоих с румяным басистым молодым немцем. Я еще в кассе по-стариковски выпросил нижнее место, где можно было только лежать или сразу уходить.

Потом борт таинственным образом начал под прямым углом отходить от причальных автомобильных покрышек, а мы с мамой смотрели друг на друга, и я повторял про себя: спасибо, спасибо, спасибо, спасибо...

Город раскрывал новые изнанки: устье Невы со стороны моря с кранами, доками и пакгаузами, гигантские буквы — рукой подать — «Балтийское море — море мира», нагромождения всевозможных грузов, тесные стада автомобилей, бухты проволоки, районное захолустье Канонерского острова, занесенное своим чудным именем на почти венецианские задворки, золотые капельки Петергофа, кронштадтские замки д'Иф из красного кирпича, крепнувший ветер, надвинувшаяся непогода, капли, взрывающиеся на стекле, — а я в три слоя укутан в чистую вежливую заграницу. Только метрдотель — при английском языке типичный халдей — источает тонкое презрение к безвалютным соплеменникам, исчисляемое градусами поворота головы и миллиметрами размыкания губ. Все не только удивительно вкусно, но еще и сервировано с какими-то рококошными завитками. Со сложным чувством — от почти гордости до безразличной подозрительности — замечаю немало своих соотечественников, щедро заказывающих спиртные напитки по винной карте, которую я опасаясь и в руки взять. Очень медленно и мягко покачивает.

Потом я кутаюсь в тощий воротник под могучими белыми пузами спасательных шлюпок, во тьме вспыхивает пена, все время видны какие-то огоньки — это уже Европа, лишенная наших темных пространств, — и в душе настаивается и крепнет только ею и назначаемое: «Может, и не зря».

Мое никогда не закрывающееся окно над крутым зеленым склоном выходит на новенький готический собор, который каждый час днем и ночью проигрывает немножко шарманочную, но все-таки щемящую — слезы наворачиваются — мелодийку с одним фальшивым ударом: меня не спросили. Но разбудить меня может только внутренний будильник. Воз-

можно, еще из-за всученной дочерью мочегонной махорки моя клепсида обрела поистине испанский темперамент — не терпит ни малейшего отлагательства. Здесь у меня для самонаблюдения стоит фигуристая баночка с надписью «Moutarde de Dijon au vin blanc», 215 г — это моему испанцу маловато. Проглядывая капустный рассол на свет, каждый раз читаю: «Product of France».

Тут же душ за раздвижной матовой стеночкой. Ничего не заедает. Махровые полотенца — огромные или поменьше — всегда можно взять в светлой прачечной внизу. В пяти шагах по чистому коридору — просторная кухня с зеркальными кастрюлями, всевозможными тостерами-миксерами и тарелками, которые достаточно поставить в моечную машину. Опрокидываю кружечку махорочного настоя каждый раз с облегчением: дочка сдала сессию и просилась меня проводить, но согласилась пойти на день рождения к давно приглашавшему ее однокурснику — все равно, кроме протоптанных троп... Пока греется мраморный чайник, доделываю все еще осторожную зарядку. В комнате между письменным столом с секретером и креслом простора как раз в меру (минуты наблюдаю по электронным часам, вделанным в радио).

За собором морской горизонт трепещет утренним серебром вываленного на палубу трала. Завтракаю с книгой — наконец-то добрался до третьего тома Пруста: нет опасности проглотить раньше времени. Ем я довольно вкусную залитую кипятком раскисшую мешанину овсяных хлопьев с сушеными яблоками, бананами, изюмом, орехами — называется довольно противно: мюсли. С молоком вкуснее, но его еще покупать, да следить, чтоб не сбежало, а кроме того, я стал здесь ужасным жмотом: это единственное, что я могу сделать для двух своих дочек. Чтоб не соблазняться, в супермаркет захожу только предварительно перекусивши, да еще сначала прохожу отдел серых собачьих колбас из их врагов — кошек, чтобы надежней отбить аппетит. При этом все мелочи на выходе стараюсь разложить в две бесплатные пластиковые сумки — то-то мама порадует (зато мечта стилиги — «я роскошный иностранец» — разом поблекла). Я бы больше налегал на хлеб, очень вкусный, вечно свежий, только здесь он едва ли не дороже бананов — мне лень вычислять его удельную стоимость и калорийность, тем более что и это, скорее всего, был бы профессиональный кретинизм: у нас один доктор наук пресерьезно доказывал, что каждая вещь стоит столько, сколько калорий идет на ее изготовление. Увы, мировой Хаос допускает бесчисленное количество масок — непротиворечивых моделей: для комара человек — цистерна с кровью, для собаки — друг или враг ее хозяина, для теплофизика — двигатель внутреннего сгорания, для зоолога — вместилище инстинктов, для марксиста — пролетарий или буржуй, для интригана — интриган-соперник, для хама — борец за выгоду, для позера — борец за внимание, и каждый из них вполне выживает и, следовательно, ежедневно подтверждает практикой свою картину мира. Редукционизм, подгонка под себя, оскорбляет не истину — все картины мира неопровергаемы, — а вкус, *глаза*, способные замечать его бесконечноцветье.

Но я почему-то не бешусь, думая об этом: сломленность — это и есть мудрость. Использованный пакетик «Липтона» приберегаю на обед. Лестница гнута из цельного металлического листа и внушительно гудит под кроссовками. Здания из-за невероятной промытости и отделанности выглядят какой-то огромной офисной мебелью. На шлифованном асфальте регулярные горбы, чтобы машины не разгонялись. Но я и без насилия повиновался бы светофору. На первый взгляд, тутошные удобства питаются уважением к физическому естеству человека — на самом же деле они стремятся устроить жизнь так, чтобы физическое имело как можно меньше значения: чтобы не требовалось загонять тараном или вышибать плечом плохо подогнанную дверь, чтобы не приходилось отпихивать соперника,

пересчитывать сдачу, перевзвешивать покупку... В схватке один на один я проигрываю каждому: даже когда меня оскорбляют, мне прежде всего хочется разобраться, в каких пунктах оскорбитель прав, а в каких заблуждается, в глубине души я не могу поверить, чтобы кто-то мог использовать слово только для того, чтобы причинить боль. В здешнем раю борьба идет куда более напряженная, но не рог против рога, не питекантроп против синантропа, а борьба знаний, умений, терпений, стратегических замыслов, обаяний, логик — тоже гадкая, но борьба людей, а не животных. И сейчас я уже готов ее вести: теперь я не брезгую никакой работой, а только это мне всегда и мешало.

А как же здесь поступают с румяным громогласным господином, остановившимся поперек прохода поговорить со своим громогласным приятелем? А никак, бочком пробираются мимо. Потому что все остальное еще хуже. Уступают хаму хамово, зная, что много ему все равно не достанется. А как быть с безмозглой теткой, которая, в ужасе выпучив глаза, катится к подружке спросить, апельсиновый или виноградный сок та будет пить? А вот как: недовольно посмотреть ей вслед, отряхнуть пиджак и пойти за новым стаканом.

Уличные кафе еще совсем пустые, но присядь — и на тебя тут же прольет теплую шайку гостеприимства прелестная девушка в белоснежном фартучке. Там, где чисто, светло и ничто не царапает взгляд... Но как подумаешь, что на эту сумму наша семья могла бы жить целый день... Однако финансовая тревога уже утратила свой болезненный, то есть разумный, характер, сменившись дурацким «авось обойдется», и вообще, даже просыпаясь, я ощущаю спазм не в стратегическом — в груди, а только в тактическом центре — в солнечном сплетении. Но и он слабеет с каждым днем, становясь почти приятным, как утасаживающие покалывания забытых Михайловым ножниц. Мне уже доставляет удовольствие, что рубашка надета на голое тело и что она еще чуточку холодит, хотя солнце уже припекает — но по-северному, не стервенея.

Ступая почти беззаботно (и ортопедические стельки сидят как влитые), вхожу в крепость, новенькие макеты старинных домиков разбегаются по улочкам-декорациям, беспорядочным, как трещины на разбитом зеркале, по каменным оградкам с черепичным гребнем взбираются кусты роз — розы в два человеческих кулака, а кусты в два человеческих роста. На каждом шагу все еще видишь женщин в средневековых нарядах, иногда попадется и какой-нибудь Ромео или его слуга: на днях городок кипел карнавалом по случаю его покорения какими-то скандинавскими бандитами — сумели устроить такое роскошество из поражения! На улицах стояли жаровни, вращались вертела, — запах — лучше не подходи! — ковались мечи, кинжалы — кузнецы в какой-то древней коже, мешковине, — на тесных площадях стреляют в цель из арбалетов, а за крепостной стеной, на густой пожухлой траве просторного ристалища, куда я сейчас выхожу, устроили самый настоящий рыцарский турнир — копы, кони в развевающихся покрывалах, похожих на хоругви, — латы и в самом деле до крайности идут мужчине. Больше всех отличился интеллигентный Айвенго в очках — пышный герольд с микрофоном футбольного комментатора безмерно славил его перед знатью и перед чернью, — я ужасно жалел, что здесь не было мамы: она обожает все воинственное и безопасное. А уж костюмная вакханалия... Даже я слегка бабдел, сколько восхитительных и неповторяющихся ненужностей — зубчиков, разноцветных клинышков, пышных буфов, многослойных, как розы, бархатных беретов — кишит в этой портняжной оргии. В нынешней жизни дури, благодарение богу, маловато: все прекрасного качества, но чтоб сомлеть... тут нужен романтический стилинга из нашего общества рваных возможностей. И что толпы веселящихся людей и ни одной хамской выходки — быстро наглекующая

душа тоже почти перестает замечать. Зато среди молодежи я все время высматриваю дочь и изредка нахожу. И вижу, что здесь ей хорошо, хотя прекрасно знаю, что ей везде будет плохо.

Море уже интенсивно синее — как небо: облачка замаячат к полудню — из наших же испарений. Мимо «настоящей заграницы» с пестрыми тентами, барами, топчанами я иду к неудобному, а значит, идеальному для меня уединенному месту, где надвинувшиеся с гряды валуны затопили и половину моря, а на берегу стоит деревянная часовня с якорем у входа — якорь заменяет крест. Часовня посвящена рыбакам, которые «нашли покой в море». Умели же выражаться! Нет — чувствовать.

Оставшись в плавках, я снова делаю уже усиленную зарядку с двумя камнями вместо гантелей, отбиваю по сто бережных поклонов во все стороны и прокручиваю по сто вращательных движений против и по часовой стрелке. Это очень успокаивает — подчинение себя какому-то правильному распорядку. Отдыхать приходится часто, но не чаще, чем перед вскрытием, когда тревога заменяла слабость.

Захожу — могу видеть ярко-синюю даль с праздничными яхтами, захожу — большую близь: струи разболтанной горчицы (de Dijon...), в которых, ничуть не поступаясь царственностью, скользят лебеди. Вот и у них можно поучиться, и у котов, у дуба, у березы, у водорослей и камней: мудрость — добровольное опрощение, то есть умирание. Но не умирая не выживешь. Валуны, словно после ремонта, залиты известью чаек, покоятся, будто яйца в гнезде, в кошме многожды пересохших водорослей. В их приглушенной радуге — розовой, бледно-зеленой, фиолетовой, — если пожелается, я могу узреть тундру, на которой я так фанател когда-то. И в празднично-закисшем море, при перемене ветра потягивающем свином, я тоже могу расслышать мрачно-прекрасно-значительный аккорд. Я снова могу жаловать в прекрасное. Сдаюсь — я варан: чтобы я ожил, то есть обнагел, меня нужно отогреть на батарее.

Вооружась словарем и верным морским разговорником, стараюсь подставлять солнцу свою паршивость. Ее уже почти не видно под загаром, хотя самая, так сказать, поверхностная глубь, я чувствую, по-прежнему, как нарзан, насыщена микроочажками воспаления. Но это не беда, ибо я мудр, а мудрость есть умение не вглядываться в вещи слишком пристально: если отрезать голову, я выгляжу тощим, но спортивным загорелым подростком. Работа меня увлекает, но одиночество все-таки добирается кончиками холодных пальцев до чувствительных зон, я дышу на них воспоминаниями о тех, кого люблю, — эти мысли уже не причиняют мне боли: я ощущаю на лице придурковатую улыбку и снова понимаю, что любовь — это радость, только редко удается ее распробовать, вкушая ее в горьком коктейле по имени «Расплата». Но сейчас моя душа фильтрует правду в пользу настоящего — прагматичного. Кажется даже возможным, что мне повезет и я умру как-нибудь вот так, что и сам не замечу: хрр — и язык на плечо, а близкие либо меня переживут, либо я буду уже в маразме. Когда-то мне казалось страшно обидным умереть чего-то там не постигнув, чего-то значительного не высказав, а теперь я понимаю, что и постигать там нечего: иди-ка лучше подобру-поздорову, пока не передумали.

Вдали беззвучно проходит огромный белый корабль — так медленно, будто вовсе не движется. Но когда, вновь пробужденный к жизни своим испанцем, я поднимаю голову, его уже нет. Во время новой зарядки твержу составленные английские фразы. Работа давно уже не отвергает меня в безумие, но все же, вытираясь после упоительного душа (я нарочно всю дорогу шагаю по солнцу и единым духом взлетаю на второй этаж), я, задумавшись, однажды едва не отломал себе палец, дня три потом болел. На обед у меня пакетный суп «Пекин — Петербург» с макаронными буклями и порошковое пюре с набухшими кружочками нетленной копченой колбасы, прежде дотла съедавшейся коммунистами. Это вкусно до чрезвычай-

ности, ибо мне известен один кулинарный секрет: есть через два часа после того, как проголодаешься. И вставать слегка голодным — тогда клещи не сомкнутся.

Море — сплошное сверканье. Но мое окно защищено собором. Я растягиваюсь в тени собора под легкой простыней. Сытость уже налилась. Дома, когда мама звонит мне с работы, ее первый вопрос: «Ты ел?», и я иногда развлекаюсь тем, что опережаю ее: «Ты ела?» — это всегда ее смешит. И Соня... Да все хорошие женщины, с которыми я имел дело, стремились меня накормить. И не потому, что путь к моему сердцу лежит через желудок, — они прекрасно понимали, что он лежит только через сердце, но это был знак любви, и знак, клянусь, куда более человеческий, чем тот, что мы почти сумели навязать миру, — эрекция.

Теперь нам и самим не выйти из-под собственного ига, не перебраться через собственный шлагбаум. Вот и здесь меня уже слегка беспокоило то, что Он недостаточно беспокоит меня: в единственном тут сером штукатурном переулке мне попалась маленькая железная дверь в стене — секс-шоп. Я был еще не безнадежен, я заглянул туда, но роскошные журналы я листал не только с неловкостью (приказчик все желал мне услужить), но и не без уныния. Просто девок я вообще миновал, как гинеколог с тринадцатилетним стажем, слегка задержался на двуполой мулатке (Антону еще расти и расти), с чисто спортивным интересом пробежался по напыщенным самцам, — ничего особенного, у нас на Механке был мужик — в стакан не влезал, — ну, секс с животными: пес, развесив язычиче, с любопытством к чему-то приглядывается, не обращая внимания на изнемогающую в его объятиях хозяйку, целый сюжет с продолжением — три голые девицы загоняют в сарай упирающуюся поню... покатались мы на пони — это маленькие кони. Целый журнал многослойных толстух — вроде той, в психушке, — и все равно Он мне ни разу о себе не напомнил. Зато теперь я вспомнил совет из газеты «Час пик»: знаете, что бывает, если не доить корову? — вот и раздаивайтесь, господа.

«Просто баба» — без лица — всегда производила на Него неотразимое впечатление, но теперь Он, казалось, перенял мою брезгливость к неодушевленной плоти. С чувством совершаемой не очень крупной гадости я рискнул предъявить Ему несколько фотографий — «лиц», с которыми меня когда-то связывали нежные отношения, доведенные или не доведенные до конца... фу, до чего фрейдичен наш язык. И — о чудо! — Он немедленно потянулся тоже выразить им свое расположение. Невозможно было поверить, но теперь именно Он претендовал быть индикатором души: стоило мне убрать нежность — и Он не желал даже взглянуть в сторону самых свежих, не свежих, но лакомых или вычурно сервированных блюд. Интересно, вывезла бы нежность, если бы я узнал, что *она* — это он, с обрезками мошонки? Чувствую — вывезла бы. Когда-то давно в детской больнице я, как всегда с сумасшедшинкой, влюбился в безногую женщину. Мы каждый день сидели друг против друга, проверяя уроки у наших киснущих дочурок, и я, таясь, поглощал глазами, как она бережно уравнивает у стенки костыли, поправляет чистенький кокетливый беретик и поестественнее устанавливает руками свои протезы в отглаженных брючках и лакированных туфельках, и если бы телепатия хоть чего-то стояла, она бы непременно поняла, что никакая маскировка не нужна, что я готов припасть на колени и целовать, целовать, целовать ее нежные глянцево-культи, пока она не поверит, что я люблю их еще мучительнее, чем ее таинственные глаза и божественную линию шеи, склоненной в материнской заботе.

Но прежде нежность Ему мешала, а теперь... Впрочем, без ласки и корова плохо доится. Я взбежал по откосу, не заметив, что он обрывается в пустоту, и взлетел над огромной геометрически расчерченной долиной — но я сумел удержаться от испуга, зная, что в следующий миг уже засну. Блажен-

ное получасовое пробуждение — если бы не испанец... Мутноватый «Product of France», душ, неподкупная зарядка, вращения на грани допустимого ножницами, я уже могу шесть-семь раз подтянуться на душевой перекладине — нитки потрескивают, но держатся. Мой фиолетовый рубец по-прежнему ничего не чувствует, но ведь и волосы, ногти... А все равно мои.

Чашка растворимого кофе с сухими сливками (все упаковано мамой) — не столько для удовольствия, сколько для свободы: мол, и я что-то себе позволяю. Ну а для медицинских надобностей я глотаю воду — здесь это не страшно. С удивлением обнаруживаю, что напеваю за работой, — когда это было в последний раз?..

В нерастроченной дымке сладкой очумелости иду бродить по заграничному фильму — современному или историческому, шлифуя завтрашнюю лекцию, но мысли то и дело утекают и плывут по просторам моего скафандра по воле внутреннего Хаоса, на этот раз почему-то обратившегося ко мне своей добродушной личиной. Усаживаюсь с блокнотом в парке у музейной руины, забредаю в уютный порт — полчища корабельных пик, Учелло. Шагаю по шахматной набережной, группки молодежи (кто-нибудь обязательно в средневековом) лежат в сторонке вокруг бутылки и никого не трогают. И дочка среди них, свеженькая и довольная. На детей никто не орет: «А ну брысь отсюда!», а они тоже путаются под ногами... Что ж с них вырастет?..

Потом долго не могу оторвать глаз от скуластой филиппиночки, пританцовывающей прямо на улице под ихние дудки-тамбурины в цветастой развевающейся компании...

Валуны, дополненные своими отражениями, парят в розовом пламени, словно просыпанная с небес гигантская картошка. Со своим морским инглишем я лишь правдоподобная имитация человека — через этот забитый шпигат никому не заглянуть в меня, здесь сквозь меня ничто никогда не будет просвечивать, здесь я — пятилетний вундеркинд: еще не научился разговаривать, а уже пишет частные производные! Когда я отмачиваю что-нибудь особенно морское, взрослые радостно хлопают в ладоши. Здесь все чудесные люди, добрые и чистые, как их аудитории и компьютерные библиотеки, они словно бы вовсе не замечают моей манеры при неудачном повороте резко выпрямляться и потихоньку щипать себя за бок. Не надо, правда, забывать, что и я заметно продвинул их работу: недорогая приставка к их «Вятке-812» позволит лет десять бесперебойно выпекать кирпичи для нового участка Вавилонской стены, идеально вписывающегося в их ландшафт, — возможны гранты, субсидии... Но, повторяю, они бы и без этого прекрасно ко мне относились. А о том, что я им сейчас не конкурент и в качестве постоянного сотрудника вовсе не нужен, — об этом лучше не помнить. У самого милого человека, если его разрезать, обнаружатся почки, кишечник и собственные интересы, а я нынче мудр: пока могу, избегаю изнанок.

А Хаос действительно на все способен: его прибор может слизнуть твоего ребенка, а может и выбросить выигрышный билет в спортлото. Санта-Клаус — или Пер-Ноэль, кто там у них тут, — молодежо-выбритый, облаченный по случаю летнего сезона в шорты и ти-шёр, предложил мне годовой контракт, чтобы я за это время слепил лабораторию, способную обойтись без меня. Жалованье предлагалось... сильно, конечно, меньше, чем своим, но для такого голодранца, которому тем более не нужна ни квартира, ни машина... У них тоже были свои бюрократические выверты: требовалось вступить в должность через пять минут, иначе все переносилось в неизвестность. К стыду своему, я почувствовал, что у меня старчески подергивается голова: «ни в чем себе не отказывая», я смогу еще лет десять не задумываться о зарплате — если, конечно, Хаосу с чего-то вздумается попридержать статус-кво. А за год еще что-то может подвернуться:

за нынешнюю экспедицию я продвинулся в международных связях больше, чем за двадцать лет в питерском захолустье.

Покой, накапливавшийся в моей душе, затопил все окрестности, я шел, поглядывая на архитектурную мебель взглядом благосклонного владельца: придет умягченная Гольфстримом зима, а я буду все так же безмятежно шагать по чистому снежку в легких сухих ботинках (в девяносто втором всю осень прочавкал с мокрыми ногами...) и твердо знать при этом, что ни завтра, ни послезавтра, ни послепослепослезавтра мне не придется ни ежиться от неловкости перед мамой, ни бодаться, ни рычать, ни втягивать голову в ожидании чужого рыка, и мама наконец перестанет корпеть над какими-то идиотскими балансами и — черт уж с ней — даст подзаработать тибетско-филиппинскому жулью, — и дочка... Тут уж, увя, не в деньгах счастье. Но по крайней мере... Оставить ее одну, взять сюда?... На заочное... Теперь можно кататься хоть... Соня! Как будто, скользя по паркету, ударился об стену. Но должна же она понять... есть ведь и профессии такие — полярники, моряки дальнего плавания... Однако, набирая ее номер, я подтянул все резервы сиропы и терпения.

Слышно было лучше, чем из России. Это уже не была печальная музыка — это был говорящий автомат, безнадежно простуженный еще на стадии проектирования. Марчелло арестован. Он *косил* язву желудка и перед рентгеном проглотил кусочек жеваной фольги. Но ему долго пришлось сидеть в очереди, и он, опасаясь, что прежняя «язва» уже проскочила, проглотил запасную. В итоге две язвы светились на экране, а третья толчками двигалась по пищеводу. А если учесть, как он всех достал... Но это не телефонный разговор.

— А... а как у тебя с деньгами?... — я имел в виду взятку.

Деньги она вложила в транспортное предприятие — владелец сидит в тюрьме, все счета арестованы. В одном из гаражей у него нашли труп, вдобавок подозревают, что он гонял грузы в Чечню — дудаевцам, естественно.

— А ты звонила?... — я не хотел называть имя прокурора, но я выпивал и с начальником милиции, и даже один народный заседатель, возможно, зашел бы мне явку с повинной — кстати, и Газиев в городе не последний человек, вроде даже чего-то там депутат...

— Ты же меня ни с кем не познакомил. Ведь я не твоя жена. — Это была мертвенная констатация.

— Жди, я приеду.

Наконец-то я сделался настоящим вором: отдал нечто вещественное, принадлежащее не мне одному. И тут я понял, что больше ее не люблю. Я никогда ее не оставлю, сделаю все, что только будет в моих силах, но мысль о ней больше не вызывает у меня радости. Только долг. Только сострадание — досадливое, сквозь жалость к себе.

Никаких загранич нет — ничто не может заменить утраченной беззаботности. Из царства света, чистоты и вежливости, поверни задрайку, — и ветер валит с ног во тьме, среди которой осторожно обходят друг друга едва теплящиеся робкие огоньки. Я прокрадывался мимо Кронштадта, мимо Петергофа, озираясь, пробирался Морским каналом, страшась столкнуться с кем-то из знакомых. Но меня видели и тусклые паруса Морского вокзала, и Большой проспект, и Гаванский ковш, и Балтийское море — море мира.

По городу я крался, будто обкрадывал собственный дом. На углу Невского и Лиговки мимо, пошатываясь, прошла шелудивая опухшая собака, потом, как бы вспомнив что-то, вернулась и не очень сильно куснула меня за ногу, словно хотела показать, что и она чего-то стоит. И побрели — она по Невскому, я к вокзалу.

В вагоне не было света, только у проводницы тлел какой-то костерок: расплачиваясь за белье, не видишь, какую бумажку ей дал и какую получил.

Тюрьма по-прежнему оставалась самым элегантным зданием в этом унылейшем захолустье.

На автобусной остановке тетка рассказывала о себе, как о статуе: чистила пастой, мизинец треснул. Ответом было слабое попискивание. Тави... Обе тетки были красные — наверно, было жарко.

Понурившийся «Шинмонтаж» указывал в землю. На дереве коробились трехпалые листья. Коренные зубы — значит, клен. Осатанелым гомоном и быстрыми шильцами во все стороны поределую крону наполняли скворцы. Наверно, и впрямь осень, им видней.

Я был спокоен, скупен и деловит. И прост, как правда. На каждом попадавшемся мне лице — ребенка, женщины — я прикидывал, каким оно будет в старости, а затем в гробу. Прикидывал без ужаса — чисто познавательно: мир романтизма, то есть безответственности, лежал во прахе. Обломки барочной лепнины и крошево кирпичной готики были погребены под бетонными плитами спальных корпусов с обрывками обоев и обезлюдевшими тараканьими лежбищами вокруг фановых водопоев, погребены и занесены песком, сцементированным излияниями растрескавшейся и запекшейся канализации. На этом месте в моей душе располагался здоровый рабочий поселок. И вдруг при закладке коптильного цеха при крематории ковш экскаватора задел рассыпающуюся рыжую трубу, и оттуда радужным фонтаном ударила ввысь горячая техническая вода: когда в горелом лифте я был вновь осыпан светящимся конфетти, меня охватил внезапный жар радости и предвкушения.

Значит, я еще не допил свой жизненный кубок, я все еще жажду этого ерша — разогретые тропическим солнцем ананасы в ледяном шампанском с мочой, настоянные на кровавой вате с тараканами и толченых бутылках из-под дегтя.

Первым делом я стрельнул глазами, на месте ли гроб.

Возбужденный собачий лай раздался прежде, чем я коснулся звонка. Сердце заколотилось так, что я едва не задохнулся. «Ты не представляешь, насколько я от тебя отвыкаю, я выжигаю тебя из себя, иначе я не выживу»... Разорвать бы себя на части, чтоб всем выдать по куску. Но куски никому не нужны.

1996.



ИГОРЬ МЕЛАМЕД



В ЧЕРНОМ РАЮ

1

Мне восемь. Я вижу вас в жизни земной,
бессмысленной и незавидной:
у входа на рынок сапожник кривой
в коляске сидит инвалидной.

В невзрачной коляске, знакомый до слез,
сапожник торгует шнурками
и тяжесть ее колоссальных колес
толкает больными руками.

Я вижу, как, залпом глотая вино,
похмельный художник Алфимов
рисует в сарае при местном кино
афиши для завтрашних фильмов.

Как толстая Дора за грязным столом,
приемщица нашей химчистки,
все пишет и пишет чернильным пером
какие-то скучные списки.

До худшего дня, до могильной поры,
в убогой и тусклой отчизне
вы крест свой несли, а иные миры
вам даже не снились при жизни.

За то, что грядущую участь свою
вы видели в образах тленья, —
посмертную родину в черном раю
дарован вам сон искупленья.

Покуда кружит в негасимых лучах
над вами мучитель крылатый —
я, маленький мальчик, в бессонных ночах,
беспомощный, невиноватый,

вас вижу и плачу, и нет моих сил
к нему обратиться с мольбою,
чтоб дал вам забыться, чтоб вас не будил
своею безумной трубою.

2

Я вижу, как в древнем своем пиджаке
и в мятой соломенной шляпе,
со старой пластинкой в дрожащей руке
приходит он вечером к папе.

И спор их о роли Голанских высот
так жарок и так нескончаем,
что лишь иногда он до рта донесет
стакан с остывающим чаем.

Я вижу, как, музыкой преображен,
забыв разговор бестолковый,
по комнате медленно кружится он
под легкий мотив местечковый.

Он медленно кружится тысячу лет,
попавший в нетленное время.
И лампочки нашей немеркнувший свет
струится на лысое темя.

Когда же там звук нарастает иной,
подобный далекому вою,
когда его там накрывает волной
протяжною и духовую,

и темный над ним разверзается свод,
как будто бездонная рана,
и гневное пламя с поющих высот,
с небесного хлещет Голана, —

я здесь заклинаю незримую власть,
недетским охваченный страхом,
чтоб в то измеренье ему не попасть,
где станет он пеплом и прахом.

И может быть, он меня видит сквозь тьму
молящего о милосердье
о том, чтобы дали остаться ему
в его музыкальном бессмертье.

3

Там, в детстве, она застревает в дверях:
с походкой нескладной и шаткой,
с рыдающим смехом, с рукой в волдырях
под мокрой зеленой перчаткой.

Там скоро мне пять, ей — четырнадцать, но
мы как однолетки играем.
И пес наш дворовый, истлевший давно,
за нею кидается с лаем.

Там гости за скудным столом говорят
и пьют невеселую водку.
Я вижу, как теплой струей лимонад
течет по ее подбородку

и как ее кутают в страшный платок
и шепчут о ней: — Извините... —
Но если не все еще в смертный клубок
незримые смотаны нити

и если иная нам жизнь суждена
в земном нашем облике — разве
пречистому взору предстанет она
в блаженном своем безобразье?

Я верю, дитя, — среди этих высот
за то, что была ты безгрешной,
твоя красота расцветет и спасет
нас всех для отчизны нездешней.

Но яростный ветер не доносит сюда,
какую б ни выплатил дань я,
ни скрежет возмездья, ни трубы суда,
ни тяжкий глагол оправданья.

Здесь только, терзая мой немощный слух,
за окнами поезд грохочет.
И бьется во тьме неприкаянный Дух,
и плачет, и дышит где хочет.



ЮРИЙ БУЙДА



СЛИШКОМ, ЧТОБ БЫЛО ПРАВДОЙ

Рассказы

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

Этот паровоз — кургузый, со смешной пузатой трубой — получил от Буянихи прозвище Чарли Чаплин. Так же стали называть и машиниста, хотя Петр Федорович Исаков вовсе не походил на знаменитого комика, да и к кинематографу был совершенно равнодушен. Был он высок, костляв, с густыми сивыми усами. После рейса тщательно отмывался в бане, отсыпался там же на верхнем полке, переодевался в жесткий черный костюм и черную же шляпу с круглым верхом. К неременной белой рубашке надевал узкий галстук на резинке.

Женился он поздно. Крупная, широкая в кости жена его получила прозвище Тетя Лошадь. Она работала на бумажной фабрике, из смены в смену таская на животе тяжеленные кипы целлюлозы, которые бросала в жерло жутко гудевшего размольного колодца. После смены в душевой Тетя Лошадь отстирывала чулки от крови, привычно ворча: «Вся наизнанку! Слава Богу, свое отрожала...» И тяжело вздыхала, глядя на молодых девушек, работавших с нею в размольном отделении. Одна из них, Люся, гуляла с ее младшим сыном, и Тетя Лошадь упорно теребила начальника цеха, чтобы перевел девушку на другой участок: «Ей же еще рожать, человечина!»

Машинист Исаков был молчаливый и спокойный человек без особых увлечений. Набрав отгулов, с удовольствием копался в огороде, подрезая яблони, гоняя кротов и слушая между делом птицу, поселившуюся в долго пустовавшем скворечнике. Вечером они с Тетей Лошадью принаряжались и отправлялись в кино, где Чарли Чаплин, неудобно искрючившись в скрипучем деревянном кресле, спал до конца сеанса. За ужином он выпивал небольшую рюмку водки. Летними вечерами любил лежать в траве в конце сада и беспричинно смотреть на звезды.

Во всей жизни Петра Федоровича было лишь одно событие, которое можно назвать приключением. Застряв на несколько дней в Вильнюсе, он через дружков-машинистов познакомился с милой женщиной Аней, у которой и провел две ночи. Но поскольку Петр Федорович привык воли себе не давать, связь эта продолжения не имела, хотя Аня и звала к себе, да и Исакову было у нее уютно. Скрепя сердце он сказал, что больше не придет: нельзя, чтоб человеку было хорошо и жилось по своей воле. После разрыва с Аней у него между ребрами, справа, образовалась как бы трещинка, иногда напоминавшая о себе несильной болью.

Паровозы заменяли на линии тепловозами, Чарли Чаплин стал маневровым, гоняя зерно на мельницу, целлюлозу и макулатуру на бумажную фабрику, сало на маргариновый заводик.

Старший сын давно женился и жил в Казахстане, раз в два-три года навещая родителей — с женой-корейкой и детьми-корейцами. Младший служил в армии — говорили, что в Афганистане.

Домой младший вернулся целехоньким, хотя высохшим и нервным. Узнав, что девушка Люся вышла замуж, буйно запил с приятелями и однажды пьяным попал под поезд. Придя со смены домой и узнав о случившемся, Петр Федорович утратил дар речи, у него отнялись руки и безвольно повисло левое веко.

Лишившись ног по колени, Михаил будто успокоился. Зимой он пересаживал дома, потихоньку пропивая крохотное пособие, а с наступлением весны перебирался к винному магазину. Он отпустил дикую бороду, протезов не носил, ходил враскачку на обрубках, волоча за собою грязные штанины. По утрам беспричинные люди (так в городке называли пьяниц) вытаскивали его из груды ящиков у стены, где он спал, и всовывали его обрубками в мусорную урну — для устойчивости, пока сами искали какое-нибудь спиртное, чтобы опохмелиться и опохмелить Мишу Портвейна — так теперь звали его в городке. Вечером он заползал в кучу мусора и хлама у стены магазина и засыпал, пугая припозднившихся прохожих внезапными взрывами храпа.

Вышедшая на пенсию Тетя Лошадь каждое утро являлась на площадь перед магазином и устраивалась на перевернутом ведре, которое приносила с собой. После случая с сыном она сдала, зимой и летом носила ватник и резиновые сапоги, а жидкие седые пряди прятала под детской вязаной шапочкой с порыжелым клочковатым помпоном. Целые дни она проводила на площади, ругаясь с пьяницами и издали наблюдая за сыном, пока Петр Федорович не уводил ее домой. Он жалел жену, которую теперь называли в городке Тетей Злобой: она стала бранчлива. С нею здоровались — она зло ругалась в ответ. Светило солнце — она костерила легко одетых женщин, жару и жажду. Шел дождь — лаяла Бога, даже не умеющего по-хорошему залить этот препоганейший мир водой, а надо б — керосином, да спичку поднести, да после притоптать, чтоб и памяти не осталось. Среди ночи она вставала, открывала шкаф и доставала завернутое в пожелтевшие газеты и перевязанное суровой ниткой белое свадебное платье. Ей хотелось его примерить, но она боялась, считая, что в ее возрасте в таком платье только вешаются...

Петр Федорович слышал, как она ходит, и даже однажды подглядел за женою, когда она извлекала платье из свертка, — но ничего ей не говорил. Он тоже стал пенсионером. Паровозик Чарли Чаплин загнали в дальний тупик и забыли.

Однажды, жалея выбрасывать оставшуюся после ремонта краску, Петр Федорович побелил кусок стены — полтора метра высотой, пять длиною, — стоявший с незапамятных времен через дорогу от дома, на пустырьке. Мальчишки, разумеется, на другой же день исписали стену разными словами. Петр Федорович вновь покрасил — мальчишки вновь испоганили. Так и пошло. Борьба с мальчишками захватила старика, однако не ожесточила: прихватив пакостника на месте преступления, Чарли Чаплин ограничивался суровым выговором. Взрослое население Семерки наблюдало за этой войной сначала с любопытством, потом с жалостью, наконец уже и с раздражением. Устав наказывать пацанов, люди обратились к Петру Федоровичу: не довольно ли заниматься ерундой, переводя краску и труд попусту? Но Исаков уже не мог остановиться. Он мучительно переживал фокусы Миши Портвейна, не мог заснуть, прислушиваясь к шорохам за стеной: жена часами гладила утюгом подвенечное платье, которое боялась надеть, — и, спасаясь от этой жизни, Петр Федорович вновь хватался за кисть и краску...

Женщины с Семерки попросили участкового Лешу Леонтьева усовестить Чарли Чаплина. Леша поговорил со стариком, но тем дело и кончи-

лось. А когда его спросили, что же будет дальше, он задумчиво проговорил:

— Пока он стоит на своем, мы стоим на своих двоих. А свалится, мы опустимся на четыре.

Эта его тирада, однако, лишь усилила раздражение взрослых и остервенение мальчишек.

В то утро, когда беспричинные люди вытащили Мишу Портвейна из его логова и поняли, что он мертв, Тетя Злоба, как всегда, прибrelа на площадь со своим ведром. Она долго не могла сообразить, что пытаются втолковать ей пьяницы. Потом взвалила сына на спину, но упала. Ей помогли.

Петр Федорович сделал гроб своими руками.

После поминок, когда гости разошлись, а прилетевший из Казахстана старший сын заснул, Тетя Злоба наконец надела белое подвенечное платье и подошла к зеркалу. Ее била дрожь. Ей стало одиноко и больно, и она пошла искать Петра Федоровича. Впрочем, искать его долго не пришлось. Увидев его, женщина придержала шаг. Старик в черном жестком костюме и черной же шляпе с круглым верхом сидел на низкой скамеечке возле стены. Он не успел докрасить верхний левый угол. Тете Злобе было холодно. Ей казалось, что вещи и люди так сжались от внезапно наступившей стужи, что она может собрать их в горсть и поднести мир к лицу. Но прежде чем позвать сына и отнести старика домой, она взяла кисть и докрасила стену, которая пугающе белела в темноте ночи, и эта белизна резала глаз, словно яркий свет, ударивший вдруг в лицо...

ТЕМА БЫКА, ТЕМА ЛЬВА

Сердца неслись к ее престолу...

Пушкин.

Дождь шел за ним по пятам, и если человек останавливался, дождь повисал за его спиной серебряным шелестящим занавесом, смывая с асфальта кровавые пятна. Передохнув, человек продолжал свой путь — медленно, выписывая ногами кренделя и не глядя по сторонам. Его заметили возле Гаража, видели на последнем мосту через Преголю, у Белой столовой, несколько минут он отдыхал, прислонившись к стене парикмахерской, — По Имени Лев выключил свою машинку, опустил влажную ладонь на недостриженную макушку клиента и с неизбежной печалью в голосе проговорил: «Из-за этих дождей я уже забыл, когда ел спелые помидоры», — но на человека, который нетвердым шагом направился к площади, никто, конечно, не обратил внимания. В центре площади он упал навзничь, широко раскинув руки. Возвращавшийся с рыбалки дед Муханов замер, глядя из-под ладони на разверстугу в груди незнакомца рану, и неизвестно, сколько бы он так простоял, если бы не аптекарша, чей визг переполошил людей на скамейках под каштанами. Двое ребят из компании Ируса помчались за Лешей Леонтьевым. Не успели они нырнуть в заросли бузины, откуда начинался кратчайший путь через стадион на Семерку, как на площадь обрушился дождь. Люди молча стояли вокруг мертвого, и на их глазах дождевые струи смыли с его груди кровавую рану, потом волосы с головы, немного спустя — глаза и губы, а когда примчался на мотоцикле участковый, затихающий дождик уже только весело барабанил по отмытым до блеска плоским камням, на которых еще десять минут назад лежал труп.

Выслушав невразумительные объяснения Ируса, Леша вперил взгляд в деда Муханова:

— Это ты выдумал всю эту чепуху на постном масле?

Дед вскинул голову, глаза его приобрели осмысленное выражение. Усилием воли он подавил обиду и гнев, основательно затянулся своей ядовитой сигаретой, набитой грузинским чаем высшего сорта, и, со странной улыбкой показывая пальцем куда-то за леонтьевскую спину, спросил:

— А это на каком масле, едрит-ангидрит?

Со стороны реки к площади приближался огромный белый бык с золотыми рогами, на котором восседала самая красивая в мире женщина. На поводке она вела красного льва, важно выступавшего рядом с быком.

Так в городок вступила Богиня.

Она поселилась в гостинице за рекой, в крохотной комнатке с круглым окошком, выходившим на озеро. Возникнув в этом лабиринте темных коридоров, пропахших нафталином, жареным луком, керосином и вареной картошкой, она до смерти напугала Зойку, которая, заслышав шаги, вышла из своей кухни, вытирая руки об изнанку клеенчатого фартука, и замерла, узрев самую красивую в мире женщину со львом на поводке. А та, не обращая ровно никакого внимания на истошно вопившую Зойку, легко поднялась на второй этаж и скрылась за дверью номера.

Проснувшийся за стеной постоялец прижал обе руки к груди, пытаясь удержать рвущееся вон из тела сердце. Соскочив с кровати, он распахнул окно и увидел внизу мирно пасущегося белого быка с золотыми рогами. Мужчина закурил. Его блуждающий взгляд задержался на картине, занимавшей почти всю стену над кроватью. На ней была изображена дородная девушка в белом чепце, она огромными ножницами срезала похожие на капустные кочаны розы; рядом, изящно облокотившись на забор, стоял юноша с плетеной корзиной, полной румяных яблок. Но теперь на картине не было ни девушки, ни юноши — лишь из кустов торчали ритмично дергавшиеся ноги. Не понимая, что с ним происходит, мужчина со стоном опустился на прохладный пол. Внезапно он поднял голову: голая дородная девушка с картины призывно махала ему рукой, к ее левой груди прилипли два розовых лепестка, — и, уже теряя сознание, постоялец подумал: «„Шипр“ пить — здоровью вредить».

Подставив спину долгожданному солнцу, Фантик опустил голову на руки и блаженно закрыл глаза. Внезапно какая-то сила подняла его сантиметров на двадцать над землей. Фантик вскочил, растерянно озираясь, и тут из зарослей ивняка вышла самая красивая в мире женщина с платьем через плечо — больше на ней ничего не было. Она только что вылезла из озера, влажное тело ее блестело и переливалось всеми цветами радуги. Она проществовала мимо остоленевшего парня и скрылась за сараями. Ее следы, четко отпечатавшиеся на песчаной дорожке, источали волнующий аромат.

Взвыв, Фантик бросился вперед — не разбирая дороги, через помойку, засыпанную бутылочными осколками и кусками колючей проволоки, — одним духом взлетел на второй этаж, оставляя за собой кровавые следы, и замер перед дверью, на которой было начертано матерное слово. Он постучал — дверь открылась. Красный лев сдержанно рыкнул. Но Фантик, тоненько повизгивая, все топтался на пороге, не отрывая взгляда от золотой капли на богинином животе, которая у других женщин называется пупком. И только когда лев с рычанием поднялся и ударом хвоста разбил массивную стеклянную пепельницу, стоявшую на подоконнике, Фантик кинулся в дверь напротив и заперся в туалете.

Зойка слегла в приступе неутоленной злобы — у нее даже зубы разболелись. Но как только ее слух достиг неясный шум на втором этаже, она тотчас ринулась наверх. Шум доносился из туалета, но сколько Зойка ни прислушивалась, она не могла понять, что же там происходит. Тогда, от-

бросив ложные условности, мощным ударом ноги она высадила дверь и остановилась на пороге, уперев руки в бока.

Гостиничный туалет представлял собой чудо архитектурно-строительного искусства: это была необыкновенно узкая и длинная комната с высоким потолком и крошечным унитазином у дальней стены, сидя на котором человек с особой остротой ощущал свою ничтожность. Здесь было не менее уютно, чем в тюремном карцере. Впечатление довершал оглушительный рев воды, неосторожно спущенной в унитаз, где она скручивалась завывающим малыштремом, плюющим во все стороны брызгами экскрементов, а потом с гулким утробным урчанием уносилась в преисподнюю по дрожащим и грохочущим трубам. Постояльцы покидали туалет с твердым решением никогда не писать стихов и без каких-либо иллюзий насчет своего места в подлунном мире.

При тусклом свете пыльной лампочки Зойка разглядела у дальней стены человека на четвереньках. Взвизгнув, она едва успела выскочить в коридор и навалиться на дверь, как та содрогнулась от сильного удара изнутри. За ним последовал второй. Воспользовавшись паузой, женщина выхватила из кармана связку ключей и заперла туалет.

Стараясь не шуметь, она выскользнула из гостиницы и перевела дух только на новом мосту через Лаву. В разгар июльского полдня краснокирпичное здание гостиницы, осененное ветвями гинкго, показалось ей особенно мрачным.

— Они все с ума посходили, — простонала Зойка. — И то ли еще будет...

Мужчины собрались в Красной и Белой столовых, пили пиво и говорили только о Богине. Даже старики на ступеньках сберкассы отважно пустились в обсуждение достоинств незнакомки. Городской сумасшедший Вита Маленькая Головка носился на своем мопеде по улицам и кричал что-то настолько невразумительное, что многим его вопли казались гимном красоте.

Беспрестанно были коты. Кобели жадно внюхивались в следы, оставленные Богиней на асфальте, и преследовали маленькую Мордашку, которая с жалобным визгом пыталась удрать от одуревших псов. Она спряталась под буяновским крыльцом, где доживал свой век Дед — самый старей в городке пес, последние тридцать лет питавшийся исключительно простоквашей и тертой редькой и даже в лютые морозы не покидавший свою подстилку, так что Буяниха подкладывала под него куриные яйца, из которых среди зимы исправно вылуплялись цыплята, — этот-то Дед, повергнув Мордашку в неопишемое изумление, и добился от нее того, чего тщетно домогались остальные кобели.

Завидев пробегающую мимо телку, с вывески мясного магазина прыгнул коричневый рогатый зверь, оказавшийся быком, который, однако, мог предложить рыжей девственнице лишь платонические отношения: повинувшись строгим указаниям хозяина мясной лавки, художник изобразил быка без органов размножения.

Аркаша и Наташа, пыльные гипсовые манекены из ателье над парикмахерской, вдруг сорвались с мест и пустились в пляс под музыку Чайковского, бешено рвавшуюся из радиоприемника. Покружив по тесной мастерской, они вытанцевали на улицу и затанцевали через площадь к гостинице. За ними бросились гипсовые торсы из «Одежды» и гипсовые ноги из «Обуви».

Внезапно разнеслась весть о том, что Андрею Фотографу удалось запечатлеть Богиню на пленке. Опрокидывая столы, стулья, пивные кружки и заборы, мужчины бросились к Трем Пальмам — фотоателье, на вывеске

которого красовались три экзотических растения на берегу фиолетового моря. Не моргнув глазом Фотограф запросил десятикратную против обычной цену, но это никого не остановило. И уже через час первые счастливицы стали обладателями влажноватых картонок с изображением самой красивой в мире женщины, восседающей на белом быке. А толпа перед Тремя Пальмами росла, угрожающе гудела, и уже выводили в тени пер- вых битых, размазывающих по лицу кровь и сопли...

Воздух сгустился, небо заволокло тучами, но гроза медлила — зато раз- разились танцы.

Ради такого случая открыли пустовавший летом зал в первом этаже гостиницы, смели пыль с окон и светильников, гроздьями свисавших с по- толочных балок, и притащили три тысячи сто семьдесят три пластинки.

— Да вы что? — удивилась Эвдокия, увидев гору черных дисков на сцене, где стоял проигрыватель. — До второго пришествия решили допля- саться?

Еще не стемнело, когда в зале вспыхнул свет и толпы нарядных людей ринулись к столику, за которым сидела Эвдокия. В мгновение ока распро- дав билеты и совершенно ошалев от духоты, она махнула рукой, уравнив в правах безбилетников и тех, кому достались синие бумажки с черной пе- чатью «Танцы».

Всех желающих зал вместить не мог, и люди толпились во дворе, в ожидании Богини попивая дешевое вино и унимая куревом нервную дрожь. Никто не сомневался в том, что она явится на танцы.

Рафаила Голубятника прижали к железным перилам крыльца. Он по- смотрел в небо, где тревожно перекликались тысячи его голубей, глубоко вздохнул — и вдруг отважно рванулся вперед и вверх и через мгновение, сам не понимая, как это ему удалось, очутился в гостиничном коридоре. Люди во дворе затихли.

С тяжело бьющимся сердцем Рафаил ступил на лестницу, беззвучно повторая вспомнившуюся вдруг строку:

— Сладкоречивая, светлокудрявая там обитает...

Вдали полыхнула молния, но грома люди не слышали: на крыльце по- явился Рафаил Голубятник, державший за руку самую красивую в мире женщину. Они прошли через раздавшуюся толпу и вступили в зал.

— Чем же от нее пахнет? — задумчиво пробормотал Андрей Фото- граф. — Чем-то таким...

Он щелкнул пальцами и причмокнул.

— Дерьмом! — вызверилась Эвдокия. — Свинычьим дерьмом! Помяни мое слово...

Но тут грянула музыка.

Первый танец Богиня подарила Рафаилу Голубятнику, который вдруг понял, что никогда уже ему не прозреть и не обрести дара речи. Не пришел он в себя и после того, как музыка смолкла и его оттерли от партнерши и вытерли из зала. Бесконечно одинокий и счастливый, он брел по пустын- ным улицам, а над ним шелестели крыльями его голуби. Бормоча: «Сладко- речивая, светлокудрявая там обитает...», он поднялся по загаженной голу- бями лестнице, которая, штопором ввинчиваясь в гулкую тьму, вознесла его на крышу водонапорной башни. Целыми днями наблюдал он отсюда за полетом голубей и сочинял стихи — но сейчас ему было не до того. При взгляде на чешуйчатую рябь черепичных крыш и булыжных мостовых, на толевые крыши сарайчиков у подножия башни, где возились и хрюкали свиньи, — на городок, внезапно выхваченный из темноты вспышкой мол- нии, глаза его наполнились слезами, и, вдруг почувствовав, что сердце вот-

вот выскочит из груди, Голубятник глубоко вздохнул и с улыбкой изнеможения на устах шагнул в пахнущую свиным навозом пустоту...

С исчезновением Рафаила Голубятника, хотя никто этого и не заметил, в настроении мужчин произошел перелом: многие, утратив сдержанность, шептали партнершам непристойности, адресованные самой красивой в мире женщине. Ребята из компании Ируса бродили по залу, якобы случайно толкая танцующих, но никто пока не отвечал на их вызов.

Над головами висело облако табачного дыма. Мариночка попросила Чеснока открыть окно. Он взобрался на подоконник и попытался выдернуть ржавый шпингалет, но этого ему не удалось, и тогда, рассвирепев, Чеснок ударом ноги высадил окно вместе с рамой, обрушив его на головы зевак, которые кучковались во дворе. Со звоном повывлетали другие окна — это ребята из компании Ируса довершили начатое Чесноком.

Заметив, что самая красивая в мире женщина направилась в туалет, Шурка натянула белые нитяные перчатки и кинулась к выходу. За нею поспешили Дуля и Медведица. Как только Богиня вышла из кабинки, Шурка схватила ее за волосы — и с помраченным взором упала на Дулю, повалив ее в засыпанную хлоркой лужу мочи. Богиня исчезла.

— Стерва! — прошипела Дуля. — Всегда подгадишь!

И, стиснув зубы, что было силы ударила Шурку кулаком в живот. Подруга скорчилась на полу. Но стоило Дуле приподняться, как Шурка нанесла ей мощный удар ногой по почкам. Дуля опрокинулась на спину, ее волосы веером накрыли вонючую лужу, и Шурка, злобно рыча, наступила на них ногой. Внезапно из кабинки, где побывала Богиня, выскочила Медведица. Пинком башмака в зад она отбросила Шурку к умывальнику и, потрясая вздетыми к потолку ручищами, восторженно воскликнула:

— Шушера, слухай: она съит деколоном!

Ребята из компании Ируса уже дрались за сценой, а он, то и дело встряхивая крашеными локонами, искусно прикрывавшими раннюю лысинку, взалхлеб — в который раз — рассказывал Вилипуту и Чесноку о своем танце с самой красивой в мире женщиной: его ударило током, когда она положила руку ему на плечо.

Пролетавшая мимо в танце его жена игриво хлопнула Ируса веером по лысеющей макушке. Он среагировал мгновенно, но его удар достался Аркаше. Оттолкнув Наташу, манекен выхватил из-под полы кое-как сметанной жилетки нож и бросился на обидчика. Ирус отпрянул, в его руке тоже блеснул нож, но не перочинный, который обычно он носил в заднем кармане, — этот был тяжелый, с широким и длинным кованым лезвием и вычурной костяной ручкой в форме дракона с красными камнями вместо глаз. Но Ирус не успел удивиться: Аркаша атаковал яростно и слепо. В невероятной тесноте танцующим некуда было податься, и они, зажмурившись, летели между драчунами, чудом уворачиваясь от смертоносной стали. Музыка гремела так, что с потолочных балок сыпались труха и птичий помет. То там, то здесь вспыхивали драки, и люди, дико вскрикивая и размахивая невесть откуда взявшимися ножами, мчались вместе со всеми под музыку по кругу... Коля-Миколай, не выдержав, сорвал с Дули воняющее мочой и хлоркой платье и повалил истерически хохочущую девку на пол — и уже через минуту нельзя было разобрать, где там Коля-Миколай, а где Дуля: их растоптали в лепешку. Медведица с удовольствием позволила насильствовать себя на сцене, и при каждом подскоке из-под ее монументальной задницы в зал летели осколки грампластинок. Сдавленный со всех сторон людьми, Чеснок с ножом в животе тщетно пытался выбраться из толпы. Богиня летела в объятиях скелета, шептавшего ей на ухо галантные скабрёзности. Другой скелет, в широкополой шляпе и алом плаще, на ходу

залез Шурке под юбку. Некий черный гигант с витыми рогами во лбу вдруг схватил Мариночку за ноги и, размахивая как дубиной, бросился вприсядку. Карен вцепился в Богинину ногу, и ей стоило немалого труда отделаться от обезумевшего силача. Оставшуюся у него в руках туфельку Карен тотчас сожрал. Вэ Пэ огромным кривым ножом отсек свой половой член и с криком: «Красота мир спасет!» — швырнул его под ноги Богине. Боб и Фролик опустили на четвереньки и, захрюкав, заметались между танцорами. Их примеру последовали еще девяносто семь мужчин, а также две женщины, тайно брившие ноги. В невыносимой духоте голые потные женщины с распущенными волосами неслись под музыку в обнимку с окровавленными мужчинами, визжащими свиньями, манекенами и скелетами. И только Веселая Гертруда, босая столетняя старуха, подпрыгивала на одном месте у сцены, монотонно выкрикивая: «Зайд умшльонген, миллионен!» Над головами людей в густом дыму метались тысячи голубей, затмевающих свет и роняющих помет и перья на людей. Внезапно в центре зала возник белый бык с золотыми рогами. Он громко протрубил — и тут с потолка хлынули потоки ледяной воды с дерьмом: это Фантик, решивший во что бы то ни стало выбраться из туалета, проломил пол, обрушив унитаз и открыв путь воде.

Ледяной душ в мгновение ока отрезвил людей. Женщины спешили прикрыть наготу, мужчины с недоумением разглядывали окровавленные ножи. Свиньи робко жались к стенам.

— Это все эта стерва! — завопила вдруг Шурка, плача от стыда и боли и размазывая нитяной перчаткой слезы. — Это все она! она!

Растерянно озираясь, Богиня отступила к сцене. На ее теле не было ни пятнышка, ни царапины.

— Это она! — кричали женщины. — Из-за нее!

Мужчины обступили сжавшуюся в комок самую красивую в мире женщину.

И тут белый бык протрубил во второй раз, и на пороге появился красный лев, а через выбитое окно в зал влетел на грохочущем мопеле Вита Маленькая Головка. Толпа в ужасе раздалась. Вита подхватил Богиню и, газанув, прынул из зала, задев колесом львиное ухо и остекленевшую от водки Эвдокию.

Бык протрубил в третий раз. Вспыхнула молния, лев прыгнул в толпу, и все погрузилось во тьму — во тьму рычащую, воющую, вопящую, визжащую, лязгающую, трещащую и хрюкающую...

Хватаясь руками за стены, Эвдокия кое-как выбралась из зала, закрыла дверь, навесила амбарный замок и нетвердым шагом отправилась домой, по пути прихватив под мышку маленького поросеночка, жалобно хрюкавшего в кустах бузины.

Рано утром городок был разбужен дикими воплями похмельной Эвдокии. Мешая матерщину с пророчествами о конце света, она требовала вернуть ей поросеночка, который утром назло ей превратился в небритого человека и сбежал невесть куда.

Вооруженные охотничьими ружьями мужчины кинулись к гостинице. В танцевальном зале они обнаружили гору мертвых голубей, из которой высовывалась морда и грозная лапа мертвого льва, в туалете на втором этаже — обессиленного Фантика, висевшего на дверной ручке над провалом в зал, а в номере рядом с тем, что занимала Богиня, — постояльца, во сне прижимавшего к груди кусок холста, выданный из картины над кроватью. Самая красивая в мире женщина исчезла.

И лишь под вечер на отмели ниже водопада нашли белого быка с золотыми рогами, облепленного окровавленными птичьими перьями, а под новым мостом — Виту Маленькую Головку с улыбкой изнеможения на устах и разверстой раной в груди...

ВСЕ БОЛЬШЕ АНГЕЛОВ

После смерти вдового сына старуха Стефания осталась в доме с внуком Иваном, мужчиной молодым, туго соображающим и основательным. Вскоре он женился, обзавелся хозяйством — корова, свиньи, куры, индюки и кролики — и сыном Витей. После чего жена его громко сказала, глядя на приколотый к стене календарь, что и троим в доме не повернуться, а четвертая им — «нет никто».

Старуха Стефания тотчас собрала пожитки в узел и убралась в дощатый сарайчик-дровяник, притулившийся к кирпичной стене свинарника. Иван принес ей раскладушку и, наморщив большой белый лоб, раздумчиво проговорил:

— Как же ты зимовать тут будешь?

Стефания улыбнулась ему двумя передними зубами:

— Как-нибудь, Ваня. Ты только мною сердце себе не рви.

В этом дощатом сарае она и прожила несколько лет, выбираясь во двор очень редко — чтобы не сердить Иванову жену, которая говорила:

— Вы, баба Стефа, сидели б себе в сарайке тихо, а то соседи скажут, что мы вас не уважаем.

Целыми днями старуха, пристроившись на чурбачке, наблюдала через щелку в двери за дворовой жизнью — за курами и утками, за кобелем, чевашим лапой лоб, за голубями и воробьями...

Подросший правнук Витя однажды увидел глаз в щелочке, открыл дверь и познакомился со старухой. Ему понравилось таинственно сидеть в пахнущем древесной прелью полутемном сарае и вполголоса беседовать с прабабкой.

— А хорошо тебе в прошлом жилось? — вопрошал Витя.

— Плохо. Все время только о еде и думала, а Бог велел думать — о пропитании. — Старуха вдруг улыбалась мальчику двумя зубами. — Но сны бывали хорошие, врать не стану. Ласковые были сны, мужские...

— А сейчас что хорошего? — продолжал допытываться правнук, основательностью и большим белым лбом пошедший в отца.

— А вон — дырочка. — Стефания поманила правнука к глухой стене, где в сосновой доске была дырка от выпавшего сучка. — Смотрю в нее и ангелами люблюсь. Долго-долго надо смотреть — тогда только и увидишь. Сперва парочкой мелькнут, потом бригадой пролетят, и все больше, больше их, и все красивые, с крыльями...

Витя с любопытством приник к отверстию, но, сколько ни таращился, ничего, кроме жидких облаков на летнем небе, не выглядел.

— Молод ты еще, Виктор Иваныч, — весело сказала старуха. — Доживешь до моих лет — и увидишь ангелов. А как ничего, кроме них, в небе не останется — пора и помирать, значит...

Мальчик нахмурился и спросил:

— А ангелы какают?

Старуха зашлась тихим смехом.

— Придет срок — сам у них и спросишь.

Вскоре она умерла.

Прошло двадцать пять лет.

Виктор с женой, двумя дочками и парализованным после инсульта отцом жил в том же доме, держал свиней в том же свинарнике, а дрова — в том же сарайчике, где была дырочка в стене. Мать давно их оставила и жила с новым мужем где-то на Волге. В двадцать семь у Виктора обнаружилась язва желудка. У младшей дочери был церебральный паралич, и почти все свое время жена Виктора Марина посвящала уходу за несчастной девочкой и неподвижным свекром. Виктор работал в дорожно-строительном управлении, с утра до вечера крутил баранку тяжелого самосвала. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, он держал большое хозяйст-

во — корова, свиньи, куры, индюки и кролики. Иногда он доходил до полного отупения и курил в кухне папиросу за папиросой, массируя живот и прислушиваясь к задущенным всхлипам жены, лежавшей в соседней комнате спиной к телевизору. Он любил Марину и жалел ее до боли в сердце, но сил не было, чтобы утешить ее. В такие минуты он боялся думать о будущем. Притушив папиросу в пепельнице, он уходил в дровяник, запирали дверь на крючок и, пристроившись на чурбачке, притикал к дырочке в стене, открытой ему когда-то старухой Стефанией, давно ушедшей в вечность ласковых мужских снов. Он смотрел в дырочку долго-долго, до рези и слез в глазах, пока среди облаков не начинали мелькать крошечные и прозрачные, как мотыльки, ангелы, и боль покидала его измученное сердце, и душа становилась легче и как будто даже больше — чем больше становилось ангелов в небе...

ГОЛУБКА

Взгляд девочки заставил фотографа выпростать голову из-под накидки и внимательно посмотреть на десятилетнего ребенка, спокойно сидевшего между отцом и матерью. Она была очень красива — ни в мать, ни в отца. Но никому и в голову не пришло бы заподозрить Валентину Ивановну Голубеву в супружеской измене. Илья Ильич, служивший начальником железнодорожной станции, с извиняющейся улыбкой рассказывал о прабабушке, которая из-за своей нечеловеческой красоты так никогда и не вышла замуж: все, кто в нее влюблялся, гибли на дуэлях, пускали пулю в лоб или умирали от яда. Чтобы избавиться от проклятия красоты, прабабушка плеснула себе в лицо кислотой, но стала от этого еще краше и желаннее. На смертном одре она оказалась наедине со своим непорочным сердцем — чистым, как кубик льда.

— Что-то не так? — спросил Голубев одними губами, боясь пошевелиться.

Пожав плечами, мастер вернулся под накидку. «Наверное, она просто хочет писать», — подумал он. И нажал спуск.

Голубевы жили в домике окнами на пакгаузы и здание вокзала, рядом с которым над старыми каштанами возвышалась водонапорная башня красного кирпича с ржавым флюгером на куполе. Когда мимо проходили поезда, в буфете на стеклянной полке начинала дребезжать одна и та же рюмка. Валентина Ивановна все собиралась приклеить к доньшку рюмки бумажку, да руки как-то не доходили. С утра до вечера она хлопотала по дому, готовила, стирала, протирала, и когда уж очень уставала, говорила обычно с вялой усмешкой: «Меня и похоронят, наверное, в фартуке».

Илья Ильич не любил свою службу. Не любил лязг железнодорожных составов, ночные вызовы, ругань с клиентами, скандалившими из-за простой штрафов, не любил и фразу, которую его подчиненные считали его любимой: «Железная дорога всегда права, даже если не права». Однако он скрывал ото всех эти чувства, и делал это так успешно, что числился лучшим начальником станции на отделении, и это тоже его мучило.

По субботам он с дочерью Галей, Голубкой, отправлялся в библиотеку, и это был праздник для обоих. Неблизкий путь до старого двухэтажного дома на площади, где над почтой и милицией размещалась городская библиотека, непременно нужно было проделать пешком — чтобы растянуть удовольствие. Особенно хорошо было зимой, промерзнув на мостах через Лаву, взлететь по деревянной лестнице на второй этаж и войти в жарко натопленную комнату с конторкой, за которой сидел Мороз Морозыч, библиотекарь с ватной шевелюрой и ватной бородой, скинуть пальто и присесть на корточки перед открытой печной дверцей, рядом с которой

громоздились пахучие слезящиеся сосновые поленья. А жарким летним днем здесь было прохладно и приятно пахло бумажной прелью. Настоящее же пиршество начиналось, когда Голубев и Голубка принимались перебирать книги. На это уходило часа два, три, а то и четыре, с перерывом на чай и разговоры с Морозом Морозычем.

— Библиотека и есть коммунизм, — говорил Илья Ильич. — Или рай, если хотите. Братство великих душ и умов. Здесь слиты все достижения красоты, уравнивающие друг друга в гармоническом целом, которое и спасет мир, как говорил Достоевский...

— Достоевский говорил о красоте Христа, — возражал Мороз Морозыч.

— Христос — мечта, которая если где и жива, так только в этом же раю, на родине души...

Домой они приносили старенький портфель с железными уголками, набитый книгами так, что его невозможно было закрыть, и приходилось нести под мышкой.

Валентина Ивановна с напряженной и усталой улыбкой наблюдала за мужем и дочерью, которые весь вечер разбирали добычу.

— И стихов набрали, — с удивлением говорила она. — Ну никак не пойму, зачем люди пишут и читают стихи...

— Поэты говорят вслух то, чего обычно люди стесняются, — отвечал Илья Ильич.

В хорошую погоду по воскресеньям они отправлялись к Стене. Когда-то здесь, километрах в двух от станции, был хутор — с двухэтажным жилым домом, конюшней, коровниками и водонапорной башней. Хутор забросили, постройки растащили, и только огромный кусок слепой стены, покрытой пятнами лишайников и исчерченной серебряными следами слизней, торчал над разросшимися на развалинах бузиной и ежевикой.

Однажды Илья Ильич сделал открытие: если встать на кочку метрах в пятидесяти от стены и крикнуть, стена ответит удивительно четким эхом.

Расстелив на траве брезентовый плащ, родители пили легкое вино и закусывали, а потом молча сидели рядышком, думая каждый о своем. Галя-Голубка гоняла ящериц в кирпичных осыпях между кустами бузины или играла в эхо.

— Лиссабон! — выкрикивала она.

— Лиссабон! — отвечала стена чистым голосом.

— Душа моя!

— Душа моя!..

«Душа моя», — сонно думал Илья Ильич, вспоминая строку из стихотворения императора Адриана: *animula vagula blandula* — душенька летучая чудная...

Голубка выросла в чудную красавицу, которую растроганный отец называл «ваше ресничество». Все чаще Илья Ильич заставлял ее у окна. Она беззвучно плакала, глядя на проносившиеся мимо пассажирские поезда.

— Ничего, — бормотал он, — скоро и ты уедешь отсюда и будешь жить настоящей жизнью. Скоро...

Однако ему вовсе не хотелось, чтобы это случилось скоро, хотя он сам не раз говорил дочери, что в этом городке можно только готовиться к жизни, но не жить и не умирать.

Он боялся одиночества — с книгами, усталой женой и дребезжащей рюмочкой в буфете.

Дочь вышла замуж, едва ей исполнилось восемнадцать. Ошеломленные родители пытались отговорить Галю-Голубку, но она стояла на своем: «Мы уедем в Москву и будем жить настоящей жизнью. — И с ненавистью, удивившей родителей, добавила: — Без ковров и хрусталя».

Голубевы боялись ее мужа — Валета, о котором только и знали (Валентина Ивановна поведала об этом мужу ночью шепотом), что он может игровой картой перерезать человеку горло.

— Ну-ну, это уж слишком, чтоб было правдой, — пытался успокоить жену Илья Ильич, но ему тоже было не по себе.

Дочь уехала.

Спустя несколько месяцев тихо скончалась Валентина Ивановна. Галя не откликнулась на телеграмму и не приехала на похороны.

После поминок Илья Ильич остался в доме один. Прибравшись, он сел у окна. Что-то мешало сосредоточиться. Рюмочка, наконец догадался он, рюмочка, которая дребезжала, когда мимо окон проходил поезд. Он достал рюмку из буфета и аккуратно разбил ее на крыльце, а осколки смел в мусорное ведро. Он так устал, что, отправляясь спать, повесил пиджак на тень от гвоздя, вбитого в стену прихожей.

Весь следующий день он не находил себе места, пока не понял, в чем дело: когда мимо дома шли поезда, в буфете не дребезжала рюмочка.

— Не переживай, Илья Ильич, голубчик, — сказал товарный кассир Ерофеев, добрый пьяница и заядлый доминошник. — Хоть о дочке не жалеяй.

— Ну да, — промямлил Голубев. — Что ж, она устроена...

— Я не про то, — сказал Ерофеев, протягивая ему фотографию. — Или ты ничего не знал?

На снимке была запечатлена нагая Голубка, сидевшая на земле спиной к Стене, с широко разведенными ногами и едкой улыбкой на прекрасном лице.

— Такая фотка чуть не у каждого пацана есть, — сказал Ерофеев. — Дрочат они на нее, что ли...

Дома Илья Ильич долго плакал, глядя на фото дочери, о которой, выходит, и впрямь ничего не знал, — но даже в этой непристойной позе, с вызывающе злой улыбкой Голубка была божественно красива и любима. «Красота мир спасет, — подумал Голубев. — Мир, но не человека. Красота, но не красавица».

Поднявшись на другой день очень рано, он попытался так расставить рюмки в буфете, чтоб хоть какая-нибудь дребезжала от проходящих поездов, — но ничего у него не получилось. И тогда Илья Ильич отправился к Стене. Лег в траву и крепко зажмурился, но уснуть не удалось. Побродив по развалинам, взобрался на кочку и громко крикнул:

— Душа моя!

— Душа моя!.. — откликнулась стена.

«Хорошо, что у человека нет души, — с расслабленной улыбкой подумал Илья Ильич, опускаясь на траву и закуривая, — не то жизнь лишилась бы смысла и цели...» И, по-прежнему улыбаясь, проводил взглядом дымок папирсы, быстро рассеявшийся в чистом воздухе августовского утра...

МИЛЕНЬКАЯ И МАСЕНЬКАЯ

Цвели крокусы, когда советские танки вошли в этот маленький восточнопрусский городок, превращенный английской авиацией в дымные развалины. Над дорогами, тесно обставленными липами, летал пух из перин, брошенных беженцами, уходившими к Кёнигсбергу и в Польшу. С трудом взобравшись по деревянной приставной лестнице к большим часам на уцелевшей кирхе, инвалид с негнушейся ногой перевел стрелки на московское время. На маленькой площади, у разбитого фонтана, командир головного Т-34 обнаружил в плетеной корзине собаку, к соскам которой прикикли два полузамерзших младенца. Кто была их мать — немка? полька? литовка? — выяснить не удалось.

— Пиши: две девочки детской национальности, — хмуро приказал начальник госпиталя своей помощнице, принимая корзину с детьми. — Собаку отправить на кухню.

Девочек называли Машей и Мариной, собака отзывалась на кличку Берта. Четырнадцать лет они прожили в детдоме, где и выяснилось, что девочки родом из племени лилипутов, а одна — Марина — вдобавок горбатенькая.

Крошки никогда не разлучались.

После детдома Маша выучилась на телефонистку и поражала клиентов и коллег умением приласкать любое русское слово — например, «стеклянный» или «домишенька». Услыхав однажды, как она вызывает «дежуренькую» районного узла связи, известная городская царица Буяниха дала девушке прозвище Миленькая, заменившее ей и имя и фамилию.

Горбатенькая Марина стала продавщицей в магазине, а потом уличной буфетчицей в Красной столовой. Распустив пышные волосы по плечам, чтобы скрыть горб, и сжав густо покрашенные губы в злую ниточку, она презрительно торговала пирожками с капустой и рисом возле женского туалета на автовокзале. Она курила едкие папиросы и носила туфли на очень высоких каблуках, которые сердечно берегла, ибо деньги на их покупку откладывала два года. Ее прозвали Масенькой.

Миленькая и Масенькая жили в крошечной квартирке на Семерке вместе с собакой Мордашкой, которой они обзавелись после естественной смерти Берты. Характером Мордашка была в Масенькую — со всеми ссорилась и гадила где ни попадя. Нередко сестрам приходилось таскать свою собачонку на руках, уберегая ее от праведного гнева окрестных псов и мальчишек.

Вечером, всегда в одно и то же время, сестры ужинали в Красной столовой котлетами и прозрачным чаем с маковой булочкой. Все это время Мордашка непрестанно рычала под столом, изнемогая от желания облять и буфетчицу Феню, и мужчин, неторопливо попивавших свое вечернее пиво. По завершении трапезы Масенькая непременно произносила приговор — глядя в стену, но очень громко и с едкой, как ее папиросы, улыбкой:

— Кормят здесь плохо.

И строго смотрела на сестру.

Миленькая со вздохом согласно кивала и добавляла с извиняющейся улыбкой:

— И мало дают.

Их ровесницы выходили замуж и обзаводились детьми. Миленькая радовалась счастью подружек и всегда охотно соглашалась посидеть с малышом, если матери нужно было отлучиться на танцы или в магазин... Масенькая хмурилась. Оставшись наедине с сестрой и Мордашкой, угрюмо цедила:

— А мы с тобой разве что за крота выйдем...

Как же она была удивлена и раздосадована, когда весельчак и пьяница Колька Урблюд однажды проводил Миленькую до дома и набился в гости. Сестры перевернули вверх дном свою крошечную квартирку, наводя порядок к приходу гостей. Мордашку, ввиду неукротимости злобного нрава, привязали в саду к яблоне, и она в отчаянии принялась жрать дождевых червей.

Колька привел с собой Аркашу Стратонова, парня огромного и вечно сонного, но способного в один присест уесть ведро вареных яиц. Принарядившиеся сестрички наперебой потчевали мужчин и подливали вино. Колька Урблюд играл на гармошке и пел жестокие романсы. Наконец он устал и, вытирая пот с лица, предложил Миленькой и Масенькой раздеться... Помертвевшая Маша пискнула:

— Зачем?

— Как это — зачем? — удивился Урблюд. — Или ты думаешь, мы песни петь пришли?

Поскольку Миленья потеряла сознание и ее пришлось оставить в покое, Масенькая оказалась одна перед мужчинами. Наутро она процедила почти не разжимая губ, что никогда не простит этого сестре. Каждый день она пыталась Миленьку детальными рассказами о том роковом вечере, доводя ее до слез, и хотя Миленья давно подозревала, что ничего тогда не случилось и сестра лжет, она не осмеливалась опровергать ее.

История эта стала известна в городке, и отныне подвыпившие мужчины вечером запросто стучались к сестрам-лилипуткам. Бледная от страха Миленья проводила их в комнату, где на белоснежной постели их ждала маленькая женщина с лицом, закрытым шелковым платком. При одном взгляде на ее атласный живот мужчин пробирала дрожь. Но никто из них потом не мог сказать, что это была именно Масенькая: ведь лицо ее оставалось закрытым. Стоило же кому-нибудь днем намекнуть на случившуюся между ними близость, как горбатенькая, уперев руки в бока и расставив ноги пошире, начинала во все горло пушить приставалу и хама, позволяющего себе грязные намеки.

— Береги себя, — говорила она сестре с ледяной улыбкой. — Я приму на себя наш грех.

— Тебя никто не принуждает, — пыталась защищаться Миленья. — Но если тебе нравится...

— Будем считать, что мне нравится, — останавливала ее сестра. — Как бы там ни было, к тебе и соринка не пристанет.

Миленья несколько раз задумывалась о самоубийстве, но дальше этого дело не шло. Приходилось жить.

В магазине, где в то время работала Масенькая, случилась крупная растрата. Был суд, горбатенькая оказалась в тюрьме. Миленья писала ей письма, сообщая о здоровье Мордашки и сочиняя приветы, которые Масенькой всякий раз якобы передавали жители городка.

Вернулась Масенькая постаревшей, усталой и по-прежнему злой. Неприятно шурясь, она курила едкие папиросы и рассказывала о лагерной жизни. Миленья слушала ее с мертвеющей от ужаса душой: она боялась, что и в этом своем несчастье сестра однажды обвинит ее, Машу.

Мордашка переселилась в те края, где ее давно ждала старая Берта. Сестры пригласили Андрея Фотографа, чтобы он запечатлел их безутешную скорбь над убранными цветами собачьим трупом. Кончина Мордашки подкосила горбатенькую окончательно. После тюрьмы она не могла вернуться в магазин, и ей пришлось подметать улицы. Как-то рано утром ее подобрали на задворках больницы. Она бегала по кругу, отчаянно крича, что не может выбраться из этого заколдованного места. На следующий день она умерла, напоследок спросив у Миленькой:

— Любишь ли ты меня?

— Да, — сказала сестра.

— И такую?

— И такую.

— И я тебя, Маша. Жаль, что на том свете нам нипочем не встретиться: ты попадешь в рай.

Когда земля на могиле осела, Миленья установила памятник — и исчезла. Случайно обнаружив, что на граните выбиты имена обеих сестер, люди бросились к Миленькой домой. Дверь уже много дней была заперта, Маша никуда не выходила. Пришлось взламывать замок. На столе обнаружили окаменевшие остатки еды, в углу — вымытое до блеска ведро для нечистот. Миленькой нигде не было. Кто-то случайно дернул покрывало с зеркала — и вскрикнул. Из глубины зеленоватого стекла на людей с жалобной улыбкой смотрела Маша.

Через неделю в квартирку сестер-лилипудок въехали новые жильцы. Обнаружив Машино отражение в зеркале, хозяйка обыскала комнату, но

никого не нашла. Тогда она осторожно провела влажной тряпкой по стеклу — и Маша исчезла...

О РЕКАХ, ДЕРЕВЬЯХ И ЗВЕЗДАХ

«Неба не видят только свиньи и змеи, — сказал Миша Лютовцев жене наутро после свадьбы. — А мы с тобой должны удержаться в людях».

Тоня испуганно кивнула, соглашаясь с мужем, который вообще-то был человек нормальный, без отклонений.

Миша работал сушильщиком на бумажной фабрике, жена — медсестрой в фабричной больничке. Жили они в домике возле старого парка, в конце Семерки. При маленькой зарплате жители городка были вынуждены держать скотину, птицу и огород. Не были исключением и Лютовцевы, которые вскоре после свадьбы обзавелись двумя десятками кур, поросенком, коровой, десятком гусей, овцами и кроликами. Вставали и ложились затемно, чтобы успеть управиться с хозяйством: подоить и выгнать в стадо корову, задать поросенку и овцам, нарезать свежей травы для кроликов... Летом надо было запастись сеном для коровы и овец. Когда родился сын, а следом еще один, молоко на сторону перестали продавать, но по-прежнему торговали кроличьим мясом — зверьки плодились без удержу. Тоня научилась выделывать кроличьи шкурки — из них соседка Граммофониха шила шапки и детские шубки, пусть и не очень казистые, зато теплые и дешевые.

Словом, жили Лютовцевы как все — трудно. Мало того, что с утра до вечера невозможно было спины разогнуть, так ведь еще и отпуск подгадывали под сенокос либо под осеннюю уборку.

Но при всем при том один час в день Миша и Тоня выделяли на реки, деревья и звезды. «Всего час, — предложил Миша еще тогда, вскоре после свадьбы, — шестьдесят минут». Тоня опрометчиво согласилась, но уже через несколько месяцев пожалела об этом.

Каждый день они выбирались на час в парк, тянувшийся вдоль Преголи. Конечно, прогуляться вечером после тяжелого дня — дело хорошее, — ну а если дома хозяйство и нужно к утру сварить кормежку поросенку, а если дома малые дети плачут, а если за день так наломался, что и у телевизора можешь только лежать?.. «Сегодня-то могли бы и отложить, — как-то запротестовала она, — у меня мозоль аж горит...» Но Миша так посмотрел на жену, что ей не оставалось ничего другого, как сунуть распухшие ноги в галоши и взять его под руку.

Они медленно шли через заброшенный парк, под высокими старыми деревьями. Полузаросшая дорожка выводила их на берег реки. Темнело. Загорались звезды. Через час Лютовцевы возвращались домой.

Миша решительно пресекал попытки жены обсуждать домашние дела во время таких вылазок: «Коли мы только ради всего *этого* выбирались, то об *этом* нужно и говорить». То есть о реках, деревьях и звездах. Но вот закавыка: оказываясь лицом к лицу с рекой, деревьями и звездным небом, они терялись, совершенно не находя слов для общего разговора. Ну в самом деле, что можно сказать о реке? Течет себе в глинистых берегах, весной и осенью разливается, затапливая сенокосы в пойме, зимой урчит подо льдом. Деревья шумят под ветром, сбрасывают листья, чтобы весной зацвести и осенью пожелтеть. А звезды... о них и вовсе нечего сказать, так они далеки от людей и непонятны. Конечно, бывает, что тихим и теплым осенним вечером, когда выйдешь на высокий берег и вдохнешь всей грудью пахнувший терпким листом воздух, и окинешь взором петляющую среди ивняков Преголю, и увидишь тлеющую пряху Млечного Пути, и ощутишь вдруг на какой-то миг страстную и не вмещающуюся в одну душу любовь невесты к чему и к кому, жизнь внезапно будто и сводится к

этому единственному мгновению, но выразить это словами? Какими? Не было таких слов ни у Миши, ни у Тони.

Озадаченный этим обстоятельством, Миша записался в фабричную библиотеку и набрал разных книжек о реках, деревьях и звездах, которые перед сном читал вслух, неодобрительно взглядывая на жену, которая хоть и боялась заснуть, но ничего не могла с собой сделать. Однако мало-помалу они научились говорить об особенностях гидрологии Преголи, о коре и сердцевине деревьев, о величинах звезд и расстоянии до Бетельгейзе. И сведений, почерпнутых в книгах, было так много, что за час Миша и Тоня и не успевали обо всем переговорить. Да и слова были все новые, ученые, никак не ложившиеся под язык.

Впрочем, постепенно, с годами, Лютовцевы забросили чтение книг, однажды сообразив, что можно изучить геологию речного русла, проникнуть в тайну цветения каштана и узнать химический состав голубых звезд-гигантов, но главное, человеческое, по-прежнему останется неуловимым, влекущим и невыразимым: течение, рост, свет и горение — вечность текущая, устрашающе живая и по-человечески изменчивая. Перед нею тыщи книг значат ничуть не больше, чем слово «река», слово «дерево» или слово «звезда», но и эти слова ничего не значат перед рекой, деревом или звездой.

Однако и эти горькие открытия не изменили привычку Миши и Тони каждый день уделять час рекам, деревьям и звездам. Да, наверное, тут все дело именно в привычке, приобретенной за долгие годы. Однажды Тоня призналась, что наверняка почувствует себя не в своей тарелке, почувствует себя чем-то обделенной, если они вечером с Мишей не выйдут в парк.

Соседи беззлобно подшучивали над Лютовцевыми, хотя, впрочем, не считали их чокнутыми: гуляют люди — и пусть себе гуляют. Мне же кажется, что, если Бог все-таки существует, и однажды труба архангела созовет мертвых и живых в Иосафатскую долину на Страшный Суд, и Судья спросит, чем оправдана жизнь человеческая, и сушильщик с бумажной фабрики Миша Лютовцев и его жена медсестра Тоня ответят, что каждый день они пытались говорить о реках, деревьях и звездах, — Господь удовлетворится их жизнью, а возможно, даже назовет ее счастливой — невзирая на Тонины мозоли, Мишин гастрит и все неурожайные на картошку годы...



ВЛАДИМИР ЩАДРИН

*

ГОСПОДИ, Я ЗАМЕРЗ В ЭТОМ МИРЕ

* *
*

Господи, я замерз в этом мире.
Прости, что в помещении хожу в пальто.
Здесь всё Твое уже разгромили.
А из нашего не греет ничто.

И ведь не сказать, чтоб топили плохо.
Грех жаловаться на наш РЭУ-12.
Да и соседи бы тут же наделали переполоху...
Где вот еще сестре понадобилось шеманаться?

Без нее я совсем тут закоченею...
А все началось с того, что умерла мама.
Вся вселенная пошла остывать вслед за нею.
Не помогают ни электрокамин, ни двойная рама.

И это при том, что термометр показывает плюс двадцать,
если не больше, градусов.
Хотите убедиться — проверьте.
У этих термометров все одно — температура горя, температура радости,
температура смерти...

Подобно тому как мама ни под каким числом одеял
не могла избавиться от озноба,
так и мне, Господи, никакое число одежек не помогает.
А тут еще лампочка все мигает...
Не дай, Господи, одному впотьмах оказаться у гроба.

Ей, Господи, погрей, посвети в этом мире еще хоть самую малость,
продли Свою милость,
хотя бы — покуда сестра моя с дороги не возвратилась, —
у ней, Господи, и сил небось не осталось...

...Упокой, Господи, душу новопреставленных рабы Твоея Веры.
А моей печали, Господи, не дай перейти меры...
Не пожалей, Господи, от поленницы Твоей еще хоть две-три охапки.
Дабы мне, Господи, перед образом Твоим не ходить в шапке...

Юг

У нас голуби — по помойкам,
а в Гурзуфе — по белым акациям.
Высоко, высоко, прямо — ой как!
Типичная китайская вышивка или японская аппликация.

Сощипыванье стручков требует известных усилий.
И эта, с сотрясанием кружевной зелени, возня голубиная
снизу смотрится очень красиво:
как будто в любовных сетях запуталась чья-то любимая...

Чего только нет под Таврической синью!
Индейки взлетают на деревья хурмы.
Терзают плоды ее. Очень красиво...
Индейки. Павлины. Жар-птицы...
Жар-мы!

Стихийное бедствие

А в лифте бросился ко мне цветок в объятья.
Со всеми зевами и рыльцами своими.
И что же было с этим делать, братья?
Чем было призывать Господне имя,
когда уста уж были переполнены росой,
нектаром, хмелем, ароматом, всей красою
чистейших, сокровеннейших цветочных недр?
О, как же ад на рай обкраденный бывает щедр.
О, это партизанское питание
огрызком от плода, преподанного Еве.
О, сладость мимолетная в гортани.
О, горечь некончаемая в чреве.

Восхождение

Я на горы взбиралась — тебя увидеть...
Море, чудо земное!..

Евгения Кунина.

По мере гор мертвеет море.
Огустевает студень волн.
Плотнеет сетка в их наборе.
Скромнее формы произвол.

А между тем все шире блюдо
под этим странным заливным.
Все больше якорного люда
летит по рельсам нестальным.

Летит чем дале, тем дремотней.
Как будто вплавившись в свинец.
Стихия словно на ремонте...
Но близит, близит свой конец

сумбурная, глухая лира,
поправшая две трети мира,
прибоя комариный писк
оттиснув на гигантский диск.

Откровение

Десятилетиями гляжу в окно
и, вот же! только-только замечаю,
что ничего за ним и нет давно.
Да и не знаю, было ли вначале.

На всей Земле — Господень только Крест
да плачущая подле Богоматерь.
О нас, мимопетляющих окрест
в небытия раздольном каземате.



ИЗ НАСЛЕДИЯ

ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ



ДВА РАССКАЗА

Георгий Георгиевич Демидов, 1908 — 1987. Раздвинем две эти неизбежные даты, заглянем в судьбу...

Родился в Петербурге, в рабочей семье. Рано проявил способности к технике, изобретательству, стремительно прошел путь от рабочего до инженера и доцента электротехнического института. Дружью сулили ему, ученику Ландау, блестящее будущее ученого-физика.

В 1938 году он был арестован в Харькове, где тогда работал, — вызвали якобы для проверки паспорта, эта «проверка» затянулась на восемнадцать лет. Следователь пригрозил арестом жены с пятимесячной дочкой, и Демидов подписал показания на себя как троцкиста, участника контрреволюционной, террористической организации, наотрез отказавшись назвать еще кого-нибудь. Итог — исправительно-трудовые лагеря.

Четырнадцать лет на Колыме, из них десять — на общих, самых тяжелых работах. Человек с твердым характером и многосторонним интеллектом, он и выжил-то благодаря своему высокому духу. Не имея он в себе этой «подъемной силы», остался бы колышком с номером на устланных костями сопках Колымы.

Демидов писал: «Даже совершенно неспособный к наблюдению и сопоставлению человек не может не постигнуть трагедийности этого «Освенцима без печей», — выражение, за которое, среди прочего, я получил в 1946-м второй срок».

Вскоре после того, как там, в лагере, он был вторично осужден, жене Демидова пришла телеграмма от том, что ее муж... умер. Телеграмму отправил он сам и причину этого открыл позднее, в письме дочери: «Бедная моя дочурка! Я был тогда в страшной дали, в огромной мрачной стране — тюрьме. Я не надеялся когда-нибудь выйти из этой тюрьмы. Был уверен, что погибну в ней. Мне показалось, что я только немного опережаю события, прикидываясь мертвым. Делал это я для того, чтобы избавить тебя и маму от своего существования, которое я считал для вас вредным... Ее мне обмануть не удалось».

В центральной больнице УСВИТЛа Демидов встретился и подружился с фельдшером из хирургического — Варламом Шаламовым, который называл своего друга одним из самых «умных людей, встреченных на Колыме». Демидов — прототип героя шаламовского рассказа «Житие инженера Кипреева», ему посвящена пьеса Шаламова «Анна Ивановна». Потом дороги их разошлись, чтобы спустя много лет снова пересечься, когда оба, после освобождения, обнаружили — Шаламов в Москве, а Демидов — в Ухте. Завязалась переписка, возобновилось общение.

Оказалось, что Демидов тоже запечатлел свой крестный путь в слове. Это, по его признанию, была попытка начать жизнь во второй раз и с нуля. Писал, урывая редкое свободное от работы на заводе время. Ночами стучал на машинке — сломанные в лагерьной шахте пальцы не сгибались и не держали ручку. «Мне мое творчество обходится очень дорого, — говорил он. — Я неизбежно дохожу до болезни, хотя далеко еще не развалина... Все спрашивают: что-нибудь случилось? Я мог бы ответить: да, случилось. Совсем недавно. Нет еще тридцати лет. И случилось не только со мной...»

Сложность задачи, которую он перед собой ставил, сам Демидов прекрасно понимал — понимал со всей беспощадностью к себе. Из письма Шаламову: «...«Писатели — судьбы времени» — выражение, требующее уточнения. Не всякий писатель может пре-

тендовать на такой титул. Я считал бы свою жизнь прожитой не зря, если бы был уверен, что буду одним из свидетелей на суде будущего над прошедшим. Но здесь, конечно, возникает много вопросов и сомнений. Что такое суд яйца над курицей?..»

Тема большинства произведений Демидова — Колыма, невольничья страна, оказавшаяся географически и природно идеальным местом для каторги. Сталинское воспитание и лагерные порядки гасят добро и вырабатывают зло в человеке. Развитие комплекса неполноценности и создание кадров убийц — государственная политика. И результат — порабощенное сознание миллионов.

Так уж повелось на Руси, что именно через слово, через литературу оно раскрепощалось. Поэтому литература у нас (разумеется, в лучших образцах) была не только искусством в классическом смысле, но — глотком свободы. Или видом внутренней эмиграции — из мрака реальности в воображаемый, параллельный мир. Или единственной доступной формой протеста, сопротивления. Вот почему у нас так много писателей и так много читателей: читать интересней, чем жить...

И в новой ипостаси — писательской — Демидов оказался неугоден своему времени. Пора «оттепели» уже миновала. Надежды быть напечатанным — никакой. «Мои официальные гонорары, — пишет он Шаламову, — это доносы, окрики, угрозы, прямые и замаскированные. И самое подлое — «товарищеские» обсуждения в узком литературном кругу. Наша здешняя литературная яма имеет, конечно, уездный масштаб. Но источаемая ею вонь качественно та же, что и от ямы всесоюзной». Впрочем, были и обещания — предлагали и писательский билет, и большие тиражи — при одном условии: переменить тему.

Друга в литературе он не нашел. Даже с Шаламовым развела судьба. Бросился к нему навстречу, открыл душу, отдал должное его писательскому опыту и мастерству, но «докторальности, безапелляционности в наставлениях и разносного тона» — этого вынести не смог. «С кем ты меня спутал, Варлам?»

Был и другой, более принципиальный, мотив в их расхождении. Демидов не принял выстраданный бунт Шаламова против культа красоты в искусстве, казавшегося тому обманным утешением и даже оскорблением перед лицом бесчеловечной, жестокой яви. «Твои нигилистические рассуждения о ненужности всего в литературе, что апеллирует к устаревшим эмоциям, мне были известны и прежде, — отвечает Демидов. — Если не ошибаюсь, ты был поклонником Писарева. А сей последний громил даже Пушкина. Но при всей своей старомодности Пушкин остается Пушкиным...»

В отличие от литературного наследия Шаламова, произведения Демидова еще мало известны читателю. КГБ не выпускал писателя из поля зрения и после освобождения, до самой смерти. В августе 1980 года одновременно в нескольких городах у всех, у кого хранились его рукописи, и у него самого были произведены обыски, и все сочинения арестовали. Три романа, три повести, более двадцати рассказов и самое последнее, любимое детище — автобиографическую книгу «От рассвета до сумерек». Многостраничный протокол обыска — потрясающий документ наших социальных нравов, положения пишущего человека в «самой свободной стране». А незадолго до этого сгорела дача Демидова под Калугой, где хранились все черновики...

В семьдесят два года он остался без единой строки!

Хорошо, что у него есть дочь, по натуре похожая на отца. Рукописи Демидова были возвращены дочери уже после его смерти, в результате длительных и упорных усилий.

«Преступлений социального характера утаить от истории нельзя, — писал Георгий Демидов. — Они даже не шло в мешке. Скорее кусок расплавленной лавы, раскаленное ядро...»

Виталий Шенталинский.

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ

Посвящается Н. М.

Лоды войны почти на всей территории Советского Союза, в том числе и на Крайнем Севере, совпали с годами температурного минимума на этой части земного шара едва ли не за целое столетие. Для колымских заключенных это явилось тяжелейшим дополнительным бедствием, унесшим множество жизней. Особенно пострадали те, чьи лагеря, подобно нашему,

затерялись между прибрежных сопок реки Яны, бассейн которой уступил мировое первенство по холоду соседнему Оймякону лишь в результате скрупулезных метеорологических изысканий, да и то на какие-то пару десятых градуса. Но здесь были обнаружены богатейшие залежи желтого металла, «стратегического материала номер один», который мы и добывали тогда для нужд войны.

В ту предпоследнюю военную зиму морозы в этой части «района особого назначения» месяцами удерживались на уровне шестидесяти градусов. Для малочисленных тогда приисковых механизмов особо морозные дни активировали, так как нагруженные части горных машин, работающих на таком холоде, становились почти стеклянно-хрупкими и часто ломались, а рисковать ими, при острой нехватке запасных, было нельзя. Другое дело — заключенные-работяги. На место списанных в «архив-три» в очередную навигацию пришлют новых. Колымское начальство было уверено, что здешнее «свято место» пусто быть не может. И поэтому — никаких скидок заключенным на морозы, пургу, нехватку питания, рваное обмундирование! Если миллионы полноправных и полноценных граждан страны гибнут ради победы над врагом, то почему для достижения той же цели надо дорожить жизнями каких-то преступников? В этом рассуждении дальстроевских генералов резон несомненно был. И их солдаты, колымские каторжники, погибали тысячами, особенно зимой, от голода и холода, бесчисленных травм и конвоирских пуль.

«Полюс холода» отнюдь не совпадает с географическим полюсом. Он расположен южнее даже Северного полярного круга. Поэтому здесь нет полярных ночей в школьном понимании этого слова. Солнце, согласно календарю, всходит над Яной и Оймяконом ежедневно, даже в декабре и январе. Другое дело, что мы, заключенные довольно большого приискового лагеря, жившие и работавшие в узком распадке между высокими сопками, могли об этом только догадываться. Непроницаемая темь двадцатичасовой ночи сменялась тут на короткое время почти такой же непроницаемой морозной мглой. Круглосуточный туман, выжимаемый на воздухе жестоким морозом, был так плотен, что, когда колонна подневольных работяг, возвратившись вечером с прииска в лагерь, останавливалась перед воротами, сильный прожектор с крыши вахты мог выхватить из тумана только ее головную часть. Остальная тонула в темноте, и о ее длине можно было судить только по доносившемуся оттуда надрывному кашлю, постаныванию, кряхтению, постукиванию деревянных дощечек, заменявших в наших каторжанских «бурках» подметки. Ждать перед закрытыми воротами приходилось долго, нередко добрых полчаса. Ленивые «вахтмены» у печки в дежурке, из трубы которой вырывались искры и острое пламя, похожее на пламя паяльной лампы, не торопились их открывать. Тем более, что шуровать эту печку и «травить баланду» им помогали теперь наши конвоиры. Эти сытые парни, одетые в длиннополые бараны тулупы, обутые в крепкие валенки, в меховых шапках с вязаными подшлемниками, сразу же ныряли в блаженное тепло вахты, как только приводили нас на утопанный плац перед ней. О своих подконвойных охранники могли не беспокоиться. Куда они здесь денутся, да еще в этакий мороз?

И нам оставалось только с тоскливой завистью поглядывать на дверь вахты, ожидая, когда же наконец «вахтмены» и наш конвой соблаговолят выйти оттуда и устроить сдачу-прием доставленного этапа. Есть же счастливицы, которые могут сидеть и стоять у раскаленной печки, блаженствуя в исходящем от нее тепле! Люди, постоянно страдающие от жестокого холода, мечтают, собственно, даже не о тепле, а о некоем жгучем зное, близком по силе к непосредственному действию огня. И хотя это действие вызывает у всех нормальных живых существ инстинктивный ужас, в колымских лагерях была широко распространена поговорка: «Лучше сгореть, чем замерзнуть».

В тот день, как, впрочем, и во все предыдущие и последующие дни, мы замерзали уже около двух третей суток кряду и столько же времени ничего не ели. Первый из двух за день приемов пищи происходил у нас перед выходом на работу, в пять часов утра; теперь же было уже около восьми вечера. Чтобы попасть в относительное тепло лагерьной столовой, получить там вечернюю пайку и вторую миску баланды, надо было перебежать только неширокую площадку за воротами. Но они оставались закрытыми. Сегодня на вахте дежурил отъевшийся на почти бездельной службе ефрейтор, бывший сверхсрочник. Этот особенно любил потешить себя властью над бесправными людьми. Обычно он выдерживал заключенных на морозе до тех пор, пока в их рядах не начинались выкрики, что стоять-де уже невтерпех. Того-то жирному коту только и было нужно. Теперь он мог мурыхить людей уже за нарушение дисциплины: никакие выкрики в строю не разрешаются. Вот и сейчас, когда кто-то прохрипел из скрытых в темноте рядов: «Сколько можно ждать, гражданин дежурный?» — гражданин дежурный выглянул с вахты и сказал, что сам он может ждать хоть до двенадцати ночи, а там его сменят. Что же касается нас, то мы будем ждать столько времени, сколько он найдет нужным. Не к теще на блины приехали! А если кому скучно, пусть слушает музыку, благо она вон как хорошо слышна на морозе...

Из зоны, со стороны барака культурно-воспитательной части, возле которого на специально врытом столбе был установлен громкоговоритель, действительно отчетливо доносилась музыка. Магаданская радиостанция передавала в грамзаписи ежевечерний концерт. Включение репродуктора на столбе составляло одну из несложных обязанностей дневального нашей КВЧ. По профессии в прошлом это был художник-мазилка, схвативший небольшой срок за продажу неприличных картинок. Теперь незадачливый торговец растлевающим товаром должен был, по идее, прямо и косвенно содействовать нравственному исправлению людей, соскользнувших на стезю преступности. Он топил в бараке печку, мыл полы, смахивал пыль с висевших на стене почти безо всякого употребления музыкальных инструментов и рисовал изредка плакаты, восхваляющие доблестный труд заключенных-стахановцев или клеймящие позором нерадивость и лень. Начальник части, бывший «затейник» какого-то санатория на материке, быстро смекнул, что он нужен здесь только для заполнения соответствующей графы штатного расписания ОЛПа. В таких лагерях, как наш ОЛП, обычно даже не пытались организовать из заключенных самодеятельных кружков. Истина, что на голодный желудок не запоешь, принадлежит к числу самых старых и общепринятых.

Сегодня подборка грамзаписей для концерта была сделана из популярных оперных арий, и притом весьма неплохо. Бывший протодьякон Михайлов пропел свой коронный номер — арию Сусанина «Ты взойди, моя заря»; прозвучало меццо-сопрано Обуховой, спевшей арию Марфы из «Хованщины». Затем мягкий, торжественно-слащавый баритон запел эпитуламу из «Нерона». Пел он хорошо, и хвала богу супружеской любви и семейного очага красиво звучала на лютном холоде, отражаясь от невидимого сейчас склона угрюмой сопки, почти вплотную подступившей к лагерному ограждению.

Нечего и говорить, что голодные и до костей промерзшие люди перед воротами этой музыки не слушали. Да и мало кто был здесь приучен к опере, при всей ее популярности. Массовое зимнее вымирание зеков в нашем лагере шло уже полным ходом, а начиналось оно всегда с самых интеллигентных и образованных заключенных. И только один молодой арестант прислушивался очень внимательно. Он производил впечатление куда более подтянутого и аккуратного человека, чем большинство его товарищей. Кроме самодельного воротника его лицо защищало еще обмотанное вокруг рта и носа «кашне» — полоса байки, оторванная от старого лагер-

ного одеяла. На самых красивых нотах хвалы Гименею парень в кашне произвольно водил в воздухе руками и слегка поворачивался всем корпусом. Странное впечатление производил этот с ног до головы заledenевший любитель музыки на своих соседей по ряду.

— И охота тебе, Локшин, слушать эту тягомотину! — сказал ему один из них, тоже молодой заключенный, покрепче остальных. Локшин сделал умоляющий жест: не мешай...

С последними звуками эпиталамы пожилой заключенный, замерший с краю одного из рядов в странной на таком морозе неподвижности, покачнулся, сделал слабую попытку ухватиться за плечо стоящего впереди и упал на утоптаный снег. Его пытались поставить на ноги, но он только елозил по снегу своими деревянными подметками, невнятно мыча, и тяжело свисал с рук поддерживающих его людей.

— Переохлаждение! — уверенно поставил диагноз кто-то из окружающих. — Уже третий сегодня...

Теряющего сознание заключенного положили на снег. Он продолжал негромко мычать, стараясь, видимо, произнести какое-то слово, слабо сучил ногами и руками в драных рукавицах — не то скреб, не то поглаживал плотный снег. Глаза старика были полуоткрыты, и в них светился тоскливый страх. Тот, кто минуту назад определил переохлаждение, сделал и прогноз:

— Хана пахану... Освободился, видать, досрочно...

Категоричность приговора имела под собой достаточные основания. Пораженные «температурным шоком» редко выживали, хотя большинство из них агонизировало по несколько дней.

Теперь у нас появилось право напомнить вохровцам на вахте, что мы ожидаем благоволения. Кто-то постучал им в дверь:

— У нас тут один дуба режет!

На крыльце показался ефрейтор в расстегнутой телогрейке и заломленной на затылок кроличьей шапке — вот как надо противостоять здешним холодам! Вразвалку, засунув руки в карманы, он подошел к лежавшему на снегу старику и зачем-то потрогал его ногой. Потом сделал знак своему помощнику открывать ворота и, подумав, приказал:

— Волоки его в санчасть!

Четыре человека с трудом подняли старика и на подкашивающихся ногах потащили к воротам. Вместе они составят ту пятерку, которая вне очереди будет пропущена в вожденную зону.

— Первая! — отметил дежурный и тут же скомандовал: — Вторая...

Тянуть резину с приемкой заключенных и дальше он уже не собирался, так как явно переоценил свои возможности наплевательски относиться к сегодняшнему морозу. Во второй пятерке какой-то из зеков поскользнулся на своих деревяшках и упал перед самыми воротами. Остальные четверо прошли в зону, а он все никак не мог подняться, опять скользил и опять падал. Следующая пятерка — шары у них повылезали, что ли? — обошла барахтавшегося в снегу человека и заслонила его от приемщика. Пришлось кулаками проделать в ней брешь, а отставшему пинком в зад помочь пересечь линию ворот.

— Шестая... Седьмая...

Дальше, как обычно, дело со счетом пятерок пошло хуже. В одной из них двое под руки несли третьего. Он еще не потерял сознания, как тот, которого отнесли в санчасть, но был, видимо, близок к подобному состоянию. Эта троица доходит «потеряла разгон» и замешкалась, как раз когда мороз, словно волк зубами, впился в правое ухо дежурного. Левой рукой ефрейтор слегка двинул по загривку ближайшего к нему доходягу. Упали, однако, все трое. И даже не пытаясь снова встать на ноги, на локтях и коленях ползли в зону.

— Эх, мать вашу... — досадливо поморщился ефрейтор, закрывая ладо-
нями уже оба уха.

Из репродуктора в это время насмешливый бас Мефистофеля пел свою знаменитую арию про золотого тельца. «Люди гибнут за металл!» — провозглашал он торжествующе, пока обессиленные дистрофики валились на землю, словно неустойчиво поставленные кегли. «Гибнут, гибнут, гибнут, гибнут...» — подхватывал этот возглас хор, которому визгливо вторили скрипки и флейты. «Сатана там правит бал!» И снова хохотал дьявольский хор: «Правит, правит, правит, правит...»

— Никак, это про нашу Колыму? — изумился тот, что назвал тяготиной рубинштейновскую эпिताму. — А ты, Локшин, мог бы эту песню спеть, а?

Локшин нетерпеливо отмахнулся, он опять слушал.

— Чего спрашиваешь? — сказал кто-то из того же ряда. — Не слышишь, что ли, это не для его голоса...

— Разговоры! — крикнул дежурный.

Человеку, не знакомому с обычаями и нравами мест заключения, фраза «Люди-Гибнут-за-Металл» в качестве прозвища покажется, наверное, весьма странной. Но в лагерях, особенно среди уголовников, встречаются клички и почуднее. Для места, в котором смерть является скорее правилом, чем исключением, этого заключенного в лагере, где он умер, помнили необычно долго. Такой чести Люди-Гибнут был обязан своему голосу, редкостному по силе и красоте, которым он владел с высоким профессиональным мастерством. Что касается его посмертного прозвища, то оно не могло быть связано просто с тем, что певец умер на Колыме. Почти все, кто сложил в те годы свои кости в Колымском крае, так или иначе «гибли за металл». Нужны были еще какие-то дополнительные, пусть и незначительные сами по себе, обстоятельства. Читатель уже догадывается, конечно, что обыденный эпизод лагерного быта, взятый к этому небольшому рассказу в качестве как бы пролога, и явился одним из таковых обстоятельств.

Валерий Локшин, бывший студент консерватории, был мобилизован на фронт с выпускного курса в суматохе первых дней войны. И вместе с целым корпусом таких же необстрелков почти сразу же угодил в один из коварных немецких «котлов». Из плена его освободили наступающие части Советской Армии весной 1944 года. Тогда же он был отдан под суд как изменник и предатель Родины. Одним из последних пароходов навигации доставлен на Колыму.

Корпус Локшина, маленькими группами и поодиночке, сдался в плен почти полностью еще до издания знаменитого сталинского указа, приравнивавшего такую сдачу к воинской измене. Возможно, бывший военнопленный и проскочил бы сквозь плотный фильтр комиссий Особого отдела, проверявшего таких военнопленных. Но тут выяснились некоторые особенности поведения Локшина в плену, отодвинувшие на второй план такие формальные вопросы, как точная дата его пленения. Несложное дознание показало, что это было поведение беспринципного приспособленца, для которого собственная шкура дороже национального и воинского достоинства. Без пяти минут выпускник высшей музыкальной школы использовал свой талант и образование для развлечения немецкой охраны лагеря военнопленных. В лагерной кордегардии и доме коменданта он давал целые концерты русской музыки, получая за это хлеб, сало и даже шнапс. Недаром Локшин оказался в числе тех немногих русских, которые не только выжили в немецком плену, но имели куда менее истощенный вид, чем их товарищи.

Говорили, что Локшин был учеником знаменитого профессора пения, сулившего ему будущность «советского Карузо», и что для этого профессора его откопал среди участников колхозной самодеятельности в каком-то

селе один из энтузиастов поиска самородных талантов. И то, и другое очень походило на правду. Голос Локшина и его умение владеть им говорили сами за себя. Крестьянское же происхождение несостоявшегося Карузо подтверждалось его приспособленностью к физическому труду, к примитивным условиям жизни и той простотой взгляда на вещи, которая почти не встречается у интеллигентов, особенно потомственных. Отсюда же, несомненно, и готовность, с которой Локшин пользовался своим голосом для увеличения шансов выжить. Так было в немецком концлагере, так повторилось и в отечественном.

Многие люди, особенно из числа тех, перед которыми жизнь никогда не ставила таких вопросов, склонны судить об этом с высоты чистого принципа. Конечно же, пленный советский солдат не имел морального права ублажать врагов своей родины исполнением перед ними «Меж крутых бережков» и «Вдоль по улице метелица метет», даже если дело шло о спасении его жизни. Быть столь принципиальным в условиях сытости и комфорта нормальной жизни, конечно, нетрудно.

Но даже осудивший Локшина свирепый фронтовой трибунал вряд ли усмотрел бы состав преступления в том, что он повторял эти песни перед товарищами по заключению в колымском лагере. Таким способом он тоже «сшибал» тут «куски», то есть, попросту говоря, выпрашивал пением подавание. Не то чтобы устав лагерей особого режима это разрешал, однако и не запрещал прямо — по крайней мере в «свободное» время между вечерней поверкой и отбоем. Тем более, что на того, кто пел, нельзя было цыкнуть, что тут для этого не место, и отослать в КВЧ. Она у нас, как уже говорилось, бездействовала.

Недаром бывший студент консерватории пел и с эстрады сельского клуба, и в оперной студии. Репертуар у него был широчайший — от колхозных частушек до труднейших арий из классических опер. Использовал он этот репертуар весьма умело, точно учитывая уровень музыкального развития слушателей, их вкусы и настроение. В общих бараках такими слушателями являлись люди, душевному состоянию которых всего ближе была тема разлуки с любимой женщиной, домом, семьей. И поначалу Локшин почти ежевечерне после ужина обходил бараки работяг, хотя в течение всего дня он наравне с ними работал на приисковом полигоне.

У Локшина был сильный лирический тенор особенного звучания, обладавший таинственным действием на людей. И не морской прибой, как в мифе об Орфее, а барачный галдеж неизменно стихал, едва этот голос доносился от порога. Смолкали даже спорившие из-за места у печки или очереди получать вечернюю пайку с «горбушкой». Неказистый с виду парень, казавшийся чуть приземистым в своем ватном одеянии, незаметно входил в барак, делал два-три шага вперед, разматывал одеяльный шарф, которым было тщательно укутано его горло, и сразу же, без всякой подготовки, брал нужную ноту. В больших бараках ни в какие разговоры со слушателями по поводу того, что им спеть, он не вступал и песню исполнял только одну, повторяясь не чаще чем один раз в несколько дней. Выслушивали эту песню всегда с особенным вниманием: так слушают только то, что проникает в самое сердце. И всегда находился кто-нибудь, кто на грустных словах о женственной рябине, обреченной весь свой век качаться в разлуке с могучим, но таким же одиноким дубом, украдкой смахивал заскорузлой рукой слезы с обветренных щек. А потом такие же руки тянулись к певцу с остатками паек, нередко сэкономленными специально для него: «Спасибо... Возьми вот...» Локшин принимал их с равнодушно-вежливым видом, как будто это были не куски хлеба, а букеты цветов от поклонников его таланта. И складывал эти куски в огромный карман из мешковины, собственноручно нашитый им на бушлат. К своему романтическому дару он относился с прозаическим реализмом крестьянина.

Но относительно обильным подавание было только в его первые недели появления здесь. Вскоре наступила зима, с ее не только холодом, но и голодом. Зимой хлеба требуется намного больше, а заработать его заключенным становится намного труднее. Даже самые сильные и выносливые из подневольных работяг садились едва ли не на штрафной паек. Подавать певцу стало почти нечего. Он тоже начал голодать, а это, как известно, весьма вредно отражается на голосовых связках. Еще хуже действовал на них морозный воздух. Голос Локшина стал сипнуть, а на многих нотах он нередко пускал петуха. Теперь, когда, кивнув на прощание своим слушателям, старавшимся на него не смотреть, он уходил от них с достойным видом, но с пустым карманом, это была всего лишь хорошая мина при совсем плохой игре.

Надо было что-то предпринимать. Но недаром в обвинительном заключении по делу Локшина было записано, что он — изворотливый приспособленец, позорящий честь воина, советского человека и представителя артистического мира. Уразумев за месяц своего пребывания в лагере, от кого в громадной степени зависит тут жизнь рядового заключенного, он переключился на обслуживание сильных лагерного мира. Теперь его голос все чаще слышался то из «сучьего закута» — так называлось здесь помещение для главных лагерных придурков, то из санчасти, где он пел перед лекпомом, то из лагерной кухни. Но всего чаще Локшин пел в «закуте». Это было отделение, в котором жили староста, нарядчик, старший повар и старший хлеборез. Здесь было просторно, светло, тепло и чисто. А главное, старания певца никогда не оставались неоплаченными. В хлеборезке ему почти каждый день выдавали мешочек хлебных крошек, накапливающихся при разрезке буханок на мелкие пайки, в столовой он подкармливался остатками баланды и каши. Локшин быстро и заметно поправился, а голос его снова приобрел прежнюю силу и чистоту.

Переориентация на старшую лагослугу имела для него еще одно благоприятное последствие. Теперь певец довольно часто оставался в зоне, отделенный от развода то старостой, то лекпомом, которому освободить заключенного от работы было проще всего. Повышена-де температура или возникло «подозрение на дизентерию». Но больше всех благоволил к Локшину здешний нарядчик, большой любитель музыки, правда самого невысокого разряда. Он бы охотно, несмотря на изменническую статью и первую категорию трудоспособности, перевел Локшина на работу полетче, чтобы сделать его чем-то вроде постоянного придворного певца «закута». Этому мешало, однако, враждебное отношение к Локшину начальника лагеря, занудливого и злобного бурбона, какие нечасто встречались даже среди колымских лагерных прохиндеев. Поэтому затребовать певца к себе на весь день нарядчику удавалось лишь изредка, когда начлага в лагере не было.

Общеизвестно, что кто платит за музыку, тот выбирает и песню. Поэтому у придурков Локшин пел «У самовара» и «Гоп со смыком», «Валенки» под Русланову и очень часто еще песню про какого-то Хасана. Она исполнялась с искажением русских слов на кавказский манер и, насколько можно было понять из этих слов, была про жадного мироеда из горного аула. Этот мироед обирал и эксплуатировал своих односельчан, пока те его не раскулачили и не отправили на дальний Север «пилить дрова». Вряд ли нарядчик, который обычно заказывал эту песню, любил ее за идеологическую направленность. Но он долго жил на Кавказе и в довольно большом масштабе спекулировал фруктами, пока не загремел сюда. Лагерное прозвище нарядчика было поэтому «Почем-Кишмиш». Песня с кавказским акцентом напоминала Почем-Кишмишу не родной, но милый его сердцу край.

Совсем другим был репертуар Локшина, когда он пел в санчасти лагеря. «Лекарским помощником» — архаическое словосочетание, заменившее

в первые годы советской власти чем-то неугодное слово «фельдшер», — в нашем лагере работал старый, опытный врач из Ленинграда, арестованный еще при Ежове. Доктор был культурным человеком, очень любившим оперу. Поэтому чаще всего из санчасти доносились такие вещи, как песня Индийского гостя из «Садко», песенка Герцога из «Риголетто», ария Надир-а из «Искателей жемчуга».

При жизни Локшина придумать для него прозвище так и не удалось. Быть может, потому, что, не считая его удивительного голоса, Локшин как личность был, если хотите, сер. Во всем, что не касалось пения, это был рядовой, здравомыслящий, работающий и в то же время себе на уме штымп.

Отсутствие установившейся клички никак, конечно, не отражалось на существовании заключенного, в котором артистический талант спасительным образом сочетался с практической жизнестойкостью. Существование же это, если учесть, что Локшин продолжал оставаться на «общих», с которых к весне в нашем лагере списывали в «архив» едва ли не половину работяг, было относительно сносным. Неизменное покровительство обитателей «закута» и лагерного доктора обеспечивало ему достаточное число шансов пережить свою первую колымскую зиму. Однако само понятие «шанса» включает в себе не уверенность в исходе события, а всего лишь некоторую его вероятность.

Как уже было сказано, начальник нашего лагеря питал к заключенному Локшину неприязнь, причины которой вряд ли сам мог бы объяснить. Однако именно беспричинная нелюбовь к человеку имеет склонность к такому же беспричинному возрастанью. Особенно у таких людей, каким был наш «начала». Ему не нравилось это шатание заключенного по баракам с откровенной целью подрабатывать пением себе на пропитание. Только шарманки недостает! Впрочем, нормы на производстве певец выполнял и придураться было не к чему.

Но это пока. Судя по делу Локшина, он был потенциальный темнила. Только похитрее тех, кто отлынивает от работы, забываясь под нары и обливая себе ноги кипятком. И будущее эти подозрения подтвердило. Бывший немецкий подлипала вскоре и здесь стал вась-вась со всей лагослужбой и слишком часто спал в рабочее время, если только не распевал перед своими покровителями. Поймать с поличным участников этого альянса постепенно превратилось у начальника в навязчивое стремление. До поры это не удавалось, так как и Локшин, и его покровители были достаточно хитры. Особенно, как думал начлаг, сам этот «шарманщик». Однако ничего. Один неверный шаг — и он ответит за свое пение, столько месяцев раздражающее начальника, за дни подозрительного освобождения от работы по болезни и за то, что имеет почти законченное высшее образование, пусть даже какое-то музыкальное. Оно-то и было главной причиной злобы тюремщика на исполнителя всяких там арий, хотя он не признавался в этом даже себе самому. Начлаг сильно не любил образованных, к которым причислял всех, кто окончил хотя бы среднюю школу. Именно из-за конкуренции с ними он, имеющий всего четыре класса образования, в сорок с лишним лет остался младшим лейтенантом и начальником угрюмого ОЛПа где-то на краю света. Так по крайней мере он думал. Но если посчитаться со своими конкурентами по службе наш начальник не мог, то ничто не мешало ему отыграться на интеллигентах, имевших несчастье попасть к нему в лагерь.

Однажды к начлагу была вызвана для обычного разноса за хроническое невыполнение производственных норм группа доходяг. Делался вид, что единственной причиной невыполнения этих норм является нежелание заключенных работать. В кабинет начальника незадолго до вечерней поверки входили на подкашивающихся от слабости ногах скелетообразные фигуры, обвешанные рваным тряпьем.

— Фамилия? — спрашивал начальник, заглянув в лежавшую перед ним бумажку.

Получив ответ, он задавал следующий стандартный вопрос:

— Почему плана не выполняете?

В ответ раздавалось невнятное бормотание, что нормы-де слишком высоки, а на штрафной четырехсотке сил не хватает даже на то, чтобы поднять кайло или лом, и руки без рукавиц примерзают к этому самому лому...

— Ленинградские рабочие в сорок втором на ста двадцати пяти грамах производственный план выполняли! — обрывал доходягу хозяин кабинета. — Будешь и дальше так филонить — в карцер посажу с выводом... Гони сюда следующего!

И начальник ставил напротив фамилии вызванного галочку.

К этой галочке и сводилось, собственно говоря, все мероприятие. Даже самые прожженные лагерные прохиндеи вроде нашего начальника понимали, что нравоучениями и угрозами острой нехватки питания не возместишь. Всякие пропесочки за «филонство» заключенных, которым до кладбищенской бирки оставались считанные недели, были всего лишь лицемерным ритуалом.

Но один раз на свой вопрос о плане начальник получил неожиданный ответ.

— На одно лишь противостояние нашему холоду, — ответил спрошенный, — требуется не менее четырех тысяч калорий в день. Я же получаю едва одну тысячу калорий...

Начальник удивленно поднял глаза и увидел доходягу в обычном рванье. Но взгляд этого доходяги был не тусклым, как почти всегда у дистрофиков, а раздражающе-осмысленным и ясным. В рыбьих глазах начальника вспыхнула злость.

— Ты кто такой? — спросил он у заключенного, попытавшегося подвести под массовый срыв плана теоретическую базу.

— Шурфовщик из бригады Лазарева.

— Я спрашиваю: по воле ты кто?

— Преподаватель физики в институте... — с некоторым удивлением ответил теоретик на не идущий к делу вопрос.

— Выходит, у вас высшее образование, — перешел начальник на «вы», что не предвещало ничего хорошего. Бывший преподаватель пожал плечами, а начлаг, пристукнув кулаком по столу, крикнул: — А у меня низшее... Пять суток изолятора за злостное невыполнение!

В этом злобном выпаде и произвольном, несправедливом приговоре был наш начальник едва ли не весь.

Его лагерное прозвище было «Тащи-и-не-Пушай». Получил он его главным образом за исключительное усердие в преследовании темнил. Если он не был болен и не уезжал по делам в соседний поселок, где находилось здешнее горнорудное управление, Тащи-и-не-Пушай почти непременно возглавлял ежедневный утренний обход лагеря, производившийся вскоре после развода. Это, собственно, была облава на тех, кто путем обмана, невеселой игры в прятки, притворства или даже членовредительства пытался уклониться от выхода на работу. В облаве принимали участие надзиратели, почти вся лагерная обслуга, дневальные барачников и даже санитары из санчасти. Так требовал начальник. К обнаруженным темнилам он был беспощаден. В то время как вся страна напрягает силы для борьбы с врагом, они, вместо того чтобы честным трудом искупать свою вину перед ней, пытаются даром есть свой хлеб. Речь в этом роде Тащи-и-не-Пушай мог произнести не только перед мастырщиком, вызвавшим у себя флегмону мышечной ткани путем протаскивания через нее зараженной нитки, но и перед стонущим «саявкой»-подростком, сброшенным с крыши барака прямо на камни двора. И неизвестно, чего в этих речах было боль-

ше — инквизиторского фарисейства или искренней убежденности в правоте своего дела. Ведь что касается ненависти к тем, кому мы причиняем зло, то она вытекает из самого этого зла — истина, четко сформулированная Л. Толстым.

А потом темнил, ковыляющих на разъеденных каустиком ногах, полуслепых после укола в глаз острием химического карандаша, с собственноручно отрубленными или раздробленными пальцами на руках и ногах, избитых при обнаружении где-нибудь в подполье или на чердаке, гнали в «довод». Так назывался дополнительный развод для тех, кто не хотел честно выходить на работу вместе со всеми. Их, конечно, тоже выводили не к теще блины есть. Места для работы «доводных» выбирали с таким расчетом, чтобы темнилам была мука, а другим неповадно. Летом довод без конца чинил гать на дороге через болотистый распадок, благо она также без конца тонула в холодной жиже. Главным бичом тут был таежный гнус. Накомарников же на доводе не выдавали. Зимой темнил и мастырщиков, под предлогом борьбы с заносами, ежедневно держали на недалеком перевале. Здесь дуло даже в самые сильные морозы и абсолютно негде было укрыться. Было, конечно, вполне логично направлять довод в такие условия, по сравнению с которыми даже обстановка на полигоне показалась бы комфортабельной.

К весне даже в самых «застойных» районах Колымского края морозы нередко сменяются снегопадом и пургой. Так произошло и в тот день конца мая, когда начальник нашего лагеря в «виллисе» начальника рудника отправился в управление лагобъединения, в которое входил наш ОЛП. Находилось оно, как и все управления лагерей обычного типа, при местном горнорудном управлении. Дело было срочное. Надо было утрясти вопрос о финплане лагеря на текущий месяц. Он явно горел, а вместе с ним — и премия по надзирательскому и управленческому персоналу ОЛПа. Горел же финансовый план потому, что был нереален. Составлялся он крайне просто: сумма в двадцать два рубля тридцать копеек, которую прииск насчитывал лагерю за каждого выставленного на работу зека в день, перемножалась на число этих дней. Количество и качество произведенной заключенными работы при расчетах никак не учитывались. Для лагеря это было весьма удобно, и выполнять финплан было бы совсем не трудно, если бы заключенные не мерли, особенно к весне. Нельзя сказать, что плановиками из управления это не учитывалось. Однако, как всегда, реальная смертность превысила запланированную. Начальник должен был доказать бюрократам-управленцам, что на то были объективные причины, за которые ни он, ни его подчиненные отвечать своей премией не должны.

Он выехал рано, еще до развода. Пурга казалась тогда не очень сильной. Но ветер крепчал, и перевал, когда «виллис» подъехал к нему, был уже забит снегом.

Некоторую помощь мог бы тут оказать довод, проторчавший на этом перевале почти всю зиму. Но его уже несколько дней выводили на реку долбить лунки для подрыва льда. Без взрывных работ на ее излучине река во время ледохода непременно снесла бы небольшие сооружения здешней пристани.

Пришлось вернуться, что удалось тоже с трудом. Метель успела во многих местах переместить и обратную дорогу. Несмотря на солнце, светившее где-то над снежными вихрями, в какой-нибудь полусотне метров почти ничего не было видно. От работы зеков на полигоне в такую пургу не было, конечно, никакого проку, и сегодняшний день, по-настоящему, надлежало бы активировать. Но, во-первых, двадцать два рубля тридцать копеек на текущий счет лагеря шли и за тех, кто, согнувшись в три погибели, весь этот день простоят под каким-нибудь отвалом. А во-вторых, не жирно ли будет для заключенных получать из-за погоды выходные дни? Не предоставляют же выходных бойцам на фронте! Такие рассуждения ка-

зались Тащи-и-не-Пущай весьма убедительными, и он не видел никакого противоречия между своим недалеким меркантилизмом работорговца и чело-веконенавистнической философией палача.

Продрогший и злой пробирался начальник по сугробам, которые на-мело уже и на плацу зоны. Теперь в управление не пробиться по крайней мере с неделю. По телефону с ними ни о чем не договоришься, и майская премия наверняка плакала. Поднявшись на крыльцо барака, в котором на-ходилась его кабинет, начлаг услышал из отделения старшей лагобслуги в другом конце барака пение Локшина. Чей еще голос мог преодолеть и толстые бревенчатые стены, и свист ветра? В списке освобожденных на се-годня по болезни певца не было. Значит, от развода под каким-нибудь предлогом отставил «шарманщика» нарядчик, благо начальник уехал. Вот теперь, кажется, они попались! В отношении своего «зава рабской силой», как называли в лагере нарядчика некоторые из заключенных, Тащи-и-не-Пущай собирался ограничиться хорошим разносом с предупреждением, что при втором подобном случае тот слетит на общие работы, — началь-ник ценил бывшего спекулянта за толковость и расторопность. Зато уж с его подопечным он церемониться не собирался, хотя формально «шарман-щик» был виноват, наверное, меньше своего покровителя. Практически бесконтрольная власть, однако, имеет то преимущество, что соблюдение формальных норм для нее необязательно.

За то, что Хасан отобрал все деньги,
Мы взяли сослали его в Соловка.
Пускай он работает, пилит дрова,
Пускай привыкает он жить без денега...

Песня оборвалась на полуслове, когда дверь в отделение придурков от-ворилась и на пороге показался начальник в тулупе, густо запорошенном снегом. В горнице со свежевывытым полом жарко топилась печка. Из постоянных обитателей отделения здесь не было сейчас только старшего повара. Остальные возлежали на застеленных койках и слушали Локшина, заливающегося соловьем, стоя спиной к двери.

Нарядчик, староста и хлебрез вскочили на ноги, с вытянутыми по швам руками. Смолк и обернулся с открытым ртом «шарманщик».

— Та-ак... — протянул начальник, не снимая шапки, и обвел всех сво-им тусклым взглядом.

Затем, ткнув в сторону Локшина меховой рукавицей с широким, как у перчаток мушкетеров, раструбом, резко спросил, обращаясь к нарядчику:

— Этот почему не на работе?

— Оставлен для засыпки опилками чердака на третьем бараке, гражда-нин начальник!

— А я разве не приказывал для работ в зоне использовать только инва-лидов и выздоравливающих?

— Совсем уж слабосиловка, гражданин начальник!

Начальник знал, что по способности героически врать в свое оправ-дание, даже когда невозможность оправдаться была очевидной, бывших спекулянтов превосходят разве что только мелкие воры-рецидивисты. Будет врать до полнейшего логического тупика и Почем-Кишмиш, явно погоревший на злоупотреблении своей кажущейся бесконтрольностью. Тащи-и-не-Пущай был уверен, что сейчас загонит его в этот тупик, и не собирался отказывать себе в таком удовольствии.

— Ну а напарник его где? — Вопрос был вполне резонным, так как опилки на чердаки поднимали в больших деревянных ящиках с ручками спереди и сзади.

— Подобрал тут одного в санчасти, да назад отослал. Ветер вон какой, все равно все опилки с носилок сдует...

— А разве, когда этого певуна от развода отставлял, ветра не было? — сощурился начальник.

Почем-Кишмиш лихорадочно подыскивал ответ, но с Тащи-и-не-Пушай было уже довольно.

— В другой раз сам заменишь его на полигоне! — гавкнул он, хлопнув снятой рукавицей по надетой. — А сейчас чтобы через четверть часа духу его в зоне не было! Вызвать дежурного бойца из дивизиона и препроводить в довод!

И начальник вышел, не затворив за собой дверь.

Конвоировавший Локшина вохровский солдат всю дорогу до места по-нукал его, а иногда и пинал прикладом в спину. Он злился на своего подконвойного за то, что из-за этого невесть откуда взявшегося темнили ему пришлось оторваться от печки в казарме и черт-те куда брести с ним по пурге и сугробам.

Выражение «довод работал» следует считать весьма условным. Почти никто и никогда из выведенного с дополнительным взводом не работал как следует уже потому, что было почти все равно, делаешь ли ты тут что-нибудь или не делаешь решительно ничего. За проведенный в доводе день во всех случаях полагалась штрафная пайка и ночевка в холодном карцере. Тащи-и-не-Пушай не раз пытался, правда, воздействовать на доводных «внешнеэкономическими» методами принуждения вроде угрозы держать особо злостных филонов на работе круглосуточно, но и из этого ничего не выходило.

В такую же пургу, как сегодня, работать не смогли даже самые рогатые из «рогатиков». Поэтому человек двадцать оборванцев подконвойников сбились в тесную кучку на льду реки под ее обрывистым берегом — здесь меньше дуло. Издали, при некотором воображении, их можно было принять за отряд древних викингов, изнемогших в походе и уснувших в снегу стоя, опираясь на свои копья. Копья темнили и мастырщикам заменяли очень походившие на них пешни с длинными, чуть ли не в три метра, драками. Предполагалось, что этими пешнями они будут и сегодня проделывать в полутораметровом льду сквозные лунки, через которые под него подводят взрывчатку. При норме десять таких лунок в день самые работающие из штрафников делали их две-три. Но сегодня бригаду даже не повели на место работ. Конвоиры тоже были людьми и, несмотря на свои тулупы и валенки, не хотели торчать на юру, открытом всем ветрам.

Вручили пешню и Локшину, и он картинно, как все, тут же на нее оперся. От остальных он отличался пока тем, что не был, как они, чуть ли не по пояс заметен снегом. Снега старались не стряхивать, так было теплее.

По сторонам бригады, на некотором расстоянии от нее, также неподвижно стояли конвойные. У этих «копий» не было, и со своими винтовками они напоминали скорее замерзших часовых из той серии иллюстраций к событиям на Балканах во время русско-турецкой войны, которая называлась «На Шипке все спокойно».

Конечно, тут было не слишком весело. Но вряд ли и существенно хуже, чем на полигоне сегодня. Не все ли равно, где откатывать при такой погоде «солнце вручную», судя о времени только по сменам часовых каждые четыре часа. Локшин особенно не унывал. Гнев Тащи-и-не-Пушай на своего нарядчика в дальнейшем лишал певца некоторого числа «кантовок». Но не так уж много их и перепадало из этого источника. А в остальном все оставалось по-прежнему. Да и бояться за тепленькое местечко в лагере ему не было такой нужды, как Почем-Кишмишу. Дальше общих работ на полигоне неугодного заключенного не может угнать даже начальник ОЛПа. А было очень похоже, что и на общих работах Локшин не пропадет. Крестьянский сын, он умел работать и не боялся трудностей. А опыт показывал, что там, где есть люди, его голос всегда его прокормит. К тому же положение певца немало облегчалось благоволением к нему — все за тот же голос — произ-

водственных бригадиров и нарядчиков. Другой, чем к остальным, подход по части оценок выполнения, да нередко другая и работа. Весна уже окончилась, можно ожидать амнистии или, во всяком случае, смягчения режима для таких, как он, липовых изменников и предателей. А если Локшин сумеет попасть в одну из здешних агитбригад, то вряд ли ему будет закрыт путь даже к знаменитому крепостному театру в Магадане. И это были не радужные мечтания, а вполне реалистические надежды человека, знающего себе цену и умеющего эту цену получить.

Я нередко привожу поговорку о том, что человек только предполагает, располагает же чаще всего черт. Причем зачастую черт мелкий, егозливый и вздорный, вроде нашего начальника лагеря. Во второй половине дня, несмотря на еще усилившуюся пургу, злобная энергия Тащи-и-не-Пушай принесла его на место, где «викингов» замело снегом почти уже по самые плечи. Проваливаясь в сугробах, начался подошел к начальнику конвоя и закричал ему почти в ухо:

— Почему у вас люди не работают?

Тот хотел что-то ответить насчет ветра, но Тащи-и-не-Пушай продолжал кричать, тыча рукой в сторону, где река делала довольно крутой поворот:

— Немедленно отвести их на рабочие места... Пока каждый не сделает по три лунки, с работы не снимать! Ясно?

Но ясно из всех этих криков было только одно: Тащи-и-не-Пушай — вредный дурак.

Рабочие места по долблению лунок находились посредине реки за поворотом, где ветер дул точно вдоль русла с такой силой, что, присев на корточки, человек катился по гладкому, как паркет, льду без паруса и лыж. Удержаться же на месте было почти невозможно. Но даже глупый приказ есть приказ. Бойцы зашевелились, начался хриплый мат и щелканье винтовочных затворов. С неперменным «сдвигом по фазе» зашевелились и их подконвойные. Взвалив на плечи свои «копья» и роняя с себя толстые пласты снега, «викинги» гуськом потянулись к повороту реки. Здесь в лицо им ударил лютующий на свободе ветер. Он гнал по широкой ледяной глади белый вьюжный поток, дымившийся метелками сухого снега на местах даже небольших препятствий и скрывавший на протяжении целого километра поверхность льда, довольно густо пробуравленную лунками. Этот участок реки надо было перейти, так как фронт работ по долблению лунок находился на другом его конце.

Сами лунки особой опасности не представляли: они уже снова затянулись крепким, хотя и не таким, как прежний, слоем льда. Разве что можно было, угодив ногой в лунку, где уровень нового льда был значительно ниже уровня общего ледяного покрова, вывихнуть себе ступню. Другое дело — довольно широкие разводы, образовавшиеся после произведенных только вчера пробных взрывов. Они были разбросаны там и сям и льдом покрылись коварным, тонким. Предупредить новичка о необходимости во все глаза глядеть себе под ноги никто просто не догадался, каждый был сам по себе. И Локшин провалился, когда, пряча лицо от жгучего ветра, пятился задом наперед. От немедленной гибели его спас длинный «карандаш» — пешня, которую он нес, зажав под мышкой. Шедшие следом видели, как человек впереди стал вдруг так мал ростом, что его голова и плечи почти скрылись в куре поземки. Но остановились они не сразу. И это не было проявлением какого-то исключительного эгоизма или равнодушия. Люди почти всегда ведут себя так по отношению к беде ближнего в ситуации, когда им самим очень плохо. Прошла добрая минута, пока кто-то подошел к провалившемуся и протянул ему конец древка своей пешни. Усилиями нескольких человек Локшина вытащили на лед и тут же отскокили от него подальше. С его ставшей почти черной ватной одежды потоками стекала вода, белыми оставались только воротник, кашне и шапка.

Впрочем, бушлат и штаны быстро покрывались серой изморозью. Мороз был хотя и не так жесток, как в зимние месяцы, но, помноженный на сбивающий с ног ветер, он стоил пятидесятиградусной стужи. Начальник конвоя, посмотрев на Локшина, махнул рукой в сторону лагеря:

— Беги в зону!

И Локшин побежал, насколько применимо это выражение к человеку, волочащему на себе несколько ведер воды и погружающемуся в снег чуть ли не по пояс. Ветер, правда, был теперь попутным. Но уже через несколько минут промокший бушлат Локшина превратился в гремевший при каждом шаге, мешающий движению ледяной короб. Еще больше мешали пропитанные водой утильные лагерные бурки. Их нижние части вскоре превратились в полупудовые ледяные глыбы, идти на которых стало почти невозможно. Локшин снял бурки и в одних портянках добрался до места, где, как он помнил, из толстого слоя снега торчала огромная глыба камня. Ударами о камень он сбил с бурок намерзший лед, но теперь они промерзли насквозь и не надевались обратно. Так, держа в руках свою нелепую обувь, он и появился на лагерной вахте.

Ефрейтор, тот самый, в дежурство которого как-то передавали по радио арию из «Фауста», при виде обледенелого, почти босого заключенного пришел в веселое настроение:

— Вот это, я понимаю, исправный зека, бережет казенное имущество! — Но потом он посерьезнел: — Может, ты нарочно себя водой из проруби облил, чтоб с работ отпустили?

Даже ватные штаны у Локшина заledenели так, что снять их на проходной удалось только с помощью дневального. Тут было холодно, ветер сквозь тонкие, неплотные стены выдувал все тепло, излучаемое печкой, топить которую к тому же приходилось экономно: дров в лагерь в такую пургу не привозили. Печку же в сушилке вообще топили только на ночь. Словом, к вечеру, когда дежурный надзиратель пришел за Локшиным, чтобы отвести его ночевать в неотопливаемый кондей, одежда успела только оттаять. Мокрой она оставалась и весь следующий день, в течение которого опять крутила пурга и Локшин «откатывал солнце» уже в своей обычной бригаде на полигоне. Он очень боялся, что простудил горло. Тут, однако, все обошлось благополучно, он не схватил даже насморка. И происшествие на льду уже начинало оборачиваться в его памяти юмористической стороной. Но через несколько дней, возвращаясь с работы в зону, Локшин почувствовал сильный озноб, и в санчасти выяснилось, что температура у него уже перевалила за сорок. Глухие тона в обеих половинах легких не оставляли у врача ни малейшего сомнения: двустороннее, крупное воспаление.

При лагерной санчасти существовал «стационар» — примитивная больничка на несколько коек. Тяжелобольные и получившие серьезные травмы на производстве ждали здесь отправления в «отделенческую» больницу при лагерном управлении. Исключение составляли заболевшие дистрофией и пневмонией. Первых, после нескольких вливаний глюкозы, отправляли в недалекий инвалидный лагерь, вторых оставляли на месте до выздоровления или летального исхода. Все равно и в отделенческой больнице лечить воспаление легких было, собственно говоря, нечем. Арсенал лекарственных средств лагерной медицины оставался таким же, как и во времена доктора Чехова. Ни пенициллин, ни даже сульфопрепараты в достаточном количестве сюда не доходили. Здешний доктор, поместивший Локшина в свою больничку, надеялся только на его крепкий молодой организм. Локшин почти сразу впал в бессознательное состояние и находился в нем уже несколько дней. Все должен был решить кризис, которого врач ждал с тревогой. Он не хотел, чтобы из жизни ушел этот славный малый, великолепно певший популярные оперные арии.

Единственное оконце небольшой палаты, дверь которой выходила в переднюю-ожидалку, розово рдело, а это значило, что солнце за сопкой, подступавшей почти вплотную к строению санчасти, уже взошло. Впрочем, в распадке, где расположился лагерь, оно покамест не показывалось даже в полдень. Рельс у недалекой вахты прозвонил подъем. Светильник-коптилка пускал в потолок затейливую струйку сизого дыма — единственную на всю санчасть стосвечовую лампочку берегли и включали только во время приемов в амбулатории. Дежурный старик-санитар похрапывал рядом на незастеленном топчане. Он умаялся, провозившись едва ли не всю ночь с беспокойным горячечным больным. Сегодня Локшин уgomонился только под утро. С глубоко провалившимися глазами на исхудалом, заросшем лице, он забылся тяжелым сном, запрокинув голову на сбитой в ком сенной подушке. Большую часть суток он метался в жару, сбить который не удавалось даже усиленными дозами аспирина, все порывался куда-то бежать и бредил, перемежая невнятное бормотание с отчетливым правильным пением. В основном это были соответствующие его голосу теноровые партии, но иногда, под влиянием каких-то ассоциаций, возникавших в его воспаленном мозгу, он переходил и в другие регистры, лежавшие, казалось бы, далеко за пределами его природного диапазона.

Очевидцы, находившиеся в то утро рядом с ним, рассказывали, что, как только от вахты донесся сигнал сбора на развод, Локшин открыл глаза. Приподнявшись на локтях и пообеда соседей по палате блуждающим безумным взглядом, больной певец пробормотал, очевидно вспоминая эпизод, произошедший этой зимой перед воротами лагеря:

— Переохлаждение... переохлаждение... Уже третий сегодня...

Потом он опять откинулся на подушку и произнес вполне осмысленно:

— Сатана там правит бал...

Полежав еще немного, он повторил эту фразу уже с оперными интонациями, как будто настраивался на нужный тон. И вдруг откинул одеяло, сел на своем топчане, спустив ноги на пол, сделал дирижерский жест и запел басом, почти в правильной тональности:

— На земле весь род людской чтит один кумир священный...

К нему бросился проснувшийся санитар, но Локшин с силой оттолкнул его.

— ...Он один во всей вселенной, сей кумир — телец златой...

На помощь санитару подбежали двое ходячих больных, но справиться с Локшиным оказалось непросто и втроем. Вырвавшись от них, он выскокил в переднюю и через нее — во двор зоны.

Стояло яркое морозное утро. Снег на сопках из розового становился уже по-дневному оранжевым. Из открытых ворот лагеря начинали выходить первые пятерки подневольных работяг, отправлявшихся добывать трудное колымское золото. Тут кто-то заметил, что со стороны санчасти бежит в одном белье босой человек, а за ним гонится больничный санитар в сером халате. Локшина узнали, только когда он пропел, взобравшись на пожарную бочку возле каптерки, продолжение начатой в палате арии:

— ...Прославляя истукана, люди разных рас и стран пляшут в круге бесконечном...

Но, увидев спешивших на подмогу санитару дежурного надзирателя и лагерного старосту, больной соскочил со своей бочки, бросился к совсем близкой отсюда лагерной ограде и перепрыгнул невысокий барьер, отмечающий границу запретной зоны. По каждому, кто появится в этой узкой полосе земли, часовые на вышках, согласно уставу, обязаны были открыть огонь без предупреждения. Но ближайший к Локшину часовой не был, видимо, кровожадным человеком, так как ограничился выстрелом в воздух. Впрочем, было совершенно ясно, что нарушитель не в своем уме. Преследователи Локшина остановились в нерешительности, а он, как будто поддразнивая их своей недосыгаемостью, продолжал петь:

— ...Угождая богу злата, край на край встает волной...

Снова раздался выстрел, но уже с другой вышки — в дальнем углу зоны. Дежуривший на ней часовой отличался, должно быть, большим служебным рвением, чем первый, и более буквально понимал устав караульной службы. Вероятно, он принадлежал к тому достаточно распространенному типу «наемных солдат», которые не преминут совершить узаконенное убийство, даже когда его моральная преступность очевидна. Врожденную жестокость и нравственную неполноценность тут так легко скрыть за казенной буквой устава.

Исполнительный солдат стрелял прицельно. Щепкой, отбитой его пулей от столба колючей ограды, нарушителю слегка оцарапало лицо. Было еще не поздно, сделав всего один шаг в сторону, выйти на безопасное место. Но вместо этого Локшин шагнул по направлению к вышке, с которой только что чуть не был застрелен, и пошел по запретной зоне медленно и картинно, словно по оперной сцене. Возможно, на сцене он себя и воображал. В последние слова арии Мефистофеля певец вложил весь свой талант исполнителя и весь сарказм, которым великий Гёте наделил мудрого и насмешливого врага человеческого рода:

— ...И людская кровь рекой по клинку течет булата...

Часовой почему-то не стрелял. Видимо, любопытство — не каждый день увидишь такое представление — на время пересилило в нем жажду безнаказанного убийства. И только когда сумасшедший зек дважды повторил: «Люди гибнут за металл...» — он нажал спуск. Еще успев произнести: «Сатана там...» — Локшин упал ничком в снег, выбросив вперед руку с воображаемой дирижерской палочкой.

И хотя смерть в нашем лагере была явлением самым заурядным, смотреть следы разыгравшейся тем утром трагедии приходили потом почти все, кто не оказался ее свидетелем, даже едва передвигавшие ноги доходяги.

Так сам собой решился вопрос о лагерном прозвище для певца, способного, в другое время и при других обстоятельствах, стать одним из лучших вокалистов страны.

Впоследствии ходил слух, что за недостаток политического чутья при подборе музыкальных пьес для вещания на Особый район руководство Магаданской радиостанции получило от политуправления Дальстроя внушение. Осталось, однако, неизвестным, было ли это внушение связано с обстоятельствами, при которых в далеком лагере был застрелен какой-то зек, нарушивший запретную зону. Вряд ли. Да и какое это имеет значение?

ХУДОЖНИК БАЦИЛЛА И ЕГО ШЕДЕВР

Искусство — это действительность, отображенная через восприятие художника.

Делакруа.

Прозвище «Бацилла» было одним из самых распространенных в лагерях заключения сталинских времен. Обычно его получали те члены блатного общества, которые отличались особой хлипкостью сложения или совсем уж исключительной худобой. Вряд ли и теперь часто можно встретить среди мелких уголовников упитанных людей. Их профессия никому не обеспечивает благополучной, а тем более спокойной жизни. А в те времена, кроме того, большинство профессиональных воров проходили в детстве школу беспризорщины, накладывающую на многих из них печать физической недоразвитости. У некоторых эта недоразвитость подчеркивалась и усиливалась также их психической надорванностью. Поэтому популярное прозвище носило столько заключенных, что нередко в одном лагере скапливалось по несколько Бацилл. И чтобы не путать их, к основному

прозвищу добавляли вспомогательное, обычно подчеркивающее какую-нибудь особо отличительную черту его обладателя: Бацилла Гундосый, Бацилла Культяпый. Тот, о котором пойдет речь в этом рассказе, именовался Бациллой-Художником.

Зря в блатном мире такого прозвища не дадут. Горев — такой была настоящая фамилия шуплого, просвечивающего от худобы паренька — действительно обладал и немалыми профессиональными навыками живописца, и несомненным талантом художника. Несмотря на молодость, ко времени, когда я его увидел впервые, Горев мотался по лагерям и колониям уже около десяти лет. За попытку подделывать денежные знаки он угодил в заключение почти еще в отрочестве, да так на волю более и не выходил. Но жизнь его и до лагерей вряд ли можно было назвать свободной. С раннего детства Горев воспитывался в детдоме, куда был помещен после того, как его фактически бросила мать, пьянчужка и забулдыга. Отца Горев не знал вовсе.

В детдоме взъерошенного и диковатого мальчонку стали сразу же дразнить «Мазилкой» за его необычайное пристрастие к рисованию. Других ребят он сторонился, в общих играх и беготне участвовал мало. Уединившись где-нибудь, Мазилка рисовал, тупя карандаши и изводя огромное количество бумаги, иногда газетной, если не было лучше. Уже тогда было видно, что рисование для этого ребенка является чем-то большим, чем просто забава. Мазилка изображал не просто домики, просто деревья, просто мам и детей, как большинство его сверстников. Почти все рисунки маленького художника были сознательно сюжетными и не по-детски хмурыми, как и он сам. Если он рисовал кошечку — она испуганно таращила глаза на собаку, загнавшую ее на забор. Если собаку, то в момент, когда большой мальчишка ударил ее палкой. Впечатления безрадостного детства пали, на очень чувствительную почву. Вышло так, что они не были нейтрализованы и в дальнейшем и навсегда определили угрюмый и мизантропический характер самого художника и его произведений. Мог Мазилка нарисовать на кого угодно и злую карикатуру. Со временем, за раздражающее сочетание физической слабости с неробким, нелюдким и ершистым нравом, ему дали новое прозвище — «Суслик». Однако дразнить Суслика решались не часто, у него было оружие посильнее кулаков. Кому охота быть представленным в виде бульдога с тупой и злой рожей или лающей шавки?

В те годы было не в моде отбирать и пестовать таланты, особенно такие, которые не могли служить непосредственно делу индустриализации страны. Но художественный талант Горева был слишком очевиден, чтобы остаться незамеченным. По окончании им четвертого класса его перевели в художественную школу, благо детдом находился в большом и достаточно культурном городе.

Это было крупной удачей в безрадостной жизни мальчика. Ведь тут рисование и живопись были не блажью, за которую Суслика шпыняли в обычной школе, а основными предметами. Вскоре Горев стал самым многообещающим учеником в своем классе, хотя школьные задания выполнял без особого воодушевления. Зато исключительной выразительностью отличались его работы на вольные темы. Но вот сами эти темы он выбирал с определенного рода тенденцией, которая удручала некоторых его учителей. Негоже ученику, готовящемуся стать художником социалистического реализма, останавливать свое внимание почти исключительно на таких сюжетах, как валяющийся на улице пьяный; ломовик, избивающий свою клячу; пойманный карманный воришка, которого вытаскивает из трамвая возбужденная толпа! Впрочем, времени, чтобы направить недюжинный талант хмурого юнца в более светлую сторону, оставалось еще много.

Так думали воспитатели Горева, но жизнь распорядилась иначе. У Суслика появились приятели среди товарищей по детдому, чего прежде

никогда не бывало. Само по себе это было бы отлично, если бы первые в жизни угрюмого мальчика друзья не оказались друзьями больше по расчету. Учились эти ребята не в художественной, а в обычной школе, и оба были немного старше Горева. Однажды один из них показал Суслику листок старого, двадцатых годов, отрывного календаря. На его оборотной стороне было помещено уменьшенное изображение банкноты достоинством в тридцать рублей, самой крупной из тогдашних купюр. Она чаще других привлекала к себе подделывателей еще и тем, что выполнена была в одну, темно-синюю, краску, если не считать напечатанного красным номера. Рядом со штриховым рисунком сеятеля с лукошком было выведено красивым курсивом: «Три червонца». Ниже, тоже курсивом, была напечатана справка, что банкнота подлежит размену на золото в любом отделении Государственного банка СССР из расчета столько-то граммов и столько-то десятитысячных долей грамма за червонец. Дальше шли подписи наркомфина и директора банка.

Когда Горева спросили, способен ли он воспроизвести этот рисунок так, чтобы его не могли отличить от рисунка на настоящей купюре, Суслик самоуверенно ответил, что это нетрудно, только нужно знать настоящие размеры. Но вот где взять трехчервонную банкноту, когда никто из них и рубля-то сроду в руках не держал?

Оказалось, что и это хитроумными организаторами многообещающей затеи предусмотрено и продумано. Такому замечательному рисовальщику, как Горев, достаточно небось только взглянуть на настоящую купюру, чтобы запомнить ее тональность и размер. А увидеть такие купюры он может, если постоит в часы толкучки у магазинных касс. В руках покупателей побогаче они нет-нет да и появляются.

Суслик замаялся было, но его взяли на «слабо». Кроме того, художника уверили, что он ничем не рискует, всю черную работу по сбыту и размену поддельных денег ребята берут на себя. А понимает ли он, какая жизнь начнется у предприимчивой троицы, если он освоит самое доходное из всех ремесел в мире — производство денег? Да им станет доступно все на свете! Даже щегольские кепки «шестиклинок» и велосипед! На каждого свой.

У Горева не было особой охоты ни учиться ездить на велосипеде, ни щеголять в новой кепке. Вечно занятый либо рисованием, либо обдумыванием новых сюжетов, он как-то об этом не думал. А вот нарисовать тонким пером на прямоугольнике тонкой плотной бумаги сеятеля и остальную часть рисунка дензнака, да так, чтобы его приняли за настоящий, казалось интересно. Что касается этической стороны предприятия, то мальчишкам оно представлялось не более чем эпизодом в их постоянной войне с запретами и ограничениями взрослых. Поэтому, когда один из компаньонов сдавал первую нарисованную Горевым фальшивку в кассе большого магазина, сам художник, стоя в отдалении с другим членом компании, волновался не столько как жулик, опасющийся за исход операции, сколько как молодой мастер, ожидающий компетентной оценки своей первой работы. Оценка оказалась неважной. Предъявившего нарисованную купюру паренька схватили тут же, двух других членов шайки — на следующий день. Вера юнцов в свою способность противостоять нажиму при допросах была такой же наивной, как и их подделка.

На беду доморощенных фальшивомонетчиков только что вышел указ, уравнивающий уголовную ответственность подростков начиная с двенадцатилетнего возраста с ответственностью взрослых. Гореву же было уже почти четырнадцать, а самому старшему из компании и все пятнадцать. Кроме того, сама новизна правительственного постановления обязывала суд к особой суровости. Судьи должны были показать, что они правильно поняли внутренний смысл этого законодательного акта государства пролетарской диктатуры. Он заключался в полном отрешении от мягкотелого

гуманизма буржуазной юрисдикции. Никаких скидок преступникам даже на их возрастную незрелость и отсутствие жизненного опыта. Особенно в случаях, когда дело идет о нарушении одной из основных прерогатив государства. За попытку изготовления поддельных червонцев — по «червонцу» срока каждому из участников преступной шайки! Правда, до наступления совершеннолетия их предписывалось содержать в колонии для малолетних преступников при городской тюрьме.

К Гореву вернулась начавшая было покидать его психическая депрессивность. И причин для этого имелось, конечно, достаточно: тут и сознание нравственной неправомерности совершенной над ним судебной расправы, и горечь от потери возможности обучаться любимому делу, и утрата мечты когда-нибудь стать великим художником. Но если в первые годы своего заключения Горев был только угрюмым меланхоликом, то со временем в нем стали проявляться сознательные озлобленность и ожесточенность. Он дерзил воспитателям и начальству, все чаще отказывался от работы, рисовал карикатуры тем более злые, чем выше был чин изображенного на них человека. Разумеется, его наказывали, от чего парень ожесточался еще более. Когда Горева перевели в лесорубный лагерь где-то на Урале, он был уже законченным отказчиком и убежденным филоном, завсегдатаем карцеров и штрафных камер. Свою характеристику «трудного», помещенную в его дело, он быстро и вполне оправдал и в настоящем ИТЛ, где уже не приходилось рассчитывать даже на ту небольшую скидку, что допускалась в колониях для несовершеннолетних. Здесь за отказ от работы полагался неотопливаемый даже зимой карцер без нар, в котором заключенным выдавалась только трехсотка хлеба и кружка воды в день. Возможно, его принципиальное отказничество поддерживалось также страстным желанием стать полноправным членом блатной хевры. Почти у всех заключенных колонии малолетних она вставала в воображении как некий орден рыцарей уголовного «закона». Горев знал, что неподчинение лагерному уставу является одной из главных доблестей настоящего «законника».

Прошло, однако, немало времени, прежде чем хевра признала его своим. С ее точки зрения, такие, как Горев, были скорее фраерами, чем настоящими блатными. Он не воровал, не играл в «буру». Да и статья у него была совсем не блатняцкая, ниже фальшивомонетчиков в хевре котиrowались разве только конокрады. Но парень оказался на редкость стойким. В карцере он сидел до тех пор, пока лагерный лекпом не сказал, что дело у этого отказчика идет уже к необратимой дистрофии. Если не перевести его в разряд временно освобожденных от работы из-за крайнего истощения, то малый, чего доброго, врежет в карцере дуба. Такие явления считались нежелательными, и Горева поместили в барак, где жили блатные. Вот тут-то хевра и убедилась, что шатающийся от слабости паренек не только стойкий «законник», но и настоящий художник, здорово умеющий рисовать портреты и сцены лагерной жизни. Портреты, правда, у него получались какие-то чудные, схожие и в то же время смахивающие на карикатуру, хотя карикатурами они не были. В них проглядывало что-то, часто совсем не лестное для оригинала, но действительно ему свойственное. Но поскольку художник делал эти портреты не на заказ, а так — хочешь бери, хочешь нет, — протестовать не приходилось. Обычно он рисовал их на фанерке от посылочного ящика заостренным куском графита от щетки автомобильного динамо. Иногда покрывал еще красками, которые для него добывали в лагерной КВЧ. Но если подходящих материалов не было, то Горев с не меньшим успехом мог рисовать чем угодно и на чем угодно: углем на стенке кирпичной печки, обломком кирпича на боку печки железной, нацарапывать на нарах гвоздем или осколком стекла.

Окончательно авторитет Горева утвердился в хевре после того, как он не клюнул на приманку одной из самых блатных должностей в лагере — должности художника КВЧ. Начальник этой культурно-воспитательной

части, прослышав о таланте молодого доходяги, попросил его нарисовать плакат по образцу, присланному из ГУЛАГа. Дело в том, что прежний художник освобожден, а плакат было приказано обязательно выставить на самом видном месте лагерной зоны. Начальник сказал, что в случае, если эта работа будет выполнена хорошо, Горев назначат в КВЧ дневальным с исполнением обязанностей художника, которые сводились к изготовлению время от времени таких вот плакатов да изредка еще карикатур на филонов и отказчиков.

Для осужденных по уголовным статьям тогда еще существовали зачеты рабочих дней, вскоре отмененные. При постоянном перевыполнении рабочих норм срок заключения значительно сокращался. Этой теме и был посвящен типовой плакат ГУЛАГа. На его утвержденном образце обнаженный по пояс работяга крушил кайлом массивную скалу, на которой было написано: «Твой срок». Подпись под плакатом гласила: «Только ударный труд может приблизить день твоего освобождения, заключенный!»

Блатные были разочарованы, узнав, что их художник согласился рисовать плакат. Все-таки он фраер. Настоящий блатной не стал бы помогать лагерным прохиндеям охмурять заключенных. Но через два дня Горев опять очутился в карцере. На этот раз за едва ли не контрреволюционный выпад — подрыв пропаганды ударного труда в лагере. Воспользовавшись бесконтрольностью — плакат он писал в клетушке художника при КВЧ, — живописец злостно извратил картину. Вместо плечистого ударника он изобразил скелетообразного доходягу, выбивающего себе в скалистом грунте могилу. И только надпись на плакате сохранил прежней. Вот тогда-то строптивый художник и получил блатное прозвище, означающее, что хевра признала его окончательно. По фамилии Горев а окликали теперь одни только начальники, надзиратели да подрядчики. Нечего и говорить, что карьера лагерного придурка была закрыта для него навсегда.

Бацилла принадлежал к числу тех натур, у которых репрессии только усиливают сопротивление насилию. Среди таких и встречаются мученики по призванию. Высокая идея для их мученичества не всегда обязательна. У лагерных отказчиков, например, ее заменил блатной принцип, помноженный на демонстративное упрямство. Некоторые особо «принципиальные» умирали в холодном карцере на голодном пайке, но так и не брали в руки кайла или лопаты. Следует помнить, что у них не было ни религиозной веры, облегчающей страдания надеждой на воздаяние в загробной жизни, ни сознания своей причастности к великому делу. Нельзя объяснить их упорства и рациональным расчетом, что штрафная трехсотка все же получается выгодней полной пайки «рогатиков», которые все равно погибают чаще и быстрее. Если дела и обстояли таким образом, то лишь потому, что многие карцерные страстотерпцы научились сводить свой энергетический баланс к почти анабиотическому уровню. Тут было что-то от йогов, хотя и без намека на школу йогов и их систему. Но оледенелый карцер-бокс не так уж сильно отличался от зарытого в землю ящика, а многочасовая выстойка на пятидесятиградусном морозе без бушлата и рукавиц — от хождения босыми ногами по раскаленным углям. Отсутствие обморожений при таких выстойках вряд ли менее удивительно, чем отсутствие ожогов при соприкосновении с огнем. Выставленные на жестокий мороз отказчики обмораживались поразительно редко.

В таком вот состоянии с лагерным начальством — кто кого переупрямит — Бацилла провел большую часть своего срока. Но тут вспыхнула война, и прежнее «паньканье» с отказчиками сменилось пришиванием им дела о «контрреволюционном саботаже», предусмотренным пунктом четырнадцатым грозной пятьдесят восьмой статьи. Горев одним из первых был осужден на новый десятилетний срок.

Казалось бы, он и до этого находился на самом дне угрюмой безнадёжности. Но, видимо, это было не так. После второго осуждения Бацилла совершенно ушел в себя и почти перестал разговаривать с окружающими. Работать «на начальника» он по-прежнему отказывался, а в промежутках между многонедельными сидениями в карцере по-прежнему продолжал рисовать. Теперь его рисунки сделались еще угрюмее. Возможно, в это время у него и зародилась мысль создать произведение, в котором нашли бы свое отражение все муки лагеря и вся несправедливость мира. Художественные возможности Бациллы были, конечно, ограничены недостатком образования и почти полным незнанием жизни, однако он с полным основанием мог надеяться, что все это будет возмещено силой его чувства. Дети и художники-примитивы нередко достигают в своих рисунках выразительности, недоступной живописцам с академическим образованием.

О том, что шуплый, казалось, насквозь просвечивающий от страшной худобы парень, похожий в свои двадцать два года на физически недоразвитого подростка, вынашивает эту страстную идею, я узнал, когда он попал в наш приисковый лагерь в бассейне Неры. Как всякий интеллигент, я отнесся к такому замыслу с насмешливым недоверием, посчитав его чем-то вроде изобретательства вечного двигателя, которым занимался в том же лагере другой полусумасшедший невежда. Крайне заурядной была и внешность художника. Обыкновенный лагерный «фитиль». Из широкого ворота драного бушлата, свисающего с его узеньких плеч, как с вешалки, торчала длинная, по-детски тонкая шея, казавшаяся слишком слабой для непомерно большой, лобастой головы, все время клонившейся на грудь, будто ее обладатель засыпал даже на ходу. Руки Бацилла держал обычно засунутыми в рукава и сложенными на груди. Правда, на улице это было необходимо, так как у него не было ни рукавиц, ни пуговиц на бушлате. Когда однажды я его о чем-то спросил, Бацилла с трудом поднял свою тяжелую голову, посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Это обычное поведение доходит на грани последней стадии дистрофии. Конечно же, обыкновенный «фитиль», которых в каждом бараке по десятку!

Но когда я увидел Бациллу работающим в своей «мастерской» — закуте за вешалками для онуч и промокшей одежды в барачной сушилке, — я не сразу узнал его. Он сидел на низком чурбаке за неким подобием пюпитра, на котором стоял кусок фанеры, и обломком электрографита наносил на него уверенные штрихи вполне твердой рукой. На лице, обтянутом сухой кожей так плотно, что вырисовывались почти все детали черепа, фанатическим воодушевлением горели глаза. За его работой наблюдали поклонники таланта Бациллы из числа местных блатных. Эти люди были единственными в лагере, кто поддерживал его идею написать обличительную картину. Правда, никто из них не знал, какой она будет, как не знал еще этого, наверное, и сам художник. Вся сцена сильно напоминала работу живописца-неандертальца в доисторической пещере.

Хевра опекала и охраняла своего художника. Без этого в лагере тех лет ему было бы еще труднее выжить. Изнуренным от голода или непосильной работы людям тут никто не сочувствовал. Наоборот, они вызывали к себе злобное презрение, особенно в тех случаях, когда еще и впадали в обычное при дистрофии голодное слабоумие. Плетущегося позади всей бригады, еле передвигающего ноги человека с особой злобой пинали прикладами конвоиры. В забое его непрерывно награждали толчками и ударами бригадиры и десятники; в бараке — дневальный, а то и просто всякий, кто был хоть немного посылнее. Доходяги раздражали своей неспособностью поднять совсем небольшую тяжесть, переступить без падения низенький порог, сразу ответить на вопрос «Как твоя фамилия?» и сообразить, который талон у них на хлеб, а который на баланду. Особенно часто

получали колотушки и синяки те, кто, уже падая от ветра, продолжал еще огрызаться и гундеть. И если в ответ на претензию, что черпак не полон, раздатчик баланды огревал доходягу этим черпаком по голове, никто за «фитиля» не вступался. А чего с ним валандаться? Начал подыхать, так и пусть подыхает, а не путается тут под ногами. И хотя такое состояние было почти неизбежным будущим едва ли не каждого лагерного работяги, это не только не уменьшало их злобы к «фитилям», а скорее ее усиливало. Многие из того, что кажется в людях навсегда исчезнувшим, в действительности только прикрыто косметикой цивилизации. И когда при тяжелых жизненных встрясках этот непрочный слой осыпается, под ним обнажаются древние инстинкты хищной стаи, один из которых — смерть ослабевшему!

Впоследствии я познакомился с некоторыми работами Бациллы. Это было непросто, так как их прятали не только от начальственных, но и от посторонних глаз. Не то чтобы рисование считалось в лагере запрещенным делом, но слишком уж очевидно проявлялась в рисунках художника-блатного нездоровая тенденция. Поэтому их разрознивали, маскировали и прятали. Сделаны они были все на тех же небольших кусках фанеры, которые легко засунуть в щель пола, в матрац, набитый стружкой или опилками, а то и просто в сугроб.

Бацилла работал в своеобразной манере, которую никак не объяснишь недостатком у него живописной техники. То вытягивая фигуры, как на картинах Эль Греко, то слегка сплющивая их по вертикали, как Гойя в некоторых из своих «Капричос», он усиливал этим их выразительность. Изображения были как бы срисованными с зеркал «комнаты смеха», но они отнюдь не были смешными. Вот некоторые из них: чуть в стороне от оконца хлебoreзки — отойти дальше у него, видимо, не хватало терпения — доходяга впился зубами в только что полученную «горбушку». В его глазах — жадность и голодная тоска одновременно, как у собаки, грызущей найденную на помойке кость. Через ворота лагеря выволакивают, «выставляют на работу» отказчика, привязав его за ноги к задку саней: шапка свалилась у него с головы, бушлат задрался до самых плеч. Было тут еще изображение «саморуба», только что отсекавшего себе топором на высоком пне кисть руки; похожего на скелет покойника, с пальцев которого снимают отпечатки, необходимые для «архива-три», и многое другое в том же роде. Иногда Бацилла писал красками, неизменно темными и глухими от обильной добавки в них сажи и сепии, но и эти его картины резкими, почти без полутеней, световыми переходами напоминали скорее графику, чем живопись. Работы странного художника с первого взгляда можно было отличить от любых других.

Встречались среди рисунков Бациллы также изображения «воли». Причем неизменно только благополучных ее сторон. Но тут сценки почти всегда получались у него какими-то беспомощными и невыразительными. Целующаяся в окне пара была, скорее всего, срисована им по памяти с виденной когда-то открытки. На пирушке главными оказались не человеческие фигуры и лица, а горы наваленной на столе жратвы. Живее других вышла у Бациллы физиономия усатого дядьки, пьющего у станционного киоска пиво с выражением блаженства, несоразмерного этому рядовому удовольствию, — скорее всего, его вообразил изнывающий от жажды художник, наблюдавший сцену из оконца этапного вагона.

Говорили, что все это, как и целая галерея лиц, — эскизы к будущей картине Бациллы. Я уже не сомневался в его таланте — наружность на этот раз оказалась особо обманчивой. Однако не мог себе представить, как он сумеет объединить свои эскизы в одну общую композицию, да еще включающую в себя образы довольно пошлого благополучия. А судя по ним, представления художника о счастье не выходили за пределы, характерные для самого обычного блатного. Такой не сможет осветить своего

произведения достаточно глубокой мыслью, а без нее никакое мастерство, даже помноженное на самое сильное чувство, не способно оказать существенного влияния на умы людей. Верили в него только лагерные блатные, такие же наивные в вопросах искусства, как и их художник, и еще более темные, чем он.

«Горячая» война победоносно закончилась и почти сразу же сменилась войной «холодной». Колыма была районом, который, возможно, первым почувствовал ее ледяное дыхание. В бухту Ногаева больше не приходили корабли из калифорнийских и аляскинских портов. Наступила пора куда более голодная для дальстроевских каторжников, чем последние военные годы. Теперь неотвязная мысль о хлебе насущном заслонила все остальные. Даже я, ставший к тому времени лагерным придурком — я работал электриком в зоне, — почти перестал интересоваться делами Бациллы, по-прежнему большую часть времени сидевшего в кондее. Говорили, что в промежутках между сидками он уже дописывает свою картину. Но ее содержание блатные хранили в тайне и только намеками давали понять, что это будет величайший шедевр. Тоже еще знатоки!

В последний раз я видел Бациллу на утреннем разводе, куда его вывели из карцера, чтобы в тысячу первый раз спросить, не одумался ли неисправимый отказчик и не согласен ли он выйти на работу. И в тысячу первый раз он, не поднимая склоненной на грудь головы, надменно повел ею из стороны в сторону. Ворота закрылись, и, обвешанный рваньем, сквозь которое во многих местах просвечивало голое тело, невероятно худой — в чем только душа держится? — упрямый «фитиль» остался на площадке. Утро было морозное, за сорок. В ярком свете мартовского солнца понурая фигурка отказчика выглядела особенно жалко. Наш новый начлаг, человек, по-видимому, не злой, недавно вернувшийся с фронта, долго с укоризной смотрел на Бациллу. Вероятно, он и в самом деле жалел этого мальчика, потому что сказал:

— Ну и дурак же ты, Горев! Сам себя губишь! Ну на что ты надеешься, чего ты ждешь?

И тут произошло редчайшее событие: Бацилла ответил на обращенный к нему вопрос. Правда, не сразу. После того как он приподнял голову и как-то по-гусиному вытянул шею, молчальнику пришлось сделать несколько судорожных движений кадыком. Возможно, в последний раз он произносил какое-нибудь слово или звук неделю, а то и две назад. Наконец, несколько раз глотнув воздух, он довольно отчетливо проговорил:

— Т-т-трумэна жду!

«Ожидание Трумэна», то есть прихода американцев, было в те годы политической ориентацией большинства блатных, сменившей их прежнюю показательную преданность «нашей» советской власти и «нашему» Сталину. Теперь Генералиссимуса и Вождя Народов они именовали не иначе как «ус», а бериевское МВД величали «советским гестапо». Произошла эта метаморфоза в результате резкого усиления репрессий за уголовные преступления. Если во времена Ежова и в первые годы наркомства Берии уголовники числились «социально близким элементом» и противопоставлялись в лагерях «подлинным врагам народа», то за годы войны они почти утратили эту привилегию. Скокари и домушники получали сроки вплоть до «сталинских четвертаков» наравне со шпионами и террористами. Поэтому «друзья народа» во время войны почти не скрывали своих пораженческих настроений, а после нее так же откровенно возлагали свои надежды на Белый дом в противовес Красному дому, то есть Кремлю. Нередко можно было услышать, как с этапной машины или сквозь решетку кондея какой-нибудь блатной кричал надзирателю, конвоиру или даже начальнику:

— Погоди, падло! Скоро наш Белый дом вашему Красному дому секир-башка сделает!

Имелась в виду атомная бомба, о которой шло тогда много разговоров и которой еще не было у Советского Союза. Все эти выпады сходили блатным безнаказанно. Видимо, в какой-то степени они все еще оставались «социально близки», несмотря на изменение знака их убогой политической философии на обратный.

Бацилла вряд ли был на уровне даже этой философии и вряд ли он чего-нибудь ждал. Скорее, его политическое «заявление» было продиктовано принципом все той же блатняцкой солидарности.

Начальник сперва опешил, а потом побагровел, топнул ногой и высоким бабьим голосом крикнул:

— Не дождешься!

— Д-д-дождусь! — упрямо повторил Бацилла.

Вскоре меня по «спецнаряду» перевели в другой лагерь того же управления. Тут тоже добывалось золото, но не приисковым способом, как почти повсюду тогда на Колыме, а шахтным. Довольно сложное хозяйство рудника требовало много электрической энергии, которую давала дизельная электростанция. Вот на нее-то и привезли меня работать в качестве линейного монтера, благо я имел специальное высшее образование и даже ученую степень.

Работа дежурного по электросети была не хитрая и не очень тяжелая, если только не происходило особенно крупных аварий. Что же касается мелких, то они были даже желательны, так как давали нам право хождения в поселок вольных. Монтер-заключенный, вернувший в дом электрический свет, всегда мог рассчитывать, что хозяева этого дома вынесут ему завернутый в газету кусок хлеба. Хочет или не хочет он есть, «мужика» из лагеря тогда не спрашивали. Особенно дежурного электромонтера, работа которого оценивается повременно, а значит, и пайка ему идет второразрядная.

Чем монотоннее текут дни, тем быстрее пролетают годы. Я и не заметил, как их на новом месте прошло уже целых два. И почти забыл о чудном художнике из блатных, надумавшем удивить мир каким-то невиданным произведением.

Однажды в монтерскую дежурку на электростанции явился пожилой дневальный общежития мужчин-холостяков на поселке и заявил, что в этом общежитии «перегорел свет». Захватив с собой крючья для лазания по столбам, я пошел со стариком в поселок.

Заменить перегоревшую предохранительную перемычку на столбе, врытом возле длинного приземистого строения, было делом одной минуты. Когда в подслеповатых незанавешенных оконцах барака вновь вспыхнул свет, изнутри донесся радостный галдеж. Несмотря на позднее время — шел уже первый час, — многие из его обитателей еще не спали. Это одна из характерных особенностей общежитий бывших лагерников, которые как бы утверждали таким способом, что они теперь люди вольные. К популярному тогдашнему афоризму, что свобода есть право на бритву, водку и женщин, следовало бы добавить еще и право ложиться спать когда хочешь и даже не ложиться совсем. Во многих отношениях бараки вольняшек были даже хуже иных лагерных. Зато в них можно было хоть до утра резаться в карты, стучать костяшками домино или просто горланить, особенно когда на поселке «дают» спирт. Ни тебе отбоя, ни тебе надзирателя! Находились тут, конечно, и такие жильцы, которые ложились вовремя и хотели бы, чтобы в общежитии ночью стояла тишина. Но это были всегда старые штымпы, считаться с которыми никто и не думал.

Когда я вошел в барак, чтобы проверить электропроводку — это предписывалось правилами, а более того, надеждой на «горбушку», — те, кто еще не спал, возобновили прерванные темнотой занятия. За одним из двух щелястых столов, занимавших почти весь проход между двухэтажными нарами, забивали «козла». За другим, стоявшим в глубине барака, играли в

самодельные карты, судя по азартным выкрикам — в «буру». По тюрьмам и лагерям картежная игра идет обычно под нарами. Здесь такой необходимости не было — воля!

Играли, как почти всегда в таких местах, не на деньги — в кои веки у кого они тут бывают? — а на «шмутки». Поставленные на кон вещи лежали на скамейках рядом с игроками — вылинявшие телогрейки, кирзовые «прохоря», шапки. У большинства это было единственное, чем они обладали.

Две запыленные тусклые лампочки под потолком освещали обычную картину прилагерного вольняшеского «дна». На пыльных, набитых сенной трухой матрацах, не раздевшись и укрывшись лагерными бушлатами, спали люди. Простынь и одеял тут не то чтобы не полагалось, но выдавать их жильцам таких вот общежитий было бы совершенно бесполезным делом. Одни пропьют или проиграют казенные вещи сами, у других их украдут для той же цели пропившиеся и проигравшиеся.

Дневальный вынес мне из своей клетушки у входа в барак небольшой кусок хлеба и кружку с кипятком. С ними я и присел к столу, на другом конце которого играли в карты.

«Бура» — игра быстрая. Я не доел свой хлеб еще и до половины, как один из игроков продулся в прах. Он проиграл все свои носильные вещи, кроме оставшихся на нем штанов и рубахи. Рубаху, впрочем, он тоже с себя сорвал и с блатняцкими ругательствами, божбой и матерщиной предлагал ее партнерам в качестве последней ставки. Что они, падлы, не понимают, что ли, что ему совершенно необходимо отыграться? На работу-то идти завтра не в чем! Прогул пришьют, а это новых восемь лет лагеря... А рубаха еще хоть куда, только в одном месте и залатанная!

Но «падлы» ставки не принимали: как ни хвали, но ветхая, отроду не стиранная рубаха выглядела очень уж убого. А что касается жалких слов про новый срок и прочее, то они старому каторжанину вроде и не к лицу, трусы в карты не играют...

Некоторое время проигравший сидел за столом в позе глубокого отчаяния, подперев руками голову, и не то ругался сквозь зубы, не то стонал. А потом, видимо решившись на что-то, вскочил и побежал к своему месту на нарах. Над ним висело намалеванное на довольно большом куске фанеры — вероятно, крышке от макаронного ящика — изображение русалки. Девушка с голой грудью и распущенными волосами высунулась из воды до основания массивного, покрытого чешуей рыбьего хвоста. Это была обыкновенная лагерная поделка. Набивший себе руку на таких «картинах» опытный живописец справлялся с ней за один-два вечера, и больше одной буханки хлеба она не стоила.

Было странно, что владелец картины только с явным усилием заставил себя поставить ее на кон. Еще удивительнее, что он поставил ее ва-банк под все проигранные им ранее вещи. И уж совсем непостижимым показалось мне то, что его прижимистые партнеры приняли эту ставку не торгуясь.

Пока игроки перешвыривались картами и отрывистыми, похожими на команды, отдаваемые дрессированным собакам, картежническими терминами, картина стояла под столом, прислоненная лицевой стороной к его ножке. Там было темно, и, украдкой сшивая глаза, я сумел разглядеть только, что на ее обороте изображено какое-то распятие. В нем, возможно, и заключалась разгадка ценности картины. Но почему? Сектанты в карты не играют, а эти за столом если и поминали Бога, то не иначе как в сочетании с особо затейливым и злобным матом.

Именно таким матом истово, как будто читал молитву, и выругался банкомет, швырнув на стол остаток карт. Это значило, что поставивший ва-банк выиграл. Теперь ему везло в таком же несоответствии с законами теории вероятностей, с каким прежде не везло. Вернув свои вещи, он вы-

играл сверх того еще засаленный полушубок и самодельный эбонитовый мундштук. При таком везении и менее азартные люди согласны обычно играть хоть до утра. Но его партнеры решили, что на сегодня хватит, пора спать.

Я давно съел свой хлеб, до дна выпил большую кружку мутной, тепло-ватой воды и теперь делал вид, что с большим интересом слежу за игрой. На самом же деле я ждал ее конца, чтобы взглянуть на заинтриговавшую меня картину. И когда владелец достал ее из-под стола, чтобы водворить на прежнее место на стене, я попросил его позволить мне взглянуть. После выигрыша парень находился в хорошем настроении, однако ответил нелюбезно:

— Вот повешу ее на стену, тогда и гляди!

Я сказал, что меня интересует не русалка, а то, что на другой стороне фанеры. Он посмотрел на меня подозрительно:

— А ты не стукач, часом? Коменданту не накапаешь?

Я заверил его, что сроду стукачом не был, свободы не видать!

Я не ошибся. На обороте картины с русалкой действительно оказалось распятие. Но к кресту, грубо сколоченному из неотесанных, довольно тонких жердей, был пригвожден не Христос, а человек в лагерном бушлате. Под распахнутым бушлатом на распятом не было ничего, кроме спустившихся на самые бедра изодранных штанов, сквозь прорехи которых просвечивали похожие на палки ноги. Над впалым, почти притянувшимся к спине животом выпирали тонкие ребра недоразвитой груди. Большая стриженная голова казненного бессильно свесилась на грудь на тоненькой, почти детской, шее. Но высокий крест изображался экспрессивно удлиненным и в ракурсе снизу. Поэтому лицо человека было видно почти полностью. Оно не было еще лицом мертвеца. Глаза распятого смотрели из-под полузакрытых век с выражением привычного страдания и безответного вопроса: за что? — хотя кровь, скупое вытекшую из его ран, художник представил уже совсем запекшейся и передал одной только бурой, без малейшего блеска, краской. Но даже сквозь маску наступающей смерти в лице человека на кресте читалась знакомая мне смесь неодолимого упрямства и внутренней непокорности. Это был несомненный автопортрет Бациллы, сделанный им в прежней характерной манере, но с неожиданно жестокой даже для него выдумкой.

Фоном для странной Голгофы послужил, как и следовало ожидать, довольно обычный на Колыме безжизненный пейзаж, написанный как будто смесью сажи и ржавчины. За распятием на первом плане виднелось множество других таких же распятий, разбросанных по склонам почти черных сопок и исчезающих в мрачной дали. Они далеко отстояли друг от друга, что, вероятно, символизировало внутреннее одиночество распятых на них страдальцев. Каждый умирал на своем кресте, и человек на переднем плане был лишь одним из многих.

Картина была окаймлена как бы рамкой, составленной из серии небольших картинок, заключенных в правильные прямоугольники. Очевидно, они служили иллюстрацией к центральной части и пояснением заложенной в ней мысли художника. Подобное сочетание главного и вспомогательного сюжетов нередко можно встретить в произведениях религиозной живописи средневекового Запада и на старинных русских иконах. При всей своей примитивности, этот прием полностью решал задачу композиционного объединения самых разных картин Бациллы под знаком найденной им мрачной аллегии. Невидимая ось симметрии делила всю композицию на две половины. Картинки справа иллюстрировали аллегию, слева — наводили зрителя на мысль о несправедливом устройстве мира.

Со многими из этих сюжетов я был уже знаком по давним эскизам Бациллы, другие видел впервые. Конечно, вошло сюда не все, когда-либо им нарисованное. Но я узнал широкоротого доходягу, жадно вгрызающегося в

свою пайку. С другой стороны на той же горизонтали Бацилла поместил усача с пивной кружкой. «Играющему на рояле» дубарю соответствовало изображение приличных похорон: благостный покойник возлежал на высоком белом катафалке. Изнемогшему у своей тачки каторжнику противопоставлялись мордастые футболисты, гоняющие мяч по черно-зеленому полю; скрючившемуся в тесном деревянном «мешке» узнику «бокса» — курортники на южном пляже. Здесь Бацилла оказался особенно беспомощным. Полуголые фигуры на темно-коричневом песке у оливково-темного моря напоминали скорее мертвецов, чем отдыхающих.

Конечно, за время, в течение которого я его не видел, ни общий кругозор художника, ни его умение изображать благополучие не могли существенно измениться. А вот необычным сюжетным и композиционным решением, найденным им для своей картины, он сумел придать ей глубину, которой я никак не мог от него ожидать. Лишнее подтверждение того, что предельная целеустремленность способна мобилизовать в человеке качества, которые не только окружающие, но подчас и сам он в себе не подозревал.

Я сказал владельцу картины, что знал написавшего ее художника. Я назвал его прозвище и лагерь, в котором он содержался. Парень ответил, что, точно, художника звали Бациллой. Правда, лично он с ним не встречался, отбывал срок в другом лагере. Но знает, что это был настоящий «законник», верный своему слову. Сказал, что не покорится легавым, и не покорился. Он и умер почти сразу, как только закончил эту картину.

Бацилла умер! При других обстоятельствах это известие вряд ли бы меня поразило. Удивляться приходилось скорее тому, как долго этот «фитиль» протянул. Но я получил сообщение о смерти художника в тот самый момент, когда держал в руках доказательство, что задуманный шедевр он все-таки создал. И почти не приходилось сомневаться, что эти два события взаимосвязаны. Главная пружина внутри этого человека, выполнив свое назначение, распустилась.

Мой собеседник рассказал мне, что картину Бациллы, чтобы скрыть ее от глаз легавых, приколотили лицом вниз к донышку маленького чемодана. Так, с чемоданом, ее и вынес за зону первый же из освободившихся членов хевры. На воле он сразу, из первого выигрыша в «буру», заказал написать на обратной стороне вот эту бабу. Замаскированная дозволенным изображением, картина провисела некоторое время в такой же общаге. Без стукачей, конечно, ни одна общага не обходится, но, как и здесь пока, начальству про картину никто не накапал — видно, она даже стукачей прониимает. Но потом владелец шедевра снова загребел в лагерь. Срок он получил небольшой — дело шло о краже у какого-то фраера старых валенок — и из тюрьмы прислал ксиву с наказом беречь картину, пока он не освободится. С тех пор парень, выполняя наказ, и таскает с собой произведение покойного блатного...

— А как же ты ее на кон сегодня поставил? — задал я резонный вопрос.

Парень смущенно поскреб затылок. Тут он, конечно, малость ссучился. Крайность вынудила. Но больше этого не повторится, свободы не видеть!

Возвращаясь на исходе ночи на свою электростанцию, я думал, конечно, об удивительном художнике и главном творении его мученической жизни. По привычке философствовать, когда позволяли время и относительная сытость, я пытался вывести какие-то заключения и из этого редкого феномена. Толстой в своем «Воскресении» утверждает, что арестантами становятся большей частью люди, которые по своим моральным качествам либо ниже, либо выше обычного уровня. Разумеется, распространение выводов, сделанных на материале царской тюрьмы девятнадцатого века, на заключенных сталинско-бериевских лагерей — дело опасное.

Тем более, что в одном и том же человеке могут быть смешаны качества уголовного и одержимого высокой идеей страстотерпца. Кроме того, автор «Воскресения» имел в виду, с одной стороны, воров и мошенников, а с другой — политических и религиозных сектантов. Но и в современном уголовном мире я знал не одного такого, как Бацилла.

Конечно, надо быть темным блатным, чтобы верить, что этот самоучка создал произведение, имеющее самостоятельную художественную или хотя бы публицистическую ценность. Но тем, что принято называть «человеческим документом», аллегория Бациллы безусловно является. Только вряд ли этот документ на фанере сохранится сколько-нибудь долго. Нет никакой гарантии, что о картине не дознается местный опер или поселковый комендант, и тогда она будет немедленно уничтожена. Еще вероятнее, что ненадежный хранитель творения Бациллы проиграет его в «буру» или тоже «подзайдет» на попытке стащить что-нибудь после очередного проигрыша. А попав в равнодушные руки, картина-символ превратится просто в хорошо прогрунтованную фанерку, годящуюся и как крышка для бадейки с водой, и как подложка для новой картины на более веселый сюжет. Теперь в повальную моду входили копии всех масштабов с шишкинских «Медведей на лесозаготовке» и перовских «Охотников на привале».

Я брел медленно, резонно полагая, что если в мое отсутствие и случился какой-нибудь вызов на линию, то по этому вызову уже отправился мой напарник. Идти было довольно далеко. Рудничный поселок, как и большинство рабочих поселков на Колыме, вытянулся вдоль длинного, неширокого распадка. Несколько дальше за ним располагался лагерь. А в самом конце распадка, у подножия замыкающей его сопки, притулилась наша дизельная электростанция — длинное строение с грибами вытяжных труб на крыше. Ровное, наводящее сон гудение машин, днем слышное только вблизи них, сейчас разносилось на целые километры вокруг.

Стояло обычное для этих мест холодное полярное лето. Время белых ночей уже прошло, но светало еще очень рано, даже если небо, как сегодня, было затянато довольно плотными и низкими облаками. Серовато-бурые, совершенно лишенные растительности склоны близких сопки казались сейчас почти черными и только местами, где проходили широкие ржавые полосы промоин, немного отсвечивали красным. Дальние сопки еще терялись в мглистой тьме — в той стороне был север.

Я ежедневно видел этот угрюмый ландшафт и давно к нему привык. Но сегодня меня неожиданно поразило его сходство с тем, который покойный художник взял фоном для своей жестокой картины. И я остановился, вглядываясь в горный пейзаж впереди, знакомый и в то же время почти призрачный в утреннем тумане. Я знал, что повсюду здесь протянулись бесчисленные лагерные кладбища. Только мертвецов, что лежат вон под той сопкой, хватило бы, наверное, чтобы уставить крестами распятий, символизирующих их судьбу, все ближние горы до самого горизонта. А там новые кладбища и новые рощи крестов. И так по всей территории необъятного Колымо-Индигирского района «особого назначения». Мрачная аллегория Бациллы и полупризрачный пейзаж впереди, реальное и воображаемое, сливались в моем представлении — сказывалась усталость, особенно сильная в такие вот предутренние часы. Я почти видел лес распятий, уходящий в темную даль.

— Ты что, падло, уснул на ходу, что ли?

Ко мне с монтерскими крючками за спиной приближался мой напарник по дежурству. Он был опытный линейный электрик и неплохой товарищ, но страдал избытком того, что принято называть ответственностью. Он вечно боялся недостаточно быстро поспеть на вызов или устранить повреждение недостаточно надежно и хорошо. Как будто получал за это бог весть какое вознаграждение, а не полуголодную «птюху». Вот и сейчас занудливый мужик накинулся на меня с бранью:

— Ты шакалил на поселке или припух? Целый час жду...

— В чем дело? — спросил я, проводя по глазам рукой, как будто и в самом деле спал.

Оказалось, вызов с рудника — обрыв на линии к террикону. На руднике есть свой монтер; но один он с аварией справиться не может.

— Айда, пошли быстрей! — И усердный ревнитель начальничковых интересов энергично зашагал в том направлении, откуда я только что пришел.

Рудник был расположен на склоне сопки, замыкавшей распадок с другой стороны. Я с трудом поспевал за добросовестным работягой, все еще не вполне освободившись от охватившего меня наваждения. Но по мере того, как становилось светлей и местность принимала свой обычный прозаический вид, оно рассеивалось — и вскоре исчезло совсем. Обыденными становились и мысли. Понемногу я стал думать о том, что обрыв проводов на линии к террикону — авария довольно неприятная. Опоры там не врыты в грунт, как следовало бы, — пожалели взрывчатки для ям, — а просто поставлены на попа и привалены невысокими кучами камней. Поэтому они часто падают и от ветра, и под тяжестью взбравшегося на них человека. Линейщикам нередко приходится проявлять почти цирковую сноровку, чтобы не очутиться под рухнувшим столбом.

Я думал, а дадут ли сегодня на завтрак в лагере обещанные вчера полселедки? Дизелисты, те получают селедку почти каждый день. И хлеба на целых двести грамм больше, чем монтеры. Жаль, что я не могу стать машинистом дизеля, как один из заключенных-инженеров здешнего лагеря. Инженер, правда, до ареста был конструктором двигателей именно этого типа...

Пока человек жив, проза жизни неизменно берет верх в его сознании над самыми убедительными пессимистическими выводами, как бы ни были они выражены: языком философии или посредством символов изобразительного искусства. И это, наверное, справедливо. «Пусть мертвые думают о мертвом...»

Священник ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ



В САНИТАРНОМ ПОЕЗДЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ДВОРЯНСТВА

Заметки и впечатления

Поездка отца Павла Флоренского с санитарным поездом в 1915 году напрямую связана с его служением в Мариинском Убежище сестер милосердия Красного Креста в Сергеевом Посаде, основанном великой княгиней (инокиней, мученицей, ныне канонизированной) Елизаветой Федоровной в 1911 году. Назначением этого благотворительного учреждения было попечение о престарелых и нетрудоспособных сестрах милосердия. Первым и единственным настоятелем домового храма св. Марии Магдалины — по приглашению Елизаветы Федоровны — и стал с сентября 1912 года отец Павел. В 1913 году при Убежище была открыта амбулатория — в память убиенного революционерами великого князя Сергея Александровича; там оказывалась посильная медицинская помощь местному населению.

В свою очередь, на ее базе в наступившее военное время здесь был развернут тыловой лазарет. Так в паству отца Павла попали раненые солдаты. (Ценные свидетельства об этом — в письме Флоренского В. В. Розанову, процитированном последним в статье «О нашем христолобивом воинстве» — «Новое время», 1914, 3 декабря; «В чаду войны». Пг. — М. Изд-во «Рубикон». 1916.)

По инициативе Елизаветы Федоровны (августейшего шефа 17-го гусарского Черниговского полка) в начале 1915 года был снаряжен военно-санитарный поезд № 234 имени Черниговского дворянства при Общедворянской организации помощи больным и раненым воинам. Отец Павел был командирован «для исполнения пастырских обязанностей при походной церкви санитарного поезда Черниговского дворянства», но одновременно — и санитаром.

Поездка была сугубо добровольной; длилась она с 26 января по конец февраля 1915 года. В течение всего этого времени отец Павел вел особую дневниковую тетрадь, на титуле которой обозначено: «В санитарном поезде Черниговского дворянства. Заметки и впечатления. 1915», а также писал письма домой семье. Это небольшой по объему, но чрезвычайно содержательный свод материалов, где историко-бытовые подробности спаяны с художественно-философскими интуициями.

Тексты подготовлены: «В санитарном поезде...» — игумен Андроник, С. Л. Кравец; «Из писем...» — П. В. Флоренский, А. А. Санчес; «Слово перед панихидой...» — игумен Андроник, С. З. Трубачев.

Все тексты публикуются впервые по рукописям из Архива священника Павла Флоренского.

Игумен Андроник (Трубачев).

Продолжаем публикацию творческого наследия отца Павла Флоренского. См. художественный очерк «Упырь» — «Новый мир», 1995, № 10.

© Центр изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского — Архив священника Павла Флоренского.

1914.XII.31. Лазарет Красного Креста. Сергиев Посад.

Перепис<ано> 1915.II.8. Санитарн<ый> поезд.

Солдаты поют. Горит елка. Но мне грустно и хочется плакать.

Удивительно: чем веселее и шумнее кругом меня, тем мне грустнее и тем кажутся более грустными внутренне все окружающие.

Чем разгульнее все кругом, тем отрешеннее душа от всего земного. Человеческому не свойственно веселие — он и грустит при веселии, не свойственен разгул — он и делается от вида разгула более далеким всему.

Вслушайся в веселую песнь, и на дне ее услышишь глубокую скорбь. Вслушайся в погребальные напевы — и найдешь на дне их радость.

Скорбь и радость перемешаны. Не знаешь, что где найдешь, где что потеряешь.

Кабачкиные песни — в основе своей бесконечно тоскливые, щемящие сердце. Порою они напоминают сдавленные рыдания. Не без причины же русские, лишь только выпьют, так легко переходят к слезам.

1915.I.24.

ЧТО НАДО НАПИСАТЬ

1

Освобождение *церковное*. Невозможно<е> обычно делается доступным и реальным. По городу хожу с антиминсом на груди, со св. миром в руках, и чувствую *себя* церковью. Не храм, не стены, а живое существо, живые существа <—> носители церковности. Многие требования приходится нарушать, но совесть спокойна и ясна. Вот она, христианская свобода! Древнецерковное ощущение *себя* носителем благодати. Избавление от ханжества, условностей, приличий, привычек. *Расторжение пут* — и «жизнь жительствоует».

2

Поезд, стоящий в снегах, за Рогожской заставой, далеко от людей. Ощущение оставленности миром и мира. *Вне мира*. Но зато сын Божий. Хоть и блудный, но сын. Сиротливость. Постукивания в водяном отделении каких-то клапанов среди полной тишины лишь усиливают чувство тишины: постукивает *что-то* резким металлическим звуком, и знаешь, что это не человек, не живое существо. Шорох ветра в отдушниках. Переключки паровозов. Лай собак отдаленный. Редкие звуки, возмущающие, как бы ранящие тишину, но они лишь подчеркивают.

Теперь сбрасывают *дрова*, и звук их *густой*, сметанный.

3

Менониты-санитары¹ — олицетворение закона тождества, а наши интеллигенты, скорее, закон достаточного основания. Война открывает душу солдата, в которой — преодоление антиномии того и другого: в ней «свет истины». Менониты самодовольны и тупо стоят на данности; интеллигенты вечно мечутся и никогда ничем не довольны. Солдаты же, очищенные страданием, выше того и другого, не мечутся, но и не тупы; не стоят на месте, но и не летят в пустоте. *Действие* моего повествования будет, очевидно, идти на оттеняющем фоне менонитов. Это милость Божия, что они нам посланы, — как *рамка*,

¹ Менониты — последователи одной из разновидностей баптизма, проповедуют непротивление злу насилием. (Примеч. ред.)

чтобы я лучше видел душу русскую и не дружил с поездными, а тяготел ко внешним, к солдатам. Темная *рама* для светлой картины.

А кроме того, менониты необходимы, чтобы солдаты раненные более обращались к нам душою и более были нам рады.

1915.II.10. Поезд.

Разговор с доктором, Феофаном Александровичем². Он утверждает, что солдаты недовольны, мы (т. е. Прасковья Анатольевна, Вера Дмитриевна, отчасти Александр Константинович³ и я) — обратное. По его мнению, у них нет подъема, а по нашему...

Как различно воспринимается действительность разными людьми.

ПИСЬМО СТУДЕНТУ I К УРСА М. Д. А.⁴ И. ДОНЦУ

1915.I.29⁵.

За две версты от Белостока.

Дорогие друзья! Под пение нашего санитарного отряда, под свистки паровозов, среди окликов и перекликов воинов, рассаживающихся по поездом, пытаюсь, довольно неудачно, читать Ваши семестры, но более думаю о Вас, чем о Ваших работах.

Тут, у нас, не происходит ничего особенного. Но в воздухе разлито тончайшее веяние Смерти, и какая-то торжественная жертвенность чувствуется в бегущих с чайниками или скопом перебегающих из поезда в поезд солдатах. Они неказисты на вид. Одеты кое-как; неуклюже и уж совсем не «по-военному» влезают они на подножки вагонов. Нельзя сказать и о воодушевлении, о приподнятости их речей. Но за всем этим видится общая, не личная, одухотворенность и нравственная сила, — видится за ними то, что я не умею назвать иначе, как *Ангелом* народа русского.

Эти мелкие и слабые впечатления учат едва ли не более, чем крупные и резкие: научаешься вообще понимать жизнь в ее глубине, в ее корнях.

1915.II.4 — 5. Ночное дежурство. Санитарный поезд.

Подошел к солдату на койке № 11 в теплушке 6-й. На мой вопрос о ране он отвечал приблизительно следующим рассказом:

«Рана-то ничего, заживает. Только вот, видно, я простудился, живот и поясница болит. Как стали из окопов наступать на германцев, они меня ранили... Я пополз к ним и кричу: примите меня к себе в окоп. А они махнули рукой: «Не нужен, мол, ты! Ползи к себе, мол, в свой окоп». Разговаривать со мною им нельзя. Я тогда кричу им: «Вы не стреляйте!» Они дали знать: не будем. Я пополз к своим. *Видно, детки малые Бога умолили*».

1915.II.4 — 5. Ночь, на дежурстве.

Разговор с воронежским крестьянином из запасных. Вздыхает о замирении и о прекращении войны. Вздыхает: как-де мы слабы, а германцы сильны, как у нас все плохо. Уж лучше-де помереть, чем жить калекой. «Смотря с какой совестью помереть», — говорю я. Но мой собеседник отвергает это ограничение. Он с жаром доказывает, что Бог не взыщет грехов с крестьянина, т. к. мужик трудится всю жизнь. На мое указание, что трудятся не одни мужики, он опять отзывает

² Пашкевич Феофан Александрович — старший доктор. (Здесь и далее примеч., кроме оговоренных, публикатора.)

³ Рачинская Прасковья Анатольевна, Языкова Вера Дмитриевна — сестры милосердия; Рачинский Александр Константинович — уполномоченный поезда от Черниговского дворянства.

⁴ Московской Духовной Академии. (Примеч. ред.)

⁵ Расположение записей соответствует оригиналу.

ется с недоверием и полагает, что городские жители все очень обеспечены и не имеют ни горя, ни забот. Все твердит о земле: «Вот как бы ее разделить». Все мысли его в пределах земного, трансцендентная оценка жизни чужда его душе; весь он пропитан запахом трехкопеечных брошюр о свободах и т. п.

6-го февраля 1915 г. Санитарный поезд.

Возвратившись после обыкновенного ночного дежурства (с 3-х часов), в 9-м часу утра сажусь, как всегда, за чай и спешу занести несколько записок. Этот утренний час — единственное время, когда можно что-нибудь записать; — в иное время совершенно недосуг.

Возвращаюсь после разговора с одним запасным, воронежцем. Кстати сказать, весь наш поезд почти сплошь состоит из воронежцев — это все старобельцы и богучаровцы, два полка, участвовавшие в сражении с 20-го на 21-е января. Полки жестоко пострадали. Их-то обрывки мы везем в Пет-роград.

Запасной, с которым я говорил, — красивый, с правильными чертами лица блондин. Он рассказал мне свою жизнь. Осталось после смерти матери их при отце двое братьев. Отец женился на другой и имел от нее еще троих мальчиков. Мачеха оказалась настоящей мачехой. Стали пить: и отец и его вторая жена. Старшего сына, — того, с которым я разговаривал, — взяли на военную службу. За время его службы отец с мачехой пропили все, когда-то хорошо поставленное и даже богатое, хозяйство. Вернувшись со службы, старший сын увидал весь дом расстроенным. Старшие сыновья старались удержать отца от пьянства, старались вновь поставить хорошо свой родной дом. Они предлагали отцу зарабатывать ему деньги — 70 рублей в месяц, вдвоем нанимаясь у колониста-немца, лишь бы отец перестал пить. И делали так. Но отец напивался и гонялся за сыновьями с ножом, требуя денег на водку. «Я плакал, зарежет ведь. А с отцом не будешь драться», — говорил опять чуть не плача и с глубокой скорбью мой запасной.

После всех попыток решили два старших брата отделиться. Отец выпустил их из дому с голыми руками и без копейки. Тогда с моим запасным поселились еще бездетный свояк, из казаков, по ремеслу портной. Сестры, жены их, жили дружно. Казак портной зарабатывал иглой и вел хозяйство, а мой знакомец работал у немца и быстро стал на ноги, построил себе и своим избу, купил лошадь и корову. Но тут его захватила война.

Он кротко, безропотно, с полным смирением принимает все, но в то же время в нем нет беспечности: ясность в соединении с сознанием неудач жизни. И слушать его трудно было без слез. Он мало надеется на победу, т. к., по его словам, немцы уклоняются от штыкового боя, а пулеметы у них в таком количестве, что против них ничего не сделаешь: так и косят. Но, несмотря на отчаяние, он все твердит: «Видно, такова наша участь...», т. е. сражаться и гибнуть; но ни слова он не сказал о прекращении войны, о ее ненужности, даже о мире. Я не мог удержать глаза от влаги, когда он описывал гибель своего полка — смерть семисот человек. Немцы так и косили, все пулеметами.

Этот запасной и сам ранен, а кроме того, страдает ревматизмом. Болен он был и ранее тем же, но врач не обратил внимание на его болезнь. Сильно же заболел он, пробыв целые сутки в воде, стреляя из окопа. Но не столько о себе он беспокоится, как о том, что запасные, все же более опытные, по его словам, исчерпываются, а молодые солдаты робки, после нескольких выстрелов пугаются и на штыки идти не способны. Он боится, что далее войска наши будут гораздо хуже прежнего.

Дома у него осталась жена и трое детей — 7-ми лет, 3-х и 1-го.

Идешь утром по теплушкам. Кто улыбается, кто просыпается. В углах стоят человеки и истово крестятся. Лица их и глаза полны непоколебимой веры и искренности. Нет в этих душах лукавства и двойственности. Но цель-

ность души сверху иногда прикрывается легкой хитрецей. Эти лица, после сна, в утреннем освещении снегом так убелены и просветлены, что сам омываешься внутри, бросив на них беглый взгляд походя. Душа умиляется при виде них.

Прасковья Анатольевна — милая женщина. Суетится, бегает (часто без нужды), от волнения моргает глазами и подергивает головой. По близорукости сунется то туда, то сюда, сразу не находя чего нужно, и всегда в движении. Душа ее вероятно чистая и открытая. В ней серьезность отношения к жизни и простота; при большой внутренней культурности совсем нет декадентства. Но о других сестрах этого не скажешь. Поверхностность, галдеж, развязность. Курсистки как курсистки. Стоит собраться двум-трем, чтобы затрещали как сороки, заглушая все и всех, — даже все побеждающий стук поезда. У них, в полную противоположность Прасковье Анатольевне, не чувствуется ни умственной культуры, ни интересов.

1915.II.9. Поезд.

За умыванием сказалось во мне, как это иногда бывало изредка и ранее, — сказалось помимо моего желания:

Все на свете чепуха,
Кроме только Бога.
Не к Нему, — так в пустоту
Всем одна дорога.

1915.II.9. Санитарный поезд (по поводу разговоров с Вл. Н. Тихомировым).

Интеллигенция в сущности происходит из семинарии, и *идейно* и по большинству своих деятелей (сделать подсчет нигилистов-семинаристов)⁶. И, взглядевшись в интеллигентщину, опознаешь в ней все скверные черты семинарии. Интеллигентщина — это та же семинащина. Доктринальность, пренебрежение конкретным, вечное (посему) недовольство тем конкретным, которое окружает, неблагодарность к жизни, рационализм, ложный пафос, разговор по хрие⁷.

Но положительного семинарии интеллигенция *не* усвоила и справедливо может быть названа *отбросом семинарищины*.

Первый русский интеллигент, первый нигилист и революционер — это *Петр Великий*. Это он насадил у нас дух критиканства, дух неуважения к исторической данности, вкус к американизму, привычку расправляться (когда можно, делом, а когда нельзя — хотя бы в разговорах) с историческим укладом по своему благоусмотрению и делать «преобразования» Церкви, государства, быта по линейке. Но Петр тоже вкусил семинарищины — от Симеона Полоцкого, да еще паки семинарищины — от лютеран и разных протестантских сектантов. А что такое все протестантство, как не одна громадная семинарищина?

⁶ В тетради «В санитарном поезде...» сохранились две черновые записки Флоренского, относящиеся по содержанию к данному месту:

1. «Добролюбов,
Чернышевский,
Скабичевский,
Благосветлов <?>,
Надеждин».

2. «Духовные семинарии и искусства <на тему об участии семинаристов в литературе. NB. Перечень имен, подбор большой Интеллигенция и семинария> (стр. 302 — 315. 1 июня 1903 г. XVII, № 11, Костромские> Епарх<иальные> Вед<омости>)».

⁷ Строка не закончена, в рукописи оставлено чистое место.

Хри я — обработка литературной темы по особому установленному плану, включающему: вступление с похвалой автору; объяснение сюжета; развитие сюжета, контрасты для лучшего выяснения и т. п.

1915.II.9.

Рассуждают: нельзя-де курить солдатам (раненым) в общих палатах, это-де портит воздух и проч. А сами дымят со всех сторон в столовой, на кухне, в коридорах, в теплушках с ранеными, в операционной, чуть что не в церкви. От этого едкого дыма, несравненно более ядовитого, чем солдатский, все время болит горло, кашляешь, насморк сильнейший, голова несвежая. Сидят и дымят, и дымят, и дымят, ироды.

Удивительное дело. Чем кто грешит, тем и попрекает других. Розанов⁸ и Глаголев⁹ — вот люди наиболее порицающие всех. Вообще, если бы я стал слушать каждого из своих друзей, то должен был бы поссориться со всеми остальными, ибо каждый наговаривает на всех прочих. А сам не подозревает, что другие наговаривают на него. Я же могу не видеть слабостей каждого, но всех люблю. Что же мне делать?

1915.II.8. [?]

Нет, людей-то я люблю, но очень не люблю их дел.

1915.II.10. Поезд.

Мой Владимир Николаевич¹⁰ все побуркивает, как дразню я его — «наводит критику мироздания». То недоволен, что долго не едем, то жалуется, что мало стояли в Петрограде. То ворчит, что не сразу ушли, как только приехал поезд, то выражает неодобрение, зачем уходим. Сегодня у нас перегорела у вагона ось. Владимир Николаевич с утра и ворчит: что не смотрят за осью, что захвалили Сабанина (поездного механика). И мне досталось за то, что я когда-то похвалил его *лицо*. Одним словом, вся жизнь воспринимается Владимиром Николаевичем под углом бурчания и протеста. Таковы вообще интеллигентские настроения.

Но какая глубокая разница от настроений солдатских. Сколько страдали, терпели, мучались! И ни слова протеста, ни буркотни, ни ворчания, ни брюзжания.

1915.II.16.

Сегодня. Мои ожидания — куда ехать. Волнения, «бунт из-за жалования». Ольга Васильевна¹¹, Екатерина Александровна¹². — Сначала мне показалось, что это нехорошо, но, вдумавшись и узнав, что Ольга Васильевна все свое жалование отправляет семье, содержит трех братьев учащихся и что об этом *знает* Александр Константинович, я в душе стал на ее сторону. Вот дворянство: сколько внимания ко всем и в то же время невнимание в том, чему должно внимать. Хвалили Ольгу Васильевну; но не заботятся.

1915.II.20.

По поводу наших сестер. Хохлушки, сдобные, нежно-розовые, с белыми зубами, с «роскошными формами» (!) — и какая-то бездушность, неглубокость. Невольно сопоставляешь их с Прасковьей Анатольевной. Та серьезна, вдумчива; у этих хи-хи да ха-ха, не сердечное, однако, а *внешнее*, физиологическое. Гоголевские Ганны, Оксаны, Роксаны; «улыбка, как...; зубы, как...; глаза, как...», тьфу, и больше нечего сказать. Души у них не хватает; вот мертвые души. — Северная женщина одухотворена и глубока сравнительно с южнорусской. Южнорусская *внешне* — поэтична, но только «телеса», а одухотворен-

⁸ Розанов Василий Васильевич — писатель, друг П. А. Флоренского.

⁹ Глаголев Сергей Сергеевич — профессор Московской Духовной Академии. Семьи Глаголева и Флоренского были дружны.

¹⁰ Тихомиров Владимир Николаевич — санитар.

¹¹ Гаврилова Ольга Васильевна — младший доктор.

¹² Стефанович Екатерина Александровна — сестра милосердия.

ность, внутренняя жизнь досталась на долю северной женщины. Хохлушка — женщина без нравственной биографии.

[1915.IV.8. Великороссы в душе презирают малороссов, считая их внешними и бестрагичными; малороссы не любят казаков, видя в них формализм и сухость. Великорусская натура несет в себе антиномию *крови* — финско-татарской и славянской. Отсюда трагичность, отсюда беспредельные порывания степной кочевнической природы, сужаемые упорядоченностью западных начал. Природный анархизм может быть сдержан лишь железными удилами. Отсюда сдержка изнутри — обрядоверие и ригоризм, сдержка снаружи — бюрократизм и любовь к государственности. Идея свободы чужда нам: мы знаем лишь волю и дисциплину. Напротив, южнороссы гораздо цельнее любят свободу и знают меру. Тогда как для нас невозможно что иное, кроме как самодержавие, для них возможна и республика; да она и была уже — Сечь, Новгород, Псков. Но они близки к полякам. Мы боимся католицизма и в то же время тянемся к нему. Они же внешне дружат с ним, а изнутри ненавидят и никогда ему не подчинятся: для этого они слишком свободолюбивы]¹³.

Вчера стояли в Барановичах, как говорят одни, или в Барановичах, как говорят другие. Тут *ставка* (штаб) главнокомандующего. Ночь, бесчисленные электрические фонари. Множество поездов, большей частью воинских, ожидающих дальнейшего назначения. Доносится со всех сторон пение. Солдатам весело. Спроси одного, спроси другого — не грустно ли ему? «Нет, все решено. Ко всему приготовились». А в тоне слышится глубоко забитая грусть. Видно, им скучновато. Ходят с места на место или сидят в вагонах. Стоит заговорить с одним, чтобы сбежалось со всех сторон несколько десятков; жадно прислушиваются ко всякому разговору. Особенно охотно сбегаются, когда заведут разговаривающей кого-нибудь из сестер.

1915.II.20.

Солдаты не говорят «убить» про войну, а: «поразить». «Он меня хотел поразить, а я его тут и поразил».

Пуля ищет, кого поразить. Летит и ищет. Иной совсем не бережется, и ничего. А другой все хоронится, а пуля его сыщет.

Местности с какими красивыми названиями:

Червонная Нива,

Червонный Бор.

Золотая Липа.

1915.II.20 — 21. Ночь. Дежурство.

В каждой теплушке свой запах. В каждой и свое настроение. В одной все глядят приветливо, в другой — отчужденно; в одной почтительны, в другой показывают себя независимыми. В одной жаждут поговорить, а в другой отмалчиваются.

За рейс впечатление индивидуальности очень определенно устанавливается. Замечательно, что и температура в теплушках в каждой своя, свой воздух, свои нравы. Есть теплушки религиозные, есть индифферентные и, как мне чувствуется, затаенно враждебные к Церкви. Есть теплушки простодушные, есть «сознательные». В одних теплушках чувствуется фабричный дух, в других же, в большинстве, — крестьянский. В одной из теплушек я держал сегодняя ночью целый диспут о *виноватости*. Обвинения начальства во всем и восхваления солдат, также во всем; начальства нет у нас, слишком мало. Началь-

¹³ Позднейшая вставка.

ство перебито все, и, как назло, стóбит только появиться новому поручику, как его подстрелят наповал или ранят. А с другой стороны: «начальство прячется все, боится смерти, только нас бьют, а начальство сидит где-то, а мы и не знаем, что делать...» [Или, как сказал кто-то, «мы сражаемся, а офицерá пьют чай в Варшаве».]

Начальство, начальство... Но тут же, по наивности, солдаты (из фабричных) сами проговариваются. Пища хорошая, но кашевар, чтобы не идти под выстрелы, вывалит котел в поле, а потом говорит: «Я снес». Я стал спорить с этими солдатами, выслушав все их жалобы, и заставил их сознаться, что если уж говорить о винах, то о винах всех и каждого, что все мы виноваты в непорядках нашей жизни.

Есть жалобы и справедливые. Один жаловался на отчаянное содержание в Варшавском военном госпитале (2-м). Нет ни каши, ни мясной порции. Подают какой-то жидкий супец-жижицу...

Жаловались, что на просьбы о лечении им говорили там: «Пуля вас вылечит».

«Тут истекают кровью, — рассказывали про один из варшавских госпиталей, — стонут, умирают, а сестра велела завести веселые песни на граммофоне. Мы говорим: что Вы, сестрица, теперь пост, надо Богу молиться, чтобы даровал нам победу, а мы тут песни играем...» — «Ну, какой пост; послушаем песни, станем веселее, чтобы победить...» А какая, заключали солдаты, какая победа без Бога!

Или вот речи другого: «Я старался, заслужил Георгиевский крест и унтер-офицерские нашивки. А теперь ранен, и мне не дают повидаться с женой и детьми. Мне надо в Смоленск, а меня, мимо Смоленска, везут в Москву. Я согласился бы так, с раной, ехать снова прямо на позиции, лишь бы только позволили повидаться с родными. Я не бегу от службы, но зачем меня удерживают, когда я не нужен для службы...»

Что сказать на эти кроткие жалобы?

1915.II.21. Санитарный поезд. Ночное дежурство.

На поезде движешься только назад и вперед. Встреча с каждым неминуема. Превращаешься в существо одного измерения, не знающее ни вправо, ни влево, а лишь вперед и назад. Да, мы существа с одною степенью свободы, выражаясь механически.

Рейс за ранеными тянется как одна сплошная ночь. Рейс с ранеными — один сплошной день. Туда — все отсыпаются и отъедаются; назад — бодрствуют и худеют.

Пространство и время перестают иметь обычный смысл в поезде. Все исчисляется теплушками и ранеными, номерами вагонов и номерами коек. От столовой до теплушки 28-й или до 4-го класса — это «далеко», но от Варшавы до Москвы или от Седлеца до Петрограда — близко, или, точнее, самого вопроса о дальности или близости здесь не может возникнуть. Пространство — там, где есть усилие его преодолеть, усилие хотя бы психическое. Но *наше* усилие, в поезде, направлено на обход теплушек, на преодоление длины поезда, а вовсе не на преодоление промежутка Варшава — Москва, каковое делается совершенно помимо нас. Точно так же и время теряет свою обычную расчлененность на дни и ночи и расчленяется лишь нагрузкою и разгрузкою раненых. Время *свое* у нас и пространство *свое*. Поезд, это сомкнутый в себе мир со *своим* пространством и *своим* временем.

Нормальным делается движение, и ненормальным — стояние. Когда поезд стоит, спрашиваешь, в чем дело. А когда идет, то ничего не спрашиваешь и принимаешь это как дело естественное.

Делается непонятным, как люди живут в домах, которые не передвигаются.

Ходьба, движения рук и всего тела делаются более твердыми и уверенными, когда поезд движется, и менее твердыми и менее уверенными — когда он стоит, ибо приспособляешься к движению.

1915.II.21. Санитарный поезд.

Подъезжаем к Полоцку, где должны высадить человек 80 сравнительно легко раненных, чтобы не отвозить их далеко от позиций. В одной из теплушек сидит уже одетый в шинели и шапке солдат с приятным мягким лицом. Остановился. Кто-то спрашивает: «Батюшка, скоро окончится война?» — «Это Вам лучше знать, чем мне, — отвечаю я. — Когда победите немцев, тогда и кончится». — «Нет, Вы, может быть, слышали что...»

Заговорили о Германии, о том, что если трудно взять ее силою, то, может быть, Бог даст взять измором и т. д. Обращаюсь к солдату: «А Вас ссаживают?» — «Точно так». — «Откуда Вы?» — «Рязанец». — «Вам бы в Москву, все ближе к Рязанской губернии». — «Точно так; что же делать». — «А какого уезда?» — «Спасского, села <...>¹⁴». — «Запасной?» — «Точно так». — «А какого года?» — «1909-го. Только что вернулся с действительной службы, стал на истинный путь, женился, а тут снова пришлось идти. Чтó же делать...» (NB: жениться это равносильно: «стать на истинный путь». Мне вспоминается тут, как кого-то крестьянин осуждал: пьет, да еще холостой.) «Ну, дай Бог Вам благополучно вернуться». — «Батюшка, благословите меня...» Я благословил и тут вспомнил, что в этой теплушке не давал книжек. Тут мы подъехали к Полоцку.

Я: «Пойдемте во 2-й класс, я хочу дать Вам иконку». Пошли. Дал ему Евангелие, Молитвослов и иконку. Он искренно поблагодарил. Мы простились и поцеловались. (Раньше, по дороге в наше купе, я ему объяснил, что рад видеть рязанца, т. к. у меня жена из Рязани.)

В рязанцах (— я это давно замечал, но теперь лишь, пропустив пред собою много солдат, убеждаюсь твердо —), в них есть что-то исключительно приятное: мягкость и доброта, но без хитроватости и без «себе на уме» хохлов, достаточная подвижность темперамента, какая-то всасывающая ласковость, но не слащавость. Это лучше всего пояснить как женскую природу рязанцев: не без причины же рязанские бабы всюду считаются особенно сладкими, хотя они вовсе не самые красивые. Нет, но в их поле есть тó же самое кроткое, мягкое начало; оно же есть и в мужчинах.

Рязанство — полная противоположность жесткости и сухости. Оно волнует. Рязанский народ самый приятный. Но он же и бесхарактерен. Да, солдата звали Михаилом...

Разговаривал с нефритиком из Смоленской губернии, в то время как ставили ему с Прасковьей Анатольевной банки. Вот его история.

Незадолго до мобилизации «громом убило» его жену. Молния ворвалась в хату, в полуоткрытое окно. Поразило жену, минут пять был у нее пульс, потом скончалась. А его самого оглушило. Двое детей — две девочки остались на попечении сестры его, *одноногой*. От потрясения сам он заболел нефритом. Сюда присоединилась еще простуда. Он весь отек, раздулся. Отчаивается, излечима ли его болезнь. Он просится в Смоленск, но устроить это нельзя. Проезжаем чрез Смоленск, где его дети, а едет в Москву, чужой город. Утешал я его, что в Москве будут лучше лечить; но и сам-то не очень верю утешению. Ставили ему с Прасковьей Анатольевной банки.

¹⁴ В рукописи оставлено чистое место.

1915.II.21.

Проходная теплушка очень поэтическое устройство, особенно ночью. Одни крепко спят, другие сидят. Кто курит, кто беседует. Ярким пламенем горят дрова, распространяя уют и что-то бивуачное. В теплушке есть *центр*, и это придает ей какую-то архаическую семейность. И, все согласны, совсем не так в четвертом классе, где нет центра. Там лишь простая последовательность.

Миром веет от теплушек. Кто рассказывает сказки, кто читает Евангелие, кто греется у огня и тихо беседует с соседями.

Удивительна внутренняя твердость и закаленность солдат, даже молодых, 1914(?) года. Рассказывают о смерти и гибели с лицами бесстрастными, скорее твердыми, без малейшего нервного напряжения. Это не холодность, но мужество. Один рассказывал, как из Бзуры одного потонувшего солдата он вытащил, как другой упал, но его не могли вытащить, он так и замерз. Или как окопы были не *из земли*, а *из людей*. Рассказывают о телах, которым предстоит разлагаться, и ни малейшего следа <...>¹⁵ ни малейшей нервности. Но если бы это была бесчувственность, то откуда доброта, отзывчивость даже ко врагам. Никто не разыгрывает бесстрашных, и на вопрос о том, страшно ли было, большинство отвечает, что сначала-де страшно — «как же не страшно!», и смеется. Особенно¹⁶

1915.II.22 — 23. Ночное дежурство. Санитарный поезд.

Люблю я ночные дежурства. Днем суетливо, шумно, неглубоко. Ночью же в теплушки нисходит глубокий мир. Все интеллигентское отходит в сторону, все спят. Несмотря на стук поезда, все исполнено теперь внутренней тишиной. Подойдешь к какому-нибудь «тяжелому» (т. е. больному или раненому), покрестишь его, немного помолишься за него. Если кто проснулся, обменяешься двумя-тремя словами и пойдешь далее.

В одной теплушке атмосфера гниющего и разлагающегося гноя, в другой — лекарств, в третьей охватывает приятный сухой жар ярко горящей печи и печной дымок с солдатским куревом. Не вынося табака вообще, солдатский табак я не воспринимаю так с неприятностью, и, пожалуй, даже он мне нравится.

Переходишь из теплушки в теплушку. В белом халате и в черных перчатках и черной скуфье кажешься негативом себя самого. В левой руке наготове электрический ручной фонарь, который приходится зажигать ежеминутно — то открыть дверь, то посмотреть температуру на термометре, то узнать номер теплушки или койки, то осмотреть раненого. При этих фонариках делаем всё, и даже при операциях и перевязках приходится освещать раненое место фонариком. Через плечо — довольно большая сумка с медикаментами, перевязочными средствами, термометрами, спиртом для мытья рук и т. д. В правой руке — весьма часто, — хотя по большей части днем, а не ночью, тяжелая корзина с книгами для солдат, листками, почтовой бумагой и конвертами, карандашами, разрезанными пополам, нательными иконками и крестиками, освященными кольцами с молитвою и проч. Одни из книг предназначены для временного пользования, а другие — для раздачи: раздаю Евангелия, псалтыри, молитвенники.

Приходится открывать множество дверей: ведь у каждой теплушки их *четыре*. А т. к. запоры у дверей плохи, то перчатки непрестанно рвутся и их не хватает даже на один рейс, причем прорывается прежде всего указательный палец правой руки — это у меня, — а у других — иначе, смотря по манере открывать двери. Двери захлопываются пружинами, приходится держать их лок-

¹⁵ Пропуск в рукописи одного слова.

¹⁶ Пропуск в рукописи.

тами, особенно когда идешь нагруженный склянками и инструментами. Словом, на поезде работаешь всеми частями тела.

Теплушки — антигигиеническое учреждение. Поэзия и гигиена едва ли когда уживаются под одной кровлей.

Часа в три ночи солдаты начинают просыпаться. Кто потягивается, кто греется у печки или подкладывает дрова...

[1915.VI.11 — 12, ночь. Сергиев Посад.

На бульваре сидит солдат, у него на коленях Даша, нянька Дубровиных. Эта Даша была когда-то в монастыре, потом, когда о. Дмитрий¹⁷ уезжал из монастыря, где был священником, уехала с его семьей и она, но жила все время по-монашески, очень скромно, сидела дома. Кавалерами она не прельщалась. А теперь вот, под старость лет, увлеклась солдатом, и, очевидно, до потери стеснительности...

В этом влечении женщины к военным есть большой смысл. В сущности, подлинное влечение — не к военным вообще, не к военным как к людям известной профессии, а к военным в их актуальности, — к людям, совершающим поход. Муже-женское влечение всегда имеет в себе оттенок чего-то вульгарного. Безусловно же *вне* этого оттенка оно делается лишь при вступлении сочетающихся в полосу Смерти. Пред лицом смерти в них открывается что-то вполне дозволенное или даже должное. Точнее. Не самое сочетание, а влечение в его высшем напряжении получает какой-то особый смысл. Мужчина, добровольно идущий на смерть, мужчина, полный сил и вот-вот имеющий умереть, должен быть непреодолимо привлекателен для женщины. Самая смерть такого мыслится как брачная ночь — с землею. Вот почему в женщине тут говорит и зависть, и ревность, и боязнь навеки упустить возможность близости, и жалость к имеющей прелиться чаще сил.

Есть и иной случай, где говорит едва ли не *то же* влечение. Это — монашество. И тут мужчина умирает, по крайней мере в половом смысле; и тут он навек теряется для женщины. И тут он полон сил, но вот-вот станет или уже стал трансцендентен для пола, вне сферы пола, вступил в брак с иными сферами, чем женщина. И тогда начинается непреодолимо хотеться его. Начинается влечение к нему. И тут женщина теряет свой естественный для нее стыд, преодолевает свою робость и буквально или метафизически садится на колени монаху. Там, где граница пола, где начинается трансцендентное ему, там снимаются все условия полового общежития, все привычные формы обычной жизни и начинается исступленное требование пола, пренебрегающее всеми сдержками...

Вот еще пример, показывающий связь Смерти и Любви.]¹⁸

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Из писем священника Павла Флоренского семье¹⁹

Москва. В постели. 1915.I.20. Ночь.

Миленькие мои птички, мамик и детки! Получил Ваше письмо, и обрадовался ему, а иконку и поясок ношу на себе. Не скучайте, мои гульки, будьте веселы и здоровы. Не сердитесь на своего папу за то, что он уехал, хотя и все остается с вами. Приехал он оч^{<ень>} неудачно, только в 5 1/2 часов (!) вечера

¹⁷ Вероятно, протоиерей Дмитрий (Багрецов), благочинный Дмитровского округа.

¹⁸ Позднейшая вставка.

¹⁹ Публикуемые фрагменты писем нуждаются в дальнейшей научной обработке. (Примеч. ред.)

в Москву, мешали заносы, так что за 6 верст от Москвы поезд стоял часа 2 и был вывезен совместными усилиями *двух* паровозов. Затем еще неудача. Оказалось, что поедем только 24-го, т. к. поезд все устраивается. Но мне дела оч^{ень} много. Сегодня целый день бегал по городу, добывал св. антиминос и св. миро. Носил их на себе и при себе, так что чувствовал себя несколько жутко и торжественно. Сейчас антиминос и миро лежат над иконами над моей постелью, так что я сплю *в церкви*. Пусть же Божья благодать хранит моих милых деток и даст им радость и здоровье. Не сердитесь на папу: ему будет лучше, если он будет поступать по совести, а Господь тогда помилует всех нас и защитит от всех бед и напастей. Вчерашнюю ночь был у С. Н. Булгакова, а сегодняшней ночью у М. А. Новоселова. Был в нашем поезде, который стоит пока за Рогожской заставой. Книгу Ив. В. Попову, пожалуйста, пошлите. Это — Drews. Plotin und Untergang. Лежит она *налево*, на средней полке, около среднего столбика. Книга дов^{ольно} *толстая*, переплетенная, а если открыть ее, то там пурпурная обложка. Целую вас, птички. Надо спать. — Елена Ив. Булгакова настроена, как и ты, против Шмидт, хотя тоже о ней ничего не знает.

1915.I.21. Еду сейчас на поезде. Письма адресовать нам можно так: *Брест*, коменданту станции для полевого военно-санитарн^{ого} поезда № 234 (Черниговского дворянства), мне. Целую Вас, мои птички, Господь да хранит Вас. Привет Лизе тете и маме. Кланяйтесь от меня нашим солдатам и сестрам. Ваш папа.

Москва. 26 января 1915 г.

Милые детки, Аннуля и Васюля! Наконец-то съезжаем, вот сейчас, с товарного вокзала, где стояли все время. Вчера ездили на Курский вокзал, где были проводы и освящение поезда. Едем на Варшаву. Письма адресуйте так: Варшава, Брестский вокзал, коменданту станции для военно-санитарного поезда Черниговского дворянства № 234/21, мне. Всю ночь сегодня провел у Вяч. Иванова; другие же — то в поезде, то у М. А. Новоселова, то у Булгакова, то у Иванова, то у Люси. <...>

1915.I.27.

Станция Смоленск.

Милая мамулечка! Здоровы ли вы? Вчера на ходу поезда служили в нашей походной церкви всенощную и молебен, причем пели все присутствовавшие. Служба, конечно, была ужасно напутана: то не нашлось тропаря, то Вл. Ник. Тихом^{иров} забывал что-ни^{будь}, то кому-нибудь приходила в голову какая-ниб^{удь} неожиданная фантазия. Но в общем сошло ничего, хотя я и совсем было охрип от крика. В наших товарных вагонах такой стук и грохот, что перекричать их мудрено. Хотели сегодня служить литургию; но, по распоряжению главнокомандующего, поезд идет ускоренным темпом, и в Смоленске вместо *двух* часов мы простояли лишь 40 мин. Сначала решили отложить литургию до Минска, где мы будем в 2 часа ночи. Начало не слишком с хорошим предзнаменованием: первую литургию в черте оседлости и в самом обиталище евреев. Едим и спим мы все вместе. Хозяйка поезда Прасковья Анатольевна Рачинская так любезна, что распорядилась готовить мне постель; вы можете быть спокойны в том, что я сыт и здоров.

Понемногу жизнь налаживается, но, вопреки ожиданиям всех, мы вступили в дело гораздо раньше, чем предполагали. Завтра в 9 ч. в Барановичах нас будет ревизовать Вел. Кн. Ник. Ник.

Сейчас будет прививаться всем нам оспа, так говорят, что дано распоряжение в поезде. Пишу на ходу поезда, в нашей столовой. Очень трясет.

Становится жарковато в вагоне. Солнце припекает.

На Брест *не* пишите, там мы, вероятно, не будем вовсе, по крайней мере в ближайшее время.

Сегодня ночью будем в Минске, и я там отслужу литургию, чтобы заготовить Святых Даров.

Целую вас, мои деточки, крепко, крепко. Господь и его Пресвятая Матерь да сохранят вас. Будьте здоровы и радостны.

Привет Вале, Лиле, Лизе тете, солдатикам и всем. Не забудьте поклониться от меня Нат. Алекс. Ваш папа.

Станция Жодня. 29 января 1915 г.

<...> Вчера служили в поезде первую обедню на станции Барановичи. Конечно, в первый раз все путались. То пропадала книга, то нельзя было с чашей пройти из алтаря из-за завесы, то что-нибудь пели невпопад. К тому же времени было очень мало, и надо было торопиться, читал молитвы почти скороговоркой. Только что кончилась обедня, как поезд тронулся. Заготовление запасных Даров пришлось производить на ходу. Но вагон-церковь образован из теплушки, и притом предпоследний. На ходу она раскачивается, сухие толчки подбрасывают вещи, и сам стоишь очень нетвердо. Пол холодный, прохладный, и стоять на нем долго довольно трудно. Одним словом, я закончил <заготовление> Св. Даров с великим трудом. А т. к. обедню мы начали в первом часу, то кончилось лишь к 5 1/2 или к 6. Но по крайней мере теперь я не буду с пустыми руками, если вдруг окажется надобность причастить кого-нибудь. <...>

Белосток. 30 января 1915 г.

<...> У меня с вечера любопытство было встревожено. Белостокские жида, погромы, ритуальные убийства, зарезанные младенцы. Но уже вечером, сбежавши на вокзал, я несколько разочаровался в Белостоке. <...> Большинство жидов были «интеллигентного» вида, т. е. в шляпах и жилетах, в манжетах и манишках, и интересным можно назвать только их акцент и жаргон, которыми они перекрикивались по разным углам.

Поднялся утром, поднял занавес окна и, выглянув на улицу, оказался в разочаровании. Перед глазами была улица провинциального города с домишками, крытыми черепицею, грязная мостовая, забор — но ни погромов, ни ритуальных убийств, ни даже талмудических евреев. Потом, после чаю, проехали на конке по городу. Жалкая конка, запряженная парой существ, несколько напоминающих лошадей; плетется медленнее окружающих ее пешеходов. <...> В конке ехал с нами один седобородый, с кустами вместо бровей, сосредоточенный и суровый, настоящий ветхозаветный израильтянин. Я смотрел на него с любопытством и, кажется, благоговением. Но это — единственный, изредка, правда, попадаются старые седые евреи с красными слезящимися глазами и растерянным видом, словно уходящие из Египта. Эти любопытны, но их тоже не много. Больше же все «интеллигенты», т. е., вероятно, комми, приказчики, лавочники и т. д. Слышатся еврейские разговоры. В книжных магазинах еврейские книги, хотя и в небольшом количестве. <...>

Зашли мы на две минуты с Влад. Ник. в польский костел. Это — красное кирпичное здание в готическом стиле; внутри видны кирпичи, так что здание кажется незаконченным и каким-то пустым. Но что хорошо у католиков, это всегдашняя открытость их храмов. Всегда можно зайти усталому душой или телом в их церковь и отдохнуть — посидеть на скамейке и посмотреть на священные предметы. Видны изредка и поляки, на магазинах порой видны их странные надписи вроде «цукарня», «магазин дамских конфекций», «македонская бузня».

Вероятно, под влиянием белостокских впечатлений я видел сегодня после обеда, заснув на некоторое время, странный сон. Видел я именно, что попал в дом Александра Дмитриевича Самарина, который, надо сказать, при отъезде

нашем поразил меня совершенно еврейским видом — ушами, носом, глазами, всем. Попал я туда, чтобы отслужить какую-то службу пред началом какого-то общественного дела. В ожидании съезда разных имянитых гостей, А-р Дм. предложил мне облачиться и указал на облачение, лежавшее где-то в углу. Я стал облачаться и увидел, что это — не облачение, а костюм *медведя*, хотя и сшитый по образцу облачений. Я говорю А-ру Дм-чу: «Ведь маски запрещены, таких облачений не бывает». Он сказал что-то вроде «ничего, ничего», причем в словах его мне послышалось оскорбительное пренебрежение к Церкви. Взволнованный, я сказал, что служить в этом не стану; но потом решил просто ради любопытства одеть эти «облачения». Фелонь оказалась с капюшоном, накидывавшимся на лицо и изображавшим медвежью морду; на месте глаз были дырочки. Мне этот капюшон был несколько мал, так что, посмотрев на себя в зеркало, я увидел, что сквозит снизу лицо. Пасть была обшита красной материей и выглядела довольно страшно. Я боялся, что испугаю детей. Юра Самарин испугался меня, но не очень. Я же избегал Васеньки, боясь его очень напугать. А. Д. Самарин на мое недовольство этим «облачением» сказал: «Это что, а вот у меня есть еще облачение волчье!» Действительно, в углу была сложена фелонь с оскаленной волчьей пастью. <...>

Мне кажется, этот сон знаменателен и жуток. Еврейство Самариных, их двусмысленное отношение к Церкви, их тайные цели — вот что знаменовало мое сновидение. <...>

1915.II.5. Гатчина.

Милая моя мамулечка! Пишу тебе, подъезжая к Петрограду. После десятка разных противоречащих друг другу приказов — ехать в Осовец, в Остроженку и в Черный Брод, в Седлец, в Варшаву, в Белосток, в Луков и т. д. и т. д. нам приказали взять раненых из Седлеца и везти их в Орел. Потом неск<олько> раз меняли место назначения, но в результате мы повезли их в Петроград. В день вообще бывает по несколько моментов полной неопределенности, и мы никогда не знаем, ни где мы будем, ни когда. Куда поедет из Петрограда и когда — тоже неизвестно. Раненых привезли мы 438 человек, поезд очень длинный, и обход его продолжается часами. Приходится дежурить по ночам, помогать при перевязках. Служим очень редко. <...>

Полоцк. 9 февраля 1915 г.

<...> Я благополучно живу в своем купе. Только что отслужили всенощную, но за шумом поезда служить очень трудно: шум все заглушает и приходится кричать во все горло. Живем мы по-старому. Из весны мы приехали было в петербургскую зиму, а теперь снова въезжаем в весну: тут снег уже тает, мокро и сыро на улице. Писать тут не о чем — ничего не случается. <...>

Белосток. 11 февраля 1915 г.

Дорогие мои детки! Пишу вам опять из Белостока, куда мы приехали вчера. Скоро, часа через 1 ¹/₂, мы отправимся в Червонный Бор, это возле Остроженки. Много надежды, что мы получим раненых прямо после боя. Опять начались волнения в поезде, все бегают, кипятятся, шумят, волнуются, беспокоятся, но, кажется, далеко не всегда с действительной нуждой. Вообще, наша жизнь распадается на времена совершенно безликие и времена усиленной беготни и работы. За прошлый рейс было сделано, например, около 500 перевязок, из них часть довольно трудных.

Вчера ходили с Праск. Анат. Рачинской по Белостоку, делали закупки для поезда. При вечернем освещении город не выглядел таким отвратительным, как днем. Магазины, дрянненькие с виду днем, теперь показались довольно нарядными. По улицам поток людей, так что еле пробьешься.

1915.II.17. Минск.

Милые мои деточки!

Я надеялся увидеться с вами на днях, но вот, вместо Москвы, наш поезд пошел на Варшаву, а затем уже на Москву.

Назначения все время меняются, и за $\frac{1}{4}$ часа нельзя узнать, где будешь. Но почему вы мне ничего не пишете? Как я беспокоюсь о вас. Мы довезли партию раненых из Червонного Бора в Витебск, переезд этот, несмотря на кратковременность, выдался очень трудный. Было множество очень тяжело раненных, перевязки и операции приходилось делать и днем, и ночью, большинство солдат было перевязано очень плохо. Оказались заразительные болезни, один, между прочим, со столбняком. Все очень устали, а теперь отдыхаем в ожидании нового переезда с ранеными. <...>

2

Слово перед панихидой об усопших воинах²⁰

Братие! Благочестие наших предков наименовало св. колокольный звон — *благовестом*. То же благочестие требовало, чтобы при первых звуках благовеста каждый православный христианин произносил про себя: «Архангельский глас вопиет Ти, Дево Чистая: Господь с Тобою», — и затем осенял себя крестным знамением во Имя Отца и Сына и Св. Духа. Значит, звук св. колокола приравнивался предками нашими к благовествованию Архангела Св. Деве Марии.

О чем же благовествовал Св. Дева Архангел? И о чем, следовательно, благовествует нам св. колокол? О рождении Господа нашего Иисуса Христа, о том, что Он Спаситель наш — Спаситель от греха, от страдания и в особенности от смерти. Теперь вспомним, что по-гречески *благовест* будет *εὐαγγέλιον*, евангелие, т. е. называется так же, как св. Книга, повествующая о рождении, о крестной смерти и воскресении нашего Спасителя. И наоборот, если мы захотели бы перевести название этой св. Книги на язык славянский или русский, мы должны были бы сказать: «благовест», «благовествование». И св. Книга, и св. Архангел, и св. звон *благовествуют* нам — возвещают благовест о том, что смерть, торжествующая всегда, а ныне — в особенности празднующая свои победы, что она в сущности уже побеждена и что придет время, когда она будет сломлена окончательно. При благовествовании Архангельской трубы проснутся усопшие и встанут из своих гробов. Слыша звон церковный, мы должны вспоминать о часе грядущего воскресения. Но должны вспоминать и о другом, как бы в этот таинственный и страшный миг всеобщего Суда усопшие праотцы, отцы и братья наши не обратились к нам с упреком: «Мы трудились для вас и за вас; а вы старались ли молитвами своими облегчить нашу участь?» И в особенности воины, убитые в войнах и убиваемые ныне, могут с горечью спросить нас: «Мы за вас и для вас полагали на поле брани живот свой. А вы поминали ли нас, вспоминали ли о нас, молились ли за нас?»

Да, братие, при жизни и, б<ыть> м<ожет>, умирая они полагались на нас, надеялись на нашу память о них. Было бы постыдно не оправдать их надежд, забыть о них, как о не бывших, и не возносить за них молитв к Положившему за всех нас душу Свою. У каждого из нас среди убитых на войне есть родные, близкие, друзья, знакомые. О таковых молиться естественно. «Но, —

²⁰ Примечание Флоренского: «1916.XI.25. Серг<иев> Пос<ад>. Среда. Это Слово я надумал сказать перед панихидой об усопших воинах, надумал неожиданно для себя, пока вызывали по телефону Дм<итрия> Алекс<еевича> Кулигина, исполняющего у нас в Красном Кресте должность псаломщика. Написал же его прийдя от панихиды, но, конечно, лишь приблизительно».

м<ожет> б<ыть>, допустит в себе кто-нибудь мысль, — но разве все прочие имеют близость к нам?» Надо ли напоминать вам, что все мы, Господом Иисусом Христом усыновленные, Самого Бога имея Отцом своим, — братья, и близкие, и родные. Но те, кто положил жизнь свою за нашу общую мать Родину, кто ей, а потому и нам тем особенно любезен, разве они не связаны с нами узами теснейшими — и любви, и близости, и родства? Вот за этих-то братьев наших должны помолиться мы тем более, ибо умерли-то они ведь ради нашей Родины, ради нас. Мы говорим, что войны, бедствия, страдания происходят по грехам, но чьим грехам?! Ведь нельзя же сказать, что те, убитые, более грешные, чем мы, оставшиеся в живых или имеющие быть убитыми впоследствии. Но накопились грехи, загрязнили мы все ризы нашей Родины — и потребовалось омыть их, очистить ее и себя. А очищение греховных скверн совершается кровью и через кровь. И вот пролилась кровь, убеляющая грехи. Помолимся же, чтобы не понапрасну пролилась она, не всею напиталась ею другая наша Мать-Земля, в которую все мы рано или поздно сойдем, чтобы эта кровь послужила залогом нашего обновления и утверждением наших братских уз навеки. Аминь.

Военные записки (1915) отца Павла Флоренского читаются с непростым чувством: невольно ловишь себя на мысли, что через два года «христолюбивое воинство», к которому с таким теплым и пастырским попечением относится отец Павел, начнет массово дезертировать, «брататься», терроризировать офицеров, станет одной из богомерзких сил революционного беснования.

Но нет — из тех, кого упоминает он в своих записях, вряд ли кто дожил до будущего позора, все погибли в котлах малоудачных военных кампаний; русская армия в своем офицерском, унтер-офицерском и рядовом составе несколько раз «линяла» (по естественному закону — к худшему), прежде чем стала той, что в 1917-м...

Но и тогда б выдюжили, если б не распропагандированные тыловые части и вынесенные Февралем на государственную арену политические фразеры и дилетанты, пленники освободительной идеологии и разгорающейся народной стихии. (Обо всем этом — в эпопее Александра Солженицына «Красное Колесо» сказано подробно и с большой силой.)

Что касается досадных националистических aberrаций отца Павла — их из истории не вынешь.

Не секрет, что не только в политических, но и в высших культурных кругах, к которым принадлежал Флоренский, война была встречена — тому множество причин — с режущим нас ныне энтузиазмом. Никто не возразил, что только-только начавшая укрепляться в ходе столыпинских реформ народная жизнь не должна быть брошена в котел имперских амбиций и балканской утопии. Никто не понял, что вспыхнул запал пороховой бочки XX века, что под Россией разверзлись исторические хляби, из которых уже не выбраться.

Отдел публицистики.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ



ИТОГИ «ТРИНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ»

Советские «пятилетки» — нынче уже история, но по времени близкая. Конечно, выцвели, обветшали, но еще висят кое-где в провинции плакаты, на каменных стенах не стерлись «письмена»: «Планы пятилетки — в жизнь!» И вот еще одна позади — *тринадцатая*, официально не объявленная, — число несчастливое, годы 1992 — 1996-й.

Какой была она для сельской России? Говорить о России в целом легче «от имени народа», как выражаются — «народ не поймет», «народ не простит». Грешат этим не только правители, депутаты, но все подряд. Вот хороший, милый актер, которого многие любят по прежним фильмам, сообщает нам: «Я знаю, как живут и что думают люди во Владимире, Рязани, Калуге, те, кто работает на земле, и те, кто уехал от нее. Недавно президент издал указ о праве на землю. Есть надежда, что вырастет урожай».

Детская — до седых волос — наивность хорошего актера из хорошей московской семьи понятна и по-своему мила. Попросят — поговорим о земле; попросят — о куриных бульонных кубиках. Столь же честно, сколь и наивно.

О рязанской, о владимирской, о калужской земле говорить не буду. Пытаюсь взглянуть в ту, что рядом: Донщина, Нижняя Волга — свои края. Тем более, что позади «пятилетка аграрной реформы».

Началась она с указа президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27 декабря 1991 года и постановления правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов».

«Местной администрации организовать продажу земель фонда по конкурсу...

Предоставить крестьянским хозяйствам право залога земли в банках...

Разрешить с 1 января 1992 года гражданам, владеющим земельными участками на правах собственности, их продажу...

Невыкупленные участки земли продаются на аукционе...

Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженности по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) до 1 февраля и подлежат ликвидации».

Год 1996-й. Жаркий июньский день, солнечный, ясный. И триста километров дороги. Не асфальта и даже не грейдера, а просто — пути полевые, чаще — неезженные, затравевшие или размытые недавними ливнями. Места — задонские, не больно людные во все времена, а ныне и вовсе. Птица живет здесь непугано: редкие в иных местах стрепеты, коршуны, лебеди, стаи розовых скворцов, а смелые жаворонки, когда потревожишь их на дорожном сугреве, бросаются на машину, воинственно раскрылатившись. Вперевалку, лениво уходят с дороги суслики. Кабаний след, волчий; лисица охотится среди бела дня.

Поля, луга, курчавые заросли балок с холодными родниками. Ковыль, пахучий чабер, бессмертник на песчаных взгорьях. И высокое море трав колыхается под ветром, духом своим щекошет ноздри, пьянит. Степное наше Задонье после дождей и ливней цветет и зеленеет на удивление.

Но не ради красот природы — хотя они стоят того — колесили мы целый день от поля к полю вместе с начальником земельного комитета Калачевского района Виктором Васильевичем Цукановым. Здесь, на землях бывшего совхоза «Голубинский», теперь шестьдесят самостоятельных хозяев, коллективное хозяйство «Голубинское» да несколько подсобных, от предприятий, городских. У всех главное ремесло — земля. Вот мы и ездим, глядим. Хозяев встречаем нечасто, но поле честнее хозяина — оно все скажет. Недаром с детства помнятся строки:

Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.
.....
Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.

Вот он вылез из землянки, хозяин ли, работник, рассказывает:

— Живем... Курятник кирпичный строим, лисы одолели. В кирпичный не проберутся. Обкладываем кирпичом коровник. Волков много. Собаку унесли зимой.

Действительно, курятник почти готовый, кирпичная кладка — у коровника. Но я на жилье гляжу человеческое: низкая крыша над землей, ступени ведут вниз. А там — земляной пол, земляные стены. Печка, керосиновая лампа, горький запах дыма.

— Здесь и зимуете?

— А как же... Скотину не бросишь. Тепло здесь, хорошая печка. Четыре-пять ведер угля — и жарко. Думаем, стены чем-нибудь закрыть, будет лучше.

На лице моем, видимо, написано все, что думаю, потому хозяин начинает убеждать:

— Тепло, хорошая землянка. А скоро баню построим, у нас колодец есть, своя вода. Сосед вон без воды мается. А у нас хорошо.

Доехали до соседа. Он — человек молодой. Землянка, в которой зимовал, завалилась после недавних ливней. Но есть вагончик. А вот скотина и птица по-прежнему в полуподземных убежищах. Так проще строить, так теплее.

Попутно с проверкой, с доглядом, привезли мы хозяину «привет» от президента России — его обращение к собственникам земли. Вот строки из него: «Жители России — собственники земли! Ваша земельная доля — это огромная ценность. Это реальное воплощение лозунга «Земля — крестьянам!». Это — награда за ваш труд».

— Вот кто бы указ издал, чтоб нас отсюда прогнать...

Чистое поле; обрушенная землянка; вагончик; полуподземные скотьи и птичьи базы. Раскиданные, а может, разложенные повсюду железки — «чермет» или запчасти.

В. Ф. Федоренко — молодой мужчина в замасленной спецовке («Какой он был раньше, когда землю брал, — вспомнит потом со вздохом мой спутник, — богатырь. А сейчас одни кости. Вот она, земля...»).

Земли у Федоренко 500 гектаров, из них — 300 пашни.

— Не было солярки, нет денег, — объясняет он. — Теперь взял кредит у корпорации, начну пары обрабатывать. За пять лет от земли, от зерна доходов нет: все идет на горючее, на запчасти. Спасает скот: от мяса — хоть какие-то деньги. Молоко девать некуда — базар далеко. А уходить куда? Назад, в поселок, откуда пришел, — там работы нет, все предприятия закрылись. В пяти километрах — хутор, там — колхоз, люди по пятьдесят тысяч рублей в месяц

получают. На буханку хлеба в день не хватает. Так что уходить некуда, надо работать.

Мы уезжаем, он остается.

А может, это начало новой жизни? Пять лет разве возраст?

В краях иных, в Европе ли, в Америке, по-иному. Помню деревню в Венгрии, обычное подворье, рассказ хозяина:

— Фундамент и «низы» дома — это от прадеда, деда. А мы с отцом подняли выше, второй этаж. Я сам уже оборудовал отопление, ванную, построил бассейн, чтоб внучата летом купались.

И без рассказа было видно, что подворье — дом, все службы — не в один день построены, и не в один год, и даже не в один век.

У нас в России, и здесь вот, в Задонье, сколько раз зорили гнезда крестьянские: Гражданская война, раскулачивание, Отечественная война, послевоенная разруха, потом, когда немного оправились, грянуло: «Долой неперспективные хутора!» Снова бросай все и где-то начинай лепить новую жизнь. Нынче, вот уже пять лет кряду, громим колхозное: капитальные кирпичные животноводческие фермы, кошары, дома при них, полевые станы — все по кирпичику растаскиваем, до ровной земли. Словно идет на нас враг и нельзя ему оставлять ничего, кроме руин.

И вот снова начинаем с землянок. Значит, долг наш путь.

А путь наш сегодняшний — от поля к полю: Барсов, Ляхович, Шамин, Бобров, Белько, — но разница малая.

— Не пойму: это чистый бурьян или что-то сеялось?

Выходим из машины, глядим, вздыхаем:

— Чистый.

А дальше и выходить не надо, из машины видать, что бурьян без подмеси.

За курганом — курган, за балкой — балка: Зорина, Осиновская... За полем — поле.

И такая радость, когда увидишь высокую, чистую озимку, — редко, но случается. Возле хутора Осиновский прекрасное поле.

— Молодцы, ребята, — хвалит Цуканов. — Молодые, а могут. Надо поговорить, может, еще земли возьмут.

Ближе к хутору Большая Голубая неплохая пшеница у Старовойтова, Романова, Харьковского, Молчанова; они из Волгограда, городские люди, но сумели.

Но больше картин горьких: зеленое половодье сорняка.

По целине, по залежам, перелогам, по балкам и теклинам такие травы стоят, что дух захватывает. Колосится, цветет аржанец, синеют разливы горошка, розовеет вязиль. Травы, травы и травы... Но ни людей, ни скота, ни рядов скошенной травы, ни копен сена. Зеленая, но пустыня.

На хуторе Большая Голубая молодые ребята-механизаторы жаловались:

— Без зарплаты сидим. Спасибо детским пособиям да стариковским пенсиям.

На этом далеком и горьком хуторе спросил у одного, у другого:

— Сколько скотины держите?

— Корова с бычком... — отвечали мне.

Часом позже, на другом хуторе, на Евлампиевском, Борис Павлович Лысенко — человек немолодой, недужный и статью не богатырь — ответил на мои сомнения:

— Хорошо, хоть одну корову держат. А ведь есть молодые, здоровые — и вовсе ничего на дворе нет: это ведь труд, работать надо.

Одна корова — круглый год забота, две — вдвое больше. Четыре ли, пять, десять — уже не позорюешь, и телевизор надо забыть в пору летнюю, горячую.

Еще одна беда нашей земли и жизни — добрых работников мало. После раскулачивания десятилетиями людей провеивали: какие потолковей, тех в город вытаскивали, чтобы «человеком стал», какие похуже — «нехай быкам хвосты крутят».

Вот и получилась картина нынешняя: триста километров пути, чуть не сотня хозяев, а хорошего мало.

— Завтра буду весь день акты писать для комиссии, для наказания, — сказал Цуканов, а потом добавил: — Когда из десяти новых хозяев за нерадивость, за упущения в использовании земли штрафуешь одного-двух — это естественно. А когда из десяти — всех, то это уже ненормально. Значит, не только люди виноваты, но и государство, его подходы.

А в конце пути еще одна встреча.

На границе района, за речкой Голубой, возле хутора Большой Набатов, встретили мы В. Н. Конькова. Брал он землю понемногу — сначала два десятка гектаров, потом попросил еще и еще. Выращивал арбузы, дыни и — всем на удивление — огурцы на богаре, то есть без полива. А в прошлом году решил взять большой участок не клочками, а в одном месте. Выделили ему 350 гектаров. И вот встреча. Коньков — за рулем машины отвозит своих работниц с бахчи домой, в станицу.

— Проверяйте, наказывайте, — весело согласился он. — Но платить штраф буду после уборки урожая.

Объехали мы земли Конькова, поглядели: неплохие пары, бахчевые и теперь уже фирменные огурцы на богаре.

— Здесь был сплошной бурьян из года в год, — рассказывал Цуканов. — Из рук в руки земля переходила — и не было проку. А Коньков за осень и весну порядок навел. Будет прок.

Дай Бог!.. Ночью, как всегда это бывает после долгой дневной дороги, снилась мне та же задонская земля в июньском цвете. Ковыль, чабер и, конечно, высокая густая пшеница и сладкие пахучие травы. А еще снились задонские хутора. Не мертвые, а живые: Зоричев, Липологоловский, Осинологовский, Тепленький да Малый Набатов. Но это были лишь сладкие сны.

Ныне это сплошная агония: на колхозных, на совхозных руинах кое-кто еще порой шевелится, не получая зарплаты, а добывая ее натурой: зерном, соломой, теленком, парой досок, колесом от трактора, пятью листами шифера с крыши пустующей молочнотоварной фермы, кирпичной стеной от нее же (разбить, отвезти на свой двор, там пригодится). Скотину всю вырезали, или подохла она от бескормицы, земля — в бурьянах. 70 тысяч гектаров земли было в «Голубинском», 50 тысяч овец, 5 тысяч крупного рогатого скота. Теперь — пустые базы, миллиардные долги и вывеска на двухэтажной конторе. Все, конец совхозу. Но не всякому.

На этой же задонской земле, полсотни километров по асфальту отмерь, а напрямую — поближе, такие же хутора: Лобакин, Киселев, Второй Попов. Они входят в колхоз имени Ленина; председатель — Иван Варфоломеевич Петров. Первое, что удивит приезжего человека, — колхозная контора: неказистое приземистое здание давнишней постройки.

Уже привыкли мы к другим правлениям — двухэтажным, с широкими лестницами, просторными кабинетами. Дворцы! Есть села и хутора, где и колхоз разошелся, а контора стоит словно памятник архитектуры.

В колхозе имени Ленина 18 тысяч гектаров пашни, четыреста человек работающего народа, крупного рогатого скота — 6500 голов, из них 1500 — коров; свиней — 7500 голов. Если рядом и поодаль, по району и области, скотину изводят, то здесь поголовье увеличивается. В прошлых феврале и марте получали в колхозе по 500 граммов ежесуточного привеса. А рядом и вокруг «от засухи» дохла скотина. Рядом же, два года назад, прекратил существование свиноводческий совхоз, потому что «свинина сейчас нерентабельна». В колхозе же у Петрова поголовье свиней за «пятилетку» увеличилось на 68 процентов. Постоянно работает свой комбикормовый завод и две линии кормоцеха. Оттого и сытая скотина, привесы, рентабельность производства.

Средняя зарплата в колхозе в 1995 году составила 300 тысяч рублей. Получают ее люди из месяца в месяц постоянно, без задержек. Кроме денежной оплаты колхозники получают зерно, сено, солому бесплатно, но по труду, на заработанный рубль.

О «рубле заработанном» надо сказать особо. Весомую прибавку к нему, до 50 и даже до 100 процентов в уборочную пору, получает ежемесячно каждый работник, если у него нет нарушений трудовой дисциплины: опозданий, прогулов, брака в работе. Насколько весома будет прибавка, решает по результатам прошедшего месяца совет бригады, который есть в каждом подразделении. Товарищам по работе виднее заслуги и грехи каждого. Решение бригадного совета подтвердит авторитетная комиссия при правлении колхоза.

Итак, в колхозе имени Ленина сохранили главное — сельскохозяйственное производство. И что еще важнее и мудрее — сохранили животноводство: за пять тяжелых лет поголовье не снизили, а увеличили (напомню, что в среднем по области поголовье крупного рогатого скота за последние пять лет снизилось почти вдвое).

Для наших дней это почти сказка: действующий здесь комбинат бытового обслуживания шьет и спецодежду для колхозной работы, и платья, и брюки. Удобно людям, хорошо и мастерицам-швеям: без работы, а значит, без зарплаты не остаются (200 да 250 тысяч в месяц).

В том же Доме быта — парикмахерская, где можно сделать завивку, маникюр или просто подстричься. Рядом — массажный кабинет.

Попробуй отстирай дома спецовку ли, телогрейку механизатора. А здесь, в прачечной, цена малая — 360 рублей за килограмм.

Сохранили в колхозе и все три медпункта — в каждом из хуторов. Самый большой, конечно, на центральной усадьбе — профилакторий. Его заведующую, Марию Семеновну Нагорную, я попросил рассказать о житье-бытье.

— Работы много, — сказала она. — Вызовы к больным, приемы, физиотерапия; одних ребятишек четыреста человек. Лекарств и перевязочных средств хватает. Колхоз помогает во всем, отказа не знаем, как и прежде.

В колхозном профилактории просторные чистые кабинеты, зал ожидания ли, отдыха с телевизором, запах лекарств, тишина, покой. А рядом с профилакторием — колхозный же Дом культуры... При хуторской школе, как и прежде, работает интернат для школьников (питаются они в школьной столовой).

Понимаю, что для кого-то мой рассказ скучноват. Эка невидаль: колхозный детский сад, своя пекарня, где хлеб продают на 30 процентов дешевле, парикмахерская, швейная, баня, зарплата вовремя, новый баян для Дома культуры, школьный интернат.

Для столичных теоретиков колхозное хозяйство — вчерашний день. Но и сегодня колхоз колхозу рознь.

Заволжье. Быковский район готовится к зимовке скота — того, что еще остался. Конец осени 1996 года. Выписка из районной газеты:

«В прошлом году к этому времени кормов было заготовлено гораздо больше: силоса в 2,5 раза, сена в 1,6 раза. Но и тогда зимние рационы кормления были на грани выживания животных. Отход скота от падежа и забоя оказался очень большим».

А вот еще одна выписка — про ту, прошлогоднюю, зимовку в колхозе «Пролейский»:

«Имевшееся поголовье (388 голов КРС, из них дойных коров — 211) было все оставлено в зиму. Хотя уже тогда знали, что в сенниках и закромах запасов хватит в лучшем случае на треть зимовки. Итог вот он: из 388 голов на сегодняшний день едва наберется чуть более тридцати скелетов, обтянутых кожей. Побывав на ферме, впечатление от увиденного осталось самое ужасное. Еле держащиеся на ногах животные грелись на солнце. В темном углу коров-

ника пиршество крыс на горе окоченевших трупов телят... Жалкое мычание упавших и не поднимающихся вторые сутки трех буренок. Рабочие фермы сказали: „Сами видите: коровы падают, телята дохнут”».

Это картина прошлой зимовки. А что теперь, когда в два раза меньше прошлогоднего по району кормов заготовили? Для того чтобы корова прожила зиму, нужно ей 25 центнеров условных единиц кормов, раньше стремились иметь 30. А если сейчас в «Пути к коммунизму», где 2 тысячи голов скота, имеется лишь по 2,8 центнера условных единиц кормов, то есть в десять раз меньше? Скажите, какая будет зимовка? Кто выдержит такую «кормежку»? Ясно ведь — передохнут. А по району в среднем кормов на бедную пока еще живую скотью голову заготовлено лишь 30 процентов от нужного. За восемь месяцев, с января 1996 года, стадо коров в районе уменьшилось на 45 процентов, свиней осталось во всех хозяйствах района лишь 76, из них 11 свиноматок. За то же время пало 15 тысяч овец, забой — 20 тысяч. Остаток — около 50 тысяч. На весь район. Прежде такое поголовье в одном совхозе держали. Сколько останется скота после нынешней зимовки, знает только бог. Районная же газета сообщает:

«С подобным запасом кормов остается лишь надеяться на то, что природа смилуется над нашей бедностью».

...«Этим летом, — писала областная газета, — хроническая растащилка в „лежачих” быковских хозяйствах не раз срывалась в штопор обвального грабежа. За ночь, случалось, пустел машинный двор колхоза, случалось, что разбирали и саму мастерскую. „Будьте людьми, — уговаривала колхозников районная администрация, — имущество и земля ваши, но завершите полевой сезон, вспашите, посейте и тогда делитесь по справедливости”».

И вот осеннее собрание в „Степном”. Долгов — 2,5 миллиарда рублей, продукции нет. Коров почти не осталось, овец — две отары.

Говорили откровенно. Председатель: „Тащили все, и я тоже”. Агроном: „Молочнотоварного комплекса уже нет, кошар нет. Все растянули. Железников останавливал, ему морду набили. Кому еще охота? И как я остановлю, когда сам как все. А не привезешь (в смысле „не украдешь”. — Б. Е.), детей голодными оставишь”».

Кажется, все ясно: полностью развалилось и растащили хозяйство.

...Прежде в своих заметках говорил и повторяю еще раз: при нынешнем положении села, которое по-прежнему катится вниз, абсолютное большинство колхозов, как бы они нынче ни назывались — АО, АОЗТ, КСП и т. д., пойдут путем горьким и закончат его одинаково.

Абсолютное большинство — но не все.

Вернемся в то же Заволжье. Да, это — далекая глубинка. Да, во всем нашем российском хозяйстве развал, разброд — это и слепые видят. А хозяйство сельское и вовсе в положении аховом: диспаритет цен, отсутствие рынков сбыта, жестокая конкуренция с Западом, обман со стороны государства, обман со стороны предприятий переработки, которые годами не отдают деньги за поставленное колхозами молоко, мясо, овощи. Все верно.

Но в том же сухом далеком Заволжье, на тех же землях, в условиях того же «диспаритета цен» и «неплатежей» живет и здравствует ОПХ «Россия» во главе с Зинченко. Здесь 9 тысяч гектаров пашни, и вся она — в работе. Здесь три тысячи голов крупного рогатого скота и полторы тысячи свиней, и скотина не голодает и тем более не дохнет, а плодится и доится. Коптильный цех, крупорушка, мельница, пекарня, на очереди — производство по глубокой переработке молока на сметану, сыр, масло. Машинно-тракторный парк ремонтируется и пополняется десятками единиц. Построен кукурузокалибровочный завод, он уже работает, принимая в сутки до 350 тонн початков. Производится и продается не только в свою страну, но и за рубеж зерно, молоко, картофель, мясо, семечки тыквы, семена кукурузы. Зарплата людям выплачивается без задержки, больше того, выдаются ссуды на покупку или строительство

жилья, на приобретение автомобилей. Работают детские сады, магазины, стоматологическая поликлиника. Словом, идет нормальная трудовая жизнь.

А рядом СПХ «Дружба» — 5 тысяч гектаров земли. Прошлой весной засеяли 826 гектаров горчицы, 170 — ячменя, 800 — ржи. Что же получили осенью? Всю горчицу списали — неурожай. Ржи получили по 5 центнеров с гектара, ячменя — по 3 центнера. Сколько сеяли, почти столько и собрали. Лишь гробили технику, жгли горючее, тратили время впустую, ну и «тянули» кто сколько мог.

За последние годы случаи воровства достигли небывалых размеров. Тащили, конечно, и раньше, но на фоне относительного изобилия это было не так заметно. Теперь же с сельскохозяйственной техники снимается все, что можно открутить или отломать: резина, ступица, шланги, сошники. «Не украдешь — детей голодными оставишь...» Это не от жиру, это «для жизни». Это естественная реакция брошенных на произвол судьбы людей. «Впихнули в рынок, а как жить в нем — не научили», — это жалоба искренняя. Но кто услышит ее?

Две «картинки» одной и той же земли, расстояние между хозяйствами — полсотни километров. Разница — земля и небо. Да что полсотни верст... В поселке Суровикино лишь забор делит два невеликих предприятия переработки сельхозпродукции — молочный завод и хлебоприемный пункт. Первое вчистую разорило себя и владельцев коров, которые ему молоко сдавали. Итог — потеря производства, рабочих мест, невыплаченная зарплата, долги и привычное: «Поддержите отечественного товаропроизводителя». А хлебоприемный пункт благодаря своему умному и энергичному руководителю не только стал зерно молоть, хлеб печь, производить макаронные изделия, но и разводить коров, свиней, кур, открыл кафе, магазины, производит кондитерские изделия, мороженое. Кормится сам и кормит других безо всяких стонów.

Всеобщее разорение, падение производства, голодный скот, разбитые, заросшие навозом фермы, надой по 800 литров в год, словом — козы, непаханная земля, забывшие о зарплате люди. Но сверните с «московской» трассы на хутор Кузьмичи: на молочнотоварных фермах доярки в белых халатах, средний надой на корову 5300 килограммов молока, элитное стадо. «Нерентабельное» везде молоко дает 1,5 миллиарда рублей прибыли в год, а всего прибыли — 4 миллиарда.

«За последние пять лет производство сельхозпродукции сократилось наполовину. Падение продолжается: уменьшается стадо, рушится материальная база, снижается плодородие земли, стареет машинный парк. И просвета не видно. Одна из причин — диспаритет цен. За пять лет цены на зерновые культуры возросли в 2500 — 3800 раз, на мясо крупного рогатого скота — в 1581 раз, на молоко — в 2000 раз. В то же время на электроэнергию (за киловатт-час) — в 11 тысяч раз, на бензин А-76 — в 9 тысяч раз, на дизтопливо — в 19 тысяч раз», — выписка из констатирующей части «круглого стола» в Главном управлении сельского хозяйства и продовольствия нашей области.

Все верно. Но за последние пять лет стало очевидным, что разорение, гибель или жизнь колхоза зависит не от того, где он расположен — на бугре ли, в низине, близко от города или далеко, песчаные у него земли или чернозем. Главное, какая у него «голова», у председателя или директора. Счастье для всех, если умный, энергичный и достаточно жесткий, умеющий держать в узде свой коллектив, потому что соблазнов много (особенно в начале перестроечной «пятилетки»): продать «невыгодных» коров, свиней и овец, все поделить и «забогатеть»; ликвидировать», «пустить на зарплату», «людям раздать»... — их много, было и есть, лукавых соблазнов, заставляющих забывать о дне завтрашнем, послезавтрашнем. Живые, рентабельные нынешние колхозы — это прежде всего их «голова» — руководители, понявшие законы и беззакония сегодняшнего дня и сумевшие вывести свои колхозные корабли с разноликой командой на нужный, единственный путь выживания.

О фермерстве, о новых хозяевах нынче много рассказывается хорошего и худого. Начал я нынешние записки с полей новых хозяев земли придонской — там картина не больно веселая.

Передо мной сводка. В графе «Наличие заявок на получение участков земли» — сплошные прочерки, считай, по каждому району. На всю огромную область лишь 27 заявок. Большинство из них явно беженцы: деваться некуда, счастья пытаются. Три года назад от желающих взять землю не было отбоя. Сейчас же нормальные, обстоятельные люди в вольные земледельцы не пойдут. Причины — на виду.

Главная — та сотня ли, больше фермеров, которая сейчас крепко стоит на ногах, начинала в 1991 — 1992 годах, когда государство давало не только землю, но и весьма приличный кредит под условные 8 процентов при тогдашней гиперинфляции. Кто хотел хозяйствовать на земле, обзавелся техникой и работал. В конце 1993 года кредит можно было взять под 213 процентов. Его давали под залог той сельхозтехники, которую на этот кредит покупали. В 1994 году и эта отдушина была закрыта. Выходцы образца 1994-го и более поздних годов — люди, мягко говоря, рисковые, они и теперь мыкаются возле своего участка земли, не зная, что с ним делать, — в руках у них лишь лопата.

В 1993 году вышел указ президента от 27 ноября № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России». Один из пунктов гласит: «Отменить с 1994 года обязательные поставки и другие формы принудительного изъятия сельскохозяйственной продукции в государственные ресурсы». Казалось бы, радуйся, хозяин: на дворе свобода. Но оказалось, что крепостная зависимость от государства была для большинства желанней и выгодней. Рынок быстро понял, что продукция новых и старых хозяев дорога, некачественна, продать в магазине ее трудно. Раньше государство забирало все «под метлу», еще и строго наказывало за укрывательство. Теперь дешевле и проще закупить масло в Финляндии, курятину — в Америке, Дании, Франции. Даже картофель и капуста завозятся из Италии, Польши. Хозяйствовать стало труднее.

Если в первые годы реформ фермерство было объявлено в качестве главного направления, то позднее появился лозунг «Фермерство страну не накормит», со всеми вытекающими последствиями: разные дотации, инвестиции, товарные кредиты потекли в коллективные хозяйства.

Тут и выяснилось, что не всякий желающий может стать хорошим хозяином. Говорил я о том, как важно иметь в колхозе «голову». Нужна она и в фермерстве. И не только голова, но и образование, опыт хозяйствования, практика. Хорошо идут дела, когда глава крестьянского хозяйства — «спец», имеющий профессиональный опыт.

При нынешнем отношении властей к фермерству его укрепление, мягко скажем, проблематично. Доказательство — жизнь: с 1994 года заявок на получение земли практически нет. Но... Кое-кто из сильных, уже состоявшихся хозяев не прочь и теперь добавить себе земли. Брать он будет не всякую землю, а лишь ту, что рядом с его участком, с его уже обустроенным полевым станом, где сосредоточена техника. Такие просьбы есть, и они будут. «Земля уже поделена на паи, — отвечают им. — Мало ли чего хочется». Вот зачастую и весь разговор.

А наш разговор пора заканчивать. Он долог. И может быть бесконечным, хотя оправдание этому есть: земля, хлеб, воля — разве не главное в человеческом житии?..

Вспоминаю последние дни прошлогоднего ноября. Холодов нет, в полях — тишина. И не потому, что там нечего делать. Пахать бы еще и пахать. Но почти месяц без горячего стояли трактора по всей области: денег у хозяйств не было. Кредитов тоже. Прежде занимали у Агропромбанка, но не возвращали долги, и банк разорился. Потом была создана в области «Агропромышленная корпорация», она выручала деньгами, а в основном товарны-

ми кредитами: горючим, техникой. Весной 1996 года корпорация выдала 332 миллиарда рублей аванса — осенью возвратили ей лишь половину, — вот и нет горючего. Стоят трактора. И людей колхозы распускают до весны, в долгий отпуск.

А весной лучше не будет. В проекте бюджета страны на 1997 год на сельские нужды выделяется денег на 40 процентов меньше, чем в году минувшем. «Товарные кредиты на проведение весенних полевых работ в 1997 году выделяться не будут», — сообщил заместитель министра финансов. Денежный ручей государственной поддержки все жиже и жиже. «Это еще мы не падали, — горько сказал как-то старый колхозный агроном, — это мы еще штанами да рубахой за ветки цеплялись. Ветки кончились, теперь полетим».

Куда же еще лететь, хорошие мои... За «тринадцатую пятилетку» наша область потеряла 540 тысяч голов крупного рогатого скота (45 процентов), коров — 130 тысяч (36 процентов), 580 тысяч свиней (60 процентов), 1227 тысяч овец и коз (65 процентов). За период коллективизации теряли: крупного рогатого скота — 57 процентов, свиней — 67 процентов, овец и коз — 67 процентов. Это — с 1928 по 1933 год. Во время Великой Отечественной (это у нас была Сталинградская битва, и не только в городе, но по всей земле) потеряли: 35 процентов крупного рогатого скота, 69 процентов свиней, 50 процентов овец и коз.

Третий раз нажитое теряем. И в какой короткий срок. Горькая моя родина...

Коров да свиней еще посчитать можно. А ведь уничтожается на глазах материальная база колхозов: молочнотоварные фермы, свиноводческие комплексы, овечьи кошары, машиноремонтные мастерские... Труды и труды, деньги и деньги. В одном из колхозов как-то посчитали, что молочнотоварный комплекс, который еще числится, но разграблен, разбит, один лишь он стоит 6,5 миллиарда рублей. По области, по стране это — триллионы и триллионы рублей. А восстанавливать — словно после войны — все равно ведь придется. Но тяжко будет снова начинать с нуля, с той землянки, в которой нынче живет и держит скот Федоренко и его сосед в задонской степи. Словно век назад и словно не было его, этого века труда и труда, обращенного в дым.

Реорганизация сельского хозяйства... Это понятие появилось не сегодня, а пять лет назад в правительственных постановлениях. «Мы будем настойчиво рекомендовать изменить форму хозяйствования, — говорил тогда министр сельского хозяйства В. Н. Хлыстун, — для быстрее реформирования сельского хозяйства». Он и сегодня министр, и сегодня он говорит о том, что «аграрная реформа будет продолжена. Я имею в виду глубокое реформирование отношений собственности на селе».

Но на практике, под эти разговоры, с Хлыстуном и без него, сельское хозяйство страны развалено, потому что права старая истина: ломать — не строить, на это большого ума не надо. А вот для того, чтобы строить, надо хотя бы знать, что ты хочешь построить: саманную хатку или кирпичный дом в три этажа. Надо прикинуть, сколько сил у тебя, сколько средств. И старый свой кров — пусть это просто землянка — не рушить, пока над головою иной крыши нет, иначе ведь останешься под открытым небом, руины — не спасенье.

Не спасенье и туманно-теоретические разговоры: мол, рынок, мол, капитализм, все образуется. Не «образовалось»!

...Как же нужно реформировать село, сверху ли, снизу, чтобы меньше терять? — этого и теперь не знает никто. Порою вспыхнет какой-нибудь «нижегородский метод», потом угаснет. В Орловской области, по словам Е. Строева, разработали собственную программу, сейчас на практике проверяют «8 — 12 всевозможных аграрных, аграрно-финансовых, аграрно-промышленных образований». А время идет, что было, разваливается — порою до основания.

А что до опыта нашего, теперь уже многолетнего и во многом горького, то не грех бы собрать десяток-другой председателей колхозов, которые выжили, и новых хозяев, которые сумели на ноги встать. Пусть они разработают основные правила перехода села к новым экономическим формам, которые, возможно, лишь подзабытые старые. Пусть именно эти люди подготовят указ и постановление от имени президента и правительства. Такие указы будут реальными, останется лишь долгий и тяжкий труд — их выполнить.

Но все это — лишь мои сладкие грезы. Не будет ни мудрого собора, ни мудрых указов. Продолжится развал колхозов, разгром всего, что нажили за долгие годы; продолжится падение сельскохозяйственного производства — видимо, до основания. А затем — на руинах — начнет развиваться новая жизнь, по законам естественным. Но сколько за всем этим горя и боли, ведь на дно идут «люди теплые, живые». Крестьянин умирает тихо, не тревожа ранимые души борцов за права человека и прочей «общественности».

Не только в Москве, Питере, Волгограде, но и в Калаче-на-Дону великим подспорьем для людей небогатых стали «ножки Буша» — не что-нибудь, а курятина. Значит, пришел и на нашу улицу праздник.

Калач-на-Дону,
Волгоградская область.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ЮРИЙ ОЛЕЩУК



КНИГООХОТА

Хочется вспомнить книгоохоту — занятие, вот уже несколько лет как исчезнувшее и, очевидно, полузабытое. Тем более, что о ней не писали, ее не обсуждали публично. Она лишь изредка упоминалась в разговорах самих книгоохотников — а это слишком скудный материал для закрепления в общественной памяти.

А между тем книгоохотой занимались сотни тысяч людей, она была безусловно главным хобби интеллигенции огромного государства. И десятилетиями продолжала таковым оставаться. Кроме того, в книгоохоте, через книгоохоту ярко проявлялись многие черты экономической, культурной и политической действительности прошлого. Что, в самом деле, говорила об эпохе рыбалка? Или собирание марок? Коллекционирование монет? Почти ничего.

По этим причинам книгоохота, ей-богу, заслуживает воспоминания и подробного описания. Это один из тех живописных кусков нашего ушедшего в историю бытия, забывая которые мы утрачиваем ощущение прошлого — без чего историческая память становится засушенной и искаженной.

Начинать разговор надо с того, чем была книга для людей тех неотдаленных времен, — без этого смысл книгоохоты не уразуметь.

Книга была сказочно популярна, имела высочайший престиж. Тогда часто можно было увидеть в книжных магазинах транспарант: «Книга — лучший подарок», — она действительно таковым и была. Ее дарили чаще, чем что бы то ни было из тогдашнего скромного набора возможных подарков — галстуков, носков, рубашек, духов, одеколонов. Убежден даже, что книгу дарили чаще, чем все эти виды подарков вместе взятые. Я, например, только книги и дарил — что особам женского, что мужского пола. И всегда чувствовал, что попал в точку: понравилось. Если вы, скажем, шли в гости к малознакомым людям и не знали, какое подношение придется по вкусу, выход из положения был безошибочным: подарите хорошую книгу — безотказная палочка-выручалочка.

Столько накопили люди книг дома, что это стало определенной общественной проблемой: как обратить неимоверный запас на пользу обществу? Ведь хорошие книги почти невозможно было купить в магазинах или достать в библиотеках (обычных, рядовых, небольших — а в большие, знаменитые было очень сложно записаться), все сконцентрировалось в домашних библиотеках. Кажется, «Литературка» подняла разговор о том, что неплохо бы накопителям делиться с остальными — хотя бы выдавая книги для прочтения. Запомнилось письмо-отклик, где автор рассказывал, что именно этой практикой занимается уже много лет (был даже опубликован снимок модельных формулярчиков, изготовленных им для выдачи). Запомнилось и гордое письмо еще кого-то откликнувшегося, извещавшего, что он тоже несколько лет дает на прочтение свои книги — и без формулярчиков, под честное слово, причем ни разу не был

обманут. Но вширь кампания не пошла, заглохла как-то сама собой. Впрочем, в 50 — 60-е годы книги давали читать охотно. Где-то к 80-м стали прижимистее. Просить прочитать книгу стало как-то неприлично. Вы немножко странно выглядели, обращаясь с такой просьбой. Трудно объяснить, почему это происходило, возможно, отчасти потому, что из общества вымывалось постепенно чувство коллективизма, и последствия этого процесса были очень неоднородными.

Аттестацией популярности книги было и ее воровство — вещь для сегодняшнего дня диковинная (если не считать, конечно, особо ценные книги, которые крали и будут красть всегда, как крадут предметы искусства). Тогда довольно часто можно было слышать, как в результате квартирного ограбления наряду с деньгами, кольцами, серьгами и проч. умыкались и книги. Очень страдали от краж библиотеки — даже те, в которых абонировалась исключительно «своя», доверенная, культурная публика. Автор этих строк довольно долго проработал в Институте истории АН СССР. И до сих пор не забыл жалобные восклицания ведавшей на общественных началах библиотекой месткома сотрудницы: «Ну, товарищи, нельзя же так! Десять минут назад здесь лежал Пикюль». Или: «Сколько сил мы ухлопали, чтобы добыть этот пятнадцатитомник Бальзака, — и смотрите: уже четырех томов не хватает». А народ в институте был в целом исключительно порядочный. Забудешь в столовой кошелек — на следующий день на доске объявлений обязательно бумажка: «Потерявшего кошелек просим зайти в комнату № ...». И в таком-то коллективе — книги уворовывались! Существовала какая-то странная убежденность, что «увести» интересную книгу — это не кража или в худшем случае только отчасти кража, воровство извинительное, даже благородное. У меня из домашней библиотеки за разные годы было уведено знакомыми десятка два-три книг. И я тоже хоть и выходил из себя, но не рассматривал это как настоящее воровство. Станным образом любовь к книге, преклонение перед книгой смягчали суть поступка. Ведь не из корысти — по любви получалась кража.

Но отчего вся эта книгоomanия? В этом было нечто от идолопоклонничества.

Прямо-таки культовым поклонением пользовалась классика — русские и иностранные авторы одинаково. В брежневские времена она входила в конгломерат настоящего дефицита. «Большая литература» всегда несла в себе некую «диссидентскую» силу, «диссидентскую» притягательность.

Кроме всего прочего, существовала исключительная выгодность вкладывания в книги денег. Если вы добыли дефицитную книгу за номинальную цену, вы тут же, без всяких хлопот, могли перепродать ее на вездесущем черном рынке за вдвое, втрое, вчетверо большие деньги. Ту же операцию можно было проделать и через три, пять, десять лет — прибыль только росла. Продержав книгу пару лет дома, вы к тому же могли продать ее через букинистический магазин, который тоже давал высокую цену (не принимались лишь книги, изданные в текущем либо прошлом году). Все это было гораздо выгоднее, чем класть деньги на сберкнижку, где за год набегало жалких два или три (на «срочном» вкладе) процента.

Я думаю даже, что вот эта уникальная выгодность инвестирования денег в книги — все больше уяснявшаяся населением — и была решающей причиной стихии массового книгособирательства, невиданного от сотворения мира. Ведь в ту пору вкладывать-то больше было практически не во что.

И огромный слой людей, не зная, куда пристроить деньги, обращался к книге.

Причем — тоже уникальная черта тех лет — ни у кого ни на секунду не возникало мысли: да ведь в один прекрасный день государство может резко расширить книгопроизводство, завалить страну интересной книгой — и весь материальный смысл данного собирательства пропадет, накопленное обесценится. Но все были уверены, что социализм всерьез и надолго, а следовательно, на наш век книжного дефицита как неременной составной советской жизни за глаза хватит.

Охота за книгами — охота азартная, возбуждающая, темповая, требующая сообразительности, маневренности, наблюдательности. И сверх того — определенного профессионального уровня, то есть знаний по части книг.

...Каждое утро перед дверями тысяч книжных магазинов огромной страны, в сотнях городов и городков кучковалась напряженная, наэлектризованная толпа. Физическая сила была дополнительным нужным качеством книгоохотника: при прочих равных условиях физически сильные добывали больше, так как протискивались первыми в открывшийся магазин. Ведь после открытия дверей счет шел на секунды. Надо было пробежать — не пройти, а именно пробежать — туда, где мог быть выложен дефицит, споро занять место в мгновенно образовавшейся очереди к прилавку.

Но проворность еще не была гарантией успеха, особенно если хотели приобрести несколько экземпляров. Продавцы зорко следили, как бы кто не купил два-три экземпляра, запоминали лица и сразу: «Я вас уже видела, верните чек в кассу!» Спорить, «качать права» — бесполезно. Законом хотя и не запрещалось отпускать по несколько экземпляров в одни руки — реальная практика была другая.

Но надо понять и книгоохотника: уйти из магазина, где выкинули дефицит, с одним-единственным экземпляром было унизительно. И вот шли в ход особые хитрости, случайному покупателю недоступные. Одна из них — не дать продавцу запомнить свое лицо. Для этого можно было первую книгу купить отвернувшись, а вторую — глядя на продавца уже в полный фас. Великолепно выручали головные уборы. Надвинешь шапку на глаза — одна картина. Затем подойдешь к прилавку сняв ее — другая. А были и хитрецы, приносившие две разные шапки, соответственно получалось три варианта внешности. (Правда, продавцы тоже знали эти трюки и иногда разоблачали: «Хоть вы и были в шапке, но я вас запомнила».) Уникальный прием использовал один завсегдатай Московского дома книги на Новоарбатском проспекте. Прочие охотники прозвали его «Мефистофелем». Он наклеивал попеременно то усы, то бородку. Комбинируя их и играя вдобавок шапкой, он ухитрялся брать до пяти дефицитов там, где прочие мастера промысла могли добыть от силы три.

Но обратите внимание: примеру «Мефистофеля», невзирая на эффективность метода, никто не последовал: было чувство, что это уж слишком. Хорошее чувство — отзвук смятого в людях, но все-таки не умершего окончательно собственного достоинства.

Была и еще тонкость в закупочных операциях — брать книгу только в отличном, идеальном состоянии. Отбраковывался экземпляр хотя бы с маленьким, едва заметным загибом уголка обложки, чуть перекошенной вклейкой страниц и т. п. Тут уже сказывался инвестиционный, коммерческий, а не читательский интерес: книга ценилась прежде всего как вещь, товар, как изделие. Она — на случай перепродажи — должна быть внешне безупречна. Ибо купить ее мог человек, тоже относящийся к ней как к изданию.

Хочу напомнить, что закупалась книга в лихорадочной обстановке. И собиратели набавляли в себе особый навык — моментально оценить состояние дефицита, заметить любые, пусть самые малые, дефекты и изъяны. Тут нужен был особый, орлиный глаз. Чуть что — и возвращает продавцу: «Замените». Но это было чревато. Продавец заменить обязан — но делал он это сердито, раздраженно. Ибо книгопродавцы были по большей части ленивы и малоподвижны: исключая редкие и краткие периоды продажи дефицита, которые обычно длились минут двадцать или полчаса, они обычно били баклуши.

Но охота за книгами в обычных магазинах — это только часть книгоохотнического промысла. В букинистических магазинах правила игры были иными. Тут, чтобы преуспеть, надо было обладать особой, повышенной, квалификацией. Толпа у входа заранее готовилась к броску внутрь, как только откроют двери. Ибо «бук», торговавший подержанными, сдаваемыми населением книгами, не мог продавать дефицит по двадцать — пятьдесят штук, как обычный магазин, по понятным причинам счет тут шел на единицы. И потому,

когда открывались двери, книгоохотники толкались так, что на первых порах никто не мог пробиться вообще: слышалось лишь тяжелое дыхание соревнующихся мужчин — мужчин, которые не уступят и не сдадутся. Я помню всегда «бука» на Ленинском проспекте — бородатого здоровенного художника, приходившего часто прямо с этюдником. Этот библейской наружности силач в момент «впуска» пихался так, что раскачивал всю толпу. Завершив закупки, маэстро превращался в милейшего добряка, галантно пропускавшего вперед себя женщин.

Пробившись к прилавку, надо было максимально быстро заметить новинку и крикнуть продавцу: «Отложите!» А иначе дело решится в пользу более шустрых. Тут надо было быть докой — и не мешкая в кассу. А то другие, услышавшие цену, могут опередить. Со мной такой трюк проделывали многократно, пока я не развил в себе высшую мобильность. И всегда выходил из «бука» с гордостью, когда «поле битвы» оставалось за мной.

Еще охотились за книгами на «черном рынке» — на толкучках, преследовавшихся милицией, разгонявшихся по десять раз на день, но восстанавливавшихся немедленно после ее ухода. Толкучек было множество. В Москве самые крупные — на Кузнецком мосту и возле вышеупомянутого «Книжного мира». Но книгоохотники там были большей частью не приспособленные к этому ремеслу — те, кто не умел добывать книгу так, как описывалось выше, или не имел на то времени. Или, наконец, имевшие столько денег, чтобы за книгу переплатить с лихвой. Потому что на толкучке, естественно, все продавалось втридорога.

Книжные жучки — вперемежку с интеллигенцией. Наметанный глаз книжного «барыги» сразу выделял нуждающегося в книге интеллигента. Именно интеллигентные, малого достатка люди по-настоящему «за ценой не стояли». Вообще вся цепочка перепродавцов книг, как ни странно на первый взгляд, упиралась в конце концов именно в малосостоятельную интеллигентскую массу, платившую неизмеримо больше всех остальных...

Возвращаясь к пропажам книг из библиотек, скажу, что сама ситуация частично объясняет сей вывих порядочных людей: они были загнаны по части книг в тяжелейшее положение. Книгоохота была не по ним, они не были приспособлены для нее, слишком хлипки. А на толкучке все-таки многого из желанного купить не могли по причине дороговизны. Что оставалось делать людям, для которых книга была не просто книгой, а, может быть, половиной интереса к жизни? Может быть, двумя третями этого интереса даже? Вот, прости Господи, и искушались...

Три поля книгоохоты — магазин, букинистический магазин и толкучка — были основными. Но были еще дополнительные поля, которые полноты картины ради должно упомянуть.

Книгообмен. Где-то в 70-х государство вдруг взялось поощрять книгообмен, решив, что таким маневром искоренит черный рынок. Книгообмен был устроен в книжных магазинах: вы могли продать (по номиналу) туда свои книги с указанием, какие хотели бы получить взамен. Книги выставлялись на специальные полки, если же среди публики находились желающие обменяться, то в свою очередь продавали свои книги, покупая ваши. Вы же затем покупали сданные ими. Наваром магазину в данном случае служила наценка на книгу пятнадцать — двадцать процентов.

Обмен стал поначалу бешено популярен, но его довольно быстро подорвали хитрости и плутовство матерых книгоохотников (книгоохота, натурально, развивала эти навыки в человеке, делала их почти рефлекторными). Основопологающий принцип плутни был прост: предлагать в обмен менее дефицитные книги на более котирующиеся. Пошедший в книгообмен массовый книгоприобретатель не очень разбирался, что котируется выше, что ниже; доками тут были спекулянты. Но постепенно широкая публика стала все же обмена побаиваться. Знающие толк в книжных котировках тогда предложили такой контрход: книги — сдаваемые и запрашиваемые — стали ценить в баллах

(разумеется, их исчисление было делом индивидуальным, «субъективным»). Казалось бы, что в этом нового? Что обманывали одним способом, что теперь — через манипуляцию баллами. А вот оказалось не совсем одно и то же: психологическая тут была тонкость. К баллам у не знающего книжнорыночную ситуацию человека было интуитивно больше доверия, чем к прямому запросу: я тебе эту книгу, ты мне — ту. Для наивного книголюбителя балльная система выглядела более авторитетной, он нередко полагал, что она общепризнана, почти официальна. Сколько раз приходилось собственными ушами слышать: «Тут же в баллах все размечено, обмана быть не может».

В общем, если налицо доверчивый, наивный человек, то есть много крючков, подчас на диво незамысловатых, на которые его можно поймать. В недавние годы великих финансовых, банковских, фондовых жульничеств мы в этом вполне убедились.

Но все-таки обмен покатился в конце концов под гору из-за явного и не-явного плутовства. К середине 80-х его стали уже опасаться, избегать, а магазины, видя, что падает спрос, принялись книгообмен ограничивать, уменьшать, а то и вовсе прикрывать.

Совсем малым полем книгоохоты были попытки пробиться в закрытую систему номенклатурного снабжения книгами. Здорово номенклатура устроилась по этой части (как, впрочем, и по всем другим тоже). Для начальства самого высокого уровня существовали ежемесячные бюллетени выпускаемой книгопродукции, рассылавшиеся закрыто, конспиративно. Пометив галочкой заинтересовавшие его издания, большой начальник затем получал (привозили на работу или на дом — по желанию) сверток с заказанными книгами.

Начальство поменьше, до уровня «бюллетенеполучателей» не дотягивавшее, самоорганизовывалось иначе: оно прикрепляло себя к книжным магазинам, куда входило через черный ход, выбирало в подсобках-складах нужное и через тот же ход убывало.

Понятно, влезть в такую систему шансов у книгоохотников было не много. Но некоторые все-таки ухитрялись! Всяческими способами старались завоевать расположение секретарш большого начальства, а завоевавши его, могли рассчитывать «дозаказаться» — отметить себе в бюллетенях что-нибудь из того, что начальство не интересовало. Там, где я работал, — в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук — такое практиковалось. Во-первых, секретарша книголюбителям сочувствовала. Во-вторых, директор института получал два экземпляра бюллетеней сразу — один как директор, другой как член ЦК. В такой «околобюллетенной» среде активно и сплоченно паслось человек пятнадцать. Правда, с какого-то момента все резко ухудшилось: двое из замдиректоров тоже включили себя в число пользующихся после директора. И после них (а они, естественно, стали первоочередниками на дозаказывание) не оставалось уже ничего стоящего. Но и тут удалось переломить ситуацию. По абсолютно тайной договоренности с секретаршей Верой Алексеевной (книгособиратели до сих пор вспоминают ее добрым словом) она сначала показывала бюллетень рядовым книголюбам, а затем, после их разметок, точно копировавших почерк директора, — замдиректорам. Те, конечно, заметили странно возросший интерес шефа к книгам, но поднять с пользой для себя этот вопрос перед ним не решились, на что и был весь расчет Веры Алексеевны. Слишком грозен и вспыльчив был директор, и его замы старались попадаться ему на глаза как можно реже.

Также активно искались подходы к ведомственным киоскам — в первую очередь в ЦК КПСС, — где дефицит лежал свободно; пройти в те здания можно было только по специально заказанному разовому пропуску, добиться которого просто так было невозможно: нужно, чтобы кто-то в аппарате ведомства захотел с вами встретиться. Имеющие на Старой площади знакомых решали, конечно, эту проблему просто. Поток приходящих не иссякал. И каждый второй приходящий обязательно в киоски заглядывал. Тут уже для киоскерш возникали проблемы — дефицит у них был, но не в неограниченном же

количестве! И предназначен ведь для «своих», работающих в аппарате — распродавать его приходящим они, естественно, не хотели. Но просто отказывать тоже было нельзя — особенно в ЦК; там велась особая политика: приходящих по возможности не раздражать, а привилегии цекистов не афишировать. Я совершенно убежден: попробуй какая-нибудь киоскерша сказать «не своему», что данные книги, мол, не про вас, ей бы за это попало. Потому делалось так: распознав наметанным глазом «не своего», она отвечала по поводу выложенных книг, что это лишь образцы, настоящий товар будет завтра, заходите, милости просим.

Я на такие штуки, изредка бывая в Отделе пропаганды ЦК, нарывался регулярно. Причем если одновременно со мной к киоску подходил «свой», то с ходу включался в игру, делая вид, что не покупает, а тоже только знакомится с образцами.

Вот в такое многоцветье усилий и сфер деятельности выливалась книгоохота. У меня же лично было еще и свое персональное поприще, на котором книгоохотников было мало. Чуть не четверть века подвизался я лектором российского и союзного обществ «Знание», рассылавших пропагандистов по всей стране. Серьезно была поставлена работа — лекторы попадали даже в такие точки, куда только на упряжках можно добраться.

Потому нашему брату лектору были доступны такие книжные магазины, до которых книголюбам — кроме крайне ограниченного круга местных — никак было не добраться. Там можно было с ходу купить такое, за чем в Москве пришлось бы месяцами гоняться. Более того, лектору был всегда открыт особый путь, ставивший его в привилегированные условия: надо было напроситься прочесть лекцию в книжном магазине — в обеденный перерыв, для продавцов, на полчаса, пусть бесплатно. Лишь бы потом услышать от директора желанное: «Хотите заглянуть к нам в подсобку, выбрать себе что-нибудь интересное?» И ни в какой аудитории я не лез так из кожи вон, как перед пятью — десятью пташками продавщицами книжного магазина. И когда в «Знании» мне предлагали поехать куда-нибудь в Армавир или Полоцк, первой мыслью всегда было: ура, побываю в книжных. И из каждой поездки действительно привозил что-нибудь первоклассное.

Правда, изредка случались проколы. Например, в Рыбинске. Отобрав в подсобке несколько книг, в том числе пользовавшегося тогда жадным спросом в Москве «Бухарина» С. Козна, я было вышел через черный ход, но был у самого порога перехвачен директором. Оказывается, там на всех выходах дежурили посты местного общества книголюбів, пытавшихся положить конец блатной продаже книг. То была пора старта перестройки, когда люди находились в разгаре веры в наступающую справедливость. Пришлось сдать книги обратно и выйти, что называется, чистеньким, с пустыми руками. Правда, к моему удивлению, вечером того же дня одна из продавщиц занесла мне мои книги в гостиницу — и общественность с ее гражданственными намерениями была посрамлена. Как была посрамлена потом и в миллионах других случаев, так что теперь, кажется, общественности как таковой и вовсе не существует.

Так в чем же глубинная суть феномена книгоохоты? Ведь ежели брать объем книгопроизводства при коммунистах в чистом, так сказать, виде, то он был чрезвычайно велик, тиражи его ныне поражают воображение: они были абсолютно достаточными для насыщения любого книжного голода самых прожорливых читателей. Издавалось просто чудовищное количество книг. Наши книжные магазины той поры были забиты книгами под потолок, а в подсобках повернуться нельзя было из-за громоздившихся сотен пачек новых поступлений, ждущих выноса в торговый зал.

И книгопроизводство было предельно легко перестроить на выпуск качественной продукции. Ясно, например, что для производства качественной, а не корявой обуви следует менять оборудование, закупать иное сырье, переобучать рабочую силу. Ничего этого не надобно было делать в производстве кни-

ги. Просто перестать печатать одни книги (неходкие) и начать издавать другие (ходкие). Вот и весь фокус.

Чтобы оттенить абсурдность ситуации посильнее, добавлю, что государство в те времена отчаянно нуждалось в такой простенькой перемене. Сейчас уже позабыто, что в последний, закатный, период социализма возникла острейшая и важнейшая проблема: как добиться реализации денежных накоплений? Деньги мертвым грузом лежали на сберкнижках и просто дома, «в чулках», как тогда говорилось, — а госбюджет задыхался от недостатка средств. Специалисты ломали голову: что предпринять, чтобы люди стали покупать — то есть отдавать государству деньги? И не могли найти выхода, потому что товарная масса была неудовлетворительна, а как сделать ее лакомой — вот на это ответа не было. Это действительно выходило за возможности тогдашней системы.

За одним, может быть, исключением — книгопроизводством. Тут все было волшебным просто: заполони торговлю интересными книгами, теми самыми, ради которых люди пускаются во все тяжкие, — и миллиарды потекут в карман государства. Помню, в одной статье тогда прочел, что «отложенный книжный спрос» исчислялся не менее чем в 15 — 20 миллиардов рублей.

Чудовищная сумма по тем временам! Способная сразу облегчить жизнь государству.

И вот в таких-то императивных условиях — ничего или почти ничего не было сделано государством, чтобы открыть этот простейший кран дохода! Ей-богу, это выглядит чистой воды абсурдом. Ну кому бы мешали, кажется, большие тиражи Гоголя или Мельникова-Печерского вместо бесконечных поделок соцреалистов?

Нет, в ущерб государственным интересам, казне страны принципиальной ориентацией книгоиздательского дела при социализме была ориентация идеологическая (да не в коня оказался корм: вавилонская башня совкового агитпропа рассыпалась в одночасье, когда пришло время, ибо возводилась-то без фундамента здравого смысла!). Советское книгопроизводство было занято, так сказать, тавтологией, поточно производя одно и то же. Ибо идеологизированная продукция тавтологична по сути, повторяя на все лады одни и те же симулятивные мысли, идеи, на которые работал гигантский штат корыстной obsługi: литераторов, идеологов и т. п. Все же остальное — то есть собственно литература как таковая — присутствует при социализме постольку, ибо несет в себе ценности, по большому счету для него неприемлемые. Номенклатура укрывалась от мира за сотнями тонн книгомакулатуры!

...Помню разговор пятнадцатилетней давности — с тогдашней замдиректоршей издательства «Наука» Пряжниковой, мимоходом, как само собой разумеющееся, бросившей, что две трети продукции издательства обречены на утиль. На мой наивный вопросец, можно ли что-нибудь изменить, она лишь слегка передернула плечами и поскорей перешла к другой теме, словно спеша замять неприличие.

Для хорошей книги не хватало ни бумаги, ни денег, ни мощностей. Один абсурд порождает другой — щедрое дотирование книгоиздательского дела. Это выдавалось за присущую соцреализму заботу о культуре, за нечто такое, чем социализм может гордиться перед лицом всего мира, ибо такого — нет нигде. Запомнились слова главы Госплана Байбакова: «Книжное дело будем субсидировать крупно, это для нас святое. На чем угодно сэкономим, на культуре — нет».

Только вот культуру-то товарищи байбаковы понимали по-своему.

...Пройдет всего несколько лет — и на место их «культуры» на книжные прилавки в гигантских объемах ляжет бульварщина, среди которой теперь культурную книгу разглядишь не сразу... Книгоохота продолжается!



О П Ы Т Ы

ГЛУПОСТЬ

Из «Лексикона истории культуры»

Проект «Лексикон истории культуры — телеверсия (ЛИК-ТВ)», поддержанный Российским представительством Фонда Дж. Сороса — Институтом «Открытое общество» и выдвинутый Академией гуманитарных исследований на соискание Государственной премии России в области культуры и искусства за 1996 год, заполняет пока никем ни в России, ни в мире не занятую нишу: история культуры не представлена в энциклопедическом своде ни в книжном, ни в видеоварианте. Темы телецикла, такие, как «Богатство», «Имидж», «Власть», «Деньги», «Война», «Традиция», «Чудо», «Тайна», «Авторитет», «Обман», «Числа» и ряд других, большей частью отсутствуют как в энциклопедиях, так и в учебниках по гуманитарным наукам. Впереди — новые темы того же характера: «Еда», «Скука», «Счастье», «Наказание», «Хаос», «Вещи» и др.

Проект «ЛИК-ТВ» осуществляется с октября 1993 года на Российском телевидении, его автор — доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Т. В. Чередниченко; в состав участников входят специалисты из разных областей гуманитарного знания, художники, литераторы, композиторы, деятели театра.

Вниманию читателей предлагается беседа о ГЛУПОСТИ, состоявшаяся в эфире 29 ноября 1996 года. В ней участвуют: доктор физико-математических наук С. П. Капица, доктор политологии, полномочный министр-советник посольства ФРГ в России Дитмар Штюдeman, филологи А. С. Немзер и М. Ю. Реутин, публицисты С. Б. Пархоменко и М. В. Леонтьев; ведущая — Т. В. Чередниченко.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Философам, любомудрам, свойственно рассуждать прежде всего о мудрости. Однако время от времени возьмет какой-нибудь крупный мыслитель да и споет гимн глупости. Первый и самый знаменитый такой гимн прозвучал в эпоху гуманизма — «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского. А сравнительно недавно, всего сто двадцать лет назад, о глупости весьма положительно высказался Ницше. Вот что он писал: «...мы должны открыть того героя и вместе того дурня, который притаился в нашей страсти к познанию; мы должны время от времени веселиться нашей глупости, дабы остаться веселыми и в нашей мудрости... Так пусть продолжается еще карнавал. Он, собственно, лишь начался. И нам следует вполне принять это головокружение, дабы поле смыслов достаточно отдохнуло от событий последних идеологий и революций. Важно лишь видеть пределы смертельной пляски, важно видеть потаенную в ней... опасность необратимого разложения (тогда уже ничем не поможешь), важно вовремя обратить эти силы к жизни, к чистоте и радости освобождения... к целокупности духа и тела, к „новой архаике“».

Пока не будем акцентировать грозного призыва, которым отдаются слова про потаенную опасность полного разложения. А просто подчеркнем: в успехах (и неудачах, разумеется) цивилизации или, говоря внеоценочно, в судьбе истории глупость играла не меньшую роль, чем ум.

А. С. НЕМЗЕР. Глупость — это несоответствие некоторым установленным нормам.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. И только?

А. С. НЕМЗЕР. Да. И только.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Тогда гений глуп.

А. С. НЕМЗЕР. Да, с определенной точки зрения. Другое дело, что гений создает новую норму, и потом мы ее признаем как таковую.

С. Б. ПАРХОМЕНКО. Глупость — радостная вещь для тех, кто ее совершает, а не для тех, кто ощущает на себе ее последствия.

М. В. ЛЕОНТЬЕВ. Я позволю себе не согласиться, потому что ведь это известная российская историческая традиция, что глупость — это как раз то, что спасает население от мора, страну от гибели. Известный тезис о том, что в России на жесткость постановлений начальства имеется глупость их исполнения, отражает выдающуюся движущую роль глупости в истории.

С. П. КАПИЦА. Определить глупость крайне трудно. Определять ее необходимо в конкретном контексте.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Возьмем научный контекст. Что считается глупостью в вашем цехе, в фундаментальной науке?

С. П. КАПИЦА. Это — вопрос стиля, вопрос вкуса. Я бы сказал, что глупость одного — это гениальное откровение для другого, и наоборот. Часто все зависит от установки личности, от того, как и кто это сделал. В науке, как, я думаю, и в искусстве, есть понятие подлинной ценности и есть понятие кича.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Последуем совету другого значительного философа, Мартина Хайдеггера, и прислушаемся к языку. Что говорит нам о глупости — и об уме — язык? «Глупость» в одном этимологическом ряду с такими словами, как «глухота», «глум», но также и «глузд»: в некоторых славянских диалектах — «мозги», «разум». «Ум», как предполагают, — от «явити», которое родственно латышскому «авитас», что означает «вести себя глупо, бесчинствовать». Получается, что ум — это как бы боковой отросток от глупости, а глупость — боковой отросток от ума. Язык роднит мудрость и глупость. Роднили их и традиционные культуры, в частности средневековые.

Д. ШТЮДЕМАН. Глупость нас соединяет, особенно в глубине традиции наших культур. Но, конечно, есть специфика глупости в каждой культуре. Есть, я считаю, чисто немецкая глупость, есть в целом западная глупость.

Немецкая глупость хранит наследие Средневековья с его известным типом Тиля Уленшпигеля, который был героем шванков и других шуточных текстов того времени. И в XIX веке сохранился этот образ городского шута, говорящего людям правду. Диапазон этой правды был весьма широк. Начиная от поговорки, что лучшая часть мужчины — не голова или руки, но женщина, жена, и заканчивая весьма парадоксальной и несколько горькой поговоркой, что мир будет спасен глупцом. За такой специфической правдой дурака стоит представление об убожестве как амбивалентном качестве — сразу и унижающем, и возвышающем. Убогий — у Бога, и глупость его понимается как сакральный дар, сродни пророческому. В наше время такое представление больше всего сохранилось, пожалуй, в России. Не случайно некоторые политические лидеры здесь склонны к имитации поведения шута, юродивого, убогого, словно чувствуя за этой ролью перспективу народного доверия.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Глупость в Средние века, разумеется, ценилась. Но не всякая. Существовало различие между глупостью и Глупостью, между простым недоумием и такого рода «нештатным», выходящим за житейские нормы, поведением, которое делает человека причастным к тайнознанию, к сокровенной мудрости.

Недаром у русских, например, существовало два типа сказок о дураках. В собрании Афанасьева можно найти серию сказок о глупой деревне. Вот пример. Мужики пошли на охоту. Видят — берлога, из нее пар идет. Стали гадать: есть там медведь или нет. Позвали самого умного мужика, Догаду, спрашивают его. Он не знает. Тогда его суют головой в берлогу, держат за ноги. Он что-то подергался-подергался, а обратно вроде не вылезит. Долго ждали, в конце концов вынули его, смотрят — а головы-то нет. Начинают между собой рядить, была ли голова или нет у Догады. Так ни к чему и не пришли. Возвращаются в деревню, идут к Догадихе, Догадовой жене, спрашивают: «Была у

твоего мужика голова али нет?» Она задумалась, а потом отвечает: «Когда щи ел, бороденка вроде тряслась, а была ли голова, нет ли, не знаю. Да мне и ни к чему». Это один тип сказок о дураках, рисующих мир глупой кромешности. Второй тип более известен, это — те сказки, в которых действует победительный Иван-дурак. Именно ему, обделенному младшему сыну, помогают волшебные помощники, например Баба Яга, которая прокладывает ему путь в тридевятое царство, тридесятое государство, где он женится на Царь-Девике и откуда возвращается триумфатором в родную деревню, выполнив функцию посредника между этим и тем светом, между профанным и сакральным.

Первый тип «дурацких» сказок выражает игровое «опрокидывание» космического порядка — мир без иерархии, карнавальным антимир. Позднейшая культурная жизнь, однако, «деметафоризует», переведет в некарнавально-повседневный, буквально-реалистический план (хотя и смягчит) этот образ. Ну а второй тип связывает фольклорное наследие с фигурой средневекового шута.

М. Ю. РЕУТИН. Эта фигура восходит к представлению о фетише и к языческим корням карнавала. Дело в том, что ритуальная община переживает три стадии: истощения, наполнения и абсолютной полноты. Перейти в последнюю фазу — фазу изобилия всяческих благ, фазу жизни с избытком — ритуальная община может, только причастившись к некоторому источнику энергии, взятому извне. Таким источником энергии было жертвенное животное: на юго-востоке Германии — козел, а в Средиземноморье — осел (согласно известному очерку О. М. Фрейденберг, Иисус, въезжающий в Иерусалим на осле, — сюжет, имеющий дохристианские ритуальные корни), в других регионах — бык, медведь, заяц. Животным этим приписывалась исключительная плодовитость. И этой плодовитости, этой полноте жизни ритуальная община причащается, потребляя жертву. Наследником животного-фетиша и является шут. Недаром его колпак может уподобляться козлиным рогам, что в Средние века связывало его также с дьяволом. Отсюда — амбивалентность шута. В качестве языческого фетиша, знака жизненной полноты, он — почти жрец, сакральная фигура; в силу же символической близости козлоподобному дьяволу — фигура опасная, разрушительная, «глупая». Пародийное антиповедение оказывается положительным знаком избытка энергии и отрицательным знаком неупорядоченной спонтанности. Другие знаки той же двойственности — производимые во время карнавала гигантские колбасы, огромные халы, громадные сыры, которые тащат по тысяче человек. Все эти нарушения нормы символизируют переход от стадии истощения к полноте, насыщению, ранее отмечавшийся серьезной жертвой, а в Средние века — смеховым антиповедением, веселым, но и рискованным пародированием строгого внекарнавального порядка.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Но все переменялось в Новое время. Гилберт Кит Честертон писал: «Ум больше всего прославляют те, кто им меньше всего пользуются». А самое большое прославление ума наступило в эпоху Просвещения. Тогда возникло всеобщее убеждение, что историей движет разум. Вера эта, пожалуй, жива до сих пор, хотя на пороге XXI века все как-то поплыло, все стало менее ясным.

С одной стороны, сегодня уже определилось как фактор общественного сознания сомнение в ценности теоретического разума. Люди перестали доверять идеологам, ведь казавшиеся столь доказательными и авторитетными теории переустройства жизни лопнули в практике XX века. С другой стороны, прежнее отношение к глупости как к сакральному свойству, обеспечивающему причастность сокровенному знанию, исчезло, и высказываются небезосновательные предостережения против увлечения образом победительного дурака.

А. С. НЕМЗЕР. Всегда и везде дурака изображать легче. В любой национальной традиции дурак — гораздо более выигрышная фигура, чем умный, прежде всего потому, что дурак может в умного превратиться, а умному превращаться не в кого, он и без того умный. А тот, кто ни во что не превращается, оказывается скучным, тот оказывается несюжетогенным. Его только и можно, что донимать испытаниями и сбрасывать с пьедестала. На самом деле

никого, кто по-настоящему умен, ни с какого пьедестала не сбросишь. Но литература — и фольклор, и письменная традиция — предпочитает другой путь. Вот я поставлю дурачка в начале, а дальше буду показывать, как он всех умнее, как он в котле не сварился и красавцем учинился. Это — выигрышный ход, ход, обоснованный фольклорно-мифологическим субстратом, но в нем есть и некоторая удивительная опасность. Мы начинаем любоваться глупостью заведомо, мы начинаем забывать, что не всякая глупость мудростью чревата.

С. П. КАПИЦА. Мы замечаем кич в основном тогда, когда он обретает массовое распространение. Все кидаются в одну сторону, возникает мода, в русле которой никакого серьезного духовного продвижения не происходит. Но — «шумим, братцы, шумим». Такой интеллектуальный кич — примета нашего времени. Это — какой-то вырожденный образ свободомыслия, которому остается противопоставить лишь скучное здравомыслие. В науке (и в искусстве, и в политике) складываются партии «интересных» дураков, которые кажутся умными, и скучно-академичных мудрецов, которые кажутся глупыми. Между тем оправданны и свободомыслие, и здравомыслие, между этими гранями и надо двигаться.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Если сегодня очевиден кризис рационализма, но в то же время никто не восхищается тайнознанием дурака, то объясняется этот парадокс скорее всего тем, что нынешний ум обрел вполне новый, в своей заостренности, экономико-прагматический характер. Это уже не мудрость в смысле объема и глубины знания, а скорее всего такое качество, которое позволяет в рискованно-альтернативной жизненной ситуации быстро сориентироваться и раздобыть для себя власть, богатство и комфорт. Что же такое тогда сегодня глупость? Об этом можно судить по продукции массовой культуры, ведь ее основное свойство — эстетизированное недоумие. Йохан Хейзинга назвал это качество массовой культурной жизни XX века «пуерелизмом», что означает наивную ребячливость, инфантильную беспроblemность, которая принимается с энтузиазмом, как здоровая норма. «Глупая деревня» из русских сказок теряет признаки символического антимира и превращается в обыденную мировую действительность. В самом деле, когда мы видим, с каким несколько взвинченным, бодрым весельем некие удачливые молодые здоровые люди жуют сникерс, который стал длиннее на целый ломтик («ломтик» — это, очевидно, новая точная единица измерения для складывающихся в массовой культуре интеллектуальных координат), то мы реагируем на эту картинку как на своего рода глупость, что не мешает нам с ней мириться как с нормой.

Таким образом, возникает следующая система. С одной стороны, есть жесткий прагматический разум, который делает сникерс длиннее на целый ломтик и продает его по всему миру. С другой стороны, есть уже далеко не священная глупость, которая позволяет манипулировать ее носителями, чтобы они покупали по всему миру этот ставший длиннее сникерс и тем самым приносили доходы тем, у кого имеется догадливость сделать ломтик неотразимо точной единицей измерения.

Ум и глупость теперь не родственны, как это было в Средние века. Они жестко разделены, как люди по ту и по эту сторону прилавка. Но они нужны друг другу, нужны как цель и средство.

Только в искусстве сохранился дурак в старом смысле — не в качестве манипулируемого счастливого существа, но в качестве ясновидца.

Д. ШТЮДЕМАН. Да, глупец продолжает играть свою роль в литературе. В центре одного из лучших, по-моему, за последние тридцать лет в Германии литературных произведений — «Жестяного барабана» Гюнтера Грасса — стоит маленький кретин. И через его жизнь, его восприятие предстает удивительно точный, ясный и страшный образ Третьего рейха, войны.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Изменение ума (его прагматизация) и изменение глупости (ее превращение в счастливую манипулируемость) привели к изменению качества смеха, который всегда возникал на перекрестке между муд-

ростью и глупостью. Смех средневекового шута — это саморазоблачающий и вместе с тем очищающий смех, смех над собой. В процессе культурных трансформаций от этого смеха поначалу осталось одно саморазвенчание.

В русской культуре вехой этого процесса стал город Глупов М. Е. Салтыкова-Щедрина. И сегодня на это произведение часто ссылаются, пытаются выстроить историческую и современную модель русской действительности как некой страны дураков. Этот образ настолько утвердился в текущем журнализме, что кажется, будто на него работала вся литературная традиция.

А. С. НЕМЗЕР. Мне хотелось бы сказать о том, что Салтыковым-Щедриным великая русская литература не исчерпывается. Я лично не люблю этого писателя. Я думаю, что это очень злой писатель, и острота отдельных наблюдений не искупает жестокости, некоторой бесчеловечности его концепции. Но и Салтыков-Щедрин писал не столько при этом о России и русской глупости, сколько о человеческой глупости вообще. Это можно почувствовать в его сочинениях отнюдь не российской специфики. А что касается эксплуатации «Истории одного города», то что же: надежно, выгодно, удобно. Запоминающиеся хлесткие афоризмы, красивая — газетно-красивая — нахрапистая фраза. И наш мазохизм, наш вполне новейший мазохизм... Это присуще любой нации; не мы страна дураков, любая страна видит себя страной дураков, и, скажем, в немецкой традиции это вполне приметно...

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Но у нас, согласитесь, это длится чуть не век...

А. С. НЕМЗЕР. Но это — еще и специфика последнего периода нашего развития, по понятным причинам сложившегося именно так... Так вот, наш мазохизм, этот вот азарт упоения собственной глупостью, азарт саморазвенчания, — он существует, между прочим, не без некой шкодливой надежды: раз вот такие уж прям глупенькие, то тогда в конце концов как-нибудь само собой сработает и глупость наша нам простится. У Щедрина, между прочим, этого не было. Он не прощает, и он не рассчитывает на прощение. А мы Щедрина след в след идем и тут же его быстренько, иногда подсознательно, не отдавая себе в том отчета, перекодируем: вот, мол, выпьем еще и погуляем еще, — именно потому, что такие мы глупенькие.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Нынешняя культура — культура эпохи сникерса — убрала из смеха уже и горечь. Нет ни очищения, ни саморазвенчания. Последнее еще представлено в советских анекдотах о дураках, которыми были и политические лидеры, и милиционеры (мелкие представители власти), и последний чукча, вместе образовывавшие сплошной континуум саморазвенчания. Теперь существуют анекдоты о «новых русских». Они тоже как бы дураки, но настолько прагматически удачливые (их дети в песочнице копаются радиотелефонами), что даже вызывают зависть и уважение. Вокруг них нет глупой кромешности. Они — такие дураки, которые ведут себя отменно умно и правильно, нам бы так. Глупость в смысле смешного недоумия, пожалуй, продолжают видеть лишь в сфере политики, и это последние остатки традиции.

М. В. ЛЕОНТЬЕВ: Вообще политик — это во всех странах живое осуществление, выставленное на всеобщее обозрение воплощение глупости. Политик для того и существует, чтобы весь народ видел, что вот он — дурак, а мы все умные. Это — основная общественная функция политика, функция терапевтическая.

С. Б. ПАРХОМЕНКО. Правильно, ведь как строится, например, хорошая телевизионная викторина? Эти игры всегда держатся на том, что человек, который сидит в кадре, не может догадаться, что слово из пяти букв, начинается на «д», кончается на «а», — «дырка». А кругом сто пятьдесят миллионов зрителей кричат: «Козел, дырка, дырка!» И они чувствуют, что они его умней, что — образованней. И смотря как безумные, день за днем, год за годом, эту передачу. Совершенно точный выстрел.

Т. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Напоследок вернемся к фрагменту из Ницше, где содержится призыв к глупости как к санитару, к тому, чтобы «поле смыс-

лов достаточно отдохнуло от событий последних идеологий и революций». И подчеркивается: «Важно лишь видеть пределы смертельной пляски, важно видеть в ней потаенную опасность необратимого разложения...» Сегодня, повторю, история глупости как сакрального, причастного тайне и чуду, феномена закончена. Глупость — это сегодня неумение добыть себе власть, богатство и комфорт, и она же — средство для других — для тех, кто умеет добыть себе все перечисленное. Возможно, «опасность необратимого разложения», о которой писал Ницше, реализовалась. А возможно, вся эта как бы даже общественно-респектабельная суeta вокруг «Полей чудес», весь этот гиперболически-солидный (по затратам и выгодам) карнавал несерьезности, все эти шутовски-прагматичные эскапады публичных политиков означают, что глупость, после просветительских односторонних упований на разум, наконец восстановлена в правах и что недалеко эпоха «новой архаики», с которой Ницше (и не он один) связывал самоочищение культуры.

Словом, увы или ура? Пока трудно сказать. Дело не в уме и не в глупости, а в вере, которая делала дурацкий колпак и подобием короны и митры, и аналогом рогов нечистого. Вера — то третье, которое по отношению ко всем противоположностям — всегда первое.



МИР ИСКУССТВА

СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА*

1. Улыбка Чеширского кота

Трансформации. Процесс эстетического освоения мира, постигаемого зрением как чувством и глазами как его органами, бывший на протяжении тысячелетий основой художественного творчества, сегодня затухает. Нелепо и неприлично даже называть нынешнее так называемое актуальное артфункциональное изобразительным или пластическим искусством. Оно осуществляется в формах и местах предельно отдаленных от альма-матерных и в этом смысле лидирует среди всех искусств. Трансформации, осуществленные здесь постмодернизмом, представляются более революционными и авангардными, чем все достижения авангардизма. Оказался полностью измененным круг задач, предлагаемых художнику, способ функционирования и рекрутирования его и прочих интересантов, желающих реализовать себя в артмире. Отказ художнику в праве на личное чувствование, эстетическое переживание и высказывание разорвал во всех мыслимых местах традиционный цикл художнической психосоматики: глаз — мозг — рука — глаз... Без почестей похоронены картина и вообще живопись, скульптура и вообще пластика. Также вынесенными за скобки актуального оказались все проявления, связанные с традиционными представлениями о профессионализме и вообще качестве. Напротив, резко повысился статус жеста и языковой работы (текст, контекст, обсуждение текста, обсуждение контекста, взаимоувязка текстов и контекстов и т. п.). Последнее обстоятельство предопределило, помимо прочего, сближение языков художественной деятельности и критики, что позволило критике проникнуть в собственно художественное пространство, напрямую заняться организацией художественного процесса и деятельности художника.

Еще раз о самобытности. Мы, как всегда, находимся в особом, самобытном положении: на протяжении многих десятилетий здешнее искусство носило ярко выраженный резервационный характер. Он проявлял себя и в паническом отгораживании от «растлевающего влияния буржуазного искусства», и в старательном созидании собственного космоса, и в воспитании всех на культуре прошлых веков — на «всем лучшем», созданном в мире до воцарения большевиков.

Сегодня мы расхлебываем этот провал во времени, длительную погруженность в безвремяе: и производитель и потребитель прекрасного, и посредник между ними вступают в XXI век, не поварившись в котлах культурных процессов, шедших в цивилизованном мире в XX веке. У нас с ними просто не сложились отношения, и потому теперь столь силен крен в сторону выяснения

* Я определяю актуальное искусство как род художественных усилий, благодаря которым искусством или предметом искусства становится то, что до приложения этих усилий таковым не являлось (не считалось).

отношений с искусством прошлого, в том числе и предшествовавших веков. В этом роде — обе основные сегодняшние тенденции, хотя они и диаметрально направлены:

1) поиски и раскапывание корней, припадание к родникам, массовое возвращение блудных сыновей;

2) стремление порвать со всем, что было, начать все сначала, стать иванами, не помнящими родства (часто в эдиповом варианте).

То есть сегодняшние ностальгии по всевозможным золотым векам, с одной стороны, и нигилизм, обильно приправленный эдиповыми комплексами, с другой, — соприсродны. Эта органика лично у меня вызывает двойственное чувство, являясь одновременно источником и пессимизма, и некоторого оптимизма.

В отрыв. Мировое искусство XX века повело авангардного художника в отрыв от арьергардного буржуазного зрителя, обосновав права творца на заведомое всепонимание и всечувствование и признав за потребителем заведомую несостоятельность, отсталость, неспособность быть на высоте художника. Так обозначился раскол на элитарное искусство и кич. Первое стало апеллировать ко всепониманию экспертов и «истинных» ценителей и третировать всех остальных, второе — к ничегонепониманию «рядового» буржуа. Примерно тогда же возникло и «салонное» искусство. Это род «нового» искусства, адаптированный к уже существующим эстетическим, этическим и прочим представлениям, — авангард второй свежести. Он предназначался для людей «со вкусом» (ведь специфика актуального в том, что в момент появления оно находится за рамками существующих представлений, в том числе и вкусовых, эстетических).

Принципиально важно отметить, что весь XX век актуальное искусство (вернее, искусство, объявляемое таковым «актуальной» критикой) было левым и бросаемые им шокирующие вызовы были последовательно негативистского толка, поскольку предназначались раздражать и дразнить благополучного, положительного «правого» обывателя. Так постепенно складывалась ситуация, когда «актуальное», «современное» стало ассоциироваться исключительно с нигилистическими, отрицательными заявками. Инновации, уличенные в несоответствии таким заявкам, или в грехе преемственности, или в других нарушениях правил игры (часто менявшихся на протяжении этой игры), разоблачались, директивным порядком выводились за рамки «актуального», и их авторы вынуждены были либо дрейфовать в сторону салона и кича, либо проваливались в зазор между актуальным и салонным искусством — так, в статусе маргиналов долго существовали, например, Джорджо Маранди и в какой-то степени Фрэнсис Бэкон (последнему повезло принадлежать к сексуальным меньшинствам). Ну а имена многих других художников, застрявших в этой щели, мало кому и мало что говорят, поскольку им так и не привелось оттуда выбраться.

Одновременно актуальное искусство все последовательней отказывалось от эмоционально-чувственных параметров и рычагов воздействия (все более уверенно бал правила критики, и художнику оставалось все меньше возможностей быть замеченным иначе, чем возбудив их внимание; но возбудить его на эмоционально-чувственном уровне становилось все сложнее: таковой у них либо отсутствовал, либо пребывал в атрофированном состоянии — следствие исторически складывавшихся критериев отбора в профессию), а кич по мере сил истреблял на своем поле апелляции к интеллекту. Однако это не мешало критикам дружно клеймить «маргинальные явления»: слева их обвиняли в буржуазности и ретроградстве, а справа — в отсутствии доходчивости и душевности. Попытки соединения актуальности с какими бы то ни было положительными качествами, попытки организовать в художественном пространстве встречу живой мысли с несуррогатным чувством стали все настойчивей преследоваться по всему этому пространству, а всевозможные беседки и гнезда — традиционные места свидания и взаимооплодотворения мысли и чувства — разоряться.

Трудно не заметить, что замыкание элитарного искусства на негативистских построениях, сегодняшний диапазон которых весьма широк — от чистого интеллектуализма до чистого хулиганства, наращивает его антигуманную компоненту и ведет к глубокому цинизму, а замыкание массовой культуры на удовлетворении простейших запросов внеинтеллектуальными способами причащает «массу» реагировать на все рефлекторно, как собачку Павлова.

И все же с таким положением дел надо было бы согласиться или по крайней мере смириться, если бы в жизни так и было — элита и толпа. Теорий, исходящих из этого расклада как из данности, действительно хватает — волки и овцы, пастухи и стадо и т. п., и тем, кто внутренне готов идентифицировать себя с элитой, нет проблем отнести всех остальных к толпе.

Но что делать с реально существующими нормальными, незакомплексованными и одновременно культурно ангажированными людьми, у которых к тому же есть глаза и которые именно в силу этих своих свойств не имеют ни потребности, ни внутренних оснований отнести себя ни к «элите», ни к «массе»? Объявить и их маргиналами и посему перестать обращать на них внимание и обращаться к ним? Примерно это и происходит: все как-то так устроилось, что подобные люди становятся изгоями не только в сфере производства, но и в сфере потребления художественной продукции.

В этом отношении XIX век был, кажется, все же погуманней и понормальней. Изобразительное искусство тогда начало активно переключиваться из коллекций в экспозиции (в том числе и посредством превращения коллекций в экспозиции). Появилась публика, и художник стал публичной фигурой, объектом внимания не только заказчиков (как до того) или критики (как сегодня), но и максимально широкого и одновременно хотя бы минимально подготовленного зрителя.

Хотя не стоит слишком увлекаться ностальгией и забывать, что, например, советская культура унаследовала от XIX и прочих веков не только и даже не столько технологии сообщения, сколько стереотипы восприятия: именно эстетические представления и предпочтения весь XX век оставались у нас на уровне XIX — «Незнакомки», «Лебединого озера» и портика, за которым танцевали маленькие лебеди.

Не стоит также забывать, что именно XIX век подготовил почву для победы нового художественного расклада. И если взаимосвязь авангардного художественного сознания и тоталитарных социальных систем, рожденных революциями, в известной мере осознана, то роль в этом процессе Зигмунда Фрейда представляется решительно недооцененной. Дело не только в том, что в результате фрейдистской революции на смену «сознательным» импрессионизму и кубизму, открывавшим новые визуальные параметры реального мира и живописно-пластические возможности их передачи, пришли абстракционизм и сюрреализм, оперировавшие подсознательным и апеллировавшие к нему, а потом и постмодернизм, вовсе отменивший реальность. Дело еще и в том, что были подорваны доверие и интерес к самой возможности сознательного (и понятийного, и чувственного) постижения чего-либо как производителем, так и воспринимателем, и, таким образом, была существенно ослаблена связь между ними. Это облегчило уход искусства в отрыв от потребителя, а также предопределило непомерное разбухание фигуры посредника, толкователя подсознательного, психотерапевта от эстетического — критика.

Было бы рискованно и даже опрометчиво утверждать, что советскому человеку повезло больше оттого, что ему скармливали совершенно неудобоваримую марксистско-ленинскую эстетику вместо аппетитной фрейдистско-юнговской, но, как это ни забавно, ему таким образом, кажется, все же удалось избежать кое-чего реально растлевающего.

Безвременье. Если доминантой художественной жизни Запада было противостояние актуального искусства кичу и салону, то у нас оно отслеживалось разве что в подвальных андерграунда. Только здесь была вполне проявлена

разница между художниками, которые занимались пережевыванием и перевариванием подножного корма (обступающего реального социализма) с целью превращения его в предмет искусства (вспомним наше определение актуального искусства), и «искусством принадлежать народу» (в лице советской интеллигенции и буржуазного дипкорпуса). Однако андерграунд, хоть и был микромоделью цивилизованной художественной ситуации, находился вне рамок актуальной (освещаемой) культурной ситуации, то есть, будучи искусством, обитал немножко вне культуры.

При этом на культурной поверхности шли жаркие споры о Глазунове и Шилове, Глазунове и МОСХе, левом МОСХе и правом МОСХе и т. п. При желании и здесь можно было усмотреть противостояние кич-салона и «современного искусства», хотя и в парадоксальных формах (что, впрочем, естественно для антимира). Кичево-салонную функцию обслуживания клиента — только государства, а не частного буржуа — выполнял заказной официоз. А эквивалентом «актуального» было «настоящее», «истинное» искусство. Для одних в этой роли выступал глазуновский кич, для других — левомосховское салонное эпигонство — разного рода стилизаторство либо проселочные версии модных направлений западного искусства.

Наше «настоящее» искусство соответствовало тамошнему «актуальному» и на сущностном уровне: синонимом того и другого было понятие «современное». Просто, поскольку мы обитали в безвременье, искусствоведческое и художественное сознание, жившее здешними реалиями, искало себе опору в вечности — очищало все, что могло, от скверны сиюминутности.

Естественно, что в мире, где время — деньги, единственно стоящим объявлялось искусство, способное чутко улавливать вызов времени и оперативно реагировать на него. Наш левый критик-романтик искренне считал, что ему одной точки зрения на всю жизнь хватит, и уютно обустраивался, подбирая себе любимых авторов. А западному критику-прагматику в ситуации жестокой конкуренции и разрушения мало-мальски устойчивых критериев потребовалось искусство, точно и оперативно реагирующее на его руководящие установки.

По мере вхождения нашего искусства «во время» в нем также начали нарастать процессы актуализации. Не в последнюю очередь это происходит через бурный рост роли жеста — он ведь, по определению, наиболее оперативный, непосредственный и выразительный инструмент адекватной реакции. В этом отношении он выигрывает даже у слова. Что уж говорить о неконкурентоспособности в новой ситуации каких-либо традиционных форм художественного самовыражения — «полностью дискредитировавшей себя стратегии индивидуального творчества». Пожалуй, только и остается, как сегодня принято, ностальгически вздохнуть по этому поводу. А еще, прощаясь с советским периодом, заметить в том же ностальгическом ключе, что, как это ни смешно, «при советах» существовало такое место, где обитало искусство, быть может, более свободное, чем сегодняшнее. Искусство ведь свободно, когда не зависит от идеологии и денег. От идеологии не зависит тогда, когда художник внутренне свободен, а от денег — когда их много или когда их много не надо: пребывание во внутренней эмиграции освобождало от идеологической зависимости, а жизнь в стране советов — от материальной.

Миграция. Существует множество систем классификации искусств. Отбросим иерархические — типа гегелевской или: «Из всех искусств для нас важнейшим является...», — создатели которых либо выступают от имени истины, либо руководствуются революционной целесообразностью, корыстью и т. п. В других системах искусства делятся, например, на визуальные и вербальные, по принадлежности музам, на пластические и динамические и т. п. В этом, классификационном, смысле сегодняшние процессы, происходящие с бывшими пластическими и изобразительными искусствами, можно определить как попытку смены пространства обитания. Если в рабочем порядке ввести деление искусств (возможно, подобная классификация существует, просто неизвестна

автору) на продуктивные, товарные, с одной стороны, и эфемерные, знаковые, — с другой, то бывшая изопластика пытается перескочить из первых во вторые. Художественная репрезентация научилась обходиться сначала без авторских изделий, а затем вовсе без изделий.

Начало первому этапу положил, как известно, Марсель Дюшан, еще в 1917 году выставив писсуар в качестве художественного экспоната, и до сих пор продвинутой мировой критика преимущественно через него совершает все свои отправления: появление в качестве экспоната фабричного изделия позволило начать перманентный слив воды из ванночки, где плескался художник. (Автор отнюдь не является противником ни «реди мейд», ни инсталляции. Речь идет, с одной стороны, об объективных процессах, но с другой — об усилиях воздействовать на них и использовать в борьбе за власть.)

За образцами качественного ширпотреба последовали образцы некачественного, затем их обломки и ошметки, потом — разнообразный мусор. Если до Дюшана произведением искусства, вне всякого сомнения, было то, что сделал художник, то теперь впервые возникла проблема идентификации: что есть произведение искусства? что это такое? Найденный ответ гласил, что произведением искусства является то, что попадает на выставку, экспонируется. Так возник патентный синдром: кто догадается что-либо экспонировать первым, тот и главный молодец.

В 60-х годах английская группа «Флюксус» прописала по художественному ведомству различные формы демонстраций (акционерство) и, таким образом, обозначила новый, неэкспонибельный и нематериальный, способ художественной репрезентации (в 70-х группа Андрея Монастырского «Коллективные действия» стала насаждать акционерство и на нашей почве). Критики опять немножко подумали — и в результате искусством стало то, что попадает в каталог.

Вся эта логическая цепочка исходит из того, что продвинутое произведение все более неотличимо от предметов обихода, прочих объектов и проявлений среды нашего обитания и способов обитания в ней, а также различных функций социального, естественного отправления и т. п., поэтому оно может быть надежно вычленено и идентифицировано как произведение искусства только путем внесения его в специальный контекст. Сначала таким контекстом была объявлена выставка, ну а когда стало нечего показывать — каталог. В силу набранного хода потребовалось не так уж много времени, чтобы объявить искусством только то, что попадает в каталог. Возникло даже специальное «каталожное искусство», где зритель уже вовсе исключен из художественного процесса, а сам процесс приобретает черты жречества.

У этой перманентной революции несколько взаимосвязанных аспектов и следствий. Кроме уже отмеченной классификационной подвижки, то есть перехода художественной деятельности в разряд нетоварной, непродуктивной, принципиально важно, что произведение искусства возникает теперь не как результат профессиональной деятельности, а как результат отбора, экспертизы, референции: попало в каталог — значит, искусство; не попало — значит, не искусство. И соответственно истинными творцами (демиургами) новой культуры становятся те, кто составляют каталоги.

Кроме этого оказываются хорошо выраженными художественные проникновения в смежные искусства и вообще культуру и, наоборот, заимствования. Если «Флюксус» ввела в артистический оборот демонстрации, то бывший летчик вермахта Йожеф Бойс примерно в те же годы своими манифестами и публичными акциями пытается сам активно воздействовать на социум (сегодня многие считают его основателем движения «зеленых»), а своими инсталляциями вторгается в архитектуру — занимается проблемами организации пространства. Та же «Флюксус», а вслед за ней Илья Кабаков, а вслед за ним «медгерменевты» вводят в художественное обращение квазинаучный дискурс — ящички с ячейками, в которых что-то хранится, этикетки, бирки, таблицы и графики, колбы, реторты, заспиртовывание, засушивание и тому подобную лабораторно-диссертационно-архивариусную круговерть. В бойсовских инстал-

ляциях тоже много от химической лаборатории и одновременно от склада заготовок и готовой продукции: он старательно и талантливо работал на увеличение разрыва между тем, что художник имел сообщить и что зритель мог воспринять без общей и специальной подготовки ко встрече с конкретным художником и его конкретным произведением. Разрабатывал внеэмоциональный язык внеэстетического месседжа.

Парадоксальная логика этого процесса, придавая статус гениев его инициаторам и статус великих его активистам, все более понижала социальную роль и культурный статус художника вообще. Становилось все труднее не только считать месседжи, но и уяснять специфику художнической работы как отличную от нехудожнической, ее уникальность, феноменологию. То есть одновременно и параллельно шла и герметизация актуального искусства в смысле все меньшей возможности для непосвященных вникнуть в суть процесса и его результатов (нарастание жречества), и разгерметизация в смысле размывания границ с неискусством до полного неразличения теми же непосвященными, кто есть кто, что есть что и где это что.

Весь век, отчасти через эпатаж, отчасти через потерю внятности и отказ от собственного языка, «современное» (актуальное левое) искусство бросало вызовы сначала «обывателю», то есть широкому зрителю, а после и узкому — культурно ангажированному (в том числе и готовому за него платить), — уходя от них. Однако, добившись желаемого, то есть практически полной свободы и независимости от потребителя, оно обнаружило (какая неожиданность) падение интереса к себе до такой степени, что его лелеемая элитарная актуальность начала пахнуть маргинальностью, а пропасть между искусством и обывателем оказалась столь велика, что бросаемые вызовы уже не долетали по назначению. В этой ситуации «актуальным» сознанием овладела новая идея — привлечь к себе внимание любой ценой. Центр тяжести борьбы за репрезентацию и идентификацию был перенесен из максимально герметичного в максимально открытое пространство: с каталогов на СМИ — в первую очередь электронные, — а также непосредственно в стихию слухов и сплетен. То есть теперь главным искусством стало даже не то, которое попадает в специальные разделы периодических изданий и специальные теле-радиопрограммы, а то, что попадает в хронику и новостные программы, — и начался активный поиск соответствующих форм самовыражения. Достижения наших местных художественных сил (как раз подключившихся к мировому процессу) на этом этапе неоспоримы. Наиболее привлекательной для них формой по понятным причинам оказался радикальный жест — эскалация чистого эпатажа (с одной стороны, богатая традиция артистического скандала, восходящая к декадентству, с другой стороны, богатейшая традиция российско-советского бытового хамства). Прилюдное обнажение тел, выкладывание из них неприличных слов, кусание людей, спускание штанов, публичные естественные отправления, половые сношения и извращения стали наиболее ходким и приветствуемым критикой художественным товаром — главным способом удовлетворения желания здешнего «актуального» искусства снова принадлежать народу.

На этой стадии можно констатировать полный выход художника за границы его прежнего ареала обитания и полное обеспредмечивание результатов его деятельности. Это даже не висящая в воздухе улыбка Чеширского кота, поскольку нет больше никакой уверенности в том, что: а) это улыбка кота; б) это вообще улыбка; в) на месте пребывания Чеширского кота вообще хоть что-нибудь осталось.

2. Пессимистический оптимизм

И еще раз о самобытности. Разумеется, реальная ситуация не столь жестоковейна, особенно на Западе, где генеральные линии вообще проводятся с трудом. Там еще жив мощный институт приватного коллекционирования, функционируют галереи современного искусства — посредники между худож-

ником и покупателем, живущие, в основном, от продажи работ. И для того и для другого институтов окончательная смерть пригодного для коллекционирования актуального искусства — это их собственная смерть, и они как могут борются за выживание. Мощный институт критики неоднороден и наряду с «киллерами» включает профессионалов, добросовестно и внятно рецензирующих экспозиционную деятельность, то есть поддерживающих в обществе интерес к новостям художественной жизни путем создания информационного контакта на адекватном уровне.

Наша художественная ситуация, внешне несколько напоминая западную, по существу, либо имитирует ее, либо воспроизводит в утрированном виде. В начале 90-х артрынок действительно наклюнулся, но еще не вылупившись обзавелся букетом специфических особенностей, которые и сгубили птенчика.

Институт коллекционеров стал формироваться, в основном, не из частных лиц, а на обезличенной корпоративной основе (банки, торговые дома и т. п.), с привлечением профессиональных экспертов для отбора работ. Соответственно коллекции начали создаваться не из отдельных работ отдельных авторов, понравившихся коллекционеру, а «по направлениям» и скопом. При этом качество работ и идеология коллекции отражали в большей степени вкусы и установки консультантов, чем предпочтения собирателей. На первых порах такой расклад предопределил довольно бурную закупочную деятельность (особенно если принять во внимание шальные деньги, плившие в ту пору к этому контингенту коллекционеров), выглядевшую особенно эффектно на фоне тогдашней стагнации западного артрынка (связанной в том числе и с экономическим спадом). Москва на весь мир прослыла местом, где покупают искусство, и даже некоторые вполне солидные западные галереи повезли сюда на продажу своих вполне известных художников.

Одновременно возникло довольно много местных галерей современного искусства, но галеристами стали, в основном, не бизнесмены, как «у них», а художники и критики. Это обстоятельство обеспечило высокую степень экстравагантности экспозиционной жизни: вместо рутины регулярных выставок галерейных художников, то есть репрезентации имен, упор был сделан на репрезентацию процессов и явлений, представляющихся наиболее актуальными в данный момент, а вся галерейная жизнь оказалась пронизана силовыми полями кураторства. Таким образом, возникла очень высокая, почти тотальная зависимость галерей от сиюминутной моды, установок критики и кураторских прихотей и очень низкая — от предпочтений покупателя.

Ну а критика и в голову не взяла свою основную задачу — профессиональное и добросовестное рецензирование выставок, то есть сведение художника со зрителем и потенциальным покупателем. Напротив, бросилась растаскивать их как можно дальше друг от друга, деморализовывать того и другого и, заняв все пространство между ними, предлагать и тому и другому себя в качестве наиболее привлекательного объекта артжизни.

Киллер у нас, в соответствии с духом времени, стал самой модной разновидностью профессии критика — отчетливо доминирующей над остальными. Именно критики-убийцы начали определять художественную стратегию периодических изданий, представляющих заинтересованному читателю актуальную художественную жизнь.

Левый критик-киллер в западной культуре — это отнюдь не санитар леса: там художники уничтожаются молчанием критики, а не критикой. Он скорее выполняет роль такого компьютерного вируса, норовящего стереть любые существующие или возникающие программы, любую позитивную и продуктивную заданность. Но, во-первых, в их структурированных и плюралистичных культуре и сознании эта заданность воспроизводится и возникают новые программы, а во-вторых, как и во всем остальном, тут присутствует известная симулятивность, понарошковость, поэтому, например, художники гордятся уничижительной критикой корифеев не меньше, чем положительной: и то и другое — реклама: можно вешать на стенку.

У нас, во-первых, нет корифеев, поэтому гордиться нечем, а во-вторых, нет структурированности и плюралистичности. Напротив, пространство актуальной артжизни, как это у нас вообще заведено, устроено вполне коммунально — так же тоталитарно, так же тесно и так же сперт воздух. В этих условиях (кому, как не нам, это знать) сказки имеют свойство становиться былями, а убийства понарошку оказываются полными гибелями всерьез.

В общем, оказалось достаточно легкого толчка в виде изменения финансовой ситуации, чтобы здешний артрынок быстро пришел к коллапсу. Как только прошла пора шальных денег и наступило время быстрых, корпорации, собиравшие коллекции андерграунда и современного искусства не глазами, а ушами, наслушавшись, что они собрали «не то», в погоне за быстрыми деньгами с легкостью (в силу отсутствия каких бы то ни было личных привязанностей) отказались от своей затеи и начали разными способами сбывать свои коллекции, тем самым обесценивая их. Они, конечно, слышали, что искусство — это хорошее вложение капитала, но, видимо, никто не объяснил им, что современное искусство, чтобы стать надежным капиталом, должно полежать, то есть перестать быть современным, что не в последнюю очередь именно длительное пребывание в серьезных коллекциях создает его цену.

Соответственно галереи, еще два-три года назад делавшие ставку на формирование внутреннего рынка и на поддержку русского искусства национальным капиталом как на главные условия достойного выхода на мировой рынок, сегодня, за редчайшими исключениями, даже и не пытаются жить от продажи современного искусства на внутреннем рынке (по причине отсутствия последнего), то есть, по существу, перестали быть галереями, оставив себе одно название.

Да и киллерская критика, добившись своего полного доминирования в артмире, одновременно оказалась генералом мало кому нужной армии. Телепрограммы, освещающие художественную жизнь, закрываются, равно как и монополизированные киллерской критикой полосы искусств периодических изданий, а новые издания стараются держаться подальше от этих ребят и девчат, и хоть поздновато, но до тех самих начало доходить, что, сладострастно дезавуируя «неправильное» (то есть товарное) современное искусство, они рубили сук, на котором сидели. Что, оказывается, коли нет хороших художников, плохие критики и подавно не нужны.

Стало быть, с большой степенью приближения сегодня можно говорить об отсутствии у нас и реального института продажи, и реального института коллекционирования, и реального института отслеживания реально отсутствующих процессов — опять одна улыбка кота вместо самого животного, опять жест вместо осязаемого предмета.

Если бы... Когда в начале статьи речь шла о некотором оптимизме, связанном с погруженностью здешнего культурного сознания скорее в XIX, чем в XX век, имелось в виду, с одной стороны, наличие прослойки (пусть и не большой) достаточно образованных и заинтересованных зрителей, не превратившихся еще ни в потребителей кича, ни в потребителей элитарного (к тому же обладающих иммунитетом против идеологических заморочек). А с другой стороны, наличие современно мыслящих художников, которые при этом обладают профессиональным мастерством, не стесняются выражаться пластическим (или шире — визуальным) языком и не ощущают потребности изменить природу своей профессии — стремятся лишь расширить традиционные представления о ее задачах и возможностях. То есть наличие в профессии представителей эволюционного, а не революционного сознания.

Если бы такому зрителю дали встретиться с такими, например, живописцами, как Эрик Булатов, Олег Васильев, Валерий Кашляков, кто знает, может, удалось бы нарушить монополию Глазунова на души «любителей прекрасного».

А если бы новый социальный заказ востребовал, например, Александра Бродского с Ильей Уткиным, Бориса Орлова, Владимира Говоркова и других

«объемщиков» и мастеров организации пространства вместо того, чтобы сдать Москву Церетели, у нас уже сегодня было бы намного больше оснований гордиться своей столицей.

Но власть отдала дань времени, лишь сменив насквозь идеологичного живописца на насквозь прагматичного монументалиста, не нарушив при этом верности тотальному кичу. А художественная критика не могла лучше выдумать, чем изменить советскому резервационному сознанию с традиционно российским провинциальным в его разнообразных проявлениях, одно из которых — желание быть святее папы римского.

Две стороны одной медали. Любопытно, но далеко не случайно, что и левое актуальное искусство, и правый государственно-патриотический кич во многих отношениях похожи. Во-первых, установкой на социальное паразитирование: они не могут существовать вне прямого или опосредованного сидения на бюджете и не мыслят себя иначе. Первое на деньги налогоплательщиков уродует эстетическую среду их обитания; второе, сильно свободное, отвратив от себя приватного покупателя, то есть сознательно отказавшись от возможности самоуклопания, теперь набиивается в приживалы государственной казны.

Чисто идеологически принципиально «духовное» государственное и принципиально «бездуховное» актуальное искусство — тоже близкие родственники. Во-первых, в силу внехудожественности своих установок. Во-вторых, искусство, бросающее вызов всему, кроме собственных негативистских проявлений, вполне можно рассматривать как явление чистой «духовности», представляющее лишь обратную сторону той же медали.

К тому же, дезавуируя все качественные проявления, «убивая» и хороня хороших художников, киллерская критика объективно обслужила и «кичевиков», конвертировав их плагиатство, графоманство и низкое качество в имманентные свойства современного искусства. Разве что постмодернизм утверждает, что все понарошку, а у «этих» все на полном серьезе, но в насквозь спекулятивным пространстве и эта оппозиция легко взаимобратима.

Положение усугубляется тем, что Россия — страна с традиционно очень мощной вербальной и очень слабой визуальной культурой. Незрелое эстетическое зрение «простого человека» естественно, тем более что «искусство принадлежит народу» никогда и не занималось его развитием, но и критика в этом смысле тоже по большей части «из простых». А если прибавить к этому насаждаемые ею кастовые представления о иерархическом приоритете вербального, не покажется удивительной ее искренняя уверенность, что не критику следует всматриваться и вдумываться в работы художника, а художнику следует вслушиваться и вчитываться в критика.

Отказываясь от любой системы координат (и эстетической, и этической), борясь с культурой визуального послания и восприятия, критика «убирает» все, что может быть воспринято неангажированным зрителем как реальная альтернатива голым, какающим, мастурбирующим и т. п. королям, с одной стороны, и Глазунову, Клыкову, Церетели — с другой. При этом последние находятся вне поля ее поливов, что вполне красноречиво подтверждает вышеизложенное.

Ударная волна. Роль и место кураторства и критики в сегодняшнем артмире (особенно здешнем) беспрецедентны не только в сравнении с предыдущими мирами, но и с параллельными — скажем, с положением дел в литературе. Литературная критика в своих даже самых крутых проявлениях (не являющихся к тому же доминирующими) все же обречена отслеживать реально существующий литературный процесс и не отрицает факта его существования. Критика может говорить о себе как о роде литературы (вроде не без основания) или даже как о главном роде литературы, но она все же не претендует на то, чтобы вовсе игнорировать авторов, работающих в других жанрах, и читателей этих жанров, чтобы идентифицировать со своей деятельностью весь лите-

ратурный процесс, заместить его. В артмире произошло именно это, и художнику в лучшем случае отводится роль доказательства правоты критика-куратора, а зрителю — вообще никакой (случившееся не так давно объявление западными критиками зрителя главным критиком — высокоинтеллектуальная и глубоко изощренная форма издевательства над ним, уже не первое превращение зрителя в комический персонаж демиургических постановок «актуального» искусства).

Так что представление о затухании художественной жизни в ее традиционных границах отнюдь не является плодом авторского воображения, воспаленного обидами и пристрастностью. Доказательство отсутствия здесь какого бы то ни было художественного процесса стало на несколько лет основным содержанием работы, например, Центра современного искусства (флагмана здешних «актуалов») под руководством Виктора Мизиано (наиболее авторитетного за рубежом здешнего критика и куратора). Собственно, за эти несколько лет все и случилось. Ведь чтобы предъявить труп, надо сначала совершить убийство, — на это дело и были положены основные усилия флагмана. Именно здесь создавались репутации Анатолия Осмоловского и Александра Бренера — непревзойденных мастеров жеста, не владеющих никаким иным художественным мастерством, блестящих иллюстраторов утверждений критики, что здесь «больше ничего нет». Несколько позже к ним примкнул «новый» Кулик. Эти трое были объявлены триумфаторами здешнего артмира — Главными и Единственными Художниками. Благодарный Олег Кулик трансформировал тройку великих художников в пятерку, добавив к ней Мизиано с Маратом Гельманом — Главных Создателей Главных и Единственных Художников (возможно, искренне недопонимая, какова Истинная иерархия, то есть как она выглядит в глазах самих Создателей).

В энергии этим художникам не откажешь — не станем отказывать и в даровитости. И тем более показателен путь, который нынче выбирают, например, талантливые провинциалы для преуспевания в столицах. Скажем, Кулик старой закваски делал композиции из оргстекла, разрабатывал концепцию «прозрачности» и весьма успешно выступал экспозиционером, добившись в этом качестве признания и известности. Элемент провокации присутствовал всегда, но в какой-то момент художник понял, что проигрывает поле актуального искусства тем, кто занимается чистой провокацией, то есть чистым жестом, и (поскольку главное — побеждать) бросился их догонять и перегонять: бегать голышом на четвереньках (в обличье, заявленном как собачье) и кусать людей; вступать противоестественным образом в противоестественные отношения (с козой) и предъявлять на выставках и в публикациях документальные свидетельства этих отношений; заявлять о своих претензиях на кресло президента России от партии (поруганных им) животных и т. д. и т. п.

Не добившийся в Израиле литературного признания поэт Бренер сначала, попав в Москву, стал публично гадить и мастурбировать, потом придумал паразитическое акционирование: перекрикивал Пригова на его выступлении, вызывал Ельцина побоксировать с ним на Лобном месте, букетом роз, принесенным как бы в подарок, отхлестывал по щекам заезжих кураторов на открытии их здешних выставок (говорят, тем же самым занимался за границей), душил немногим менее «отвязанную», чем он сам, критикессу Людмилу Лунину и т. д. и т. п.

Стоит обратить внимание, что герои новой волны не просто активно жестикулируют, но и проявляют при этом свойства ударной волны — способность разрушать, контузить и деморализовывать. Или, если пользоваться радиоаналогиями застойной поры, они большие мастера глушить другие источники волн и (часто именно этим способом) переключать все внимание на себя. Это, думается, их оригинальный вклад в современное искусство и очень ценный — в достижение поставленных Мизиано целей.

Как легко заметить, всевозможные границы при этом разрушаются настолько, что ареалы обитания культурной и физической агрессии оказываются

зачастую полностью идентичны и художник перестает отличаться от ординарного хулигана. В случае с Куликом характерно, что такого рода функционирование последнее время выполняет у него роль прелюдии или обрамления возобновившейся (только переориентированной на границу) пластической деятельности: лишь помещенные в такую оправу, его изделия (кстати, порой весьма удачные) стали наконец привлекать благожелательное внимание элитарной критики и соответствующего покупателя.

А все-таки она вертится? И все же художественная жизнь существует. Есть и художественный рынок — например, в декабре 1996-го большая художественная ярмарка открылась в Манеже, а в марте 1997-го должна открыться альтернативная в Доме художника.

Манежная производила странноватое впечатление «молодежки» десяти-пятнадцатилетней давности. Как будто снова заработала машина безвременья. Правда, изменились пропорции: теперь уже «соцреализм» ютился по углам, там же обитал и кич, что родом с Малой Грузинской, а над ними господствовал «левый МОСХ». То есть в данной версии маститых московских кураторов кит салона победил слона кича. Две-три некоммерческие и вполне убедительные персональные экспозиции не смогли изменить принципиальный расклад.

В Доме художника предполагается устроить ярмарку актуального искусства. Интересно, какой товар предложит она. Из известных мне сегодняшних «актуальных» галерей (деление галерей на актуальные и коммерческие означает, что первые скорее склонны представлять новые явления и создавать новые репутации, а вторые — торговать вкусовыми вещами и тем, что хорошо идет) только «Якут-галерея» последовательно отстаивает право на существование качественного и предметного (в физическом смысле) искусства.

Что касается многолетних посетителей всевозможных здешних художественных выставок, проблема различения первичного и вторичного искусства решалась ими, насколько мне известно, в основном, на чувственном уровне: ощущение, что все это ты где-то уже видел, было точным индикатором кич-салонной стихии. А первичное было там, где возникало или воспроизводилось ощущение встречи — невольного живого интереса.

В сегодняшней экспозиционной жизни не только заведомо кич-салонные, но часто и «актуальные» тусовки производят скорее первое, чем второе впечатление. И, думается, не только из-за рецептурного характера многих изделий, проектов и стратегий (как будто они все взяты из одной поваренной книги). Может, еще и оттого, что в их атмосфере нет риска: кичливый вызов есть, а готовности проиграть — нет. А как можно сказать еще не сказанное, не рискуя сказать «не то», раскрыться, получить за это по голове и т. п.?

Своя часть пути. После подробного разговора о поставщиках, рекламе и продажах художественной продукции уместен разговор и о потребителе: а судьи кто (в том числе и судящие своим кошельком)? И если известный оптимизм в оценке «клиента» уже был высказан, то следует дать слово и пессимизму — больно дик «клиент». Даже до благословенного для художника XIX века, во времена его кабальной зависимости от заказчика, заказчик был все же достаточно продвинут, чтобы понимать, что художники бывают разные: Хальсу не предлагались заказы, имеющие в виду кисть, габариты и темы Рубенса, а Вермееру — Снейдерса.

У нас же в конце XX века на одном конце палки — полное презрение крутого искусства к потребителю, а на другом — невежество и самодурство заказчика, можно сказать, крепостнический синдром (возвращаться к истокам — так уж по полной программе). Сегодняшний нувориш, быть может, и не прочь наследовать Третьякову, Морозову и Цветаеву, но волею судеб обречен воспроизводить исторические сюжеты на адекватном себе культурном уровне.

Сходную модель поведения демонстрирует и новая власть, например в лице московского мэра. По-видимому, искренне желая порадовать москвичей

ввиду славной годовщины их любимого города, он бурно украшает Москву на свой вкус. Юрию Михайловичу, видимо, кажется, что в результате его с Зурбом Константиновичем героических усилий из праха вот-вот, как бы окропленный живой водой, восстанет богатырский дух народа, но пока в реальной жизни то из воды, то из-под земли как грибы после дождя растут уродцы и монстры.

Что касается бескорыстного зрителя, в том числе и культурного, то он также наряду с оптимистичной потенцией несет в себе и пессимистичную инерцию: его уверенность, что искусство принадлежит и должно принадлежать ему, как раз и порождает различные формы «искусства принадлежать народу» (в том числе и интеллигентному). А искусство не принадлежит и не должно принадлежать никакому народу, равно как и никакой народ не должен принадлежать искусству. Просто, как и положено в партнерских, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношениях, каждая сторона должна пройти навстречу другой свою часть пути.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ГАЛИНА АСЛАНОВА



«НАВСТРЕЧУ СЕРДЦЕМ К ВАМ ЛЕЧУ»

История женитьбы А. А. Фета по архивным документам

Афанасий Афанасьевич Фет (1820 — 1892) прожил долгую и трудную жизнь. Сложной была и его литературная судьба. Из его творческого наследия современному читателю известна в основном поэзия и куда меньше — проза, переводы, публицистика, мемуары, письма. Мало мы знаем и о частной жизни поэта. Негативное представление о его личности, сформированное идеологическими и литературными противниками, впоследствии проникло в наше литературоведение. Нередко легенды, небылицы, анекдоты принимаются за факты его биографии.

Научное исследование соответствующих архивных документов далеко от завершения и пока не позволяет с достаточной полнотой судить о Фете-человеке. Работа, предлагаемая вниманию читателя, освещает одну из малоизвестных страниц биографии Фета и облик женщины, связавшей с ним свою судьбу.

Выражаю глубокую признательность сотрудникам Отдела рукописей Российской государственной библиотеки за помощь в подготовке этого материала.

Верьте, далее семейства счастье ходить не умеет...

*Из письма А. А. Фета Л. Н. Толстому
(октябрь 1862 года).*

В середине марта 1857 года тридцатишестилетний Фет приехал в Москву вместе с тяжело заболевшей сестрой Надеждой Афанасьевной. Устроив сестру в больницу на Басманной, он поселился на той же улице, в доме графа Шувалова. «За двенадцать лет, проведенных мною вне Москвы, — вспоминал он, — все мои добрые знакомые, и литературные, и не литературные, из нее исчезли. <...> Захотелось мне навеститься, не застану ли я по-прежнему на Маросейке В. П. Боткина — во флигеле, памятном столь многим литераторам <...> Я знал, что В. П. Боткина, живущего то в Петербурге, то за границей, застать дома трудно. Но на этот раз мне посчастливилось, и мы встретились как давнишние хорошие приятели. Во время оно я часто бывал у Василия Петровича во флигеле, но ни разу не бывал в большом боткинском доме. Будучи на этот раз в духе, Василий Петрович объяснил мне, что, согласно завещанию покойного их отца, он состоит одним из четырех членов Боткинской фирмы и, таким образом, одним из хозяев дома»¹. Василий Петрович пригласил старого приятеля к семейному обеду. Тогда и познакомился поэт с его младшей сестрой Марией Петровной (ей было без малого двадцать девять лет).

«Наступила Страстная неделя, — писал он, — и Боткины пригласили меня к Пасхальной заутрене и к разгавливанию. Вследствие такого приглашения я

¹ Фет А. Мои воспоминания. Ч. 1. М. 1890, стр. 187 — 188. Репринт в кн.: Фет Афанасий. Воспоминания. Т. 1. М. «Культура». 1992, та же пагинация.

отправился с вечера отдохнуть во флигель Василия Петровича, приказав слуге принести мне полную форму и три заказанных букета цветов»². После службы все отправились к пасхальному столу, на котором перед дамами стояли поднесенные им букеты. В тот же день, 8 апреля, Фет записал в альбом Марии Петровны стихотворение:

Победа! Безоружна злоба.
Весна! Христос встает из гроба, —
Чело огнем озарено.
Все, что манило, обмануло
И в сердце стихнувшем уснуло,
Лобзаньем вновь пробуждено.

Забыв зимы душевный холод,
Хотя на миг горяч и молод,
Навстречу сердцем к вам лечу.
Почуя неги дуновение,
Ни в смерть, ни в грустное забвенье
Сегодня верить не хочу.

Мария Петровна занимала в родительском доме три комнаты на антресолях, где находился и ее рояль. В определенные дни в ее гостиной за чаем собиралась молодежь. Вспоминая о первых днях посещения большого дома Боткиных, Фет писал: «Не дожидаясь конца Святой недели, Василий Петрович быстро собрался и уехал за границу, еще раз поручив меня вниманию своего семейства. — „Чем в одиночестве-то скучать, — говорил он мне, — отчего вам не приходить в дом, где вам все рады”»³. Так Фет стал бывать на молодежных собраниях в гостиной Марии Петровны. После уединенных бесед с нею поэт приходит к такому выводу: «Несмотря на то, что во внешнем нашем положении не было ни малейшего сходства, наше внутреннее заключало в себе много невольно сближающего»⁴. Предложение выйти за него замуж, которое Мария Петровна «безотлагательно приняла», описано в мемуарах Фета очень прозаично, без какого-либо намека на страстное признание в любви.

Это ввело в заблуждение биографов поэта, которые решили, что он женился по расчету на богатой невесте, не испытывая к ней никакого сердечного чувства. Делая такое заключение, «не заметили» стихи, посвященные Фетом невесте и жене, не обратили внимания на «чистосердечное» признание Марии Петровны, «что у нее ничего нет, за исключением небольшого капитала»⁵. Действительно, приданое ее по завещанию отца составляло всего 35 тысяч рублей серебром⁶. Зато всегда вспоминали письмо Фета к другу детства И. П. Борисову, в котором он писал после гибели Марии Лазич: «...идеальный мир мой разрушен давно. <...> ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга»⁷. Слова, сказанные в минуту горечи и отчаяния, были восприняты биографами поэта как непреложная программа его личной жизни. «Надо думать, что брак Фета был исполнением той части его жизненного плана, о которой он писал И. П. Борисову после смерти Марии Лазич»⁸. Таково же мнение И. Сухих — автора статьи с весьма тенденциозным заглавием «Шеншин и Фет: жизнь и стихи», написанной к 175-летию со дня рождения поэта: «Кажется, это был честный брак по расчету, вроде того, на который надеялся Фет после смерти Лазич»⁹. Наконец, одно из сравнительно «умеренных» допущений: «Фет женился на Марии Петровне, не испытывая к ней сильного любовного чувства, но по симпатии и по здоровом размышлении»¹⁰.

² Фет А. Мои воспоминания. Ч. 1, стр. 189.

³ Там же, стр. 190.

⁴ Там же, стр. 191.

⁵ Там же, стр. 193.

⁶ Архив Государственного исторического музея, ф. 122, ед. хр. 1.

⁷ Фет А. А. Сочинения. В 2-х томах, т. 2. М. 1982, стр. 199.

⁸ Бухштаб Б. Я. А. А. Фет. Л. 1990, стр. 36.

⁹ «Нева», 1995, № 11, стр. 193.

¹⁰ Маймин Е. А. Афанасий Афанасьевич Фет. М. 1989, стр. 66.

Фет женился шесть лет спустя после гибели Марии Лазич. Но его биографы не хотели допустить и мысли, что он мог полюбить еще раз. Более того, поэту любви и красоты вообще отказывают в возможности испытать в жизни обычное человеческое чувство любви. Вот что пишет Бухштаб в известном очерке о жизни и творчестве Фета, размышляя над его взаимоотношениями с Марией Лазич: «Да и была ли его любовь той любовью, какая способна дать подлинное счастье любящему и любимой? Не был ли Фет вообще способен только на такую любовь, которая тревожит воображение и, сублимируясь, изживает себя в творчестве?»¹¹

Подлинный свет на историю женитьбы Фета и характер взаимоотношений с женой проливают еще не опубликованные письма, которые хранятся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Прежде всего это письма Фета к невесте и жене. К сожалению, их сохранилось совсем немного, но вполне достаточно, чтобы увидеть истину. Весьма ценные сведения содержатся также в письмах Василия Петровича Боткина к поэту и в его переписке с Марией Петровной и Дмитрием Петровичем.

Согласившись стать женой Фета, Мария Петровна уехала за границу, сопровождая больную сестру. Поэт писал своей невесте почти каждый день огромные письма, иногда по два письма в день, и отправлял с каждой «почтой за границу». В них — его любовь, тоска одиночества, беспокойство, что долго нет ответных писем, тревога, что надежда на счастье может рухнуть, наконец, благодарность и успокоенность после получения писем Марии Петровны — и опять отчаяние, в связи с задержкой отпуска. Письма Фета к невесте интересны и тем, что в них выражены его представления о семейном и домашнем быте, который может дать уверенность и покой в супружеской жизни. С увлечением и подробно рассказывает он о том, какую нанял квартиру, как обставил ее, что купил из вещей, необходимых для домашнего уюта. Его переписка с невестой началась еще до отъезда ее за границу. Из этих писем сохранились три, два написаны, видимо, сразу после объяснения. Вот письмо от 14 мая:

«Добрая Марья Петровна! Пишу эти строки с пламенным желанием успокоить Вас, а следовательно, и себя. Повторяю все, что отрывочно успел сказать Вам в смутную минуту нашего последнего разговора. Я желаю быть Вашим ближайшим и преданнейшим другом, а не помехой жизни, я хочу отогреть Вас ото всего, что могло сжать холодом Ваше сердце, а не стоять перед Вами немой укоризной. Ваше прошлое может меня только интересовать как человека, принимающего живейшее участие в душевной Вашей жизни, но для личного моего счастья мне нужно Ваше будущее. Вот об нем-то *необходимо*¹² говорить. Посмотрите попристальней в Ваше сердце и спросите его, может ли оно навсегда и во всем безотчетно довериться человеку, который идет к Вам навстречу с полной верой и любовью? Можете ли Вы в его интересах видеть Ваши собственные? Станет ли у Вас настолько силы и веры, чтобы сказать себе: этот человек хочет сделать меня настолько счастливой, насколько я могу только быть? Можете ли Вы ни в каком случае не выдернуть Вашей руки из руки человека, который Вам сказал: отныне пойдемте вместе?

Если на все эти вопросы сердце Ваше не дает утвердительного ответа, тогда не делайте того шага, который Вы сами справедливо называете трудным и важным. Теперь все легко еще исправить. Я говорю это против себя, но считаю святым долгом это сказать. Целою жизнью легкомысленно шутят только безумцы да дети. Но если сердце Ваше доверчиво отдается будущему, если это будущее Вам кажется успокоением, то не мешайте мне предаваться мечтам о том теплом, милом, уютном гнездышке, которое я хочу свить для нас обоих. В семейном быту — обстановка почти половина дела. По крайней мере это мое убеждение. Нужда — плохой опекун душевной тишины. Я ищу полной, светлой тишины и при Вашем добром сердце и доброй воле найду ее у себя, т. е.

¹¹ Бухштаб Б. Я. А. А. Фет, стр. 29.

¹² Здесь и далее выделение слов в письмах принадлежит Фету.

у Вас. Что касается до людей и их мнения, то я уже говорил Вам, и, быть может, Вы со временем убедитесь, что я хлопочу о том, чтобы идти прямо к своему идеалу, а не к людскому. Добрых, симпатичных людей встречаю на пороге, а для прочих свет и без нас просторен.

Средства наши, судя по словам Вашим, совершенно одинаковы и в сложности могут доставить если не богатое (Бог с ним), по крайней мере безбедное и приличное существование. Я скорее готов отказать себе в чем угодно на время, нежели хоть на грош уменьшить общий капитал. Кто может знать, где его ждет *черный день*. А человек, который не берет этого в соображение, не должен жениться. Поэтому прошу Вас не увлекаться общей страстью накупать вздоры, именуемые громким именем приданого. Были бы Вы покойны духом, а в платях у Вас недостатка не будет. Напротив — я даже *желаю* видеть Вас всю жизнь прелестно одетой. Это будет моей радостью и даже капризом. За цветами Вашего кабинета я буду смотреть сам. Ни одна безобразная вещь не должна окружать Вас. Вот какой я представляю себе нашу жизнь. На все это нужна добрая воля и чувство довольства семейным тесным кругом. Без этого нет домашнего счастья.

Мечтая, я незаметно добрался до последней страницы, а между тем не знаю, оправдываете ли Вы все высказанное мной. Если оправдываете, скажите да, если не оправдываете чего-либо, скажите, в чем Вы со мною не согласны. Во всяком случае, не заставьте ждать ответа. Адрес мой Вы знаете: в немецкой слободе, в доме Гр<афа> Шувалова, Афанасию Афанасьевичу Фету. Когда запишу себе пункты Ваших местопребываний за границей, буду писать сколько возможно чаще. Целую Вашу прекрасную руку и прошу не забывать искренно любящего Вас

14 мая

А. Фета.

С трепетом смотрю вперед на эти три месяца. Я готов уже пенять Вам. Вам это время кажется непродолжительным, а я хожу как в чистилище. С настоящей минуты и на всю мою жизнь — женщины, кроме Вас, для меня не существуют. Я не умею своей привязанности разрывать по кускам. Если Вы действительно меня не любите и любить не можете, скажите прямо — не губите меня»¹³.

Мария Петровна уехала 16 мая. Едва проводив ее на вокзале, Фет в тот же день пишет ей письмо:

«Бесценная моя Марья Петровна! Вы будете смеяться надо мною. Смейтесь сколько угодно, хохочите. Сегодня я проводил Вас и сегодня же пишу к Вам. Но, добрый, бесценный друг, если бы Вы знали, каким чувством переполнилось мое сердце. Я мучаюсь, томлюсь и рад этому томлению. <...> Может быть, это детство, но какое высокое наслаждение быть влюбленным в свою невесту!!! <...> Я так счастлив, и между тем мысль, что я не раньше 3 месяцев Вас увижу, меня терзает. Помните каждую минуту за границей, что Вы мне дали слово. Как мне и чем благодарить Вас за то, что я Вас люблю всеми силами моей души. Ведь это жизнь, и жизнь такая полная, что за нее надо Бога благодарить. Голубушка! не забудьте меня. Поверьте, что никто Вас не может так искренно любить, как я. Я сам знаю, что пишу то, что Вы сами знаете, но иногда отраднo писать Вам тысячу раз слово: люблю»¹⁴.

В тот же день Фет пишет В. П. Боткину:

«У меня в голове ералаш, и я, вероятно, покажусь Вам безобразнейшим дураком. Не ищите в этих строках последовательности, но, к счастью, передо мной человек, которому не нужно писать каждую мысль. Смешно утешать себя мыслию, что правда будет сказана не на первой, а на четвертой странице, а потому высказываю ее прямо. Я сделал формальное предложение Марье

¹³ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 21.

¹⁴ Там же.

Петровне, о котором, однако, как она говорит, никто из домашних не знает, и она поручила мне написать об этом к Вам. Марья Петровна скорее разделяет мое мнение, но без Вашего окончательного приговора не решается на этот шаг. Я с своей стороны прошу Вашего согласия и совета.

Познакомясь короче с сестрой Вашей, я более и более убеждался в ее добром сердце и мягком характере, первых залогах всякой возможности домашнего счастья. Она чувствует ко мне привязанность (говорить против себя ей не для чего), следовательно, настоящие духовные отношения мои к любимой женщине законны и гармоничны. <...> До сих пор я умел, несмотря ни на какие обстоятельства, сохранить, мало того, создать свою полную независимость, и надеюсь сохранить ее навсегда — тем более оградить любимую женщину от всех возможных посягательств на ее спокойствие. Доживать век одиноко — грустно, женщина любит меня, а я не совью и ей и себе уютного гнездышка только потому, что соседи могут смотреть на это неприязненно. Но ведь выбор соседей будет тоже зависеть от нас.

Тому, кто не довольствуется своим домашним очагом, своим семейным бытом, не должно жениться. Я рассматривал настоящий вопрос со всех сторон, и результат раздумья — это письмо. Я не рисую себе богатого быта, но устрою небольшое уютное, сердце радующее гнездышко. С нашими общими средствами и моим умением жить это вполне возможно. У меня 35 т. сер. Капиталу у Вашей сестры, по ее словам, столько же. Следовательно, мы ни в каком случае не можем получить менее 4500 р. в год, а этим можно жить мило. Следовательно, и эта статья в порядке. Кстати, я бы даже желал, чтобы ее капитал остался у Вас, если это не будет для Вас обременительно, да я бы года через два и свой туда же отдал. Но, во всяком случае, этот вопрос не может быть причиной и поводом каких-либо недоразумений между нами. Вопрос первой важности — характер Вашей сестры. Вы знаете ее лучше моего. Мне она кажется кроткою, преданной, деликатной в высшей степени. Скажите мне прямо, ошибаюсь ли я или нет. Кроме тихой домашней жизни, о которой я говорил уже, у меня нет ни планов, ни замыслов, ставить жену в какое бы то ни было фальшивое положение я не в состоянии. На столько у меня хватит чутья и толку, но ведь в жизни надо заниматься всем. Вопрос: может ли Марья Петровна в угоду человеку близкому вжиться в положение, в которое судьбе может быть угодно ее поставить. Одним словом, способна ли она слушать и понимать сердцем человека ей преданного. *Вот главный и единственный мой вопрос.* Я никому не позволяю вносить уличный сор ко мне в дом. Об одном я не беспокоюсь. Я хочу иметь дело с людьми радушными, симпатичными, а не собирать по свету встречных и поперечных. Все эти вопросы я с большею подробностью излагал Марье Петровне, и она положительно говорит о своей готовности сделать меня счастливым. Теперь скажите Вы, дорогой Василий Петрович, свое слово»¹⁵.

Письмо к Марии Петровне от 16 мая Фет не отправил в тот же день (возможно, не было «почты за границу»), и он дописывает его 17-го: «Вы не можете представить моей к Вам чистой и полной признательности, Маря! Как моя жизнь стала полна, несмотря на томление разлуки. Какая-то могучая сила подымает меня. Я постоянно был равнодушен к жизни, но теперь вдруг стал бояться смерти. Впрочем, теперь и умереть бы не худо! Нет, не хочу умирать! К Вам и встретиться с Вами. Какая будет встреча!»¹⁶

Не дожидаясь ответа от Василия Петровича, поэт пишет ему через день, 18 мая:

«Добрейший Василий Петрович! В настоящее время Вы, вероятно, получили первое письмо мое, и мною овладевает сомнение, я чувствую замиранье

¹⁵ ОР РГБ, ф. 258, к. 1, ед. хр. 66.

¹⁶ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 21.

сердца при мысли, что Вы можете взглянуть косо на мое предложение. Третий день мучат меня эти сомнения и вынудили наконец снова приняться за перо и писать к Вам. Бога ради, не сердитесь, а войдите в мое положение. Я сам брат и люблю, например, младшую сестру никак не менее кого-либо, но ведь как хотите притворяйтесь, а в настоящую минуту Марья Петровна, которую я проводил третьего дня в Петербург, не может быть мне чужда. Я бывал не раз в жизни влюблен, но быть влюбленным в кого бы то ни было и быть влюблену в невесту адская разница. Я так счастлив, что готов дома ломать, в груди 16 лет и каждый день стихотворение. Если б жизнь могла длиться при таких условиях, я молил бы у неба бессмертия. Вместо объяснений выписываю Вам два стихотворения, одно написано третьего дня, а другое вчера. Сегодня тоже написал, но оно велико, и я оставляю его до следующего письма.

I

Еще майская ночь

Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!

Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так дева новобрачной
И радостен и чужд ее убор.

Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной — и последней, может быть.

II

Цветы

С полей несется голос стада,
В кустах малиновки звенят,
И с побелевших яблонь сада
Струится сладкий аромат.

Цветы глядят с тоской влюбленной,
Безгрешно чисты, как весна,
Роняя с пылью благовонной
Плодов румяных семена.

Сестра цветов! Подруга розы!
Очами в очи мне взгляни,
Навей живительные грезы
И в сердце песню зарони.

Не знаю, решусь ли я распечатать ответ Ваш на мои письма»¹⁷.

Ответное письмо Боткина пока не найдено (возможно, оно не сохранилось). Но своеобразным отголоском этого письма является его письмо к сестре от 10 июля из Экса:

«Спешу тебе сказать, что я с удивлением и радостью услышал о намерении Фета. Впервые я узнал об этом из письма Миши и Володи¹⁸, назад тому недели две. <...> Скажу откровенно: я считаю Фета очень добрым, прямодушным и во всех отношениях хорошим человеком; а вдобавок к этому он еще человек очень благоразумный — чего, например, решительно недостает Пикулину¹⁹. На вид он неуклюжий — только, — но в сущности он человек с очень тонким чувством и верным умом. При всем этом Фет истинно благороден. Узнавши его, — трудно его не полюбить: это испытали все друзья его по литературе, которые все искренно любят его. Но ведь женщины смотрят на вещи иначе, даже (и большей частью) вверх ногами. Если тебе Фет сколько-нибудь нравится, — я бы, положа руку на сердце, счел бы ваше соединение самым счастливейшим днем в моей жизни. Правда, что Фет — человек не блестящий, но, всмотревшись в душу этого человека, увидишь там драгоценные свойства. Он умен, но по-своему, оригинально, можно сказать, самобытно умен, без фразы и без прикрас, без малейшей натянутости и лживости. Он прямодушен, деликатен и честен — и на дне души его чисто и светло. Вот каким я знаю Фета, таким знают его и все литературные друзья его. После всего этого ты поймешь, как радостно подействовало на меня известие о его предложении. Если ты могла в это время сколько-нибудь узнать его, то предложение его не могло быть тебе неприятным. <...> Поверь, день вашей свадьбы будет для меня самым радостным днем моей жизни. Фет может быть самым примерным мужем. При всей своей угловатости внешней, — это человек с самым деликатным и тонким чувством. Но я боюсь довериться моей радости. Фету я писал сегодня же, потому что только сегодня же получил его письмо, которое тоже дошло сюда из Рима. Буду ждать теперь с сердечным трепетом дальнейших известий о его предположениях. О, если б совершилось это, как я желаю!»²⁰

Мария Петровна с сестрой переезжали из города в город. Им вслед пересылались письма Фета. Ответные письма он получал не скоро. Первые письма пришли, очевидно, только в конце мая. Последующие письма поэта имеют уже другую окраску: он стал спокойнее, с этого времени обращается к Марье Петровне на «ты». Вот отрывок из письма от 3 июня:

«Не мучь меня, моя милая, добрая Мари, — я тебя умоляю как друга, как женщину, у сердца которой я ищу отдыха от всех дразгов и хлама житейского, которая меня обогреет и приютит. Умоляю тебя, напиши мне, что у тебя на душе? Любишь ли ты меня? так, как я тебя люблю. Способна ли ты на *всю жизнь* отдаться мне совершенно — во всех случаях жизни, так, как я это со своей стороны говорю — и, Бог даст, тебе докажу на деле. Я хочу, чтобы ты была весела и счастлива насколько это возможно. Мне, кроме тебя, ни до кого нет дела»²¹.

Письмо от 21 июня — продолжение предыдущего, написанного накануне:

«Вчера на этом месте я прекратил мое писание — у меня до того ум за разум зашел, что я не находил уже, что и говорить. Я пишу к тебе, моя душа, да ты действительно душа моей теперешней жизни — я дышу тобой, как воздухом. Я пишу к тебе, как пьяницы пьют, запоем. Не знаю, были ли бы у меня минуты такого страшного томления и стремления к тебе, если бы ты была на Маросейке, но зато наверное не было бы мучительной хандры, вследствие которой не нахожу нигде себе места. Ах, дружок мой Мари! прими хоть ты учас-

¹⁷ ОР РГБ, ф. 258, к. 1, ед. хр. 66.

¹⁸ Миша и Володя — братья В. П. и М. П. Боткиных.

¹⁹ Павел Лукич Пикулин — муж Анны Петровны, урожд. Боткиной, врач.

²⁰ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 6, ед. хр. 25.

²¹ Там же, ед. хр. 21.

тие в моем счастье, подумай, какая у меня будет милая, добрая и любящая женка. Что? небось тебе завидно? Но ты по дружбе не должна завидовать моему счастью. Как я ее буду любить-то и беречь! Прости меня, душа моя, я делаюсь невыносимо глуп, как только подумаю о тебе, а когда пишу, то тем более. Мною овладевает непонятное ребячество. Елизавета Васильевна²² даже сказала, что я действительно люблю тебя, но тебе не нужно ее свидетельства. Какое сладостное состояние *любить!* а им я обязан *тебе*, мой добрый ангел! Не пишу тебе ничего о делах, если ты мне дашь волю, то я все устрою, не беспокоя тебя ничем. А теперь хочу тебе только говорить одно:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...²³

Слава Богу, что сердце мое еще может так любить! Когда-то я наконец скажу тебе: здравствуй, Мари! здравствуй, моя добрая, дорогая! Бога ради, не скупись на письма. Ты говоришь, что я между добрыми друзьями, а я решительно один и схожу с ума.

Целую тебя, моя ненаглядная! тысячу раз. Василию Петровичу пиши а *Paris poste restante*²⁴. В июле он будет там. Будь здорова, счастлива и знай, что одна смерть может оторвать меня от тебя, да еще твоя собственная воля. Напиши мне, что будешь моей *женой*.

Весь твой А. Фет»²⁵.

Письма Фета к невесте и к В. П. Боткину отражают его представления о взаимоотношениях между мужем и женой, основывающихся помимо любви на дружбе и доверии. 1 июля он пишет Марии Петровне: «Да, ты права, желая мне, чтобы я всегда любил тебя, как люблю теперь, я и сам этого желаю и надеюсь на тебя и на себя. Мы должны — это наша святая обязанность — питать и поддерживать друг в друге это чувство. Будь весела и беззаботна, отдохни ото всего, что могло тебя тревожить. Если я в чем-нибудь не сумею тебя успокоить, научи меня сама. Полуслова твоего будет достаточно — я пойму его на лету. Оставим все глупые сомнения скептикам. Люди свободные, подобно нам, подавая друг другу руки, не должны сомневаться друг в друге. Я знаю, что я отдохну душой и телом близ тебя, а до других, повторяю тебе, мне дела нет. Боже! Когда-то ты ответишь, озаришь вот этот уголок твоим присутствием, твоей любовью. Как он мне будет мил и дорог! Каждая вещь, каждая безделица здесь будет иметь отношение к тебе, все это, начиная с меня, будет твоей собственностью»²⁶. В письме на следующий день, 2 июля:

«Я, Мари! тебе ничего не обещаю, кроме того, что буду стараться всю жизнь, чтобы ты была счастлива и покойна. Я жил с самыми разнородными людьми и ни с кем не ссорился, потому что ничего не было скрытно. У меня от такого доброго и благоразумного создания, как ты, секретов быть не может, и ты все мои дела, предприятия, расчеты будешь знать так же коротко, как я сам. Это облегчит мне труд объяснений всякого рода. Ты сама будешь видеть, что можно, а чего нельзя.

Знаешь ли ты, что осуществляешь мечту всей моей жизни. Я всегда мечтал жениться и поселиться в Москве; но я никогда не льстил себя надеждой встретить такое любящее, благородное и умное существо»²⁷.

И наконец, письмо Фета к Марии Петровне от 16 июля, о котором упоминают почти все биографы поэта. По их мнению, в нем он открыл тайну своего рождения, признавая своим отцом Фета. Цитируют только это место

²² Елизавета Васильевна — возможно, двоюродная сестра Марии Петровны, которая жила в это время у Боткиных.

²³ Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь».

²⁴ Париж, до востребования (*франц.*).

²⁵ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 21.

²⁶ Там же, ед. хр. 22.

²⁷ Там же.

письма, взятое из «Летописи жизни А. А. Фета», составленной Г. П. Блоком²⁸. Прежде всего, что касается этого так волновавшего и волнующего многих вопроса, то, в сущности, Фет всего лишь пересказывает Марии Петровне официальную версию того, почему, рожденный в семье Шеншиных, он носит другую фамилию. Однако чтобы понять, что значила для него даже такая откровенность перед невестой и что происходило тогда в его душе, нельзя вырывать его исповедь из контекста письма. Привожу это письмо полностью.

«Читай про себя.

Добрый, бесценный друг! Точно сердце мое предчувствовало что-то определенное — вследствие чего я не отправлял этих листков два дня. Сегодня я был у Саблера²⁹ и после долгого разговору с ним решил оставить сестру у него в Москве до зимы. Об этом и брат просит меня в письме, итак, решаюсь не везти ее за границу. Но в ту же минуту родился у меня другой вопрос, ехать ли мне самому. Дней через 10 мой отпуск должен выйти. С одной стороны, у меня на первый приезд твой была 1000 р., которые я теперь проезжу; но с другой, моя тоска переходит в настоящую болезнь, которой я серьезно начинаю бояться. Сегодня даже чувствую ревматическую боль в руках, чего со мной от роду не было. Надеюсь, что завтра она пройдет, но я теперь всего боюсь. Один-одинешенек, я решил поехать к умному человеку, который меня любит, Погодину³⁰, — я только что от него, — и высказал ему мое положение. Он советует мне послушаться сердца и ехать. Я так и сделаю. Теперь меня ничто не удержит. Если и заболел, приеду умирать к тебе или, по крайней мере, вблизи от тебя. Помнишь минуты нашего объяснения словесного. Мы были так смущены, что в подробности входить было некогда, но у меня иногда набегает на душу признание, которое я не успел сделать на словах, а на бумаге не хотел и берег для личного свидания. Но сегодня подумал, не поздно ли это будет? Я бы не церемонился с ним, если бы дело тут шло обо мне лично, не касаясь моей матери, память которой для меня священна. Если бы я не верил в тебя, как в Бога, ни за что бы я не решился написать этого на бумаге, которую по прочтении сожги. Мать моя была замужем за отцом моим, дармштадтским ученым и адвокатом, и родила дочь Каролину — теперешнюю Матвееву в Киеве, и была беременна мной. В это время приехал жить в Darmstadt вотчим мой Шеншин, который увез мать мою от Фета, и когда Шеншин приехал в деревню, то через несколько месяцев мать родила меня. Через полгода или год затем Фет умер, и Шеншин женился на матери³¹. Вот история моего рождения. Дальнейшее ты знаешь: я поступил в университет, на службу, теперь поручик Гвардии в отставке, штаб-офицер. Я ни перед кем не говорю об этом по чувству тебе понятному, но перед тобой скрываться не хочу и не могу. Поступай, как хочешь. Думай, умоляю тебя, только о том, как тебе жить и быть, а обо мне толковать нечего. Теперь ты еще свободна, письма тебе я возвращаю все, и никогда никто в мире ничего от меня не узнает. А отказ будет с твоей стороны и предлог, какой хочешь, — только не поминай моей бедной матери. Не смею говорить тебе о любви. Может быть, все мечты мои разлетятся, как сон. Но несмотря на это, я все-таки еду к тебе и дам знать о моем приезде. Я,

²⁸ Блок Г. П. Летопись жизни А. А. Фета. Публикация Б. Я. Бухштаба. — «А. А. Фет. Традиции и проблемы изучения». Сборник научных трудов. Курск. 1985. Хотя Блок упоминает в «Летописи...», что Фет «пишет невесте влюбленные письма», сам он их не видел. Отрывок из письма от 16 июля, включенный им в «Летопись...», мог передать ему только Б. А. Садовской, видевший письма Фета к невесте из рук Н. Н. Черногоубова и сделавший эту выписку. Основной архив Фета в начале века находился у первого биографа поэта Черногоубова, и он никому не позволял им пользоваться.

²⁹ Саблер — врач-психиатр, в клинике которого лечилась в это время сестра Фета Надежда.

³⁰ В пансионе профессора Московского университета М. П. Погодина Фет провел год (1838 — 1839), впоследствии сохранил с ним дружеские отношения.

³¹ И. Фет (по-немецки Foeth — Фёт) умер в 1826 году. А. Н. Шеншин и Шарлотта Фет обвенчались в 1822 году, после получения из Германии документов о разводе. В памяти Фета эти события слились, или он просто не знал дату смерти первого мужа матери.

может быть, поеду через Гавр, а может быть, через Германию. Если ты выйдешь встречать меня, значит, ты меня любишь, а если нет....

На глазах моих слезы. Но когда-нибудь на досуге, если Бог благословит меня счастьем назвать тебя своей женой, расскажу тебе все, что я выстрадал в жизни, тогда ты поймешь, как мало верю я в возможность счастья и как робко я к нему подступаю. Что я выстрадал в последнее время нашей разлуки, трудно передать словами. Пусть будет что будет, я уже не могу страдать более.

Ты не ребенок и сама знаешь, как тебе поступать, а я вполне покоряюсь твоей воле. Если ты, почему бы то ни было, мне и откажешь, то единственная моя просьба к тебе будет позволить поцеловать твою руку. Ни слова, ни звука, даю тебе *честное слово*.

Да сохранит тебя Бог везде и всегда, доброе прекрасное создание. Не могу продолжать письма — мне стыдно и больно — и я плачу, потому что люблю тебя всеми силами бедной моей души. *Сожги письмо* и решай судьбу мою. Еще вчера я называл тебя моей Мари, моим другом Машей, а сегодня уже не смею давать тебе этих нежных имен, может быть, ты этого не хочешь? Боже, когда это Государь приедет и подпишет мой отпуск, через день по получении я уже поскачу во Францию. Встретишь ли ты меня или нет? Вот вопрос. Сердце говорит, что ты меня встретишь, если же и сердце обманывает, то нечего делать. Тогда все равно.

Искренно и нежно тебя любящий

А. Фет»³².

На следующее утро он записал на небольшом листке бумаги:

«Вот и утро, и я сейчас еду на почту. Я никогда не перечитываю писем, но, помня содержание вчерашнего, хотел снова оставить его до свидания. На словах я бы все мог объяснить тебе проще и, быть может, покойнее. Но вот я что подумал. Она при свидании может оказать мне ласки как жениху, и не время будет тогда вступать в какие-либо объяснения, тогда как теперь, отказав мне, она нисколько не скомпрометирована. Все тяжелое достанется мне. Итак, будь что будет — посылаю. Может быть, целую жизнь буду жалеть, но раскаиваться — никогда»³³.

Письма этого периода Марии Петровны к Фету не сохранились. Единственным свидетельством ее реакции на письма жениха является письмо Василия Петровича брату Дмитрию Петровичу из Диеппа 7 августа 1857 года: «...сегодня получила Маша от Фета телеграфическую депешу из Парижа, которой он уведомляет, что сегодня в 5 ч. вечера он будет в Диеппе. Право, все это сбылось так неожиданно, что я до сих пор боюсь верить. Фета я всегда считал добрым, прекраснейшим человеком, а теперь он в этом деле показал себя и человеком действительно благородным и возвышенным в чувствах <...> Я радуюсь еще и тому, что Фет человек благоразумный и расчетливый и попусту бросать деньги не любит, — а это в муже и при их средствах вещь не последней важности. На Машу письма Фета производят действие электричества, а сегодня от депеши она едва могла расписаться о получении ее и несколько минут не могла выговорить ни одного слова»³⁴.

Тоска разлуки, нетерпение в ожидании писем и встречи, заботы об устройстве квартиры — все это присутствует в письмах Фета невесте. И, конечно же, были там стихи, обращенные к Марии Петровне и отображающие душевное состояние влюбленного поэта. В двадцати восьми дошедших до нас письмах всего три стихотворения и два — в письме к В. П. Боткину. Было же таких стихотворений много. 3 июня Фет пишет Марии Петровне: «В Веде я тебе наслал стихов, написанных под влиянием твоим, я теперь не в состоянии пи-

³² ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 22. На обороте конверта помета рукою Фета: «Получено 6 августа». И ниже карандашом рукою Марии Петровны: «Положить со мною в гроб». Мария Петровна скончалась скоропостижно, и эта воля ее не была выполнена.

³³ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 22.

³⁴ ОР РГБ, ф. 258, к. 1, ед. хр. 8.

сать ни о чем постороннем»³⁵. Из письма от 19 июня: «В Баден-Бадене найдешь кучу писем и стихов»³⁶. Помимо известных, обращенных к Марии Петровне, стихотворений «Другу» и «Я был опять в саду твоём...» есть еще одно стихотворение. Оно в письме без даты, но условно его можно датировать между 8 и 14 июня³⁷.

«На днях душевные волнения, — пишет Фет, — прервали поток искреннего вдохновения, бивший все это время горячей струей. Даже досадно. Вот одно из последних стихотворений:

Расстались мы. Ты странствуешь далече,
Но нам дано опять
В таинственной и ежечасной встрече
Друг друга понимать.

Когда в толпе живой и своевольной,
Поникнув головой,
Смолкаешь ты с улыбкою невольной, —
Я говорю с тобой.

И вечером, когда в аллее южной
Ты пьешь немую ночь,
Знай, тополи и звезды негой дружной
Мне вызвались помочь.

Когда ты спишь, и полог твой кисейный
Раздвинется в лучах,
И сон тебя прозрачный, тихейный
Уносит на крылах,

А ты, летя в эфир неизмеримый,
Лепечешь: «Я люблю», —
Я — этот сон, — и я рукой незримой
Твой полог шевелю».

Приняв безоговорочно установку, что Фет женился «без любви, на немолдой, некрасивой, но богатой» невесте, исследователи его творчества никогда не выделяли среди его стихов цикл, написанный «под влиянием» Марии Петровны. Не увидели светлого любовного чувства даже в стихах, обнаруженных в его письмах к ней, хотя в комментариях к ним Бухштаб указывает на местонахождение автографов. Все любовные стихи Фета считаются отражением его чувства к Марии Лазич или воспоминаниями о ней. Но вот что писал сам Фет Марии Петровне 17 июня 1857 года: «Написал еще хорошее стихотворение. Люди хвалят, а не подразумевают, отчего оно хорошо. В Диепп привезу Вам все стихотворения, написанные под Вашим влиянием. Я уверен, что это будут моими лучшими стихотворениями»³⁸. По времени создания и по лирической окраске к стихам, написанным «под влиянием» Марии Петровны, кроме тех, которые есть в письмах к ней, скорее всего относятся: «Еще майская ночь», «Цветы», «Был чудный майский день в Москве...», «Какая ночь! Как воздух чист...», «„Anruf an die Geliebte“»³⁹ Бетховена («Пойми хоть раз тоскливое признание...»), «Если ты любишь, как я, бесконечно...», «Музе» («Надолго ли опять мой угол посетила...»), «Сестра» и другие.

Что же мы знаем о личности Марии Петровны? Прежде всего очень важно, что из всей огромной боткинской семьи она была особенно дружна с Василием Петровичем, человеком необыкновенной эрудиции, литератором, эстетом, меломаном. Он был автором одной из лучших статей о стихотворениях

³⁵ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 21.

³⁶ Там же.

³⁷ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 21. В печати третья строфа имеет другую редакцию.

³⁸ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 21.

³⁹ Призыв к возлюбленной (нем.).

Фета. К сожалению, его блестящая работа «Письма об Испании» и другие произведения до сих пор не получили достойной оценки. Петр Кононович полностью доверил старшему сыну Василию подбор учителей для воспитания и образования дочерей. И надо сказать, что под руководством Василия Петровича его сестры получили прекрасное домашнее образование. Мария оказалась, кроме того, талантливой музыканткой, и это особенно сблизило ее со старшим братом. Она очень любила сочинения Бетховена и, судя по отзывам Василия Петровича, прекрасно их исполняла. Из их переписки узнаем, что, живя за границей, он постоянно посылает ей ноты, которых не было в России. После ее замужества он беспокоится, не мешают ли ей домашние и хозяйственные заботы заниматься музыкой. В ответ она спешит успокоить его, сообщая и о своей игре на рояле, и о посещении музыкальных вечеров и концертов. Среди ее подруг в это время прекрасная пианистка и будущая жена композитора Бородина — Екатерина Сергеевна Протопопова.

Мария Петровна стала именно такой женой, о которой, судя по его письмам, мечтал Фет: любящей, преданной, внимательной, заботливой и, вопреки представлению некоторых биографов, не только понимающей его творчество, но и посильно помогающей мужу и в этих занятиях.

Ты все стихи переплела
В одну тетрадь не без причины:
Ты при рождении их была,
И ты их помнишь именины.

Ты различала с давних пор,
Чем правит муза, чем супруга.
Хвалить стихи свои — позор,
Еще стыдней — хвалить друг друга.

Такую надпись сделал поэт на переплетенных вместе трех выпусках «Вечерних огней». Из писем известно, например, что Мария Петровна помогала мужу в переводах из Шекспира. Ее любили и уважали все люди из окружения Фета, не исключая великосветских знакомых: великого князя Константина Константиновича, графа А. В. Олсуфьева и его жены — гофмейстерины великой княгини Елизаветы Федоровны. Если и могли порой позлословить на его счет, то о Марии Петровне всегда отзывались с огромным уважением, и абсолютно все отмечали в ней главную черту — редкую доброту и сердечность.

Об отношении Марии Петровны к своему замужеству и семейной жизни ярко свидетельствуют ее письма к Василию Петровичу. Вскоре по возвращении в Москву после свадьбы она пишет (21 октября 1857 года): «Я совершенно здорова, счастлива как нельзя больше желать. Одно меня мучает, мне все кажется, что я недостаточно составляю счастье Фета...»⁴⁰ Через полгода после замужества: «Я так, Basil, привыкла к своей тихой и мирной жизни, день у нас идет порядком, помогаю Фету насколько могу, читаю, играю и работаю и, верите ли, считаю себя самой счастливейшей и богатой женщиной, и дома мне никогда не бывает скучно, если даже остаюсь одна. Я даже боюсь за свое счастье»⁴¹. Девять лет спустя она пишет брату из Степановки (март 1866 года): «Теперь я так довольна и счастлива своим положением, что не знаю, как благодарить судьбу»⁴². Из писем Фета к жене, которых сохранилось очень мало, приведу только один отрывок. Письмо отправлено 18 декабря 1887 года из Петербурга, куда Фет ненадолго ездил по делам. «Только посреди душевных волнений и неопределенности, — писал он, — чувствуешь, как можно оторваться от своего обычного семейного гнезда, с которым жил с 30 лет. Хотя бы заглянуть на минуту в твой уголок и поцеловать твою лапку»⁴³.

⁴⁰ ОР РГБ, ф. 258, к. 1, ед. хр. 68.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же.

⁴³ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 2, ед. хр. 23.

Смерть мужа Мария Петровна пережила очень тяжело; сорок дней провела она в селе Клейменово Орловской губернии, где он был похоронен, и почти каждый день ездила на дорогую могилу. Вернувшись в Москву, она занялась незавершенной работой Афанасия Афанасьевича. Нужно было закончить издание его перевода «Скорбей» Овидия, мемуаров «Ранние годы моей жизни». Одновременно с этим она включилась в подготовку к изданию сборника «Лирические стихотворения А. Фета». Весной 1893 года и «Скорби», и последний том мемуаров были отпечатаны, и Мария Петровна дарила их друзьям Фета в память о нем. На лето она опять поехала в Воробьевку — курское имение, которое пятнадцать лет назад поэт подарил ей, оформив покупку на ее имя. Первый и последний раз она была здесь без мужа. В прежние времена к 22 июля, дню Ангела Марии Петровны, в Воробьевку съезжалось множество гостей, и Фет устраивал настоящий праздник в ее честь. Теперь все было иначе. В письме к любимой племяннице, Елизавете Дмитриевне Дункер, она рассказывает:

«На этот раз мой Ангел принес мне только ужасную скорбь и тоску о невозвратном прошлом. Я мечтала провести этот день в полном уединении, я была бы покойна, но добрые соседи наши Чайковские⁴⁴, Макашovy⁴⁵, Оля Галахова⁴⁶, кн. Оболенский⁴⁷ приехали все к обеду, и пришлось провести в обществе целый день и вечер.

Много получила я к этому дню писем и телеграмм, была телеграмма и от В<еликого> К<нязя> Конс<тантина> Конс<тантиновича>. Как он мог вспомнить и узнать день моего Ангела? Соловьев⁴⁸ так и не приехал, прислал письмо, поздравляет и говорит, что доктора посылают его за границу купаться в море и потому он не может теперь попасть в Воробьевку⁴⁹. Месяц спустя, 20 августа, она пишет Дункер: «Здоровье мое так себе, я теперь не что иное, как разбитая посуда, неприятная для глаз, которую следует закинуть подальше. Все это время Екатерина Влад<имировна>⁵⁰ приводила в порядок переписку друзей Аф<анасия> Аф<анасьеви>ча>. Я же перечитывала письма ко мне Аф<анасия> Аф<анасьеви>ча>, когда он был женихом⁵¹. В годовщину смерти мужа Мария Петровна получила письмо от великого князя Константина Константиновича (поэта К. Р.). Отвечая ему, она писала:

«Ваше Высочество чуткою поэтической душой угадали, что я страшно страдала и скорбела эту неделю, снова переживая в памяти ужасные мучительные дни, когда сердце разрывалось, глядя, как с каждым часом мой дорогой Афанасий Афанасьевич уходил от нас все дальше и дальше. «Я гасну, как лампа», — говорил он.

Мне хотелось на эти дни уехать куда-нибудь подальше, чтобы никого не видеть, прожить в полном уединении. Доктор не посоветовал мне ехать ни в Клейменово к Афанасию Афанасьевичу, ни в Троицкую Лавру, но сама судьба сжалась надо мною и устроила все иначе: две недели назад я захворала бронхитом, осложненным маленьким воспалением легких, меня уложили в постель, запретили говорить и никого из посторонних не пускали. И так я провела с 12 до 22 ноября. Я только благодарю Бога, что все так хорошо устроилось и мое желание было исполнено: я никого не видела и ни с кем не го-

⁴⁴ Недалеко от Воробьевки находилось имение Уколово, принадлежавшее брату композитора, Николаю Ильичу Чайковскому.

⁴⁵ Сведений о Макашовых найти не удалось; очевидно, соседи-помеишки.

⁴⁶ Ольга Васильевна Галахова (урожд. Шеншина) — племянница Фета, владелица с. Клейменово Орловской губ., где похоронен поэт, а в 1894 году — и Мария Петровна.

⁴⁷ Фет был знаком с братьями Оболенскими — Дмитрием Дмитриевичем и Леонидом Дмитриевичем. Кто из них приезжал к Марии Петровне, установить не удалось.

⁴⁸ Философ Владимир Сергеевич Соловьев — один из постоянных гостей Воробьевки, часто приезжал к 22 июля.

⁴⁹ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 5, ед. хр. 29.

⁵⁰ Екатерина Владимировна Федорова — секретарь Фета с 1886 года, не разлучавшаяся с Марией Петровной до ее смерти.

⁵¹ ОР РГБ, ф. 315, оп. 2, к. 5, ед. хр. 29.

ворида. В настоящее время я начинаю уже поправляться и ходить по комнате. Вчера написала Страхову, что Ваше Высочество выражает желание поместить в издание третий, последний портрет. Он так хорош, так удивительно похож, что мне только будет приятно видеть его приложенным к стихотворениям»⁵².

Об активном и полноценном творческом участии Марии Петровны в подготовке первого посмертного сборника стихов Фета никто не упоминает, но об этом свидетельствует ее переписка с великим князем и Н. Н. Страховым. В дальнейшем она собиралась издать полное собрание сочинений поэта. Однако Марии Петровне не суждено было держать в руках даже первый посмертный сборник, который она так тщательно и с любовью готовила к печати. Она умерла 21 марта 1894 года, через полтора года после смерти Фета. «Лирические стихотворения А. Фета» вышли месяц спустя после ее смерти, в конце апреля.

Более тридцати пяти лет прошли по жизни рука об руку Афанасий Афанасьевич и Мария Петровна. Они почти не расставались, а в редкие периоды разлуки писали друг другу письма. Их взаимоотношения в течение всей совместной жизни можно проиллюстрировать стихотворением «Другу», которым Фет ответил на согласие Марии Петровны стать его женой.

Когда в груди твоей страданье,
Проснувшись, к сердцу подойдет
И жадный червь воспоминанья
Его невидимо грызет, —

Борьбой с наитием недуга
Души напрасно не томи,
Без слез, без ропота на друга
С надеждой очи подыми.

Пусть свет клянет и негодует, —
Он на слова прощенья нем.
Пойми, что сердце только чувствует
Невыразимое ничем;

То, что в явлении незаметном
Дрожит, гармонией дыша,
И в тайнике своем заветном
Хранит бессмертная душа.

Одним лучом из ока в око,
Одной улыбкой уст немых
Со всем, что мучило жестоко,
Единый примиряет миг.

⁵² РГАЛИ, ф. 515, оп. 1, ед. хр. 65.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

КОНСПЕКТЫ РОМАНОВ

Дмитрий Добродеев. Рассказы об испорченных сердцах. М. «Соло», «Аюрведа». 1996. 184 стр.

Некоторое время назад в Литературном институте была такая игра — «угадай-ка». Надо было угадать автора. Тексты несли и студенты, и преподаватели. Студенты тащили кто Камю (недоизданного тогда), кто самостоятельно переведенного Беккета, а кто — свои опусы. Писатель Бежин приносил странное: «Саша с детства слышал, что грузины греются у мунгалов, но странным образом это слово заменилось на монголов, и Саше представлялось, как грузины движутся к монголам и греются у них...» Сашей был Александр Сергеевич, убитый дипломат. Понятно было, что это как бы Тынянов, но у Тынянова этого нет, и разгадки не было тоже...¹

Студентов угадывали быстрее: они были похожи на свои тексты внешне.

Принес несколько чьих-то рассказов и Битов. Там ехали в поезде, японцы рубили кого-то, происходило перемещение во времени. Битов, открывая фамилию автора, сообщил, что обнаружил в Мюнхене писателя-искусствоведа. Вот он, Добродеев.

Теперь Дмитрий Добродеев, как говорится, человек с именем. Признанный автор, член редколлегии журнала «Соло», получившего малого Букера, сам — кандидат на Букера большого... Он, впрочем, еще человек с голосом. Желаящий может услышать этот голос на шуршащей волне радио «Свобода».

Это образец особого, нового, типа людей, которые занимаются литературой здесь (там) и сейчас. Человек, пытающийся перевести текст из категории журналистики в категорию литературы.

Прежде всего, тексты его маленькие, даже крохотные. Не роман, а конспект романа. «Русская повесть» длиной в десять и детективный роман «Тенгиз» в четырех страницы.

Сейчас такое время: если хочешь высказать что-то на бумаге помимо дневника — писать приходится коротко, будто выкрикивать на бегу что-то важное. А на бегу много не поговоришь — нужно беречь дыхание. По знаменитому определению Мозма, рассказ — это произведение, которое читается в зависимости от длины от десяти минут до часа и имеет дело с единственным хорошо определенным предметом, случаем или цепью случайностей, представляющих собой нечто целостное. Мозм говорил, что рассказ должен быть написан так, чтобы невозможно было ничего прибавить или убавить.

Но жанры меняют очертание. Появляется совсем короткий рассказ со специфическим стилем. Спрос и здесь рождает предложение. Газетно-журнальный рассказ превращается в новеллу. Очень короткий рассказ длиной в одну-две страницы можно подверстать к любой полосе, серией таких текстов заполнить любой объем.

У читателя романа есть одна особенность — он неслучаен. Для того чтобы положить в портфель или сумочку книжку, нужно иметь мотив. Нужно попросту захотеть. Рассказ же читается не в книжке (даже в спокойные литературные годы сборник рассказов расходился в книготорговой сети медленнее, чем того же качества роман), а в журнале или газете — между программой передач и рекламой шампуня — рассказ находит своего случайного читателя. Его можно охватить одним взглядом, его можно прочесть в движении, по дороге. Двигается сюжет, движется автобус или вагон метро, перемещая читателя.

¹ Оказалось, что зовут автора Николай Исаев, есть и главное произведение — «Гений на островах, или Прогулки Пушкина с чертом».

С точки зрения читателя, все равно, называется ли это словом «новелла» или просто «рассказом». Можно назвать такого рода тексты «миниатюрами» или «зарисовками». То, что делали Солоухин и Бондарев, не выходило за рамки дневника и декларировалось не как проза, а как все же нечто иное. Скажем, эссе или действительно дневник. Олеша писал не рассказы, а строчки в своей часто цитируемой книге.

Новое время объявляет короткое произведение, которое читается пять — десять минут, просто текстом.

Интереснее инверсия, переход газетной статьи в литературу.

Новый текст всегда живет в рамках времени. Он построен на использовании (сознательном или бессознательном) кусочков современной ему литературы. В «Чеченском дневнике»: «Танк развернул орудие, наставил на нас, пальнул. Нас разнесло на части (мы раскололись как орех)».

Это легко узнаваемо.

Игра в «угадайку» существует и на уровне сюжетного приема. Сюжет — петербургский барчук, гатчинский аэродром, Сикорский и Нестеров. Подросший барчук изобретает танк, а позднее, надев шинель Рабоче-Крестьянской Красной Армии, — ракетную технику. Неминуемый арест и закрытая шарашка. Естественно, что это он, барчук с неистребимым дворянским гонором, а не коренастый и энергичный Ковалев — Королев изобретает все ракеты и спутники. Но слава у барчука украдена, барчук так и умрет в неизвестности январем 1965 года.

На что похоже, угадай-ка! По мне, так это почти Пелевин — почти луноход на педальной тяге, почти сталинская гвардия, живущая под Московским зоопарком!

Маленькая новелла абсурда всегда живет парадоксом. Сделать ее не очень сложно. Первый путь создания парадокса, подобно только что изложенному выше, — историко-мифологический. Нужно взять известную фигуру или событие и добавить к ней (к нему) абсурдную деталь: к Ленину добавить врача-медиама, к Гитлеру — индусов-предсказателей, связать вареннское бегство с русскими интригами, а холокост — с тайными планами Британской империи.

Это искусство удивляющего сопряжения. Суть такой «угадайки» в узнавании мифа.

Второй тип парадокса — это игра с сюжетом, когда читатель ждет развязки. У героя не было того, не было сего и этого тоже не было. Рыжим его называли условно. (Пауза.) Так что и говорить нечего. Концовки нет, нет смысла. Читатель весело смеется — эк меня сделали! Пошутили. Развлекли.

Текст становится сродни дюшановскому писсуару, становится многозначительным, как инсталляция. Добродеев, как человек безусловно разбирающийся в визуальном искусстве, это знает.

Внимательное чтение Даниила Хармса облегчает построение текстов второго типа.

Но поговорим серьезно: современная журналистика движется в литературу. Добродеев делает это очень талантливо. В рамках новой литературы. И нет ничего глупее, чем упрекать его отсутствием «Во имя». Новая литература, сделанная из журналистики, вообще никого никуда не зовет. Чаще всего она развлекает или констатирует.

Вот рассказ «Потемкинская лестница» — семь страниц. Бельгийский турист, путешествующий по Черному морю на теплоходе. Две страницы иностранец озирает местность и покупает портсигар, три — его обслуживает портовая путана, и еще две — косным языком путеводителя рассказывается об истории броненосца «Потемкин». Причем читатель, углубившись в центральный эпизод рассказа, узнает мимоходом о строении влагилица у беспозвоночных, о слизистой оболочке прямой кишки и проч. Читать это интересно и поучительно одновременно — много узнаешь.

А можно текст дополнить концовкой другого стиля. Историю о пионерском лете — сухой справкой о лагере «Артек»; историю о быках, бандитской пехоте, — зоолого-гастрономической справкой о быках настоящих.

В этих текстах не нужны эпитеты. Новелла абсурда работает сюжетом, а не стилем. Вернее, ее сюжет и стилистика неразделимы.

Есть, однако, исключения — короткие рассказы Лимонова из «Дневника неудачника», почти стихотворения в прозе, анти-Тургенев: «Хорошо в мае, замечательном влажном мае быть председателем Всероссийской Чрезвычайной комиссии в городе Одессе, стоять в кожаной куртке на балконе, выходящем в сторону моря, поправлять пенсне и вдыхать одуряющие запахи.

А потом вернуться в глубину комнаты, кашляя, закутить и приступить к допросу княгини Эн, глубоко замешанной в контрреволюционном заговоре и славящейся своей замечательной красотой, двадцатилетней княгини».

Конец истории.

Это не сюжет, а состояние. Текст выполнил свою функцию — он рассказал не о событии, а об авторе. «Поэт высказывал себя».

У Добродеева иная вещь. Называется «Смелый побег». Вещь короткая. Можно цитировать ее целиком: «Шестерым опасным преступникам удалось совершить побег из Бугульминского следственного изолятора в Татарии. Все они — как на подбор. За плечами каждого — по несколько судимостей. Особой жестокостью отличался один из организаторов побега — матерый рецидивист Крушинин. За ним — букет опасных преступлений: разбой, изнасилование, нанесение тяжких телесных травм...

На ноги был поднят весь штат сотрудников городского отдела МВД. Были перекрыты все выходы из города, вокзал, автостанция, аэропорт. Один за другим беглецы оказывались в руках милиции.

Крушинина брали на квартире директора объединения «Татнефть» Крепелкина. Подкралась, крикнули: «Сдавайся!» Преступник бросился на нападающих с ножом. Участники группы захвата произвели предупредительные выстрелы. Обезумевший бандит пытался использовать в качестве прикрытия малолетнего ребенка, но тут его сразила пуля». Точка. Всё. Текст, с его то ли специальной, то ли прорвавшейся корявостью («выходы» вместо «выездов» и т. п.), названием из другого дискурса, сводящими скулы газетными штампами, неотличим от газетной заметки или фрагмента радионовостей.

Даже штампы не волнуют — они не вызывают ненависти к персонажу, оттого что стерты, и не вызывают ненависти к себе, потому что являются частью игры, то есть условно отделены от самих себя.

Он, этот текст, с похожими на него унылыми репортажами, живет в книге вместе с действительно забавными и изящными стилизациями и остроумными новеллами. Добродеев действительно умеет состыковывать слова и создавать из них не текст репортажа, а произведение. Про него писали: «По одной из версий — жюри, сначала перессорившись из-за новелл Добродеева и повести Дмитриева, решило примириться на третьем кандидате, который... устраивал всех». «„Машина времени“ у него в крови», — сказал про автора Битов. Это правда. Перемещение по миру, перемещение от знаков одной культуры и времени к знакам другой создают очарование этих текстов.

Недостатки такой прозы являются прямым продолжением ее достоинств. Впрочем, эта фраза некорректна: не недостатки, а свойства.

Такие тексты создаются на потоке, быстро и ловко — так же, как пекутся блины. Производство блинов между тем серьезное дело. Это нужно уметь. Беда в том, что повторяемость приема обесценивает его. Тексты становятся похожи на банкноты с одинаковыми номерами. Цена одной из них очевидна (номинал), стоимость остальных — несколько меньше.

В. БЕРЕЗИН.

*

БЕЛЫЙ СВЕТ

Кирилл Ковальджи. Свеча на сквозняке. Роман. М. «Московский рабочий». 1996. 335 стр.

Рецензенты нынче почти не цитируют своих авторов — в лучшем случае пересказывают, в худшем — перепрыгивают. Мы отвыкли цитировать: это же так старомодно — живой голос живого человека. Зато мы привыкли пренебрегать.

Воспоминания о детстве и юности? А-а, небось опять сыны «оттепели» сели на своего облезлого от частого употребления ретро-конька. Провинциальный горо-

док? (Назван он Лиманском, но легко угадывается Белгород-Днестровский, бывший Аккерман, крепость в устье Днестра, на выходе в Черное море.) Проходили и это — будут красочные пятна цветастого быта; будет время, тягучее, как струя меда у Мандельштама (в стихах про Феодосию, тоже «глухую провинцию у моря»); будут маленькие радости кухни, постели, пеленок и большое бесперспективное. Предвоенно-военно-послевоенный рубеж? Тут уж не только тексты, но и фильмы в руку — от легендарного «Летят журавли» до скромного «В шесть часов вечера после войны».

Место действия — некий многонациональный перекресток бывшего нашего (а еще ранее — не совсем нашего, а еще ранее — совсем не нашего) отечества? Тоже полным-полна коробушка, на все формы и жанры, так что можно — для быстроты — перечислить наиболее отработанные адреса: Рига или Прибалтика вообще, или «Северо-Запад», или «Юго-Запад», или Тбилиси-Ереван-Кавказ-Причерноморье...

У Кирилла Ковальджи — последнее. Книга про Бессарабию. Про войну плюс до и после. Про мальчишку родом из провинции (устами писателя — родом из «оттепели»). Есть ретро. Есть стыдливые попытки догнать на ходу современный поезд: повествовательный «киномонтаж», зигзаги в хронологии, вклейки исторических преданий и причерноморских мифов — до Геракла и амазонок включительно. Мифов отчасти подлинных, но аранжированных в стиле позднесоветского неомифологизма (Друцэ, Думбадзе, Дрозд...), отчасти же досочиненных самим автором. Для тертых «постмодернистов» — попытки наивные как по духу, так и по технике, еще резче подчеркивающие старомодность «текста». И, соответственно, авторского «менталитета».

Наконец, для массового читателя (но и для «элитной» критики) — добротный беллетристический продукт. Глотай не жуя, критикуй не щадя, презирай не стесняясь.

Отчего же больно? Автору — и нам, над автором?

Может, все же прислушаемся, процитируем. Не бравурную аннотацию, предусмотрительно налегающую на выгодные качества товара: освобождение нынешнего варианта романа «от цензурных купюр», несколько переизданий, переводы в Польше, Болгарии, Румынии... Прочитируем лучше самого Ковальджи — автоэпиграф хотя бы и финал.

«Над тобой / законов своды, / армии, / суды, / классы, / партии, / народы, / и отдельно — / ты. / От знамен, / крестов / и свастика / в мире кутерьма: / то война, / то смена власти, / голод / и тюрьма. / Ты — как щепка в ледоставе, / древний городок. / Что ты противопоставить / ледоставу смог, / сохраняя сокровенность, / жизнь / и естество? / Только выдержку / и верность, / больше ничего». Ясно: такого нельзя было написать ни в 1966 — 1970-м, ни в 1980-м — даты, стоящие в конце романа; только в 1994 — 1995-м — дата, последняя в этом ряду. И финалов несколько. Один явно «старый»: автор-рассказчик-мальчик собрал всех уцелевших после Второй мировой земляков-соперсонажников; дал возможность Феде, офицеру с «этой», «красной», стороны, увидеть возлюбленную и сына, который никогда не видел отца; после чего «я сделал свое дело — и могу идти. Им сейчас не до меня, понимаю. Я уйду, уношу с собой эту встречу, я завидую Феде». Дальше пробел и «новые» семь строк: об аресте Феде в сорок шестом, уже без возврата. А потом «я отпускаю с миром того мальчика», героя книги, «он уходит в прошлое», а «мне оставляет какое-то знобящее предчувствие, которое слаще, заманчивей, невероятней всего, что есть». Предчувствие облекается в формулу: «Ничего еще не было» — и: «Я скоро буду молодым». Времена мифологически смыкаются; конец становится (или силится стать) началом; персонаж и автор обмениваются судьбой. Одному суждено раствориться, другой начнет жить.

Так обозначается территория романа, бытийная, а не просто событийная. С одной стороны — все политические институты и идеологемы. С другой стороны — «жизнь и естество», элементарнейшие (так оно мнится автору) и древнейшие достоинства человека: выдержка и верность. (Верность кому? На что опирающаяся? Во имя чего? Вопросы повисают; к ним тоже придется воротиться.) Главное же — вера в выживание «городка», «малой» и потому вечной истории, впрямую

соотнесена с надеждой на личное «воскресение» — зацепка за жизнь немолодого, растерянного (вопреки аннотации), перед последним своим ответом стоящего автора.

В конечном счете именно о том и написана книга. Гитлер, Сталин или румынский король, споры старика Аристиды Аристидовича или хозяина городской мельницы Авердяна с пламенным революционером Федей, а Феда — с абстрактным гуманистом Ионом Георгиу, «маленький сверхчеловек», захолустный фюрер Ремус (конечно, его имя — пародия на миф о Ромуле и Реме) или летчик-ас, летавший над Одессой, Мирча — все приправа. Когда более оригинальная, густая и прямая, когда пожиже. Гитлер или Сталин — откровенно жиже. Да и остальные куда интересней «в быту», чем «в идеологии». Запоминается не бывший ас, а то, что в советском лагере для военнопленных он наловчился вырезать спецшахматы начальнику, перенеся затем эту ловкость на спецшахматы для Георгиу-Дежа и Чаушеску. А запоминается потому, что «я нигде не пропаду» — житейское кредо всего городка.

Не пропасть. Выжить. Для «плохих» — ценой подлости, для «хороших» — ценой той самой выдержки и верности. Кому? Детям, любимым, соседям, землякам. Не дальше. Дальше — «армии, суды, классы, партии, народы».

В культурологии такое мышление называется регионализмом. В биографии автора — поздним шестидесятиничеством.

Говоря о провинции, о провинциальных «лиманских историях», я намеренно употребляла определение для читателя более привычное, но для культуролога коренным образом неверное. «Провинция» существует только с точки зрения столицы. Суперцентра — Российской ли империи, румынского ли королевства, Союза ли нерушимого (хотя и рухнувшего). Регион, «малая родина» — это не провинция, не окраина чего бы то ни было, а полноценная цельная ойкумена. «Свой» космос, «свой» мир, выстроенный в точности по модели большого Космоса. И притом построенный на принципе отторжения себя от «главного», метрополийного центра или как минимум в оппозиции к нему.

«Мы малый народ. Для нас / Много чести — милость и месть? / Добро же! Нас хватит как раз / Вашу державу разьесть», — бросит в лицо «миру»-Риму от имени мира пиктов Киплинг («Пиктская песня», перевод мой. — М. Н.). От Йокнапатофы Фолкнера, Уайлдера, латиноамериканских прозаиков до мифологизированных Сухума Ф. Искандера, Евпатории Б. Балтера, Симферополя («Светополя») Р. Киреева — регионализм творит свое время и свое пространство так, и только так. «Там», в метрополийной политике и идеологии, все призрачное. «Здесь» — все осязаемо-реальное. «Там» — псевдожизнь, «здесь» — немудрящее (для сторонних), на самом же деле истинное бытие.

Для этого мало рецептов кухни, деталей городской топографии, мало этнографии будней и праздников, привычек и причуд. Нужен «свой» центр — а его сотворить способен лишь миф, символ, ритуал. Оттого-то не быт, а миф сквозь быт — строительный каркас подобных «малых Вселенных».

На Лиманск взирает мудрое, всезрящее око местного «Саваофа» — Аристиды Аристидовича. Город-мир (и город-миф) опекает собственная «Великая Мать», «Заступница», пусть земная, не небесная, — воспитательница всех лиманских ребятишек, бездетная и безотказная тетя Роза. Существует в городке (за отсутствием особой тяги к «крестам») свой заместитель центра-храма. Даже два: неподлинный (ибо копирует бухарестские замашки) ресторан и подлинный — заведение дяди Мити вкупе с кухней его супруги. Священнотаинство продолжения жизни и упоения жизнью протекает в Лиманске все же больше не на мягком ложе (траве, песке...) эротики, а за твердым столом гастрономии.

Однако для регионализма и этого недостаточно. Требуется подкрепить «малую» мифологию и символику центра большой: воскресить свой центр и себя в нем через былые, «доисторические» времена. (Вот где и сомкнулись две мечты о воскресении — через временную, «заместительную» смерть — в вечную молодость: мечта городка и мечта автора.) Вперед к Гераклу, к эллинам, дакам, фракийцам, вплоть до Адама и Евы, — так устремлено мифостроительство всякого регионализма. Там, позади-впереди, «окраина» и впрямь становится центром. Поскольку «глухой провинции у моря» не было и быть не может. Любые побережья, рек ли

(Днестр), морей ли (Черное море), — от века центры, ибо перекрестки: торговых путей, миграционных потоков, разноплеменных селестов и слияний, проповеднических дорог. Оттуда начинались все земные маршруты — религиозные, философские, эстетические.

И в сфере времени у регионализма та же модель. Отторжение от «большого центра» останавливает часовую политическую стрелку на циферблате местной истории. Или, точнее, обостряет впечатление, что бегают эта стрелка по какому-то дурному кругу. Актуальными делаются стрелка минутная, мимолетно-конкретный миг (голода, радости, встречи, смерти...) — и бесциферблатная вечность. Эпохи спрессовываются; до даков рукой подать; российские белоэмигранты Лиманска сливаются с изгнанниками иных веков и народов; «белая крепость» всех осеняет, никого не обороняет политически, но каждому дарит на ощупь касание бессмертия. Такого, какое здесь доступно. Зато — доступно всем. Отсюда и проистекает терпкая смесь фатализма и мессианства «малых Вселенных», их «выдержка» и «верность».

Знаменательно другое. Той же моделью завершает свои земные странствия шестидесятиничество. Возможно, не самое сильное. Но по крайней мере и не самое «подсюсюкнувшее ямбом» новым властям и временам.

Шестидесятники — почти все пограничники. (Как до них — деятели 20-х, до тех — разночинцы, петровцы, жители Ренессанса, обитатели поздней Римской империи... далее всегда и везде.) Время рубежа поднимало людей рубежа. Москва и Питер 60-х снова трещали от наплыва «людей ниоткуда». (Провинция для метрополии — неизменно утопия, то есть «место нигде».) Снова «выходили» они из «народа», из социальных подполий. (А подпольями на ту пору стали интеллигенты и дети «бывших» — священнослужителей, дворян, купцов, кулаков.) Вновь взбурлил посреди «державного течения» придомный ключ «националов», метисов и кварталов. Причем все они ощущали себя в культуре послами скорей именно «малых космосов», городков и земель, чем республик и титульных наций. Дорого им это отойдется в 90-е, в пору воспрянувших автономий и восставших «новодержав»: львиная доля таких «оттепельников» очутится в статусе эмигрантов. Недешево это им обходилось и спервоначала — когда «метрополия» (подобно Робинзону) обучала их (Пятниц) правильному мировоззрению и приличествующему этикету.

Исторически они пограничники тоже. Отрясали с ног прах «сталинского ампира», возвещали новую эру — Заратустры новых этик, потом социологий, потом философий, а там и метафизик... Не отрясли. Не пророки вы, а последыши, — бросает им сегодня вполоборота, на ходу, племя младое. Последыши эпохи двуличия, двужизния, двуязычия эзоповского — страха, оглядок, запинок, купюр. Образованцы, краткокурсники европейской и мировой культуры. Метафизику учили не по Библии, мифологию не по В. Н. Топорову — по обрывкам цитат из обрывков переводов.

Выпали из координат. Осиротели. Тогда-то, не то к зрелости, не то к старости, всплыло их тихое краеведение, их дальняя и нетриумфальная родовая генеалогия.

Теперь уже (строкой из Джауфре Рюделя), как «любовь издалека», — родина издалека, недостижимая и потому неотторжимая.

Не изменила им только она.

Однако спасет ли «городок» не персонажа и не литератора-автора — живого, нелитературного человека? От безвременья и «бессудебья» (Р. Киреев). От бессмертия слишком большого, надличного — для неприкаянной, смертно тоскующей личности — и чрезмерно малого, импрессионистически-мгновенного — для рода и народа.

Вот это уж зависит не от символов, эстетик и философий, а от «последних ценностей», по-простому сказать — святынь. Эстетики-то и философии, они ведь могут быть (без святынь — действительно есть) «невзаправду», «понарошку». Смерть, как и душу, эрзацами не проведешь. Только наличествующие, хотя бы и безмолвно, за текстом, святыни превращают житейские обстоятельства и происшествия в события. Исторические «почему» в «зачем». Диалоги наши — в сверхдиалог (каковым тысячи лет и была для человека «священная история»). И лишь тогда человек неметафорически чувствует себя внутри мира всех людей, а вечность — протекающей сквозь него самого.

Древние славяне называли Вселенную «белым светом». Белый, вбирая в себя все цвета и превышая, преображая их, воплощал прежде всего значение священного. «Белый город» (их, кстати, немало и в других краях) нарекали тогда, когда значение «священного» еще что-то значило. Свет вечности, ровный и равный, светит над всеми нами — поколениями, нациями, культурами, людьми. Не стану утверждать, будто Кирилл Ковальджи видит этот свет прямым зрением. Но самые щемящие интонации (при самых беспомощных словах) рождены у него, мне кажется, от прорезывающегося ощущения этого белого света над белым миром.

Быть может, так и начинают воскресать.

Марина НОВИКОВА.

Симферополь.

*

ПО КРУГУ

Василий Казаринов. Дымы. Светлана Богданова. Побег. Олег Хафизов. Несмеяна. Маргарита Шарапова. Трамвайный разъезд. Слава Сергеев. Прыжок. Рассказы в рубрике «Новые имена». — «Октябрь», 1996, № 12.

У всех пишущих и печатающихся когда-то была первая публикация. Удачная или неудачная, замеченная или канувшая в бумажное море, как в Лету, — но она была. Кто-то гордится первой публикацией, а кто-то предпочитает не вспоминать о ней, — как взрослый человек не любит вспоминать сомнительные шалости юности. В сущности, в литературе, как и в жизни, удачный дебют значит много, но далеко не все, а неудачный часто совсем ничего не значит. Ругать дебютантов как-то не принято, а случаев, когда первый рассказ начинающего автора критики заметили, отметили, похвалили, но продолжения в том же духе так и не дождались, — не счесть. И наоборот: кто теперь вспомнит, например, рассказ Алексея Варламова, появившийся в «Октябре» в рубрике «Новые имена» в 1987 году? Ничего себе рассказ, не хуже и не лучше других опубликованных тогда же и в том же месте. Хотя для самого Варламова, думаю, публикация в «Октябре» именно тогда значила очень много. В 1987-м начинающему очень лестно было увидеть свое имя в оглавлении толстого журнала. Тогда у журналов были миллионные тиражи и не ощущалось недостатка ни в авторах, ни в материалах; печатали ставшие наконец доступными архивы, литературные корифеи спешили обнародовать то, что много лет писали «в стол», — и вот такие рубрики были чуть ли не единственной дверцей, пропускающей дебютантов в большую литературу...

Теперь же ситуация изменилась — ажиотаж кончился, да и написанное «в стол» тоже кончилось. То, что выходит из-под писательского пера, попадает к редактору еще «горяченьким» и публикуется без задержки. И не только если это перо Маканина или Искандера. Никому не известный дебютант имеет теперь все шансы увидеть себя в числе «избранных» — если, конечно, им созданное имеет отношение к литературе. Ближайший пример — роман Антона Уткина «Хоровод», замеченный и публикой, и критикой.

Естественно, возникает вопрос: нужна ли вообще в сегодняшнем толстом журнале специальная рубрика для дебютантов? Нужны ли «Новые имена» в том виде, в каком они существуют в «Октябре», то есть в виде регулярной рубрики в последней книжке года, в которой непременно должны быть пять — семь рассказов непременно неизвестных авторов? И еще: когда-то, когда это был жест в некотором смысле благотворительный, выбор жанра тоже был понятен — лучше представить пятерых рассказами, чем одного повестью. Но теперь... Пять действительно блестящих рассказов найти так трудно, что почти невозможно. Так же, как открыть одновременно на небе пять новых звезд. Ведь рассказ — жанр отнюдь не учебный, а требующий изрядного литературного мастерства. Отпала надобность в благотворительности — нужно ли отдавать пятьдесят с лишним страниц драгоценной журнальной площади под, может быть, не самую удачную пробу молодого пера? Не стоит ли ту же самую рубрику рассредоточить по всем номерам, не делая обязательной? Появился достойный рассказ — напечатали, а на нет и суда нет.

Может быть, рубрика «Новые имена», бывшая столь интересной и актуальной в конце 80-х — начале 90-х годов, свое дело сделала и, как пресловутый мавр, может уходить? Хотя ее, в отличие от того мавра, с благодарностью будут вспоминать не только Алексей Варламов, но и Петр Алешковский, и Ирина Поволоцкая, и Марина Вишневецкая, и Ирина Полянская, и Михаил Бутов, и, думаю, еще многие и многие.

Однако публикация нескольких рассказов подряд — не только начинающих, а авторов самых разных — все же имеет свои достоинства, даже если не все рассказы выдерживают гамбургский счет. Именно по беглой подборке можно проследить некоторые тенденции, существующие и развивающиеся в современной литературе. Кое-что высвечивается и в «Новых именах». Формально разные — и по стилистике, и по сюжетам, — на самом деле рассказы последнего выпуска рубрики «Новые имена» объединены одной темой. И я почти уверена — это не специальная редакторская задумка, есть определенная закономерность выбора темы начинающим автором. И вряд ли этот выбор делается сознательно: просто существует некий круг тем, старательно муссируемый в прозе последние лет десять. Все пять рассказов в «октябрьской» подборке этого года так или иначе повествуют о замкнутости, замкнутости человека на самом себе, об ощущении однообразности и бессмысленности существования, о неудачных попытках что-то изменить. И эти мотивы, мне кажется, весьма симптоматичны для нашей сегодняшней прозы. Боюсь, после прочтения этих рассказов, одного за другим, вырисуетесь картинка, способная изгнать радость бытия даже из самой оптимистичной читательской души.

В «Дымах» Василия Казаринова повествуется о бедной Сане, хозяйке придорожной точки общепита. Причем Казаринов не идет по проторенной советскими классиками дорожке, компенсируя неказистую внешность героини удивительной душевной красотой. Нет, Санина душа пребывает в состоянии вечной дремоты, да и сама Саня, привыкшая «понимать жизнь как взаимодействие материальных предметов или разнообразных сыпучих, текучих или гранулированных веществ», существует как во сне. Зима — весна, день — ночь, открыла столовую — закрыла столовую, на эту ночь впустила в свой вагончик одного случайного проезжего, на следующую — другого... И так годами. Замкнутый круг ненадолго размыкается появлением некоего Сережи — то ли больного, то ли блаженного, которого Саня начинает заботливо опекать. Но Сережу увозят, а Сане остается привычный круговорот: день — ночь, зима — лето...

Собственно, на такой же нудный серый круговорот, хорошо прописанный Казариновым, обречены герои всех пяти рассказов. Героиня Светланы Богдановой бежит от повседневности, чтобы «хотя бы сколько-нибудь дней провести несвойственным мне образом, как это мог бы сделать человек, лишенный прошлого». Рассказ так и называется — «Побег». Но результаты бегства плачевны: бедная девушка, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то в себе, вынуждена каждый вечер выслушивать нудную и бесконечную исповедь друга, у которого нашла приют. Тот недавно разошелся с женой и терзает беглянку ненужными и скучными для нее подробностями развода. Вспомнив, что когда-то была актрисой, героиня начинает примерять на себя различные роли, соответствующие обстановке: внимательного слушателя, например... В результате несчастная была окончательно выбита из колеи.

События в рассказе Олега Хафизова «Несмеяна» происходят в палаточном лагере, на съезде «любителей йоги, мистики, сверхъестественных явлений и исцелений». Нестарая дама неопределенной внешности по имени Елена пытается под руководством «гуру» исцелиться от любви к бывшему мужу, публично и многократно пересказывает подробности расставания с ним. «Елена повторяла эти слова: «Я не люблю тебя. Не любил тебя никогда», — снова и снова, пять, десять, двадцать раз. Казалось, что эта попытка продолжается минут сорок, а может, десять или полтора часа. Как на операционном столе, время здесь совершенно утратило значение». Но операция не помогла. Тогда бедная Елена пустилась во все тяжкие, поучаствовав в языческом «празднике голого тела», и в благодарность услышала наутро от еще одного мужчины: «Оставь меня в покое». «Вид Елены был олицетворенным упреком, олицетворенной жалобой на несправедливость мира, который надругался над нею, а вместо исцеления приносит все новые страдания. А зубча-

тый темный лес на китовом горбе голубоватого холма, и кочковатое желтеющее поле, и кроткое небо, мреющее в прозрачных воздушных струях, — все отвечало ей с улыбкой святого равнодушия: „Мы не любим тебя. Не полюбим никогда”.

«Прыжок» Славы Сергеева имеет подзаголовок — «Рассказ о непостижимых свойствах человеческой природы». Герой, молодой человек свободной профессии, совершает ряд нелепых и нелогичных поступков — «непостижимостей» — и сам себе удивляется. Сначала зачем-то знакомится с девушкой-техником из ДЭЗа, потом, не имея никакого сексуально-интеллектуального интереса, зачем-то пьет с ней каждый день чай и именует ее не иначе как «другом», потом, когда во время очередного чаепития в дверь звонят его актуальная любимая с подружкой, выпроваживает несчастного «друга» через окно, потом зачем-то оставляет любимую с подружкой допивать чай, а сам мчится провожать на такси девушку-«друга», повредившую ногу при падении из окна...

Похоже, что для героя все эти события — тоже попытка побега. От скуки. Как и для девушки-техника из ДЭЗа. И так же, как и в других рассказах, в конце здесь все возвращается на круги своя: позабавились — и поставили точку.

Стилистика рассказов действительно очень разная. Неторопливо-раздумчивое повествование, длинные предложения с многими причастными и деепричастными оборотами у Василия Казаринова, внутренний монолог, почти бессюжетное говорение-проговаривание у Светланы Богдановой, довольно живо написанные картинки-портреты и диалоги Олега Хафизова, а Слава Сергеев явно взял иронично-шутливый тон... Стилистика разная, мотив один: скучно жить на этом свете, господа. Скучно молодому человеку свободной профессии. Скучно бедной Сане. Скучно бедной Елене. Скучно безымянной героине в рассказе Богдановой. Тоскливо, бессмысленно, бесцельно...

Чувство безысходности возникает от отсутствия движения. Ибо бег вокруг себя, предпринимаемый героями, — лишь иллюзия движения, так же как их замкнутость, заукленность в себе — лишь иллюзия жизни.

И, может быть, поэтому самым оптимистичным в «октябрьской» подборке 1996 года выглядит «Трамвайный разъезд» Маргариты Шараповой — рассказ о похождениях бывшей циркачки, ныне студентки Литинститута, алкоголички и наркоманки, зарабатывающей на жизнь продажей своего трупы различным медицинским учреждениям. Веселенький сюжетец, не правда ли? Место действия — то тюрьма, то больница, то притон наркоманов, где готовят «винт»... Чернуха, настоящая чернуха, по сравнению с которой остальные сюжеты кажутся рождественскими сказками. На социальной лестнице героиня Шараповой занимает самую низкую ступеньку — ниже поварахи Сани, дальше уже некуда катиться. А рассказ этот на общем фоне действительно внушает оптимизм.

Фраза «жизнь движется вперед» давно уже стала расхожей. Но какой смысл вкладывается в понятие движения? То или иное физическое движение — решить-ся сделать то, чего никогда не делал, или, наоборот, не делать того, к чему привык, — совершают все герои всех рассказов. Но состояние души подобные действия меняют редко. Елена не убежала от своих проблем в лагере йогов и натурастов, героиня «Побега», переменяв место жительства, не изменила своей природы, герой-шутник Славы Сергеева позабавился и поставил точку. Но есть движение внутреннее — попытка стряхнуть с себя душевную спячку или прервать затянувшийся процесс самокопания, попытка души вырваться на свет Божий из подвала, в котором она замуровала сама себя. И сделать это гораздо труднее, чем совершить любой физический поступок. Намек на такое движение, пожалуй, есть в «Дымах» Казаринова, в концовке: «И, значит, все ничего, надо только дожидаться. Будет осень, с ней наплывут на точку настоящие дымы, пухлые и тяжелые, потом наступит зима, и ее надо будет пережить в ожидании дымов весенних, а там уж как-нибудь станем жить заново, уж как-нибудь, как-нибудь».

А бесшабашная и непутевая героиня Маргариты Шараповой любит трамваи. «Трамвай! Это хорошо. Трамвай — это обнадёживает... Это первый трамвай! Улицы еще по-прежнему темны, и людей не существует, а он уже плавно заносит на поворот свое негибкое светящееся тело. Я хочу быть трамваем! И плыть, мерно и мирно покачиваясь, спокойно и очень нравственно... Что значит нравственно? Не знаю. Но почему-то очень хочется быть трамваем». Мечта ее — образ движения, и

не по кругу, а по рельсам — вперед и вперед. Ее цель — написать поэму о трамваях. А когда у человека есть мечта, есть цель — ничего еще не потеряно. Он еще может в какой-то момент оглянуться и сказать себе: «...жизнь моя будет прекрасной! Светлой будет вся моя жизнь. Светлой, как эти теплые, солнечные деньки на качелях в детском городке Нескучного сада», — может увидеть звезды сквозь яркий свет фонарей. В «Трамвайном разъезде» есть внутренняя динамика, та самая работа души, которая выводит ее из порочного круга навстречу миру.

Повторюсь: мне кажется, что сейчас слишком часто пугают читателя безысходностью и бессмысленностью существования, порочным кругом, по которому человек обречен идти от рождения до смерти: что ни делай — нет выхода, и все тут!

А вот как об этом думали прежде.

В романе Бориса Зайцева «Тишина» о. Парфений говорит юноше Глебу: «Вот он, Божий мир... А над ним и над нами Бог... Доверяйтесь, доверяйтесь Ему. И любите. Все придет. Знайте, плохо Он устроить не может. Ни мира, ни вашей жизни».

Татьяна КРАВЧЕНКО.



«ХОРОШО БЫТЬ БЕГЛОЙ ГЛАСНОЙ...»

Лариса Миллер. Стихи и о стихах. М. «Глас», 1996. 128 стр.

Новая изящно изданная книга. На обложке — рисунок Мондриана. Тираж красноречиво не указан. Новые стихотворения 1993 — 1996 годов. Стихотворения прежних лет. Уже печатавшиеся в периодике статьи о поэзии, творчестве — «Несовпадение», «Его величество пустяк», «Сиянье им руководит» и др. Ранее не печатавшиеся статьи — «Смутный опыт», «Терзай меня — не изменюсь в лице» (последняя — о поэзии Ходасевича и Арсения Тарковского). Раскрывая книгу, невольно отмечаешь следы нового (по сравнению, скажем, с книгой десятилетней давности¹) опыта — частного и исторического. Впрочем, такого ли уж нового? Опять — «минуты роковые»... «Стоит История сама / И сводит смертного с ума. / И гнет деревья вековые...»

А что до жизни до самой,
То до нее ли, милый мой?
И думать не могли об этом:
Мятеж весной, реформы — летом
И перевыборы зимой.

Между тем такие наугад выхваченные строфы способны ввести читателя в заблуждение. Слова типа «перевыборы» и «реформы» в книге вряд ли еще хоть раз встретятся. Политический темперамент у поэта (именно как поэта), по-моему, нулевой. Когда она пишет: «А я мечтаю только об одном, / Чтоб не ходила больше ходуном / Земля, вернее, почва под ногами, / Чтоб не пришлось «другими берегами» / Назвать края, где жизнь моя и дом», — это не столько политические, сколько экзистенциальные упования. Отношения с жизнью у нее амбивалентные: очарованность и страх. Реакция на угрозу — исчезнуть, ускользнуть, раствориться... Иногда суть лучше понимаешь «от противного». Читая Ларису Миллер, я почему-то вспоминал выразительные строки другого современного автора — Инны Кабыш, датированные 1991 годом: «Я знала, если баррикады / и рухнут, я не упаду — / я буду жить во тьме распада / и сыновей рожать в аду...»². Вот строки, которых Миллер написать бы не могла ни при какой погоде. Любовь к жизни — да, но витальная энергия — этого нет как нет. Хорошо быть беглой гласной. Неприсутствием блеснуть...

¹ «Земля и дом». М. «Советский писатель». 1986. Позже выходили еще три книги стихов и прозы — уже в 90-е годы.

² «Знамя», 1993, № 1.

Обладать чудесным даром
Беглой «Е» (ловец — ловца):
Постояла под ударом
И исчезла из словца.

Стихи, созданные как бы «без слов». Невесомые. Держащиеся только на интонации. Слова простые до банальности. Затертые. Оборачивающиеся (если оборачивающиеся) чудом поэзии. Вот ее творческий *идеал*. В статье «О если б без слова...» она в противовес плотным, мускулистым цитатам из Пастернака, Цветаевой, Бродского приводит «воздушные», «сквозные» — из Блока, из Фета, из Сергея Клычкова. В статье «Его величество пустяк» настаивает: «Слово никому ничего не должно. Его назначение — в одном: быть „блаженным и бессмысленным“».

Пахнет мятой и душицей.
Так обидно чувств лишиться,
Так обидно не успеть
Все подробности воспеть.
Эти травы не увидеть
Все равно, что их обидеть.
.....
Жизнь, лишенную брони,
Милосердный, сохрани.

Но перебирание банально-поэтического словаря — дело весьма рискованное. Стоит оступиться — и сразу банальность намеренная оборачивается банальностью невольной. «Кажущаяся эфемерность» (выражение Александра Зорина из его давней новомирской рецензии на давнюю книгу Миллер³) — эфемерностью не кажущейся. Ключом к ее поэтике является (во всяком случае, для меня) ее статья «И другое, другое, другое» — сравнительный разбор стихотворений Владимира Набокова и Георгия Иванова (так сказать, в пользу Георгия Иванова). Сначала о поэзии Набокова. «*Романтический словарь, помноженный на столь же романтически приподнятую интонацию, — вот в чем корень зла, вот что делает стихи «несъедобными»...*»⁴. Не то у Георгия Иванова. «...И «лунный пейзаж», и «замученное сердце», и «синее царство эфира» — *все эти красоты, абстракции и штампы произносятся разговорным, будничным, устало-безразличным тоном, снижающим, а иногда и отрицающим сказанное...* За банальным словарем и небрежной интонацией угадывается НЕЧТО — боль, горечь, отчаянье, страсть, — дающее стихам особую глубину и силу». Последние фразы в немалой степени относятся к ее собственным стихам, по крайней мере они объясняют, чего автор хочет добиться, обозначают направление движения. Возьмем, например, такое выражение — «душа алкала». И еще одно: «не нашла душа спасенья». Что может быть возвышеннее, высокопарнее и т. д.? Вот в каком интонационном контексте они возникают у Ларисы Миллер:

Дни текли. Душа алкала.
Кошка с блюбочка лакала.
В небе плыли облака
Далеко, издалека.
Ни в четверг, ни в воскресенье
Не нашла душа спасенья.
Кошка с блюбочка пила.
Тучка по небу плыла...

И снова о Георгии Иванове. Понимая всю двусмысленность сравнения, скажу: в книге Миллер есть места, которые, если бы не были заведомо написаны ею, а встретились мне, скажем, в недавнем трехтомнике Георгия Иванова, читались бы как не худшие *его* строки. Скажем, такие:

Когда мы будем глухи, немые
И знать не будем, кто мы, где мы
И день какой бежит за днем,

³ «Новый мир», 1988, № 2.

⁴ Курсив в цитатах принадлежит Л. Миллер.

Тогда-то мы и отдохнем
И даже небеса в алмазах
Увидим. Впрочем, в этих фразах
Нужды не будет никакой,
Когда наступит ТОТ покой.

И напротив, вот Миллер в одной из статей приводит известные строки Георгия Иванова:

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но чего просить у Бога
И бессмыслица и грех.

Кажется, что стоит изменить род на женский («я хотела б улыбнуться...», «я хотела б так немного...») — и мы увидим стихи, будто взятые из рецензируемого сборника Миллер. Вряд ли это можно принять за комплимент, но и упрека тут нет никакого. Это не подражание, не стилизация, а — словами Гёте — «избирательное сродство».

В одной из статей Н. Лейдермана и М. Липовецкого⁵ цитировались два стихотворения Миллер 1989 года как иллюстрация к размышлениям о современном состоянии духа. Своего рода диалогическая сцепка: одно — о богооставленности, другое — о поиске опор для человеческой души, о том, что и в хаосе надо за что-то держаться, хотя бы за руку ребенка. И далее авторы утверждали: «...нельзя не увидеть связи этого мироощущения с принципами релятивной эстетики, в которой в буквальном смысле все зависит от точек отсчета. А в мироздании рухнувших и скомпрометировавших себя всеобщих систем отсчета... единственной реальной точкой отсчета, вернее, бесчисленным множеством равноправных точек отсчета оказываются частные локусы человеческих особей...» Вроде бы и похоже на правду (и в нынешней книге можно найти подобные иллюстрации). Да, весьма близко к поэзии Миллер, почти рядом. Но почти.

А между тем, а между тем,
А между воспаленных тем
И жарких слов о том, об этом
Струится свет. И вечным светом
Озарены и ты и я,
Пропитанные злобой дня.

Реальный творческий и человеческий опыт богаче критических схем. Как хорошо кто-то сказал: я не обязан быть последовательнее самой жизни. Да и «песнопенье» (коль скоро оно присутствует) зачастую оказывается сильнее и важнее «содержания». К тому же, что интересно, как раз *хаоса* (как бы его ни понимать) в ее поэтическом мире я не заметил. Картинка, напротив, весьма четкая и яркая. Контрастная. Есть, образно говоря, цветущая поляна, вдруг обрывающаяся в *бездну*. Но и там — не пресловутый хаос. Там — или *ничто*, или *неизвестно что*. Не смотри туда, не надо, говорит поэт. Пройди по краю. Ведь «если есть там что-нибудь, / Узнаешь. А пока — забудь». Сюда лучше смотри, на полянку. Полянка — настоящая, не эфемерная. Хорошая. Тут можно жить. Живи. Согласитесь: это скорее *kosmos*, чем *chaos*. Кажется, что с годами стихи Миллер становятся суше и строже, а может быть, это иллюзия. Краткость (как и отсутствие названий у стихов) была присуща ей и раньше. Иногда стихотворения в шесть, в восемь строк запоминаются сразу и накрепко. Становятся частью твоего «я». Об отдельных строчках уж не говорю.

...А пока мы ждали рая,
Нас ждала земля сырая.

И вздрагиваешь там, где другой пролистнет небрежно и равнодушно. Ничего не поделаешь — избирательное сродство.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

⁵ «Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме». — «Новый мир», 1993, № 7.



ПЕТУШОК-ПСИХЕЯ

Александр Эткинд. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М. «ИЦ-Гарант». 1996. 413 стр.

Если бы психоанализа не было, его бы выдумали в России — такова мораль предыдущей книги Александра Эткинды «Эрос невозможного», оригинально развитая в новых «Очерках интеллектуальной истории Серебряного века». Их название «Содом и Психея» говорит о душевном влечении к смерти в эпоху исторических сдвигов и сломов, об исчезающей у людей «привычке жить». Однако завоеванием русской культуры в целом, как это следует из общего контекста книги, является то обстоятельство, что смерть в ней трактуется не обособленно, но в ее единстве с любовью. «Радость — Страдание одно» — эта формула Александра Блока в том или ином воплощении сопутствует русскому самосознанию на протяжении веков.

В этом смысле самый захватывающий сюжет книги — это интерпретация русского сектантства — хлыстовства и особенно скопчества, лезвием ножа подводящего под хлыстовство леденящую душу черту. Изуверская практика самооскопления, получившая в России распространение с середины XVIII века, оказывается, приносила участникам секты своеобразное облегчение, ее члены буквально говорили о «легкости», едва ли не о «крылатости», своих дальнейших шагов на пути к постижению истины.

Пожалуй, как ни у кого другого холодный пламень скопческой любви и веры просиял и погас в стихах Николая Клюева:

О, скопчество — венец, золотоглавый град,
Где ангелы пятой мнут плоти виноград.

.....
О, скопчество — арап на пламенном коне,
Гадательный узор о незакатном дне,
Когда безудный муж, как отблеск маргарит,
Стокрылых сыновей и ангелов родит!

«В определенном смысле, — пишет Александр Эткинд, — кастрация — вершинная победа культуры над природой... И потому оскопление... предельная метафора, выражающая абсолютную победу культуры, общества, власти над отдельным человеком с его полом, личностью и любовью».

Таким образом, то, что мы справедливо расцениваем как «дикость» и «невежество», может трактоваться как «архикультурность». Для этого, разумеется, нужно принять нераздельность и неслиянность оппозиции «природа — культура», завшанную Фрейдом. Независимо от того, принимает ли ее сам автор «Содома и Психеи», она актуальна для типа мироощущения, господствовавшего в «серебряном веке» и, как это доказывает Александр Эткинд, характерного для всего направления русского сознания, называемого «утопическим». Сознания, наложившего огненную печать не только на элитарно-утонченную часть общества, но и на потаенную жизнь всей страны.

Фигурой, венчающей «серебряный век», оказывается поэтому не Александр Блок, а Николай Клюев. Точнее говоря, Блок в ипостаси «побежденного учителя» Клюева. Глава книги «Революция как кастрация: мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока» развивает чрезвычайно важное положение о решающей близости русской революционной идеологии к идеологии крайнего религиозного сектантства. По мнению Александра Эткинды, Блок после «Двенадцати» создает весьма герметические тексты (такие в первую очередь, как «Катилина», изданный в том же 1919 году, что и стихи Клюева о скопчестве), в которых автору конечной целью революции грезится преодоление плотского начала в человеке. «Страшный мир» агонизирует, потому что агонизирует плоть. Истинный герой «Катилины» не сам этот «римский большевик», а оскопленный Атис, мятущийся персонаж Капулла. Финальный акт — создание «нового человека», «человека-артиста», как его

иногда называл Блок. Артистизм же есть торжество преображения, он чужд естественному органическому развитию. Страсть артиста, его любовь — фикция. Блоковский «человек-артист» есть эманация души пушкинского скопца-звездочета — золотой петушок на стальной спице. Сама же «Сказка о золотом петушке» — это, по мнению Александра Эткинда, первая русская антиутопия.

Основной символ позднего Блока — «полет», «порыв», «ELAN». Он, как замечает исследователь, «несовместим с похотью, органы чувственности нужно обменять на крылья». И дальше Александр Эткинд делает очень важный экскурс, пользуясь той самой системой «соответствий», которой так дорожил Блок и все русские символисты: «Блоковская идея *легкости* кастрированного Аттиса, похоже, опиралась на вполне определенные представления. Первый русский скопец, кастрировавший в 1769 году в орловском селе Сосновка десятки местных жителей, уговаривал их так: «Не бойся, не умрешь, а паче воскресишь душу свою, и будет тебе легко и радостно, и станешь как на крыльях летать; дух к тебе переселится, и душа в тебе обновится».

Самое же поразительное, что русские сектанты оскотили себя сравнительно охотно, к этому безумию была склонность, ни о каком насилии у них речь не шла. Но речь шла о кардинальном, «навсегда», решении вопроса.

Склонность к утопизму — неизменная черта сектантского сознания, диктующая соответствующий дискурс. Степень его важности, по мнению Александра Эткинда, такова, что, следуя ему, стоит пересмотреть все наши устоявшиеся взгляды на причины и цели русской революции. Во-первых, пишет он, «тексты таких эпох полнее выражают их, чем сама история — бледная копия литературы, вымученный компромисс между фантазией и реальностью». И во-вторых: «Русская литература — не зеркало русской революции; скорее наоборот, революции воплощаются и совершаются в текстах, а потом брезгливо смотрятся в свое историческое отражение — тусклое, грязное и всегда неверное». Если это так, то тайна русской утопии заключается в том, что она разгадывается как антиутопия. Революция, вопреки всем романтическим надеждам, не пробуждает к жизни «всего человека» (постулат Блока). Она пробуждает его травмированное, аномальное, не славившее со стихией — и со стихией пола в первую очередь — сознание. До конца, во всемирном масштабе, революцией поглощены люди если и гениальные, то больные, такие, как Ницше или Блок. Они-то и надеются на преображение «всего человека» — цель, конечно, более максималистская, чем у профессиональных бунтовщиков, готовящих государственный или даже общественный переворот.

Ницше и Блок «пробудились» для гибели. Автор «Двенадцати» этой интимной любви — к гибели — был предан до восторга.

Сама революционная проповедь «свободы, равенства и братства» в устах ее глашатаев звучит абсурдно. Александр Эткинд замечает по этому поводу: «...равенство создают никому не равные». «Равные» же в революционную смуту в лучшем случае приближаются к «природе», сбрасывают с себя иго «культуры», ибо «культура» и в самом деле по отношению к отдельному индивиду репрессивна. (Тут приходится согласиться с Фрейдом: «виртуально», то есть при определенных возможных условиях, личность бессознательно ощущает свою враждебность «культуре».) Другими словами, у вожаков революции и ее масс влечения оказываются полярными предопределенно. Необходимый парадокс нашего бытия состоит в том, что единственное спасительное для всего человечества дело — это культурное строительство. То, что для изолированного индивида бремя, для него же — благо, если он живет внутри общества и осознает невозможность иного, удовлетворительного, существования.

Проблема приобретает антиномичную остроту, когда мы вступаем в область творчества, в особенности же творчества людей «серебряного века», насквозь амбивалентного. Как интерпретирует Александр Эткинд свою неизменную героиню, вдохновлявшую Фрейда и Юнга Сабину Шпильрейн, «инстинкт разрушения есть *другая сторона* инстинкта творчества, и все, что высвобождает один инстинкт... высвобождает и другой». Или еще популярнее: «Шпильрейн подчеркивает: *та же самая* сила, которая хочет зла, — она же приносит и благо». Как не вспомнить в очередной раз «Мастера и Маргариту». Или хотя бы к этому роману эпиграф.

«Серебряный век» — сам себе Сфинкс и сам себе Эдип. «Главная загадка русского Сфинкса, — пишет исследователь, — амбивалентность в любви, присущая диким предкам и непонятная западному человеку. По сути дела, Блок в «Скифах», как это ни удивительно, имеет в виду практически то же, о чем Фрейд писал Цвейгу, говоря, что амбивалентность чувств есть наследие первобытности, сохранившееся у русских больше, чем у других народов». Эффектный финал, подтверждающий эту мысль, Александр Эткинд находит в «ужасном конце» Блока, кочергой разбившего у себя дома незадолго до смерти бюст Аполлона. Тут уже не с «цивилизацией» сведены счеты, но с самой «культурой». Ее «скелет» наглядно хрустнул «в тяжелых, нежных наших лапах».

Факт этот еще амбивалентней, чем кажется. Одна тонкость, быть может, ставящая под сомнение само умозаключение, не взята тут в расчет: Блок даже в нервном срыве остается человеком культуры, а не «наследником первобытности». И в бреду он во власти рефлексии, его бессознательное хоть и не врёт, но лукавит, оно «цитатно». Варварский акт поэта — всего лишь реминисценция из любимого романа. «А я хотел посмотреть, на сколько кусков распадется эта грязная рожа», — объяснил Блок жене, рассчитывая, видимо, на ее простодушие. И в самом деле. Трудно заподозрить, что человек в такую минуту и в таком состоянии всего лишь перифразирует Версилова из «Подростка», раскалывающего икону. За минуту до этого кошунства герой Достоевского признается: «Знаешь, Соня, вот я взял опять образ... и знаешь, мне ужасно хочется теперь, вот сию секунду, ударить его об печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины — ни больше ни меньше».

«Первобытность» Блока, мыслившего себя совсем по-иному — представителем последней, «тупиковой», ветви рода, объясняется, я думаю, скорее сходством противоположностей: «с чем в люльку, с тем и в могилку». И вся культура «серебряного века» свидетельствует о нервической раздраженности, о декадентском душевном произволе. Вряд ли стоит считать образчиком «первобытности» и гумилевско-городецкую мимолетную проповедь «адамизма»: какие дети хотят быть «как дети»? Лишь наследуявший о религии «Третьего завета», об «андрогинности Христа» и «людях лунного света», можно было понаслаждаться желанием быть «как лесные звери».

Если мы согласились с метафорой «серебряный век», мы согласились и с тем, что все его люди одним вечерним миром мазаны. Зенит, «золотой век» для них позади. Сам Александр Эткинд формулирует это положение достаточно резко: «Золотой век центрировался на Пушкине, а Серебряный век — на пушкинизме».

О центральной для «серебряного века» фигуре можно, конечно, спорить, называть имена Достоевского или Тютчева. Но тут важна установка — на «александрийство», на «эллинистичность», на «эсхатологизм» и культурную рефлексию.

Замечательную склонность к «пушкинизму» выказал между тем и сам автор «Содома и Психеи». Вся его книга «центрирована» на анализе пушкинской «Сказки о золотом петушке». Анализе, добавим, новаторском, если не модернистичном. Результаты его трудно переоценить. И таинственная «шамаханская царица», и загадочный скопец-звездочет — все теперь поддалось простому, как петушиное «кири-ку-ку», и сложному, как всякое историческое движение, объяснению. И царица, и звездочет оказались одного исторического поля ягодой: «Шемаха — область Закавказья. После присоединения ее к России в начале XIX века туда стали ссылать скопцов из разных мест России, и под Шемахой образовались известные их поселения. Так что шемаханский скопец (в черновиках Пушкина звездочет иногда называется «шамаханским скопцом». — А. А.) — никак не восточный евнух, а ссыльный русский сектант».

Получается, что пушкинский золотой петушок — настоящая Психея русского сектантства, душа и дыхание русской революции, ее заколдованная птица, проклевывавшая не одно темя. Получается, что это и есть «душа культуры», если, опять же, понимать «культуру» в ее строгой оппозиции к «природе».

Персонифицируется подобная «культура», «культура», оскотившая «природу», в образе главного революционного сектанта России — Льва Троцкого. Так подготавливается неотвратимая итоговая сенсация книги: устанавливается логически и фактологически несомненная зависимость воспитанных «серебряным веком» тита-

нов нашей науки, например психолога и философа Л. С. Выготского (его позиции посвящена вся пятая глава), от направления идей провозвестника «перманентной революции».

Переводя политику на язык принятого им дискурса, автор «Содома и Психеи» заключает с подкупающей простотой: «...левые стараются отгородить в человеке больше места для культуры, правые — для природы». Ведь именно большевики занимались в России «культурной работой», инспирировали «культурную революцию». Что вышло из их «покорения природы» и селекционной работы по выведению «нового человека», увидели, хоть и поздно, все.

Что еще можно выжать из истории психоанализа и сектантства в России, блистательно рассказанной Александром Эткинсом? Пожалуй, такой вот амбивалентный афоризм: *занимайся одним — достигнешь многого.*

Андрей АРЬЕВ.

С.-Петербург.



«НАЧАЛО СОВЕРШИЛОСЬ, ЧЕЛОВЕК СОТВОРЕН БЫЛ...»

Ханна Арендт. Истоки тоталитаризма. Перевод с английского И. Борисовой, Ю. Кимелева, А. Ковалева, Л. Седова, Ю. Мишкенене. М. «ЦентрКом». 1996. 672 стр.

Утро для Ханны Арендт начиналось с настроения меланхолии. Несколько чашек черного кофе — и медленное вхождение в дневную реальность, отстранившись от тяжести сна и уняв раздражительность. Собираение себя, обретение стойкой жизненной формы. День — время отчетливости и строгого размышления, куда нельзя впускать слабое и наивно-личное. Может быть, отсюда невозможность для Ханны Арендт автобиографии. Нежелание делать свое частное лицо явлением публичным. И ее настойчивое усилие удерживать мир на безопасной для себя дистанции — удерживаться на безопасном расстоянии от мира...

Когда в 1951 году в США вышла книга никому не известного тогда автора — «Истоки тоталитаризма», восторженно принятая критикой и сразу получившая от ее имени статус политологического «шедевра», — лицо сорокапятилетней Арендт появилось на обложке популярного «Субботнего обозрения литературы». Это вызвало у нее скорее досаду. Вовсе не показную. Даже несколько лет спустя, соглашаясь дать интервью американскому телевидению, она попросила, чтобы телевизионная камера расположилась позади нее...

Ханна Арендт как бы заговаривала себя и уверяла других, что в публичном пространстве есть место только проясненным фактам и выстроенным в законах строгой рефлексии произведениям. «Истоки тоталитаризма» действительно по всем видимым приметам — образец выполнения этой стратегии. И все же приоритет самой проблемы и выбор тем, в пределах которых она разыгрывается, выросли из ее личной истории.

Блестящее философское ученичество Ханна Арендт начала под присмотром Хайдеггера, а позднее Ясперса — но свой индивидуальный путь она прошла не по академической стезе. Арендт предпочла маргинальное существование, общение со свободными европейскими интеллектуалами, с идеологами и функционерами левых политических партий, активно сотрудничала с сионистскими организациями и выступала в печати в качестве политолога-аналитика. Опыт своей судьбы она выразила языком большой европейской истории 30 — 40-х. Получилось массивное произведение в объективистско-научном стиле.

Я не стану настаивать, что исток тем и основного пафоса Ханны Арендт — социального нонконформизма, интеллектуальной неангажированности — в биографических событиях. Она избегала «интроспекций», не любила психоанализа, и я готова подчиниться этой ее нелюбви. Но детали ее биографии чрезвычайно живы и выразительны. А в узловых точках отчетливо видна энергия личного решения. Как будто перед нами рационально прочерченная линия судьбы.

Ханна Арендт родилась в 1906 году в Кёнигсберге, в еврейской семье. Пауль Арендт и Марта Кон принадлежали образованной среде, не были религиозны, со-

стояли в социалистической партии еще в те времена, когда она существовала в Германии нелегально. Первая травма детства — смерть отца: ей было семь лет, когда он скончался в психиатрической клинике. Ханна предпочитала не говорить об этом... Воспитанием руководила мать. В доме, по воспоминаниям Арендт, не употребляли слова «еврей», но кодекс достойного понимания этой своей принадлежности — притом без всякого теоретизирования о «еврейском вопросе» — матерью жестко поддерживался. Она требовала от Ханны не допускать в себе униженной покорности. В случае, скажем, антисемитского заявления учителя Ханна, согласно четкой инструкции матери, должна была встать и покинуть класс, предоставив матери написать официальное письмо. Однако на замечания одноклассников она должна была отвечать сама. Такая четкость предписываемых правил поведения, как вспоминала Арендт, дала ей надежную внутреннюю защиту.

Основой же интеллектуальной самозащиты стало ее блестящее образование в университетах Германии. В Берлине она посещала греческие и латинские классы, слушала лекции по христианской теологии Романо Гвардини, обратившего ее внимание к Кьеркегору и инициировавшего чтение кантовских «Критики чистого разума» и «Религии в пределах только разума». В 1924 году в Марбурге своим учителем она избрала Мартина Хайдеггера. Под его началом была написана диссертация «Понятие любви у Августина»¹. След ее женского романа с Мартином Хайдеггером — литературный опыт: «Рахель Варнхаген: жизнь еврейки» и еще — стихи. Роман с «тайным королем немецкой философии» не стал ее судьбой, зато излечил от романтических идей и еще более приучил хранить тайну своей внутренней жизни...

Затем семестр у Гуссерля во Фрайбурге и — учеба под началом Карла Ясперса, занимавшего кафедру философии в Гейдельберге. Общение и переписка с Ясперсом продолжались до его смерти в 1969 году. Не случайно Ясперс, а не Хайдеггер остался ее собеседником. Романтизированный и поэтический язык мысли Мартина Хайдеггера оказался совместим с языком нацизма, был лишен энергии противостояния ему. Позиция «над» не помешала Хайдеггеру вступить в национал-социалистическую партию и по инерции оставаться ее членом. Арендт не общалась с ним семнадцать лет. А когда, уже после войны, встретила с Хайдеггером во Фрайбурге, то нашла его все тем же «последним немецким романтиком» и примирительно сказала себе: человек способен на то, на что способен.

Мышление Ясперса было иного настроения. Его пафос был укоренен в ощущении социальной ответственности: «Философствование становится реальным, коль скоро оно проникает саму жизнь личности и именно в настоящий ее момент»². Отношение Ясперса к пришедшему к власти национал-социализму было откровенно неприязненным. В 1937 году его отстранили от преподавательской деятельности, а в 1946 году он опубликовал свои размышления о «немецкой вине».

В 1926 году Ханна Арендт впервые слушала Курта Блюменфельда, идеолога и исполнительного секретаря Сионистской организации Германии. Это достаточно случайное в ее академической жизни событие и знакомство оказались весьма значимым узелком судьбы. Сначала — размышления о «еврейском вопросе», как казалось, прежде всего — теоретические. Затем — отчетливое предчувствие реально надвигающейся катастрофы и отнюдь не «теоретичности» проблемы. Арендт часто досадовала, что не может передать свое предвидение даже близким друзьям. Это ясное чувство опасности заставляло ее активно сотрудничать все предвоенные годы — и в Берлине, и в Праге, и в Париже — с сионистскими организациями, помогать переправлять беженцев... Однако и здесь Арендт мыслит весьма критически и индивидуально. Она убеждена, что в сегодняшней европейской истории вопрос о выживании стоит отнюдь не перед отдельными этническими и социальными группами.

Выживание, конечно, обязано чувству опасности. Только вот осознание опасности — работа кропотливая и трудная. По убеждению Арендт, такое исследование уже не может располагаться в сфере «истории идей». Если просвещенная Европа сумела построить фабрики смерти, то как можно продолжать доверять ее гуманистическому самомнению? Арендт будет интересоваться скрытая механика подспудно-

¹ Слова Августина и вынесены в заглавие рецензии.

² Цит. по: Young-Bruehl E. Hannah Arendt. For love of the world. Yale Univ. Press. 1982, p. 63.

го течения западной истории, которая вышла в XX веке на поверхность и сформировала тоталитарные режимы. Увидеть эту механику можно только глазом, не сфокусированным на идеологических миражах.

Опыт социальной анатомии, предпринятый Ханной Арендт в ее «Истоках тоталитаризма», вдохновлялся надеждой найти «новый политический принцип, какой-то новый закон на земле, который должен быть правомочным для всего человечества»; найти способ контроля над разрушительными силами истории.

Арендт последовательно анализирует три явления, определившие европейскую историю XX века: антисемитизм, империализм, тоталитаризм. И каждый раз в своих подробных аналитических экскурсах, уверенно проходя через толщи конкретного исторического материала, она пытается выявить основную пружину тех процессов, результат которых был испытан ею и на собственной судьбе. Антисемитизм, как видится Арендт, оказался равнодействующей общеевропейского процесса разложения национальных государств, следствием распада старого социального порядка. Но почему именно евреи оказались тем первым объектом, который замкнул на себе силы разрушения? Арендт не устраивала легкая для понимания и имевшая широкое хождение теория «козла отпущения». Дескать, жертва выбрана произвольно — и в этом смысле невиновна. Моральный эффект такого рода логики понятен. Однако она не способна объяснить сути. «Объяснение посредством ссылки на козла отпущения по-прежнему является одной из основных попыток уклониться от понимания серьезности антисемитизма и значения того обстоятельства, что евреи оказались втянутыми в эпицентр событий», — утверждает Арендт.

И предлагает искать источник современного антисемитизма «в определенных аспектах еврейской истории и некоторых специфических функциях, которые выполняли евреи в последние века». Одновременно это вопрос о «своей доле ответственности». Только обсуждать его следует не в моральных категориях, но анализируя реальную историю европейского еврейства. Первый миф этой истории: ненависть к евреям является реакцией на огромную их власть и огромные злоупотребления ею. Этот миф склонны поддерживать сами евреи... Арендт настаивает на тезисе, кажущемся для здравого смысла парадоксальным: ни власть сама по себе, ни угнетение и эксплуатация никогда не являются главными причинами возмущения. Власть, если она легитимна, устанавливает какой-то порядок, и потому рациональный инстинкт общества связывает с ней определенную пользу. Ненависть же перенаправляется скорее на то, что лишено или чему недостает легального основания. Такие объекты и воспринимаются социумом как паразитарные, бесполезные, отталкивающие — и в конечном итоге достойные уничтожения.

Именно евреи были исключительной группой в общем порядке жизни классово-структурированных национальных государств старой Европы. Заинтересованность национальных государств в сохранении евреев как особой группы совпадала с их собственной заинтересованностью в этническом самосохранении. Большой еврейский капитал оказывал финансовые услуги государственной власти, а влиятельные круги евреев были необходимыми посредниками в общеевропейской политике. Вплоть до эпохи крушения европейской системы национальных государств евреи оставались так или иначе необходимым интернациональным элементом и в меру этой необходимости — государственно охраняемой группой. Их незакрепленный социальный статус предопределил то, что именно они оказались первой жертвой европейской катастрофы.

Новая логика европейской истории отыграла на них лишь свой первый сюжет. Даже нацизм, фиксированный, казалось, исключительно на «еврейском вопросе», имел вполне последовательные намерения, идущие дальше. Ханна Арендт ссылается на документы из гитлеровских архивов, опубликованные в 50-е годы. То, что «нацистская машина уничтожения не остановилась бы даже перед немецким народом, очевидно из имперской оздоровительной программы, подписанной самим Гитлером. Здесь он предлагал «изолировать» от остального населения все семьи с пороками сердца и болезнями легких; их физическая ликвидация, без сомнения, следующий шаг в этой программе... В том же русле лежало запланированное принятие «общего кодекса законов о чуждых элементах»...».

Арендт настойчиво возвращается к анализу тех уязвимых особенностей, которые вовлекли евреев в эпицентр катастрофы. В зеркале антисемитизма отражается

и недальновидность еврейской стратегии выживания, и восприятие евреями самих себя. Маргинальная позиция отдельной группы очень опасна для ее выживания — о чем сильнее всего подчас напоминает головокружительный личный успех отдельных ее представителей. Такова, с точки зрения Арендт, история Дизраэли.

Для Бенджамина Дизраэли, выходящего из ассимилированной семьи, крещеного и всю жизнь уверенно повторявшего вслед за Бёрком, что права англичанина для него важнее прав человека, еврейскость была лишь фактом происхождения, экзотической особенностью: еврей без имени и без богатства вознесся до положения первого лица Англии. Но, приписав свой успех личной и национальной избранности, Дизраэли создал целый набор теорий, которые, как замечает Арендт, «мы обычно находим в наиболее злобных формах антисемитизма». Дизраэли облек в литературный сюжет фантазмагорию о всевластии еврейских денег, написав роман «Конингсби»; он во всеуслышание повествовал о таинственном влиянии избранных людей избранного народа; возомнил себя олицетворением некоей глобальной еврейской политики. Другими словами, виртуозно реализовав свою личную удачу, Дизраэли не преминул выдвинуть и ее «легитимное» основание — свою расовую принадлежность. Он стал создателем развернутой расовой теории. Удача Дизраэли, как пытается показать Арендт, была построена именно на том, что «привело в итоге его народ к страшной катастрофе». Факт еврейского происхождения, выдвигаемый как таковой, все более теряя опору на религиозное, национальное и социально-экономическое основание, неизбежно становился серьезнейшим источником исторического риска.

Подобным же образом в ставшем символом эпохи деле Дрейфуса Арендт различила «потаенные силы XIX века», которые, быть может, единственный раз «предстали в полном свете документированной истории». Общественный раскол на дрейфусаров и антидрейфусаров произошел не по правовому, но по «натуральному» основанию. Убеждение в виновности Дрейфуса оказалось неразрывно сцепленным с убеждением в том, что, будучи евреем, он принадлежит к племени изменников. В глазах значительной части общества он был уже не преступником, но изначальным носителем порока. Смещение — роковое. Ведь если вопрос о вине преступника разрешается в правовом пространстве, то врожденный порок может быть искоренен и уничтожен только вместе с его носителем... Дело Дрейфуса стало знаком крушения основанного на идее прав человека республиканского взгляда на общественную жизнь, когда покушение на права одного рассматривается как покушение на права всех. А последовавшее через несколько лет помилование, прикрывшее отказ объективно расследовать дело и миновавшее нормальное судопроизводство, лишь подтвердило факт смерти общеевропейских ценностей. Историческая жизнь все более эмансипировалась от правовых норм.

Антисемитизм — одно из имен, один из профилей того общественного состояния, в котором начинает жить XX век. Другое общее его имя — империализм. Дезинтеграция традиционного европейского типа социальной организации — системы национальных государств — стала неизбежной, как только решающим фактором выступила сама энергия накопленного национального капитала. Старая политическая структура оказалась не в состоянии эффективно регулировать процессы экономической экспансии. Экспорт власти и могущества за узкие пределы национального государства повлек за собой появление социальных монстров — общественных новообразований, неизвестных языку конституционного правления. Современная организация капитала породила толпу, или «народ», — новый, по замечанию Арендт, «глубоко безответственный» социальный продукт. Одновременно в высшем обществе возрастало восхищение уголовным миром, размывавшее традиционную моральную норму.

Для ускоренной политической организации неструктурированных социальных групп расовый принцип показал себя замечательно эффективным. Знаку расы удалось стереть казавшийся европейскому сознанию «натуральным фактом» знак «человека». «Европейский человек» оказался ненадежным продуктом сложной исторической сборки — разложившимся, как только распались державшие его скрепы...

Арендт фиксирует и точный час этого долго вызревавшего события: 4 августа 1914 года. «Время до и время после первой мировой войны разделены не как конец старого и начало нового периода, а как день до и день после взрыва...» В ре-

зультате крушения двух многонациональных государств — России и Австро-Венгрии — появились и те группы населения, которые новая логика истории сделала первыми своими коллективными жертвами. Это были безгосударственные народности и меньшинства, кто не просто потерял какие-то социальные права, но те, кто «потеряли права, которые мыслились и даже определялись как неотчуждаемые, а именно Права Человека». И здесь обнажился довольно простой и упрямо-жесткий факт, что идея «прав человека», не закрепленная в конкретной национально-гражданской форме, — декларируемая, но пустая и безжизненная фикция. То, что утеря национальных прав означала потерю прав человека, и безгосударственные люди, и меньшинства хорошо понимали. Защитной реакцией группового сознания было требование своих прав исключительно в качестве поляков, или евреев, или немцев. В то время как «все общества, образованные для защиты прав человека, все попытки добиться принятия нового билля о правах поддерживались маргинальными фигурами — немногими юристами-международниками без политического опыта или профессиональными филантропами, движимыми неопределенными чувствами завзятых идеалистов», «группы, которые они создавали, декларации, выпускаемые ими, — грустно замечает Арендт, — обнаруживали бесхитростное сходство по языку и построению с воззваниями обществ предупреждения жестокого обращения с животными...».

Так называемые неотчуждаемые права человека оказались нереализуемыми. «Лишить абсолютно невиновного человека законных прав» оказалось легче, «чем совершившего какое-нибудь преступление». Абсурд и одновременно безвыходность этой ситуации звучат в остроте Анатоля Франса: «Если бы меня обвинили в краже башен собора Парижской Богоматери, мне осталось бы только одно — бежать из страны». Бесправные не принадлежат никакому сообществу, «их проклятие не в том, что они не равны перед законом, а в том, что для них не существует никакого закона». Прецедент абсолютного бесправия был создан.

«Права человека» последовательно выродились в «фактическое право» принадлежать биологическому виду человека. Последняя ссылка — на саму природу — гарантировала наименьшую защищенность. Самым важным умением тоталитарных машин будет умение организовать жизнь людей без права иметь права...

Наиболее объемная часть книги Арендт посвящена детальному анализу двух тоталитарных машин — нацистской и коммунистической. Экономические, социальные, политические и даже психологические предпосылки существования этих машин она описывает уверенным языком рационального анализа. Строго прорисованные линии причин и следствий, ясное указание на те элементы, которые, сцепившись в причудливое согласие, породили государственные и общественные системы, живущие логикой уничтожения. И кажется — перед нами блестящее позитивно-научное исследование новой чудовищной социальной механики.

Однако при более медленном чтении начинаешь все более явственно различать какие-то провалы, какие-то приметы «черных дыр» на пути уверенно-мощного движения анализа. Арендт вдруг высказывает странные догадки: тоталитаризм, видимо (заметим сослагательное наклонение), разрушает «саму способность к восприятию опыта, даже если он такой крайний, как пытка или страх смерти». Или: «Если верно, что концентрационные лагеря — наиболее последовательный с точки зрения логики институт тоталитарного правления, то для понимания тоталитаризма необходимо «думать об ужасах». Однако воспоминание помогло бы здесь не более, чем свидетельство очевидца, который не способен сообщить свой опыт другому человеку». Аналогии между жизнью и миром концентрационного лагеря — этой территории смерти — не существует. И не бессильна ли сама попытка выразить то, что не поддается описанию средствами человеческой речи?..

Пожалуй, это наиболее радикальная точка размышлений Арендт. Что есть тоталитаризм? Быть может, это просто «образ правления, рожденный в кризисе... просто временное приспособление, которое заимствует свои методы устрашения, свои способы организации и инструменты насилия из хорошо известного политического арсенала тирании, деспотизма и диктатуры»? Но откуда тогда это незаглушаемое внутреннее беспокойство? Беспокойство какой-то последней невыразимости этого опыта. А что, если (вновь у Арендт сослагательная форма) «существует некий фундаментальный опыт, находящий свое политическое выражение в то-

тоталитарном господстве... опыт... дух которого никогда прежде не вдохновлял и не определял управление общественной жизнью? Вот что по-настоящему волнует Ханну Арендт. Волнует тем более, что она понимает свое бессилие дать ответ.

Об этом — ее заключительный и достаточно неожиданный для общего языкового строя книги экзистенциально-психологический этюд. Конечно, он существует в оправе вполне рационально поставленного вопроса: «Какой вид основополагающего опыта из сферы совместной жизни людей составляет дух тоталитарной формы правления, сущность которой — террор, а принцип действия — логичность идеологического мышления?» У этого опыта — две опоры: одиночество и мнимо непротиворечивая логика. Не то одиночество, которое является плодотворным уединением и поддерживает внутренний диалог нашего «я» с самим собой. Когда нам гарантировано подтверждение своей индивидуальности в сообществе людей. Но то, которое носит признаки утраты «я», когда человек «теряет и доверие к самому себе как внутреннему собеседнику, и то элементарное доверие к миру, без которого вообще невозможен никакой опыт».

«„Я” и мир, способности к мышлению и восприятию опыта теряются одновременно». И тогда заменой живому опыту участия в человеческом сообществе приходит навязанная самоочевидность логического рассуждения... Арендт вспомнила здесь Лютера, который однажды упомянул, что одинокий человек «всегда выводит одно из другого и все додумывает до самого худшего». Господство трафаретов логических рассуждений в условиях массового одиночества — такую формулу тоталитарного опыта нашла Арендт. Это то последнее объяснение, которое она может дать его «безъязыкости». В этих формах не может существовать то, что Арендт традиционно называет индивидуальностью, личностью.

Угрозу ее исчезновения она ощущает всем своим существом. От тоталитаризма веет безумием, и Арендт способна угадать его присутствие даже по едва уловимым признакам, почти по запаху, по какому-то особому осязательному ощущению...

Впрочем, одно она знала точно. Во всяком случае, для себя: надо быть — сосредоточенной и — сопротивляться. Ибо первое исторического события — человеческий дар «начинания». Нельзя не угадать здесь и ответ Хайдеггеру, и энергичное намерение вопреки всему держать линию судьбы в своих руках. Судьбе Бытия может быть противопоставлена логика человеческого действия. Оптимистическая надежда...

Елена ОЗНОБКИНА.

ХАНС БЬЁРКЕГРЕН. «...За короля!». Роман. Перевод с шведского Ирины Макридовой. СПб. «ИНАПРЕСС». 1995. 208 стр.

Вышел в свет на удивление русский роман шведского писателя Ханса Бьёркегрена в старательном и хранящем тональность авторского повествования переводе. Подобно некоторым западным фильмам в советском прокате, он называется не так, как в оригинале: авторское название «Тост за Густава V» заменено анонимной репликой-тостом «...За короля!» — вероятно, чтобы не отпугнуть покупателя незнакомым ему именем из шведской истории. Хотя в числе действующих в романе лиц нет ни одного русского, хронологически его действие приурочено к событиям, про-

исходившим вскоре после последней русско-шведской войны за Финляндию и недолгой оккупации в 1808 году острова Готланд — родины писателя — «морскими силами из Санкт-Петербурга». Сугубо шведское восприятие русской стихии, идеи и вопроса, выпестованное уязвленным национальным самолюбием и искусственно подогреваемым страхом исходящей будто бы и по сей день от России угрозы, ежель и не сквозит в строках «Предисловия к русскому изданию», написанного Х. Бьёркегренем специально для рецензируемой книги, то как бы подсказывает это, задает тон: «Но Готланд недолго оставался русским. Через три недели высадилась военная экспедиция с шведского «материка» и вытеснила захватчиков с острова. Этот эпизод русской оккупа-

пии уникален во всей военной истории — никто не был убит, не было пролито ни капли крови. Война была чисто опереточной».

Не менее опереточным смотрится из русского далека и этот первый роман Х. Бьёркегрена, изданный по-русски. Целиком принадлежа к жанру исторического гротеска, он произрастает из истории реальной и абсурдной в одно и то же время, определяемой самим автором как «трагикомический фарс». Но то, что есть «фарс» в глазах автора или критика, оказывается «жизнью и судьбой» двух «маленьких лишних» героев романа — магистра философии Ларса Петера Ихре и доктора медицины Пера Бергелина, вынужденных из-за неосторожно произнесенного тоста сменить тихую, но свободную жизнь в островном городке на заточенье. И хотя может статься, что казус бдительности Высшей Отечественной Полиции шведского образца 1817 года единичен, но, как и в России, он не случаен, потому что тост произносится Не За Того Короля.

Разъяснение Х. Бьёркегрена: «Через год после потери Финляндии король Густав IV Адольф был низложен и изгнан из страны вместе с семьей, в состав которой входил и его сын принц Густав, он же крестный царя Александра I. Тот самый Густав, который — унаследуй он корону — стал бы носить имя Густава V. В 1810 году шведский Риксдаг избрал в качестве престолонаследника французского маршала Бернадотта, получившего имя Карл XIV Густав... Новый король опасался изгнанной династии не без оснований... По примеру Франции он основал тайную полицию — Высшую Отечественную Полицию. Одной из ее первейших задач было присматривать за теми шведами, которые предпочитали видеть в качестве регента принца Густава. На Готланде представителем полиции безопасности был капитан Стевении — человек с избытком фантазии».

Поначалу роман читается с некоторым усилием: добрая сотня его страниц призвана быть своего рода посвящением читателя в расследование, сетью раскинутое капитаном Юханом Стевении еще до вольнодумного тоста на зловещем кульминационном полночном пире. А затем внутреннее романное время словно преодолевает притяжение

автора к своим героям и с огромной скоростью, сокращая истории их окверненных охранкою жизней, истаивает в кипе пожелтевших от времени документов, разысканных писателем. Автор уведомляет читателя, что весь роман «вычитан из некогда богатых, но теперь почти рассыпавшихся архивных материалов». Но мы, вернувшись к солнечной жизни из его дostoевско-кафкианского подполья, перенесенного то на заснеженный шведский остров, то в крепость-узилище Карлстен, не вполне готовы поверить этому признанию. Мы видим, что прошлое он чувствует как зримое и живое настоящее, и только опыт долгого познания человеческой природы придает выражению его лица легкую усмешку, и без того сокрывшуюся в иронически-созерцательных описаниях взлетов и злоключений страдающих марионеток Истории — до беспечности лояльных его героев.

Большинство действующих в романе лиц — фигуры исторические. Но если у читателя возникнут сомнения в «невывышенности» кого-нибудь из героев, достаточно заглянуть в финальную главку «Вечная память», по сути эпилог, где с педантичностью историка прослежены судьбы переживших Процесс непосредственных его участников и прочих вовлеченных в это неправоудное действо персонажей.

Вот только о судьбе Эммы Дункер, особы легкого поведения, вдруг да и вымышленной автором героини, в эпилоге не говорится ничего. Так получилось, что она осталась в стороне, за кадром, за углом, наводя на припоминание параллели, проведенной другим писателем: «И даже если где-то грянет революция, я промолчу в ответ. П...ка это или революция — за углом всегда что-нибудь да ждет...» (Генри Миллер, «Тропик Козе-рога»). Конечно, никакой революции в романе Х. Бьёркегрена нет, но зато живет ее страх, прошивающий — наряду с ужасом русского завоевания — новых (французского происхождения) властителей северной страны. Именно в комнате Эммы Дункер происходит событие, раз и навсегда отвращающее грозные призраки революции и завоевания ото всех и каждого жителей острова Готланд, — вербовка капитаном Высшей Отечественной Полиции Юханом Стевении молодых братьев Экхольц, студентов Упсальского университета. На-

страдавших от вечной нехватки родительских денег в своих карманах, они с выгодой для себя используют сведения о слухах по поводу угрозы острову от «зеленых шинелей» — русских войск.

Слухов этих оказалось достаточно для формирования в глазах бдительного Стенни целого заговора с целью ниспровержения существующего порядка. А тут еще злополучный тост за «Густава V», произнесенный заплетающимся языком то ли Бергелина, то ли Ихре в Карлов день...

Мощный заряд иронии, пропитавшей роман, приводит автора к обнажению исследовательского приема: «Тот, кто научился рыться в уникальных шведских архивах, прислушиваться к ударам сердца в тумане, ловить теплоту прошлого, навсегда (или на какой-то отрезок будущего) прикипевшую ненависть или холодное бюрократическое равнодушие судебных протоколов, списков министерств и тюрем, счетов, приказов, свидетельств о смерти, дневников, писем, заметок на полях, тот, кто научился любить и (да простится мне это слово) почитать все это, — тот не способен поверить в то, что мы, теперешние, намного умнее, порядочнее и совершеннее, чем те, кто жил в 1718 и 1817 году. Наоборот. С помощью наших политиков мы уже вынесли приговор самим себе. Через сто пятьдесят лет на нас будут смотреть как на безличных кретинов и роботов XX века. Тогда как наши предки, жившие на двести и триста пятьдесят лет раньше, останутся по-прежнему людьми».

Охватывая мысленным взглядом роман «...За короля!» в целом и не будучи в состоянии отрешиться от гипертрофированного образа политической полиции, нарисованного Х. Бьёркегреном, мы, кажется, догадываемся, где кроются истоки этого пассивистического движения души писателя. В те времена, о которых, вспоминая, мечтает автор романа, еще не было столь всеохватных служб государственной безопасности, как те, что в течение «целых семнадцати лет» преграждали ему, журналисту и переводчику, путь в Советский Союз — в отместку за «участие в судьбе» Солженицына, либо сродни тем, что почти наверняка присматривали за Школой военных переводчиков в Упсале, где писатель изучал русский язык в 50-е годы. Но, переместившись

в прежние столетия, Х. Бьёркегрен сделался бы писателем без идефикса, а значит, синонимом андерсеновского короля, который если в чем и нуждается — только в тостах.

Александр НЕЗАМЕТНЫЙ.

С.-Петербург.

*

ЧЕРСТИН ЭКМАН. Происшествия у воды. Перевод с шведского Юрия Гурмана. СПб. «ИНАПРЕСС». 1996. 256 стр.

В темный воскресный вечер, поздней порой, когда редкий прохожий осмелится долететь до середины (топоним вставьте по желанию) и в конце концов с замиранием сердца пырнет лезвием ключа брюшину своей бронированной створки, НТВ по-воскресному уютно угощал нас «Осенней сонатой» Ингмара Бергмана. Как всегда, фильм был дублирован студией заново, и русский текст ложился прозрачной пленкой на речь героинь — матери и дочери. Этот замечательный психосоматический бестселлер имеет прямое отношение к бестселлеру книжному — к роману Черстин Экман «Происшествия у воды». Может, и преждевременно относить эту книгу по нужности к разряду «горячих пирожков в морозный день», но факт перевода ее на многие иностранные языки и экранизация говорят сами за себя. «Происшествия у воды» вышли в свет в крупнейшем шведском издательстве «Albert Bonniers Forlag» два года назад и в какой-то мере оказались книгой культовой, но в силу этого и очень шведской. Кто смотрел «Осеннюю сонату», поймет, что это такое. Вместо «смотрел» стоило бы употребить глагол «слушал», «внимал» — в случае комфортно-фрейдистской киноразборки двух кровно связанных фемин на палевом фоне молчащих мужчин: мужа, импресарио и двух теней — другого мужа и утонувшего в холодном озере мальчика-эльфа. И тем выразительнее разговоры, прорвавшиеся сквозь плотину молчания и замкнутости набычившейся осенней природы и заторможенных андрогинных мужских персонажей, как бы пребывающих там, где их слова уже никому не нужны. Женщинам «Осенней сонаты» и героиням Черстин Экман в ее «Происшествиях...» слова не-

обходимы как воздух, как единственно возможный способ быть.

«Происшествия...» по своей жанровой природе — детектив. В нем есть загадочное убийство, толща героев на площадках сюжетных срезов, героев сначала никак не связанных, таинственная (как книга на шведском) лесная природа, кстати потрясающе увиденная (лучше сказать — подсмотренная) и описанная в стиле зыбкой, психически сдвинутой виртуальной реальности. В тексте разбросано множество сюжетных зеркал, раскинута сеть обманных ходов, образующих целые катакомбы, они трансформируют линейность повествования и ломают скандинавскую сытую остойчивость, кренят ее, как барку в озере, и она черпает страшную холодную воду жизни.

Черстин Экман, к счастью, не решает специально эстетических задач. Она просто настойчиво сочиняет крутой роман. Она успешно применит приемы кинематографического монтажного стола, слепит своих героев мутными наплывами из их неизжитого прошлого, как психоаналитик беспощадно вытаскивает на свет Божий насельников их беспокойной подпорки — Тоску, Томление, Нежность и Страх.

Молчаливая фигура автора незримо присутствует везде и всюду, прижимает палец к сомкнутым устам, и длятся одинокие монологи, сводимые к дифтонгам (помните мычащую, почти бессловесную инвалидку у Бергмана) на фоне белых ночей, и тени обнимают друг друга. А может, они никогда и не были плотью.

Но в романе как раз плотского на первый взгляд (на взгляд русского читателя) очень много. С героями, с их отстраненными организмами что-то все время творится: их беспрестанно мутит в середине одинокого пути, волной позора накатывает похоть, омерзение соития сменяется отрадой, их настигают липкие детские страхи, испуг не вовремя выворачивает желудок, голод догоняет жажду, их валит как бурелом истерический сон и роем липкого гнуса вокруг них кишит смерть. Но словно по мановению волшебной палочки все эти неприятные, замкнутые, как алюминиевые банки пива, и надорванные, словно упаковочная пленка, Мии, Барбру, Даны и Оке делаются удивительно живыми, настоящими и жалкими романно-

ми героями. За каждым из них влачится пыльный шлейф жизни, состоящей из подлинных, невыдуманных примет и частностей. Живые и подвижные, как отсветы на воде, и, в конце концов, как летний северный свет, неуловимые.

По мере чтения романа чужеродность площадки, где разыгрывается эта мистерия, делается совершенно незаметной. Труднопроизносимые топонимы перестают раздражать, ибо на авансцену, к рампе выходят совсем другие качества и свойства общечеловеческих вещей и происшествий. Становится понятно, что мы столкнулись с настоящей новой литературой, сработанной мастерски и виртуозно.

Кроме означенных художественных достоинств надо отметить, что Черстин Экман показывает нам, если так можно сказать о Швеции, экзотическую сторону социальной жизни. Ведь действие, связанное с преступлением, разыгрывается в так называемых «коллективах», где люди живут по молчаливому договору, вне институтов семьи, государства и частной собственности. Не отсюда ли пошла анекдотическая «шведская семья»? Но иногда лесной договор по умолчанию бывает сильнее зеленых корочек загса. Ведь в «Происшествиях...» свидетелями всяческих договоров выступают дриады, нимфы и друиды. Природа у Черстин Экман антропоморфна, и некоторые страницы читаются как интимный дневник Мелии, дриады, убежавшей из ясеневое дупла на луг.

После фильмов Бергмана и романа Экман становится внятна вся глубина мелкой Балтики, разделяющей Россию и Скандинавию. Как мы не похожи, к счастью. Наша логоцентричность, упорство, уходящее в песок, — и их молчаливая страстность, внешние приметы которой вызывают зависть и досаду на бесцельно прожитые, проболтанные годы.

Вообще, сейчас популярны детективы. Но не дракуловый помет этого дивного племени, который раскрашивает книжные развалы (подобное чтиво продают в западных продмагах при выходе, рядом с ершиками, вантузами и дамским гигиеническим скарбом). Но детективы не Братьеввайнеров, не подделки вчерашних оперуполномоченных, а Детективы большого жанра, когда не только «где стол был яств — там гроб стоит» (или «труп лежит») на глупом

мониторе у автора-наборщика-оператора, но его перу доступны и психология, и тонкость письма, и живые персонажи, то есть сама жизнь с ее сюжетной канвой, простой и такой невыносимо сложной, исполненной множественностью связей и силой. Ведь сила, к сведению юноши, обдумывающего житье, нужна не только для скорбной мировой воли, но и для вещей более простых. Хотя бы для любви и нежности, которыми обуреваемы замкнутые дриады Черстин Экман, как и разговаривавшие виллисы Ингмара Бергмана, засыхающие вдали от родных стволов или кладбищ, что их породили. Это похоже на сюжеты германско-скандинавской мифологии о женщинах, победивших мужчин, когда они, подученные Фрией, дисой (что-то вроде валькирии), выходят ранним утром на поле перед боем, завязав под подбородком наподобие бород распущенные косы, и Водан (главный носитель мистической силы), предсказавший победу тем, кто выйдет на поле боя первыми, естественно, обманут. Последствия этого тактического хода и занимали Черстин Экман на протяжении 478 страниц шведского оригинала. Питерские издатели «ИНАПРЕСС» уложились в 256 убористого шрифта. Деньги, господа... Хорошо, что не подкачал переводчик. По-русски Черстин Экман (*orcestrowka* Jurija Gurmana) вполне зазвучала. Нервно, разнообразно, не скучно, находчиво. А деньги по-шведски — пеньги.

Николай КИРИЛЛОВ.

С.-Петербург.



Р. И. ПИМЕНОВ. Происхождение современной власти. М. 1996. 351 стр.

Название только что вышедшей книги математика, героя диссидентского движения, многолетнего сидельца советских тюрем и лагерей Революта Ивановича Пименова (1931 — 1990) может кого-то расхолодить: ведь ясно, что под «современной властью» имелась в виду коммунистическая, канувшая в Лету и потерявшая, кажется, актуальность. Но те, кто совершенно здраво понимает власть нынешнюю, декларирующую на каждом углу свою антикоммунистичность, как, на деле, генетическую пре-

емницу предыдущей, связанную с ней не просто политическими аналогиями, а кровной, так сказать, мафиозностью, вполне могут стараться узнать из книги Пименова о происхождении именно современной власти.

В послесловии — проникновенном и кратком — Вилена Пименова указывает, что уже «к 56 году, когда мы познакомились, у него были собраны почти все необходимые материалы». Разумеется, ни «все», ни даже большая часть «необходимых материалов» в ту пору советским человеком быть собрана никак не могла — по вполне понятным причинам. Но, как любил говаривать покойный Иосиф Бродский, «главное — величие замысла». Задача, которую поставил перед собою не профессиональный советский историк, а математик и диссидент, — знаменательна и по глобальности сопоставима с замыслом другого математика, И. Р. Шафаревича, написавшего оригинальнейший труд уже о «происхождении социализма» в целом.

И когда «дети своего времени» берутся писать на темы крупнотой своей это время перекрывающие, не имея для такой работы надлежащих условий, то сами их «родовые» промахи и aberrации представляют дополнительный интерес. Их прозрения вызывают особенное почтение, их заблуждения — поучительны. А известная доморощенность только добавляет их трудам — если, конечно, автор умен и имеет хороший слог — обаяния. Ну разве не остроумно, не самообытно, например, такое зоркое замечание Пименова: Распутин предсказал, что, если его убьют, «на двадцать лет исчезнет всякое благородство», прольются реки крови. «Про реки крови в 1918 — 20 напоминать излишне, — пишет Пименов, — а вот то, что для крестьянина «благородство» в первую очередь должно было ассоциироваться с погонами у «вашего благородия» и что погоны исчезли в России именно на 25 лет (1918 — 1943), напомнить следует. Срок указан с точностью до 25%, физика вполне устроило бы такое совпадение эксперимента с теорией».

...«Согласно методологии, услышанной мною от Л. Н. Гумилева, — рассказывает автор, — изложение следует вести в такой последовательной смене масштабов: сначала как бы взглянуть на

происходившее с околоземной орбиты. Затем — с птичьего полета. Затем — глазами всадника, едущего по полям, лесам и холмам. Наконец — глазами мышки в своей норке, вырытой в этом холме».

Пименов скрупулезно прослеживает, как формировалась, вылупляясь из социал-демократии, большевистская идеологическая секта, своеобразная политическая мафия; сочетание фанатизма с криминальными методами, сектантской отъединенности от мира с убеждением в необходимости перекройки его по своему «штату» — вот куда склубилась и в каких крайностях затвердела, разливаясь по обществу, освободительная идея.

Парадокс в том, что самодержавие мешало не столько этой идеологии, которая была «везде и нигде», сколько свободному формированию полюса ей противоположного, который мог бы стать надежной заградой социализму: закрытие журнала братьев Достоевских, позднее, буквально на первых номерах, изданий Ивана Аксакова — классические тому примеры.

Пименов скрупулезно рассматривает два периода новейшей нашей истории: с 1855-го по 1905-й — борьба за то, что он сам с долей условности называет «конституцией»; 1906 — 1916-й — «кратковременный опыт России конституционной»; «в 1917 — 1920 существовала Россия без центральной власти». Вот как раз с этим замечанием исследователя нужно спорить. Ибо анархия этих лет — в значительной степени кажущаяся: засевший в столицах большевизм своими щупальцами опутывал всю Россию; гражданская смута, по нашему мнению, вовсе не была пущена на самотек, ситуация на местах лишь придавала чекистскому каннибальству дополнительные оттенки (см., например, драматичные дневники публициста М. О. Меньшикова о жизни его семьи в Валдае в 1918 году. Меньшиков был расстрелян на берегу Валдайского озера на глазах у своих малолетних детей 20 сентября 1918 года — «Российский архив». Вып. IV. Изд-во «Студия „Тритэ“». М. 1993).

К заслугам автора следует отнести его стремление к внеидеологичности, хотя избежать этого не вполне удастся, от-

дельные исторические клише мелькают то тут, то там: «И декабристы, с которых началось движение за права человека в России...» — словно не историка читаешь, а на московской кухне слушаешь песню Галича. Права же человека «подекабристски» — емко укладываются в две известные, возможно Пушкину принадлежащие, строчки: «Кишкой последнего попа / Последнего царя удавим».

...«Конечно, я человек, иногда не удерживаюсь и проговариваюсь про свои симпатии и антипатии, но я считаю это недостатком сочинения по истории и стараюсь не судить. В этом, может быть, мое главное отличие от позиции А. И. Солженицына», — пишет в предисловии Пименов.

Но: «Император Николай II был крайне ограниченным человеком» — или: «По-видимому, указания на то, что его любовницей (то есть Распутиной. — Ю. К.) была фрейлина Анна Вырубова... и еще несколько придворных дам... верны. (Знатоку ясно, что медицинское свидетельство 1917 о девственности Вырубовой тому не противоречит.)» Трудно сказать, каким в данном случае надо быть «знатоком», но как бы ни «судил» Солженицын, таких безапелляционных выводов и суждений в «Красном Колесе» не сыскать. Наша история XX века — минное поле, что ни персонаж — мученик, потому и обычная свобода догадок, на которую, конечно, имеет право историк, бывает тут порой нестерпима и выглядит как развязность.

...Свои внеплановые вечерние лекции по истории (а днем преподавал геометрию) Пименов читал в Сыктывкарском университете в 1989 году, уже тяжело больным. «Однажды, — вспоминает Вилена Пименова, — был сильный мороз, градусов за 40, и я предположила, что мы зря идем в университет, — не придут: темно, холодно зверски, скользко. Нет, пришли! ...Слушатели — преподаватели, студенты, рабочие, служащие самых разных учреждений и со всех концов города».

Баснословные времена! В сорокаградусные морозы тянулись люди за словом исторической правды. Счастливая пора надежд, что слово правды весь мир перетянет.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

«ДА»

D'IVANOV À NEUVECELLE. Entretiens avec Jean Neuvécelle recueillis par Raphaël Aubert et Urs Gfeller. Préface de Georges Nivat. Les éditions Noir sur Blanc. Montricher (Suisse). 1996. 327 p.

ОТ ИВАНОВА ДО НЕВЕСЕЛЯ. Беседы с Жаном Невеселем Рафаэля Обера и Урса Гфеллера.

Похоже, был год Вячеслава Иванова: после упорного замалчивания (скромная поэтическая книжка, изданная, прежде всего стараниями С. С. Аверинцева, лет двадцать назад, понятно, не изменила общей ситуации) чуть ли не атмосфера бума. Двухтомник в престижной «Библиотеке поэта». Том эстетико-философских работ в не менее почтенной серии «История эстетики в памятниках и документах». Академический том «Вячеслав Иванов. Материалы и исследования». Вышедшие отдельной книгой записи бакинских бесед Иванова со своим студентом М. Альтманом, впоследствии видным литературоведом. И все это одно за другим, словно прорвало невидимую плотину. Что называется, «не было ни гроша...».

Самое любопытное, что алтын преподнесен вовсе не к празднику. Не считать же юбилеями исполнившееся в прошлом году столетие Иванова (как и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал) и семидесятилетие его перехода в католицизм. Или десятилетие кончины Лидии Ивановой, чья «Книга об отце» должна стать настольной для всех, кого интересует личность и наследие Вячеслава Великолепного. Или девяностолетие знаменитой «башни», на которой собирался по средам едва ли не весь цвет нашего серебряного века.

Когда нет круглых дат, усиленное внимание к каким-то именам естественно объяснить тем, что созданное этими людьми по той или другой причине сделалось теперь в особенности злободневным. Однако следует оставить такие предположения применительно к Иванову. Человек эпохи исторических катастроф, он, конечно, неотделим от своего времени, однако едва ли можно сказать, что Иванов ему принадлежал. Во всяком случае, он всегда старался по возможности оставаться в стороне от всего, что приобретало слишком горячую актуальность. Поэтому чистым произволом оказались бы попытки обращаться к нему за разрешением сегодняшних забот по тривиальной формуле «Иванов — наш современник».

Формула, возможно, и справедлива, но лишь в очень отвлеченном смысле. Буквальное ее понимание приведет только к натяжкам, хоть и велик соблазн, допустим, соотнести с модными теперь настроениями тот «мистический анархизм», о котором когда-то с такой страстностью спорили на «башне». Но в биографии Иванова то было лишь увлечение, и в общем-то непродолжительное. Он жил своими особыми интересами, а с веяниями, пусть расходившимися самыми широкими кругами, разве что считался. Как и с событиями даже самыми грандиозными.

«Песни смутного времени», написанные в тяжелейшую для России пору, отмечены сдержанностью, особенно бросающейся в глаза на фоне волошинской «Усобицы», уж не говоря о цветаевском «Лебедином стане». В отличие от этих книг, цикл вовсе не воспринимается как нечто созвучное переживаемому нами сегодня. А Иванов его даже не включил в последнюю подготовленную им книгу — «Свет вечерний». Значит, по прошествии двадцати с небольшим лет уже не считал свои стихи об усобице заслуживающими внимания современников.

Однако современники упорно хотели воспринимать Иванова не просто на фоне, а в контексте идейных потрясений и размежеваний, которыми был так богат его век. Дальше всех пошел по этому пути Н. А. Бердяев. В «Самопознании» Иванов описан чуть ли не как воплощенная беспринципность: при коммунистах — ко-

миссар, при Муссолини — чернорубашечник, а по взглядам — дикий гибрид позитивиста с мистиком, нонсенс, сделавшийся реальностью лишь из-за конъюнктурных побуждений. Как узнаваема сегодня подобная фигура мнимого властителя умов, которому ничего не стоит переметнуться из большевиков в фашисты, а затем в религиозные ортодоксы. Однако очень быстро разочарование постигнет тех, кто, размышляя о современности интереса к Иванову, доверился бы такой подсказке. Бердяевские обвинения фактологически беспочвенны и не опираются на серьезные аргументы. За ними личные счеты, а не проникновение в феномен Иванова. Или хотя бы попытка его понять.

А такого рода попытка, наверное, прежде всего потребовала бы хоть на время отвлечься от обстоятельств, связанных с политикой и с идеологией в прикладном значении этих слов. Это надо сделать, чтобы за преходящим не потерялись из виду категории и ценности, которые для Иванова были действительно существенными. Ни для кого из знакомых с его поэтическим и философским миром не тайна, что всю жизнь он размышлял о вечном, о «вселенском», растворяющем в себе «родное» и преходящее. Но, считаясь с реальностью — а она такова, что и выпад Бердяева не худшее из сказанного об Иванове, — нелишне напоминать даже о том, что кажется самоочевидным.

Например, о «всеобъемлющей религиозной атмосфере», не только окружавшей Иванова, но и от него самого исходившей. «Евангельскую атмосферу», перенятую с ранних лет, словно по-иному и не могло произойти у питомцев этого гнезда, сын его Димитрий Иванов ощущает как естественную духовную среду дома, в котором рос. В книге, составленной из бесед с сыном поэта, избравшим журналистский псевдоним Жан Невесель — по названию городка в Верхней Савойе, где он родился, — эта атмосфера названа самым важным из всего, что помогло его духовному становлению.

Отрывки из воспоминаний Д. Иванова, над которыми он работает в последние годы, по-русски напечатаны в «Материалах и исследованиях». Однако эта небольшая публикация представляет собой только эскиз к впечатляющей картине, которая открывается читателю тома, выпущенного швейцарским издательством «Нуар сюр блан». В свое время издательство было создано для авторов из Восточной Европы, лишенных возможности печататься на родине, и среди прочего выпустило по-французски полного Мрожека, которого теперь повторяет уже по-польски, открыв варшавский филиал. Не появился ли со временем и русский текст записей, сделанных журналистами Р. Обером и У. Гфеллером, коллегами Д. Иванова по радио «Сюис Романд», чьим корреспондентом в Ватикане он состоял много лет?

Хочется верить в такую возможность. Не говоря уж о ее главном сюжете, который, естественно, связан с Ивановым-старшим, книга представляет собой еще и документальный «роман воспитания» протяженностью в несколько — и каких! — десятилетий. Действие этого романа завязывается в голодной опустевшей Москве нашего смутного времени. А стройность начинает приобретать чуть позже, в Баку, где восьмилетний сын заведующего античной кафедрой новообразованного местного университета, по свидетельству сестры, с жадностью том за томом поглощал Достоевского, что не мешало ему восхищаться флагами на парадах и мечтать о комсомоле или, на худой конец, об алом галстуке.

Из Рима летом 1926 года отец сообщал в письме, что «пионерство» этого необычного подростка закончилось, как и «коллекции великих людей, коллекции марок, католичество (еще не погасшее)», — Иванов ошибся, полагая, что оно тоже будет недолговечным. Судя по переписке с детьми, вошедшей в «Материалы и исследования», свершившееся полтора года спустя обращение сына было для него несколько неожиданным. Однако всем последующим подтверждается выношенность этого выбора.

Путь, медленно и не без душевных мук проделанный отцом, сыном был пройден стремительно. Этому способствовал сам римский воздух, в котором обострилась его религиозность, едва пробужденная внецерковным христианским воспитанием, полученным в детские годы. Рано выявившееся тяготение к романской культуре, приверженность миру французских духовных ценностей, почитание Валери, затем Бернаноса, крупнейшего писателя-католика, в семье которого он одно

время жил, — все у младшего Иванова складывалось так, чтобы сделать естественным и оправданным решение, напрасно показавшееся отцу недостаточно продуманным.

Впрочем, отец был счастлив, когда обряд свершился. «Мы трое духовно соединены и религиозно раскрепощены вселенского Правдой от уз и вины национального обособления», — пишет он в день великого для семьи события (Лидия приняла католичество еще раньше). К мыслям, выраженным в этом письме, Д. Иванов постоянно возвращается, вспоминая самые значительные эпизоды своей биографии. Можно многое возразить против самой посылки, связывающей православие с «мятежным национализмом». Зато не придется ставить под сомнение прочность того духовного единства, которое составляли «мы трое». В Лидии, в Димитрии Ивановых, насколько можно судить по их мемуарным книгам, распознается тот же самый тип личности, который целостно воплощен в их отце. И это личность, созданная определенной культурой — по преимуществу все-таки русской, как бы серьезные ни оказывались расхождения с нею, какие бы тяжелые упреки в «мятежничестве» ей ни предъявлялись.

Д. Иванов нисколько и не ощущает себя оторвавшимся листком, раз за разом повторяя, что ни его католицизм, ни французские предпочтения в литературе, ни смена языка не противоречат тому русскому, что в нем всегда сохранялось. Конечно, все не настолько просто, и, может быть, точнее было бы сказать иначе: не противоречат ивановскому, не заглушают начала, которое вправду неистребимо. Письма детям нередко оканчиваются у Вячеслава Иванова словом «да», стоящим вне контекста, поскольку оно выражает некий обобщенный смысл, — за ним ощущение разлитой в мире радостной энергии, которую должен почувствовать и воспринять собеседник. О том же самое говорит Д. Иванов, вспоминая, что у отца они с сестрой учились поэтическому отношению к жизни, а оно предполагает «любовную энергию, направленную на окружающий мир». Само это свойство, разумеется, не является некой специфически русской константой, но, кажется, нигде больше оно не приобретало такой почти сакральной важности. Человеку, принадлежащему русской духовной традиции, оно передается от рождения, неосознанно, и, видимо, достаточно глубоким было инстинктивное, а в глазах Лидии — даже слегка комичное побуждение, которое заставляло восьмилетнего мальчика тянуться к Достоевскому. А для Вячеслава Иванова и после присоединения к Римской Церкви главенствующий его идеал евангельского христианства в жизни все так же соотносился прежде всего с русской традицией. За два года до смерти, объясняя мотивы своего давно осуществленного решения в письме С. Л. Франку, он повторил основной аргумент — восстановление церковного Единства под эгидой преемников власти св. Петра, — однако тут же вспомнил и старца Зосиму, и неграмотных имяславцев, и мечту о рае на земле, который очевиден для прозревших: укорененную русскую мечту.

Прожив половину жизни, а то и практически всю жизнь вдали от России, Ивановы остались хранителями этой мечты и оттого действительно сохранили в себе русское. Для всех трех органичным всегда оставалось «да» — с теми коннотациями, какие это слово приобрело у старшего из них. В предисловии к книге младшего известного славист Жорж Нива, вспомнив отзыв Версилова о Европе как о великолепном кладбище, пишет, что, в отличие от персонажа «Подростка» — и только ли от него? — Ивановы, а особенно Димитрий, ощущают себя европейцами и обходятся без душевных надрывов, которыми обычно сопровождалось прямое столкновение российского опыта с западным. Надрывов в самом деле не замечается, однако не такой уж напрашивающейся кажется сама мысль, что в Ивановых естественно выразился тот идеал русского европейца, который становится особенно насущным для постсоветского общества.

Судьба Ивановых как будто и впрямь служит веским аргументом в поддержку этой идеи, прежде всего судьба младшего, с его французским именем, взятым, надо полагать, не только в силу профессиональных надобностей. Питомец римского лицея, где преподавали по-французски, а затем бенедиктинской немецкой школы в Энгельберге, сотрудник влиятельных парижских газет, бывавший в Советской России как корреспондент (фотография запечатлела его в малахее и тулупе на це-

лине, другая — на декаде французского кино, рядом со звездами и обмершими от восторга киевлянками), Жан Невесель кажется, цитируя предисловие, наглядным подтверждением, что «более не может возникнуть и вопроса относительно того, принадлежит ли Россия Европе». Очень лестно, да только выходит, что, не став из Иванова Невеселем, не докажешь русской причастности европейскому миру. Хотя, оглядываясь на одного только Иванова-старшего, несложно убедиться, что подобных доказательств не требуется.

Этого не оспаривает и Жорж Нива, напротив, он признает Вячеслава Иванова уникальным в наше время образцом творческой личности, соприродной титанам Ренессанса. И напрямую соотносит эту личность с атмосферой русского серебряного века. Помимо многого другого та эпоха для Нива знаменательна еще и тем, что стала одним из самых выразительных подтверждений неэфемерности понятия Европы как интеллектуальной целостности, на которую в близком будущем будет совершено столько покушений. Свидетель их всех, Иванов знал реальность угрозы, созданной тоталитаризмом в различных его проявлениях. Но не стараниями ли одиночек, собратьев этого поэта-мыслителя, которому довелось напрямую соприкоснуться и с большевизмом, и с фашизмом, не их ли трудами даже в самые мрачные годы продолжался, как сказано у Нива, «пир европейской мысли, начавшийся во времена Сократа»?

В воспоминаниях Д. Иванов снова и снова возвращается к 17 марта 1926 года, когда в Риме, в базилике св. Петра, его отцом была произнесена формула присоединения. И не раз цитирует написанное вскоре после этого письмо Вячеслава Иванова Шарлю Дю Босу, где выражено удовлетворение «от того, что исполнил свой личный долг и, в своем лице, долг моего народа... претворил его последний завет: забыть его, пожертвовать им для вселенского дела». В этом письме, пытающемся представить личный выбор Вячеслава Иванова поступком, согласующимся с волей народа, «созревшей, как я догадывался, для единения», не все и, уж во всяком случае, не всех убедит. Однако надо напомнить строки, следующие сразу за приведенными выше. «И удивительно! — пишет Иванов. — Я тотчас почувствовал, что рукою Христа он (народ. — А. З.) возвращен мне в духе: вчера я присутствовал на его похоронах, сегодня я вновь был соединен с ним воскресшим и оправданным».

Приходит на ум ивановское стихотворение «Земля», относящееся к этому же времени, особенно — афористическая строка: «Беспочвенно я запределен». При желании очень легко вложить в эти слова неметафорический смысл. А тем самым — исказить всю картину. Теперь, когда (скорей всего в силу непредумышленного совпадения) явилась возможность сразу так много узнать об одной из самых ярких фигур отечественной культуры кончающегося века, менее всего желательно появление облегченных версий, объясняющих судьбу мыслителя, у которого была загадочная привычка вставлять в письма «Да», не относящееся ни к чему конкретному. Версия, что перед нами европеец, который идеей воссоединения конфессий — или заботой о собственном присутствии на празднестве европейского духа — дорожил больше, чем верностью родному гнезду, выглядит очень доказательной. Но поверившим в нее, наверное, стоило бы задуматься, отчего в кульминационный момент жизни первой мыслью Иванова была мысль о соединении со своим народом. С тем, к чьей Церкви он более не принадлежал.

Алексей ЗВЕРЕВ.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Г. Адамович. Одиночество и свобода. Сборник статей. Составитель В. Крейд. М. «Республика». 1996. 448 стр. 5000 экз.

Журнал намерен отрецензировать издание.

Андрей Белый. Незнакомый друг. Стихотворения 1898 — 1931 гг. Статьи о литературе из книги «Луг зеленый» (1910). Редактор-составитель И. А. Курамжина. М. «Центр-100». 1997. 254 стр. 55 000 экз.

Иосиф Бродский. Рождественские стихи. Рождество: точка отсчета. Беседа И. Бродского с П. Вайлем. 2-е издание, дополненное. М. «Независимая газета». 1996. 70 стр. 5000 экз.

В. Буковский. Московский процесс. Париж — Москва. «Русская мысль». Издательство «МИК». 1996. 526 стр.

М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. Статья, комментарий В. А. Мануйлова. Под редакцией, с дополнениями О. В. Миллер. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проект». 1996. 372 стр. 5000 экз.

Александр Марьянин. Судьбе вдогонку. М. «Практика». 1996. 696 стр. 3000 экз. Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Д. А. Пригов. Сборник предуведомлений к разнообразным вещам. М. «Ad Marginem». 1996. 302 стр. 1000 экз.

А. С. Пушкин. Борис Годунов. Трагедия. Предисловие, подготовка текста С. А. Фомичева. Комментарий Л. М. Лотман. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проект». 1996. 542 стр. 5000 экз.



С. С. Аверинцев. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М. Школа «Языки русской культуры». 1966. 448 стр. 3000 экз.

«Цикл исследований... посвященных выяснению связей между культурой мысли и культурой слова, между риторической рефлексией и реальностью литературной практики... В качестве содержательной альтернативы логико-риторическому подходу, обретшему зрелость в Греции софистов и окончательно исчерпавшему себя в новоевропейском классицизме, рассматривается духовная и словесная культура Библии» (из аннотации). В Приложении — «Риторика» Аристотеля, книга III, в переводе и с комментариями Аверинцева.

С. С. Аверинцев. Поэты. М. Школа «Языки русской культуры». 1996. 364 стр. 5000 экз.

В трех разделах книги помещены статьи о Вергилии, Ефреме Сирине, Григоре Нарекаци; Державине, Жуковском, Вячеславе Иванове, Осипе Мандельштаме; Клементе Брентано, Гилберте Честертоне, Германе Гессе. «Опыты о старых и новых поэтах, составившие эту книгу, написаны в разное время и в жанровом отношении не вполне однородны. Если я счел возможным соединить их вместе, то меня побудила к тому при-сущая им общая черта — установка на портретность», — из авторского предисловия.

Журнал намерен отрецензировать книгу в ближайших номерах.

С. П. Батракова. Художник XX века и язык живописи. От Сезанна к Пикассо. М. «Наука». 1996. 176 стр. 1000 экз.

А. Белинков. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. М. РИК «Культура». 1996. 540 стр. 5000 экз.

Журнал намерен отрецензировать издание.

Н. Бердяев. Истина и откровение. Прологомены к критике Откровения. Составление, послесловие В. Г. Безносова. СПб. Издательство Русского Христианского гуманитарного института. 1996. 384 стр. 5500 экз.

Л. С. Выготский. Лекции по педологии. 1933 — 1934 гг. Ижевск. Издательство Удмуртского университета. 1996. 296 стр.

Е. Т. Гайдар. Дни поражений и побед. М. «ВАГРИУС». 1996. 368 стр. 10 000 экз.

Светлана Кедрина. Жить вопреки всему. Тайна рождения и тайна смерти поэта Дмитрия Кедрина. М. «Янико». 1996. 268 стр.

Книга дочери поэта об отце, написанная на основе собственных воспоминаний, рассказов матери, свидетельств друзей и современников Кедрина; наиболее вероятная версия загадочной смерти Кедрина, по мнению автора, — убит за отказ стать сексотом.

Марис Лиела. Я хочу танцевать сто лет. М. «ВАГРИУС». 1996. 238 стр. 6000 экз.

Мемуары знаменитого танцовщика, работу над которыми артист вел вместе с автором литзаписи (а впоследствии и переводчиком на русский язык для настоящего издания) Эриком Тивумсом в 1979 — 1980 годах, тогда же (журнальный вариант — в 1980-м, книга — в 1981-м) мемуары с цензурными сокращениями вышли в свет. В нынешнем издании восстановлен первоначальный текст книги. В издание включены воспоминания об артисте его друзей и коллег, среди которых Галина Уланова, Екатерина Максимова, Людмила Гурченко.

Мемуары Мариуса Петипа. СПб. Предприятие С.-Петербургского Союза художников. 1996. 160 стр. 2000 экз.

А. Перрюшо. Таможенник Руссо. А. Воллар. Воспоминания торговца картинами. Перевод с французского Г. Генниса. М. «Радуга». 1996. 416 стр. 5000 экз.

А. Перрюшо. Жизнь Ренуара. Перевод с французского С. А. Тархановой, Ю. Я. Яхниной. М. «Радуга». 1996. 314 стр. 5000 экз.

Русский стих. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. Составитель Д. Бак и другие. М. Российский гуманитарный университет. 1996. 336 стр. 2000 экз.

И. В. Цветаев создает музей. Сборник. Составление и комментарии А. А. Демской, Л. М. Смирновой. М. «Галарт». 1995. 448 стр. 7500 экз.

История замысла и создания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, первоначально носившего имя Музея изящных искусств имени императора Александра III при Императорском московском университете. Первые две части книги составили дневники, записи, письма профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева (1847 — 1913); в третьей части — статьи и очерки о Цветаеве его друзей, коллег и учеников: В. В. Розанова, А. В. Назаревского, Н. Н. Клейна, П. С. Уварова, А. А. Сидорова и других; в четвертой части — воспоминания дочерей, Марины, Анастасии, Валерии, об отце и о музее.

Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том первый. 1938 — 1941. М. «Согласие». 1997. 544 стр. 15 000 экз.

Начало издания первого полного текста «Записок об Анне Ахматовой» в трех книгах. В Приложении впервые публикуются записи Лидии Чуковской с ноября 1941 по декабрь 1942 года — «Из Ташкентских тетрадей»; публикация Е. Ц. Чуковской. Впервые факсимильно воспроизводится ахматовский автограф ранней (1942) редакции «Поэмы без героя». Краткие примечания Е. Б. Ефимова, Ж. О. Хавкиной, Е. Ц. Чуковской.

Составитель **Сергей Костырко.**



Об издательстве Российского государственного гуманитарного университета

История российского полиграфического бума 90-х годов пока не написана. Впрочем, уже сейчас ясно просматриваются некоторые магистральные сюжеты, которых непременно коснется будущий летописец. Один из таких сюжетов — судьба ведомственных издательских центров, в доперестроечное время мирно су-

ществовавших при вузах и академических институтах. Оказавшись в один отнюдь не прекрасный день на пороге гибели, многие университетские издательства вынуждены были одну за другой выпускать в свет коммерческие книги, зачастую переводные и почти всегда имеющие весьма отдаленное отношение к современной отечественной академической науке и высшему образованию.

Издательство Российского государственного гуманитарного университета избрало иной путь. Ставка была сделана в основном на издание книг собственных преподавателей, благо в стенах РГГУ ныне работает целая плеяда известных ученых-гуманитариев. Это позволило издательству сохранить университетскую специфику. Скажем, ежегодные выпуски университетского информационного путеводителя «Сиггiculum» содержат перечень и краткие аннотации практически всех курсов, читаемых на факультетах РГГУ. Не менее информативен и сборник «Orbis humanitatis», включающий аннотированные списки классических источников и современной научной литературы для студентов основных гуманитарных специальностей. Обе упомянутые книги не вписываются в жанр обычных «методических руководств». Очевидно ведь, что «персональный состав» профессоров, сам перечень учебных курсов, подбор важнейших источников и пособий — наиболее важные особенности, определяющие основные черты творческой концепции современного гуманитарного университета.

В последнее время в издательстве РГГУ вышло несколько книг, представляющих немалый интерес не только для специалистов, но и для самого широкого читателя. Среди них — монографии В. Н. Топорова («„Бедная Лиза“ Карамзина. Опыт прочтения») и Л. М. Баткина («Итальянское Возрождение»), сборники «Человек в кругу семьи. Очерки частной жизни в Европе до начала Нового времени» и «Язык и наука конца двадцатого века». Нельзя не упомянуть также впервые изданный порусски с научными комментариями трактат Аристотеля «История животных», сборник статей «Русский стих. Метрика, ритмика, рифма, строфика», вышедший в свет к юбилею академика М. Л. Гаспарова, монографии Л. В. Карасева («Философия смеха») и Т. П. Коржихиной («Советское государство и его учреждения»).

Важное направление работы издательства РГГУ — разработка новых серий научных и учебных книг. Так, под редакцией Ю. Н. Афанасьева вышли в свет три первых тома в серии «Россия. XX век». Среди них: «Судьбы российского крестьянства», «Советская историография», «Другая война: 1939 — 1945». В серии «Новая информационная среда» издано несколько тематических сборников («Голод 1932 — 1933 гг.», «Современная политическая мифология», «Деревня в начале века: революция и реформа», а также книга О. М. Медушевской «Источниковедение: предмет, метод и междисциплинарные аспекты»). Брошюры, выходящие в серии «Чтения по истории и теории культуры», как правило, включают в себя изложения докладов, выступлений и дискуссий, состоявшихся на заседаниях культурологического семинара Института высших гуманитарных исследований при РГГУ. Среди изданий серии — «Мандельштам. Лирика 1937 года» М. Л. Гаспарова, «Гротескный эпилог классической драмы. Ленинградская античность 1920-х годов» Г. С. Кнабе, «Достоевский в свете исторической поэтики» Е. М. Мелетинского, «Петрарка на острие собственного пера» Л. М. Баткина, «Язык романтической мысли» О. Б. Вайнштейн, «Становление литературной теории» П. А. Гринцера и многие другие. Набирает силу серия «Библиотека студента»: здесь вышли книги И. Е. Даниловой («Судьба картины в европейской живописи») и М. Ю. Реуткина («Народная культура средневековой Германии»).

Из числа университетских периодических изданий регулярно выходят в свет номера «Московского лингвистического журнала», «Вестника РГГУ», журнала «АРХЭ», издающегося сотрудниками работающей в университете группы «Диалог культур» под руководством известного философа и культуролога В. С. Библера. Продолжает осуществляться и наиболее ранний по времени возникновения проект — издание международного журнала по теории и истории мировой культуры «Arbor mundi: Мировое древо».

Сравнительно недавно в РГГУ издан тематический план выпуска в свет книг, над которыми ныне работают сотрудники вузовского издательского центра.

ПЕРИОДИКА



*«Дружба народов», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила»,
«Иностранная литература», «Литературная газета», «Литературные вести»,
«Московские новости», «Московский комсомолец», «Нева», «Независимая газета»,
«Общая газета», «Октябрь»*

Теодор Адорно. Заметки о Кафке. Вступительная заметка, перевод с немецкого и примечания Г. Ноткина. — «Звезда», 1996, № 12.

Эссе известного немецкого философа и культуролога Теодора В. Адорно (1903 — 1969), одного из теоретиков Франкфуртской школы социологии. Перевод выполнен по мюнхенскому изданию 1963 года.

Марк Алданов. Вековой заряд духовности. Две неопубликованные статьи о русской литературе. Предисловие, подготовка текста и публикация Андрея Чернышева. — «Октябрь», 1996, № 12.

«Введение в антологию „Сто лет русской художественной прозы“» (1943) и «Современная русская литература» (1943). Из Бахметевского архива Колумбийского университета. Продолжение серии публикаций по материалам архивов Марка Алданова в Москве и Нью-Йорке (см. «Октябрь», 1996, № 1, 3, 6).

Светлана Алексиевич. Чернобыльская молитва. Хроника будущего. — «Дружба народов», 1997, № 1.

«Беларусы — чернобыльский народ...» Новая публицистическая книга С. Алексиевич построена по тому же принципу монтажа многих голосов, что и «Последние свидетели», «Цинковые мальчики» и др. «Событие, рассказанное одним человеком, — его судьба, многими людьми — уже история». «Новый мир» намерен отрецензировать это произведение.

Дмитрий Бавильский. Сон во сне. Толстые романы в «толстых» журналах. — «Октябрь», 1996, № 12.

«Традиционно именно большой, объемный роман является хребтом, скелетом журнального организма, формируя сопредельные жанры в некую законченную систему». Анализируются романы В. Кантора «Крепость» («Октябрь», 1996, № 6, 7), Е. Клюева «Книга теней» («Постскриптум», 1996, № 1, 2), В. Пелевина «Чапаев и Пустота» («Знамя», 1996, № 4, 5) и В. Исакова «Екатеринбург» («Урал», 1995, № 1, 3, 4, 9, 10-11; 1996, № 1, 2, 3, 4).

Андрей Битов. В круге Огненного Быка. — «Московский комсомолец», 1997, № 1, 5 января.

«...Я подумал: надо издать книгу «Год Огненного (или Красного) Быка» по аналогии с Советами, лучше Красного Быка... И уже внутри подзаголовков «К 60-летию 37 года». На обложке — для раскупаемости — помещу список фамилий: январь 1937 отойдет к Крысе, в марте родился Маканин, в апреле — Ахмадулина, мы с Мориц в один день — 27 мая появились на свет, Вампилов — в августе... 10 декабря — Аверинцев. И Высоцкий 25 января 38-го года. По восточному гороскопу — январь 38-го года отойдет к Быку... Я пока вспомнил восемь или девять человек. В книге каждому надо отвести «тетрадку», где по выбору писателя напечатать что-то из его сочинений. И по страничке на биографию каждого. Смотрите, какая кровяница в том 37-м! И какая рождаемость писателей! Я посмотрел на предыдущие века — Огненных, кроваво-Красных Быков среди писателей было не так уж много: Алексей Константинович Толстой, Ремизов, а потом мы — всей шоблой».

Иосиф Бродский. В тени Данте. Перевод с английского Елены Касаткиной. — «Иностранная литература», 1996, № 12.

Эссе 1986 года об итальянском поэте Эудженио Монтале.

Юрий Буйда. Борис и Глеб. Роман. — «Знамя», 1997, № 1, 2.

Забавная историософия. Под Владимира Шарова. Но у Буйды фраза короче.

Петр Вайль. Другая Америка. Мехико — Ривера, Буэнос-Айрес — Борхес. — «Иностранная литература», 1996, № 12.

«Латинская — но Америка. Америка — но Латинская». Рубрика «Гений места».

Борис Васильев. Государева тайна. Московская легенда. — «Литературные вести». Газета Содружества союзов писателей, Союза писателей Москвы и независимой ассоциации писателей «Апрель». 1996, № 4 (16).

Исторический рассказ. «Выхватил Иван Васильевич кинжал из-под рясы, ударил наотмашь. И рухнул кузнец. И заголосила Акулина вдруг, а Грозный отшвырнул кинжал окровавленный и побежал, ее оттолкнув. За ним Малюта с охраной гнался, да быстро больно бежал государь всея Руси. До ближайшей церкви...»

Александр Генис. «Серапионы»: опыт модернизации русской прозы. — «Звезда», 1996, № 12.

«Мастер и Маргарита» как реализация модернистской теории «серапионов»: «...Булгаков сделал то, что они только обещали».

Искусственный человек из Мюнхена. Беседу вела Анна Ковалева. — «Московский комсомолец», 1997, № 10-а, 19 января.

Интервью с Александром Зиновьевым. «...Говорят: замечательная русская литература. Вранье это. Помойка, а не литература... Я открыл свой тип литературы — социологический роман. А какие у них открытия? Русскую красавицу описать, что ли?.. Нагибин говорил: «Я бы хотел писать, как Зиновьев». Его дневники и воспоминания — это, по существу, полное подражание тому, что я делаю. Кстати, эту идею я ему и поддал...»

Тимур Кибиров. Ответ на анкету. — «Московские новости», № 1, 29 декабря 1996 — 5 января 1997.

«Для современного культурного сознания стало аксиомой то, что литература ничему не учит и никак не влияет на реальную жизнь. На мой взгляд, это заблуждение, причем довольно странное, поскольку не выдерживает ни малейшей проверки личным опытом любого читающего человека. Всякий, кто потрудится честно вспомнить свое детство, отрочество и юность, должен будет признать, что именно книги формировали его представления о жизни, о должном и недолжном, о красоте и безобразии, да практически обо всем! Ведь и любви, как известно, «нас не природа учит, а первый пакостный роман». В некотором смысле всякий интеллигентный человек — это Дон Кихот, живущий в мире, созданном авторами его любимых книг. Я вынужден признаться, что представления XIX века о роли и значении литературы мне кажутся более здоровыми и отвечающими истине, чем нынешнее лукавое самоуничтожение писателей, за которым, по-моему, стоит гордыня и безответственность».

Виктор Конецкий. Кляксы на старых промокашках. — «Нева», 1996, № 12.

Старые записи, рассказы, воспоминания. Всяческие кусочки.

Вячеслав Курицын. О классовых интересах. — «Октябрь», 1996, № 12.

Еще одна статья в авторской рубрике В. Курицына «Записки литературного человека» (см. все номера «Октября» за 1996 год, кроме № 1 и 8): на этот раз об интеллектуальном превосходстве критиков над писателями, «какое превосходство не только глупо доказывать, но и смешно отрицать». А также о том, что «средства массовой информации принадлежат интерпретаторам, а не творцам, и нужно каждый раз вставать горой, когда творец пытается быть неуважительным к интерпретатору, так же, как пресса как целое встает горой всякий раз, когда государство пытается не уважать прессу...». «В конце концов, существуют же классовые интересы», — итожит автор. О да!

Семен Липкин. Катаев и Одесса. — «Знамя», 1997, № 1.

Короткий мемуар. В связи со 100-летием со дня рождения В. П. Катаева см. также статью Ольги и Владимира Новиковых «Зависть» («Новый мир», 1997, № 1) и эссе Евгения Евтушенко «„Жаворонки“ с подгоревшими изюмными глазами» («Литературная газета», 1997, № 6, 12 февраля).

Флора Литвинова. Вспоминая Шостаковича. — «Знамя», 1996, № 12.

О 30 — 50-х годах более подробно, о 60 — 70-х — менее. Ф. Литвинова — невестка наркома иностранных дел М. М. Литвинова, жена его сына Михаила.

Андрей Макин. Французское завещание. Роман. Перевод с французского Ю. Ахниной и Н. Шаховской. — «Иностранная литература», 1996, № 12.

А. Макин родился в 1957 году в России, живет во Франции, пишет по-французски. Автор нескольких книг. Роман «Le testament francais» (1995) удостоен Гонкуровской премии, премии Медичи и Гонкуровской премии лицейстов. См. об этом рецензию М. Злобиной в «Новом мире» (1996, № 10).

Владимир Масс, Николай Эрдман, Эмиль Кроткий, Михаил Вольпин. Басни и сатиры. — «Независимая газета», 1996, № 246, 31 декабря.

Сатирические тексты 30-х годов из архивов ФСБ, подготовленные к печати Григорием Файманом.

...Рояль был весь раскрыт
И струны в нем дрожали.
«Чего дрожите вы?» — спросили у страдалцев
Игравшие сонату десять пальцев.
«Нам нестерпим такой режим,
Вы бьете нас, и мы дрожим».
Но им ответствовали руки,
Ударивши по клавишам опять:
«Когда вас бьют, вы издаете звуки,
А если вас не бить, вы будете молчать».
Смысл этой краткой басни ясен:
Когда б не били нас, мы не писали б басен.

(В. Масс, Н. Эрдман)

Александр Мелихов. Торжество Правды. Повесть. — «Октябрь», 1996, № 12.
Автобиографический (?) дискурс о писательстве в советскую эпоху.

Андрей Немзер. История пишется завтра. — «Знамя», 1996, № 12.
О литературе, литературной критике и литературной жизни. В частности — полемика со «знаменскими» статьями Карена Степаняна о реализме.

Александр Образцов. Враг. — «Независимая газета», 1996, № 240, 21 декабря.
Сталин как английский агент.

Борис Олейник. Трубит Трубеж! Поэма. Перевод с украинского Евгения Нефедова. — «Завтра». Газета Государства Российского, 1997, № 1.

Антикомпрадорская поэма. Переведенная, по признанию самого Е. Нефедова, «буквально в один присест». И вот что получилось:

Вы нам — прелый аспирин,
Для интима шулки,
Мы взамен вам отдадим —
Докторов науки...

Борис Парамонов. Игра в бисер: православный вариант. — «Звезда», 1996, № 12.

О том, что новая книга С. С. Хоружего «После перерыва: пути русской философии» есть постмодернистский шедевр: «чрезвычайно тонкая, искуснейшим образом замаскированная стилизация русской философии, можно даже сказать, ее остроумнейшая пародия». Самого Хоружего такие комплименты вряд ли порадуют.

Переписка Бориса Пастернака с Элен Пельтье-Замойской. Перевод писем с французского Е. Б. Пастернака. Предисловие и комментарии Е. В. Пастернак. — «Знамя», 1997, № 1.

Переписка 1956 — 1960 годов с одной из французских переводчиц «Доктора Живаго». См. также аналогичную переписку с другой переводчицей романа — Жаклин де Пруайяр («Новый мир», 1992, № 1).

Владимир Полуботко. Железные люди. Повесть о мореплавателях. — «Звезда», 1996, № 12.

Советская атомная подводная лодка в Индийском океане. Автор учителем в Ростове-на-Дону.

Г. Померанц. До полной гибели всерьез. — «Октябрь», 1996, № 12.

О старости. С обильным цитированием стихов З. Миркиной.

Григорий Померанц. Авторитет любви. — «Знамя», 1997, № 1.

Полемика с новомирской статьей Владимира Ошеров «В нравственном тупике» (1996, № 9).

Портрет в зеркалах: Пауль Целан. Составитель Борис Дубин. — «Иностранная литература», 1996, № 12.

Подборка, посвященная знаменитому немецкоязычному поэту Паулю Целану (Paul Celan, настоящее имя Пауль Лео Анчел; 1920 — 1970). Тексты самого Целана в переводах Марка Гринберга и Бориса Дубина. А также материалы о нем Ж. Старобинского, О. Пеггелера, Э. М. Чорана, Э. Левинаса, И. Бонфуа, Х.-Г. Гадамера и А. Мишо.

Андрей Седых. Замело тебя снегом, Россия. Предисловие Андрея Чернышева. — «Дружба народов», 1997, № 1.

Короткий рассказ Андрея Седых (псевдоним Я. М. Цвибака), эмигрантского журналиста и писателя, скончавшегося несколько лет назад. Некоторое время был секретарем

рем Бунина. С 1973 по 1993 год — главный редактор известной нью-йоркской газеты «Новое русское слово».

Андрей Сергеев. На смычке андеграунда. Беседу вел Сергей Шаповал. — «Независимая газета», 1996, № 246, 31 декабря.

Интервью с лауреатом премии Букера. «Приступив к написанию своего опуса («Альбом для марок». — А. В.) и углубляясь все дальше, я понимал все яснее, что мы находимся на целине, которая никоим образом не описана. Еще задолго до свержения советской власти люди постарше и поострее меня стали изображать действительность как она есть, в отличие от соцреалистической литературы, которую действительность не интересовала вообще. Первыми я могу назвать Солженицына с «Архипелагом», абсолютно свободным исследованием того, что с нами было по ту сторону колючей проволоки, и Надежду Яковлевну Мандельштам с ее «Воспоминаниями» (которые ни в коем случае нельзя отнести к мемуарам), рассказом о судьбе реально существовавших мужа и жены, которых убивали четыре года, о том, какая была несвобода и смерть по эту сторону колючей проволоки. В каком жанре написаны эти книги, я не знаю. Далее. Знаменитый скульптор Вадим Сидур написал огромную рукопись — памятник современного состояния, замечательное отображение своего социума. Она до сих пор опубликована наполовину, и то с большими цензурными купюрами. Затем появляется Галковский и в «Бесконечном тупике» начинает изображать свою действительность, а союзписательские критики хихикают, издеваются, пишут всякие глупости. Еще один объект издевательств — Лимонов. С ним я, слава Богу, незнаком, но много его читал и могу сказать, что в «Молодом негодяе» он прекрасно изобразил Харьков своей молодости и назвал это романом. В прошлом году у букеровского жюри была прекрасная возможность дать премию за действительно литературный шедевр, каковым является «Изгнание из Эдема» Александра Мелихова. Эта книга была воспринята как развитие еврейской темы, в то время как еврейство в ней выступает в качестве предлога для распутывания всего сложнейшего клубка советского социума, что автор сделал совершенно блистательно. В этом же жанре о своей действительности написал Гандлевский (лауреат малого Букера. — А. В.)... Как же все это сейчас можно назвать, чтобы не спорить в глупых терминах «роман-нероман»? В наши дни существует большая проза и малая проза, а категории «роман», «повесть», «рассказ» — это достояние отошедшей эпохи».

И далее: «После того разгрома, который мы претерпели в XX веке, когда мы оглядываемся и пытаемся понять, что же случилось и что мы из себя представляем на текущий момент, то предпочитаем (это относится отнюдь не только ко мне) читать не конструкции, а реальные рассказы о реальных событиях в жизни реальных людей, названных собственными именами». Полемике с подобными (как правило, весьма категоричными) декларациями о «смерти вымысла» были посвящены мои заметки «Неизвестные результаты речи» в № 2 «Нового мира» за этот год.

Иннокий Смолтуновский. Быть! Главы из книги. Подготовка текста и публикация С. М. Смолтуновской и М. И. Смолтуновской. — «Октябрь», 1996, № 12.

Театральные мемуары.

Игорь Тарасевич. Флиппер. Военно-морской роман. — «Знамя», 1996, № 12.

«Мне кавторанга дали в самый приезд Горбачева на флот. Ну, тогда еще на палубе этому лысому козлу вручали модельку атомохода...» Служба. Секс. Смерть.

Лев Тимофеев. Почти святочное. — «Московские новости», № 1, 29 декабря 1996 — 5 января 1997.

«Никто не имеет монопольного права трактовать, что есть русская духовность и русский исторический опыт. Мы знаем, что кроме того опыта, который закреплен в великой литературе, в великой музыке, в глубоком религиозном мышлении и чувствовании святых праведников и подвижников, в земле Российской просиявших, есть еще и иной опыт. Есть еще опыт многовекового политического насилия — вплоть до широко-масштабного террора. Есть еще опыт многовекового непроизводительного хозяйствования. Есть опыт унижительной нищеты народа. Есть опыт какой-то фатальной слепоты к тем глубоким философским и нравственным истинам, которые проявляются в процессе экономической практики. Экономическая практика, рынок — это тоже форма справедливого общественного единения и сотрудничества. Она проверена всей историей человечества. И она тоже — от Господа, а не от Газпрома или от солнечевской группировки. И здесь тоже есть свои непреложные истины. И самая важная из них заключается в том, что без стремления человека к личной выгоде, к богатству нет производительной экономики».

Александр Ужанков. В тени будущего. — «Знание — сила», 1996, № 12.

О том, что русские летописи писались для Страшного суда.

Я. Учитель. Кто убил Федора Павловича Карамазова? — «Звезда», 1996, № 12.

О том, что Федора Павловича Карамазова убил-таки Дмитрий Федорович Карамазов. К 175-летию Достоевского. Автор — питерский инженер.

Дмитрий Чижевский. О «Шинели» Гоголя. Вступительная статья, примечания и подготовка текста к публикации Марии Васильевой. — «Дружба народов», 1997, № 1.

Прокомментированная перепечатка из журнала «Современные записки», 1938, № 67. Дмитрий Иванович Чижевский. Эмигрант первой волны. Филолог. Историк. Теолог. Можно было бы для приличия привести и годы жизни.

Валерия Шубина. Стодвадцатилетие одного дождя. — «Знание — сила», 1996, № 12.

Хемингуэй как японский писатель. О Хемингуэе в связи с Верленом. О Верлене в связи с Кипплингом.

Александр Эткинд. The American Connection, или Что делал Рахметов, пока не стал Шатовым. — «Знамя», 1997, № 1.

Новая знаменская рубрика «Книга как повод». Поводом для изысканий Эткинды становится роман «Что делать?». Автор «Содома и Психеи» в своем репертуаре. Но — вспомним книгу И. Паперно — Чернышевский входит в моду?



Павел Басинский. В «конце романа» или реалистический постмодернизм? — «Литературная газета», 1996, № 48, 27 ноября.

О романе Антона Уткина «Хоровод» («Новый мир», 1996, № 9, 10, 11). «Пытаясь определить направление прозы Уткина, шутя назовем это „реалистическим постмодернизмом“... Рано или поздно должно было появиться сочинение, которое бы простоудушно сочетало в себе оба веяния: волю к игре и волю к серьезности, живой литературный язык, вкус к доподлинности... и „книжность“, „нарочитость“, „филологичность“. Подобное сочинение могло быть написано лишь за стенами современного литературного театра, то и произошло: насколько я знаю, Антон Уткин свалился на голову „Нового мира“ внезапно, без предупреждения. Его... „не ждали“».

Владимир Новиков. Все может случиться. Антон Уткин заново открывает XIX век. — «Общая газета», 1996, № 49, 11 — 18 декабря.

«В тени Тынянова и Окуджавы, в общем, вполне уместаются все прогрессивно-либеральные исторические повести и романы последних десятилетий. И вот — новый сдвиг. Антон Уткин через головы ближайших предшественников (потенциальных «отцов») нашел себе творческого «дядю», довольно отдаленного во времени и пространстве, — Яна Потоцкого, польского прозаика, писавшего по-французски и одарившего мир «Рукописью, найденной в Сарагосе», где сюжет развивается по принципу «рассказ в рассказе», где постоянно меняются повествователи и точки зрения. На русский материал эта техника легла весьма органично, более того — она вывела автора на путь новых и непривычных философских построений... И, ради всего святого, не надо о пресловутом постмодернизме, к которому «Хоровод» не имеет ни малейшего отношения. Постмодернизм — это усталая культурная игра, это уход в тотальную иронию, это настраивание конца. Роман Антона Уткина, напротив, отмечен искренностью и страстностью переживания жизни, неутоленностью духовной жажды».

Сергей Федякин. Отступление в XIX век. — «Независимая газета», 1997, № 6, 16 января.

«После литературных дебошей начала 90-х, после того, как русская и мировая культура были обращены в гигантскую помойку, из которой литературные бичи выуживали кому что впору, задрожали еще не отмерзшие клеточки, зашевелились, пошли в рост... В лице «ниоткуда пришедшего» Уткина русская литература решилась еще раз напомнить о своем классическом прошлом... Что ждет Антона Уткина, что ждет прозу «со вкусом» в наше безвкусное время? Фокус, проделанный однажды, нельзя повторить. Есть выбор у этого прозаика: или исторический роман — и здесь можно «законсервировать» этот «окололормонтовский» стиль, или — современность. Этот путь труднее: он, наверное, уже потребует резкости глаза и «послетолстовского» языка...»

Дмитрий Бавильский. Вавилонская библиотека. — «Несвоевременные записки». Процесс-журнал Уральского региона. Фонд «Галерея». Фонд «Юртин». Челябинск — Пермь, 1996, том 2.

Обзор журналов «Вестник новой литературы», «Стрелец», «Золотой век», «Место печати», «Художественная воля», «Новое литературное обозрение», «Диапазон», «Постскрипtum», а также «Хит-парад» публикаций в традиционных литературных журналах. С удовольствием позволю себе обширную цитату (тем более, что тираж «НЗ» — всего 450 экземпляров).

О «Вестнике новой литературы» (Санкт-Петербург): «Редакция ставит на проверенные имена и фамилии новых номенклатурных литераторов, к славе которых ничего принципиально нового добавить уже нельзя (имеются в виду Д. Пригов, Е. Попов, В. Кривулин, Е. Шварц, Вс. Некрасов, Вик. Ерофеев, Н. Климонтович, Ю. Мамлеев, В. Сорокин, С. Юрьенен, Э. Лимонов, Т. Кибиров, И. Яркевич. — А. В.). Премии, гранты, поездки и все журналы, за исключением непонятно как еще держащегося «Нового мира». ВНЛ и есть перевернутый «Новый мир», лишь от другой, «альтернативной» литературы. Этакий райком, который должен стать обкомом: плох тот солдат, который не желает знать, где сидит фазан. Это четко почувствовал литературный истеблишмент — не случайны поэтому постоянные (!) номинации прозы из ВНЛ на Букера, не случаен и сам Букер, правда, пока малый (1992), но, как известно, в России нужно жить долго. Не случаен поэтому и традиционный принцип построения номеров, «все, как у людей»: проза + публицистика + критика. Для особо щепетильных — «справки об авторах», каждому овощу свое место. Только вот десятикратное, впрочем, вполне понятное, снижение тиража помешало дойти до «широкого советского читателя»: безадресный получился журнал — новые мэтры, как министры дачами, обросли книгами и многочисленными изданиями аналогичного содержания. Идея устарела на глазах, а авторы остались те же. Что в очередной раз доказывает: тяжело без ниши, и какой-нибудь ежегодник любителей носить бабочку — куда более ожидаем немногочисленными, но верными читателями... С другой стороны — почему не делать такой новономенклатурный журнал, чем «Пригов» хуже «Гранина»?..»

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Май

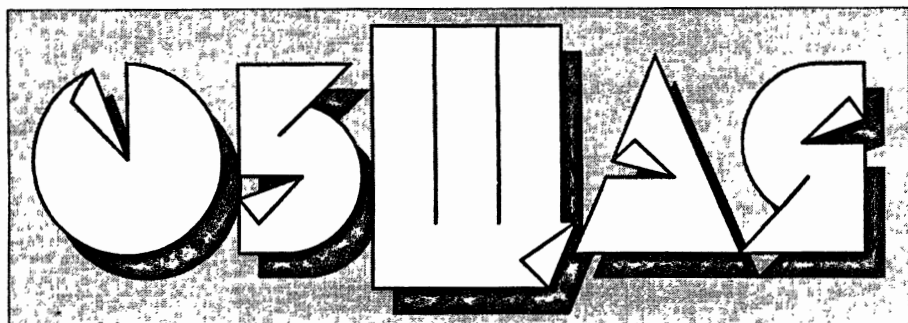
10 лет назад — в № 5 за 1987 год напечатана повесть Сергея Каледина «Смирненное кладбище».

55 лет назад — в № 5 за 1942 год напечатана повесть Юрия Германа «Би хэппи».

65 лет назад — в № 5 за 1932 год началась публикация романа Леонида Леонова «Скутаревский».

70 лет назад — в № 5 за 1927 год напечатан рассказ И. Соколова-Микитова «Глушаки».

**Если Вам не удастся начать новую жизнь
с понедельника — начните ее с четверга.
Тем более что в этот день к вам приходит**



Г А З Е Т А
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - Е Г О Р Я К О В Л Е В

**Общественно—
политический
и мировоззренческий
еженедельник
для широкого
круга читателей**

**Три главных информационных блока —
это три измерения, в которых мы живем.**



**— человек и гражданин —
свободная личность в поисках себя.**



**— из нас с вами состоит общество.
Мы разные,
но у нас общие проблемы, общие
радости и общая страна.**

**Подписной
индекс издания
в каталоге
«Роспечати»: 32138**



**— от них зависит наша жизнь.
ОНИ олицетворяют власть и
государство.
Мы должны знать — каковы ОНИ.**

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ «НОВОГО МИРА»!

**МЫ БЫЛИ БЫ ВАМ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ БЫ ВЫ
НАШЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ В РЕДАКЦИЮ СВОИ
МАТЕРИАЛЫ НА ДИСКЕТАХ В УЖЕ НАБРАННОМ ВИДЕ В ПРО-
ГРАММАХ DOS, WORD (DOS, WINDOWS) ИЛИ LEXICON. ЭТО
ОЧЕНЬ ОБЛЕГЧИЛО БЫ НАШУ РАБОТУ.**

Одно из старейших
изданий в России.
Основана в феврале 1921 года.
Распространяется
во всех регионах России
и странах СНГ.
Ежедневная

ГАЗЕТА №1

по числу читателей.

ТРУД

По данным социологов,
каждый номер прочитывают в среднем 4 человека.

ТИРАЖ:

ЕЖЕДНЕВНЫЙ - 1.415.000 экз.
ПЯТНИЧНЫЙ ("ТРУД-7") - 2.675.000 экз.

ЯВЛЯЕТСЯ
СОУЧРЕДИТЕЛЕМ
32 РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ
АГЕНТСТВ
И ФИРМ
В РОССИИ
И СТРАНАХ
СНГ.

ГАЗЕТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ

Подписной индекс газеты:

50130

(ежедневный выпуск, включая пятничный)

32068

(только пятничный выпуск)

РОССИЯ, 103792, ГСП, МОСКВА, К-6,
НАСТАСЬИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 4.

Наш адрес:
Телефоны:
(095) 299-3906 - для справок,
(095) 200-0338 - отдел рекламы,
Факс:
(095) 200-0523, 299-4740.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



***Ваша семья всегда читала
“Литературную газету”?
Вернитесь к семейным традициям!***

***“Литературная газета” — это качественный анализ
политических и экономических событий,
это литература и жизнь под одной обложкой,
это увлекательное чтение на всю неделю, это
газета, пользующаяся наибольшим
доверием читателей.***

***Солидные традиции, всемирная известность,
заслуженный авторитет, респектабельность
и интеллигентность,
широкий круг проблем: литература, искусство, политика,
бизнес, право, мораль, быт и многое другое —
все это “Литературная газета” —
издание, которое не нуждается
в особых рекомендациях***

**Подписка
на второе полугодие 1997 года**

**Наши индексы:
основной — 50067,
со скидкой
для постоянных подписчиков — 34189.**

***Подписка на “ЛГ” принимается во всех
почтовых отделениях!***

**ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ВЫПИСЫВАЕТЕ «НОВЫЙ МИР»,
ПОДПИШИТЕСЬ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1997 ГОДА**

**ЕСЛИ ВЫ ВЫПИСЫВАЕТЕ «НОВЫЙ МИР»,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1997 ГОДА**

Ф. СП-1

МС РФ ГПС (Госпочтамт)

АБОНЕМЕНТ на журнал **70636**
газету (индекс издания)

«НОВЫЙ МИР»

(индекс издания)

(наименование издания)

Количество

комплектов:

на 1997 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда:

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому:

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ **место** **ли-тер** на журнал **70636**
газету (индекс издания)

«НОВЫЙ МИР»

(индекс издания)

(наименование издания)

Стои-мость **подписки** _____ руб. **Количество**
пере-адресовки _____ руб. **комплектов:**

на 1997 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда:

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому:

(фамилия, инициалы)

**ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПРОДЛИЛИ СВОЮ ПОДПИСКУ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1997 ГОДА,
УБЕДИТЕ ВАШИХ ДРУЗЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЬ ВАШЕМУ ПРИМЕРУ**

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!**

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Nikolay Kononov, Igor Melamed and Vladimir Shchadrin.

We are ending to publish «A Love Affair with Prostatitis» by Alexander Melikhov, and we are also publishing short stories by Yuri Buida.

The section «Heritage» is presented by two short stories by Georgy Demidov with a preface by Vitaly Shentalinsky (publication by V. Demidova), as well as by the notes «In the Hospital Train of Chernigov Nobility» written by Father Pavel Florensky (publication by Father-Superior Andronik Trubachev).

In the section «Essays of Nowadays» we are publishing the essay «Results of the 13th Five-Year Period» by Boris Yekimov.

The section «Times and Morals» contains the essay «Book-Hunting» by Yuri Oleshchuk.

In the section «Les Essais» we are publishing materials of the «Folly», a TV «round table» from the TV series «Lexicon of the History of Culture».

The section «Art World» contains the article «Actual Problems of Actual Art» by artist and journalist Semen Faibisovich.

In the section «Publications and Reports» we are publishing an article by Galina Aslanova, written on the basis of archival materials and depicting the story of poet Afanasy Fet's marriage.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Foreign Books about Russia» and «Bibliography».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),

С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сданов набор 20.01.97 г. Подписано к печати 24.03.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70х108 ¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 17 010 экз. Зак. 4649. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1997 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Подписанты (повесть);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Страницы северной тетради;
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из «Дневника» (перевод с польского);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Наш старый дом (повесть);
 ДАНИИЛ ЖУКОВСКИЙ. Мысли о детстве и младенчестве (из наследия);
 ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ. Письма (из наследия);
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Произведение (маленькая повесть);
 ОЛЕГ ЛАРИН. Ехала деревня мимо мужика (сцены из захолустной жизни);
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Б. Б. и др. (рассказы);
 ПЕРЕПИСКА М. ГОРЬКОГО и И. СТАЛИНА 1929 — 1936 годов (из Архива Президента Российской Федерации);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. Morbus Kitahara (роман, перевод с немецкого);
 ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак в коридоре (опыт фантастических воспоминаний);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
 ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Корова на крыше (повесть);
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Армия любовников (роман);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также новые произведения СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, АНДРЕЯ ВОЛОСА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, БУЛАТА ОКУДЖАВЫ, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**